К. Н. Бугаева



Воспоминания об **Андрее Белом**

Публикация,
предисловие и комментарий
Джона Малмстада

Подготовка текста
Е. М. Варенцовой и Джона Малмстада

Издательство Ивана Лимбаха
Санкт-Петербург
2001

УДК 882
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Б90

Научный редактор
И. Г. Кравцова

Б90 **Бугаева К. Н.**
Воспоминания об Андрее Белом / Публ., предисл. и коммент. Дж. Малмстада. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. — 448 с.

ISBN 5-89059-029-4

Воспоминания Клавдии Николаевны Бугаевой о муже — крупнейшем писателе русского символизма — в нашей стране издаются впервые. Это ценнейший источник, ярко и убедительно повествующий о личности Андрея Белого и вместе с тем по-своему дополняющий и корректирующий известные оценки и интерпретации его художественного творчества.

В оформлении книги использованы фотографии:

А. Белый. 1929 (*М. Наппельбаум*)
К. Н. Бугаева у рабочего стола А. Белого. 1934
А. Белый. Кучино. Декабрь 1930 (*В. Носилов*)

ISBN 5-89059-029-4

Предисловие

О жизни Клавдии Николаевны Бугаевой (1886—1970) известно немногое. Между тем она больше пятнадцати лет была спутницей одного из самых выдающихся писателей русской литературы двадцатого века Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева; 1880—1934). В воспоминаниях современников (например, в «Московских встречах» П. Н. Зайцева[1]) Клавдия Николаевна всегда упоминается только в связи с ним. Некоторые из мемуаристов — В. Ф. Ходасевич, Н. Н. Берберова, А. В. Бахрах — познакомились с ней в «русском Берлине». Введенные в заблуждение самим Белым, находившимся в то время в состоянии очередного кризиса, столь характерном для его личной жизни, они изображают ее как своего рода антропософского *eminence grise**, заключившего его в объятия веры и увлекшего в конце концов обратно в Советскую Россию[2]. Десять лет спустя, летом 1933 года, Надежда и Осип Мандельштам встретились с ней и с Белым в Коктебеле, но ни писатели, ни их жены не сблизились[3]. Это, пожалуй, все, что можно почерпнуть о Клавдии Николаевне из мемуарной литературы, кроме упоминаний мемуаристами-антропософами той деятельной роли, которую она играла в Русском Антропософском обществе[4]. М. Н. Жемчужникова оставила нам крайне сочувственный ее портрет: «Небольшая легкая фигурка, спокойные, какие-то музыкально ритмичные движения. Красивая ритмичная походка была ее особым свойством, впоследствии еще развитым в эвритмии. И говорила она спокойно и просто, но всегда очень

*серый кардинал (*франц.*).

по существу. Любовь к шутке, юмор тоже всегда как бы играли вокруг ее лица, смягчая категоричность суждений, нисколько не умаляя этим убежденность в их истине. Но только заглянув в ее глаза, вы чувствовали то, что, на мой взгляд, можно определить как основу всего ее существа. Я называю это „жар души". У нее были удивительные глаза. Описать их можно только одним словом — „лучистые" <...>. Трудно описать, какой ореол окружал ее в Обществе. „Старшие" говорили „Клодя", и в их голосе звучала нежность; „младшие" говорили „Клавдия Николаевна" с восхищением и почитанием. Ее авторитет <...> был необычайно высок. <...> Она была очень умна, это свойство замечали в ней прежде всего, даже люди со стороны. Но ум этот и эрудиция были согреты вот тем „жаром души", который в ней горел и согревал души тех, кто с ней соприкасался»[5].

Одной из душ, согретых соприкосновением с Клавдией Николаевной, был Андрей Белый, благодаря которому (и это единственный источник) мы знаем что-то о ранних годах ее жизни: «...гораздо позднее, когда мы рассказывали друг другу свои биографии, — выяснилось: в 1908—1910 годах *„курсистка Алексеева"* (т. е. К. Н.), бывшая далекой от всякой официальной *„духовности"*, переживала *кризис сознания* (от решения с собою покончить, от неверия и мрака душевного, — к решению искать *правду*); переживая кризис, *„курсистка Алексеева"*, жившая в других районах Москвы, случайно попала в переулочный наш район; и — бродила в Неопалимовом переулке; *„пунцовый огонек"*, мною описанный, еще горел[6]; и она приходила из ночи к его *„огню"* и к лику Богоматери; отсюда — начало ее исканий до... антропософии (1912 год, т. е. и *мой год* встречи с доктором); *„симфоний"* в то время она не знала[7]; интересовалась лишь *историей* и *соц<иальным> вопросом* (т. е. была *„сериозной"* курсисткой, отчасти *„презиравшей"* декадентов); а... Неопалимов переулок (*„мой"* переулок!) у нее *тогда уже был*»[8].

Урожденная Алексеева, Клавдия Николаевна стала Васильевой, обвенчавшись в 1910 году с врачом Петром Николаевичем Васильевым. Оба они, как и другие члены ее и его се-

мей, были приверженцами антропософии Рудольфа Штейнера и состояли членами Русского Антропософского общества с самого его открытия в Москве 7 сентября 1913 года. Белый впервые увидел ее во второй половине 1912 года в Швейцарии, где Штейнер («доктор») читал в Базеле лекционный курс «*Евангелие от Марка*»: «А знаете, где мы впервые, не зная друг друга, встретились? Да... в приемной у доктора, под Базелем, в 1912 году; мы с Асей (Тургеневой. — *Ред.*) приехали на свидание, входим в приемную; там сидела лишь нами незнаемая Клавдия Николаевна; я ее, как сейчас, помню: она ужасно понравилась; и я подумал: какое *милое, родное* лицо; и еще подумал: какая-нибудь из „*немецких Гретхен*"; в это время вышел доктор и позвал К. Н.; когда она уходила в передней, ее провожали Мария Яковлевна (фон Сиверс, впоследствии жена Штейнера. — *Ред.*) и говорила по-русски с ней; мы с Асей потом говорили: „Что это за русская, которую мы не знаем, никогда не видали, а мы знаем всех русских антропософов?" Но она — скрылась бесследно...»[9]. Клавдия Николаевна «мелькнула» в Гельсингфорсе в мае 1913 года среди других русских, приехавших на курс Штейнера «Оккультные основы Бхагаватгиты»[10], но познакомились они лишь в сентябре 1916 года, после возвращения Белого в Москву из Дорнаха (Швейцария), в котором находился центр антропософского движения. Клавдия Николаевна работала тогда в библиотеке Антропософского общества в Москве. Белый в это время читал там лекции и, часто бывая в библиотеке, созданной его другом А. С. Петровским, встречался там с Клавдией Николаевной[11]. Со временем они подружились: «...1917 год — год нашей моральной, духовной встречи»[12].

В «Ракурсе к дневнику» Белый впоследствии записал следующее: «Дедово <...>. Радостное для меня и *роковое в радостном смысле письмо от К. Н. Васильевой; с этого письма оформляется наша внутренняя встреча.* — Москва — Радостный период жизни, окрашенный 1) Встречею с К. Н. 2) Верой в революцию и Россию 3) Надеждами на нашу <в>„А*<нтропософском>* О*<бществе>*" деятельность» (1917, декабрь); «...это вре-

мя — начало личного сближения с К. Н. Васильевой: и встречи в библиотеке, где она отсиживает часы, а на эвритмии — превращаются в сердечные беседы» (1918, январь)[13]. Десять лет спустя Белый подробнее рассказал об этом поворотном периоде в отношениях с Клавдией Николаевной: «...зимой 1917—1918 годов <...> мы... встретились... с К. Н. Она сразу же, когда в 16<-м> году я вернулся, мне прозвучала... тогда еще *„моим" „Дорнахом"* (т. е. *„суммой"* света во мне); она — *первая* меня поняла в моей антропософии; я стал вторично *„москвичом"*, потому что она мне вернула во многом: Москву и Россию (будучи ученицей доктора); перед Рождеством 1918 года мне стало так одиноко, что я, бросив все в Москве, уехал в Дедово (и сидел там во мраке: С<ергей> М<ихайлович> (Соловьев. — *Ред.*) и его жена, Таня, уехали, а керосин — исчез); и вот: в этот *„мрак"* (всяческий) приехали Таня с керосином и с письмом мне. Письмо — от К. Н. Она, *одна* из всех москвичей, с невероятной чуткостью поняла, в какой *мрак* я ушел (а я в те дни уже решил ехать за границу); и она нашла слова; слова ее были, как... брызнувший свет, как то, чем когда-то запела мне московская *„Симфония"* (*то* именно: я даже удивился сходственности нот); помню, как я душевно *просветлел* (а вокруг зажгли лампы: *приехал керосин*). Так в Дедово <...> был мною получен *луч* меня осиявшего света <...> в 1917 году, когда все в душе висело на волоске: пребыть в России, или... *„утечь"* к Асе... Меня удивило: откуда К. Н., с которой я внешне тогда мало говорил, *так до дна* прочитала мою душу. И я — вернулся в Москву с решением *мне быть в России*; и послал К. Н. вместе с благодарностью за *духовную помощь „Симфонию"*, как знак того, что она помогла мне *тем именно*, чем во мне запевала *„Симфония"* в годах зари; и помню, как был изумлен, когда нес письмо[14] по только что узнанному ее адресу: она жила — в *Неопалимовом переулке*, наискось от церкви *Неопалимой Купины. Неопалимов переулок* выслал мне *светлого друга*. <...> петербургская жительница, в 1914 году совершенно случайно переехавшая в Москву к сестре и матери (когда мужа взяли на войну), оказалась в Неопалимовом переулке (где они жили),

<...> а в 17<-м> году здесь произошла наша *„встреча"*; так в *„ней"* мне связались конкретно: *антропософия* и *Россия, годы ученичества* и *ранние годы зари*, Москва и Дорнах»[15].

Белый был глубоко убежден в том, что антропософии предстояло сыграть большую культурную и общественную роль в новой России, и он живо пропагандировал ее в лекциях для широкой публики и в лекционных курсах для «посвященных»: «С января (1918. — *Ред.*) особенно расцветает во всех смыслах наша антропософская жизнь; кружки, интимные собрания, собрания для гостей (открытые), беседы; обсуждения плана журнала „Эвое" в смысле материала статей; частые собрания в помещении *„А<нтропософского> О<бщества>"* (бывшей квартиры Общества), перенесенном из Полуектова переулка на Кудринскую Садовую[16] <...>. Мы радостно смотрим вперед» (*РД*). К апрелю 1918 года его близость с Клавдией Николаевной перешла «в ту прочную связь, которая стала уже нерасторжимой в десятилетии 1918—1928 годах <sic!>» (*РД*). Но вера в будущее подверглась суровому испытанию советской реальностью, и летом 1918 года Белый пережил «впервые сериозный перелом от розовой романтики в отношении к революции к исканию чисто реалистического самоопределенья в ней» (*РД*). В сентябре Белый с Клавдией Николаевной ездили «задуматься к „Черниговской Божией Матери" (близ Посада). <...> Живем в гостинице, где задумываемся над „путем *жизни*"» (*РД*).

По возвращении в Москву начались «всяческие невзгоды жизни (холод, голод, <...> беспокойство за маму, неудобства с едой, чаем и т. д.)» (*РД*), а также долгие годы утомительной «службы» в ряде советских культурных учреждений в целях спасения и себя и матери от этих невзгод. В Москве Клавдия Николаевна стала человеком, которому он поверял свои тревоги, спрятанные от других: «...молчание было-таки... молчанием, которого тяжесть заставляла себя мучительно чувствовать; хотя мои нервы и были забронированы жизнью на Западе, они бы не вынесли, если бы в лице К. Н. Васильевой я не нашел душу, которой бы мог сказать „все *как есть*"; и этим правдивым сказом сказаться действительно»[17]. Но в начале 1919 года Бело-

го ожидал новый удар: «срыв <...> инициативного кружка в „*А<нтропософском> О<бществе>*"» (*РД*) и «сражающее письмо» от Аси Тургеневой, в котором она писала, что с их совместной жизнью покончено. Он не знал, отказаться ли от нее, и от Дорнаха, и всего, что было духовно с ними связано, или, наоборот, помчаться туда, чтобы объясниться с ней: «1919 год — тяжелый: 1) самый трудный год, 2) явное разочарование в близости „*революции Духа*", 3) тяжелый удар, нанесенный мне Асей, вызывающий решение, какою угодно ценою, вырваться к ней; <...> 4) подкрадывающиеся сомнения и разуверения во многом: в *докторе* и *антропософии* от неумения чего-то понять в себе и в докторе (это я таю от всех, кроме К. Н.)...»[18]. Белый опять впадает в глубокую депрессию: «Я бы погиб, если бы отдельные добрые души (чаще женские) иногда добровольно мне не помогали», — рассказывал он впоследствии в письме, которое в ужасающих подробностях описывает его страдания в то время[19]. Главную роль в восстановлении душевного равновесия сыграла Клавдия Николаевна, с которой Белый постоянно виделся.

Совершенно измученные, они провели май и июнь 1919 года в Карачеве, Орловской области. 26 августа бездомный Белый перебрался в квартиру Васильевых, где прожил до октября. О начале ноября он записывал: «...задумываем с К. Н. мой отъезд за границу» (*РД*) для выяснения отношений с А. А. Тургеневой. Ему казалось, что поездка может состояться в январе 1920 года, но, когда этим планам не суждено было сбыться, Белый переехал из Москвы в Петроград, где пробыл с февраля по июль. Сначала он поселился в знаменитом «Доме Искусств» и погрузился в работу «большого культурного дела»: «В 20 и 21-м годах мне пришлось „*5*" месяцев, потом „*6*" месяцев работать в центре „*В<ольной> ф<илософской> а<ссоциации>*" как председателю и члену совета; <...> особенно радовало, что „*В. ф. а.*" — не общество, а — *ассоциация* людей, связанных в исканиях новой *культуры* (мысли, общественности, искусства) <...>. До отъезда за границу в 21-м году я работал в „*В. ф. а.*"; и в этой работе забывал ужасные тучи

сомнений, нависавшие надо мною и над моей личной жизнью»[20].

К концу 1920 года «розовая романтика» прошла у Белого почти бесследно («все увеличивающийся *„идиотизм"* правительственной власти; „они" разводят всюду свою отвратительную мертвечину»[21]), но не исчезла его навязчивая идея уехать за границу к Асе. Он жил в состоянии неопределенности по поводу возможного отъезда до конца марта 1921 года, когда вновь переехал из Москвы в Петербург: «...опять с марта до сентября впрягся в работу „Вольфила", с какими же силами? Опять хлопотал об отъезде, и опять не пустила Чрезвычайка (в июне); тогда я нервно заболел; меня лечил невропатолог проф. Троицкий. Тут я решил бежать, но об этом узнала Чрезвычайка, и побег — рухнул. Тут умер Блок, расстреляли Гумилева, и — устыдились; молодежь стала кричать: „пустите Белого за границу, а то и он, как Блок, умрет!" Друзья надавили, и — пустили»[22]. 20 октября Белый выехал из Москвы. 19 ноября, после почти месячного ожидания немецкой визы в Ковно, он приехал в Берлин.

Обдумывая свое пребывание на Западе, которое он рассматривал как санаторий, в котором «надо окрепнуть нервами, написать начатые книги, издать их»[23], Белый считал Берлин лишь этапом на пути к своей конечной цели — Дорнаху, к встрече с Асей и самим Штейнером. Еще до приезда в немецкую столицу его настроение было мрачным, как будто он находился в ожидании наихудшего: «Тебя лично я глубоко люблю, — писал он А. А. Тургеневой из Ковно, — но эта любовь — все эти года доставляла одно сплошное страдание; и от этой любви — *„ни привета, ни ответа"*; все, что подлинно любит меня, все, чему я нужен, — в России. Русская эмиграция мне столь же чужда, как и большевики; в Берлине я буду один. Антроп<о-софское> О<бщест>во? Но — нет, нет, нет, там я был бы *бараном* в стаде; моя работа в Антропософии — в России. Но Россия меня измучила»[24]. И худшие его предчувствия сбылись: «...я ехал главным образом для того, чтобы встретиться с Асей, ехал в Дорнах, ехал, чтобы ознакомиться с пульсом жизни культур-

ной Германии; и — что же? Встреча с Асей отозвалась рядом тяжелых ударов и потрясений; 24 месяца моей жизни в Европе были жизнью без Аси (с ней мы виделись мимолетом, при ее проездах через Берлин); да и кроме того: она умерла в моей душе; и этот процесс ее умирания во мне переполнял более года мой организм такими душевными ядами, что я прибегал к вину, чтобы погасить остроту самосознания. Я ехал в Дорнах, а — просидел в Берлине, в самом безвкусном, пошлом, скучном, циничном городе в мире; в Дорнах не мог попасть...»[25].

В Берлине Белый встретился не только с непониманием, но, по его убеждению, и с враждебностью членов западноевропейского антропософского движения: «Болезнь же — от любви, униженной и растоптанной звериною мордою „*Общества*". Ни одного ласкового антропософского слова за это время; ни одного просто человеческого порыва со стороны „членов общества"; <...> западные антропософы в отношении к „Андрею Белому" поступили... свински...»[26]. Пройдя через один из наиболее тяжелых, кризисных периодов своей жизни («в Берлине — никто меня не любил: ни антропософы, ни эмигранты»[27]), Белый чувствовал себя покинутым всеми: «„*жена*" меня бросила, „*учитель*" повернул от былого „*дома*", „*дом*" — „*сгорел*"; Запад — „*прогорел*"...»[28].

К началу 1923 года Белый оказался в духовном тупике, на пороге нервного срыва. В эту «самую опасную минуту прострации»[29] на помощь к нему приехала Клавдия Николаевна: «...около меня выросла — Москва: К. Н.»[30] Нина Ивановна Гаген-Торн, которая знала Белого со времени участия в «Вольфиле», вспоминала: «Клавдия Николаевна по поручению московских друзей и с разрешения Вячеслава Рудольфовича Менжинского приехала в Берлин уговорить Бориса Николаевича вернуться в Советский Союз»[31]. (Еще одно антропософское поручение, связанное с Т. Г. Трапезниковым[32], Клавдия Николаевна исполнила в 1926 году.) Белый оставил об этом короткую запись: «К середине месяца (январь. — *Ред.*) — радость: приезд в Берлин К. Н. Васильевой. Засиживаюсь дома. Нигде не бываю. Провожу вечера с К. Н.» (*РД*). Несмотря на то что он иногда выме-

щал на Клавдии Николаевне свою истерическую боль и уныние (см. его замечания об «антропософской тетке», высказанные некоторым берлинским друзьям[33]), душевное равновесие именно благодаря ей возвращается к Белому: «...с этого (приезда Клавдии Николаевны в Берлин. — *Ред.*) начинается незаметное пресуществление *болезни* в медленное *выздоровление*: с желания выздороветь»[34].

С ее приездом разрешился и другой больной вопрос — она сумела поддержать и укрепить в Белом его приверженность к антропософии: «Если бы не дружеская, ласковая антропософская поддержка из Москвы в лице К. Н. Васильевой, приехавшей в Берлин в 1923 году и разделившей мои истинные думы, мне не вернуться бы... даже к антропософии: антропософия без антропософов... слишком для меня... Прекрасная Дама; увидев Антропософию в человеческом сердечном порыве, я сказал себе: Антропософия... все же... есть»[35]. Для Белого Клавдия Николаевна «стояла, как путеводная „*звезда*“: от *антропософии* к... *антропософии* по-новому»[36]. 23 марта 1923 года *он поехал вместе с ней* в Штутгарт на «штутгартскую учебную неделю» при антропософской Вальфдорфской школе: «Живу в Штутгарте у Унгера; беседы: с Унгером, Гейдебрандт, Столькошем, Унгером, Юли, Асей, Аронсоном, Драхенфельс, Ваксмутом и т. д.» (*РД*). Там 30 марта и состоялась наконец долгожданная встреча со Штейнером. Пять лет спустя Белый описал эту встречу в характерном для него исповедальном ключе: «Второю поддержкой, дающей надежду в то время, что я смогу стряхнуть свой паралич, был удар грома по трупу (Антропософского. — *Ред.*) общества, или слова Штейнера в 23<-м> году о том, что аппарат этого общества — труп; тогда я, сорвавшись с одра, заткнувши рот, чтобы не услышать „*вони*“, бросаюсь в Штутгарт, наперерез тому, что меня механически отделило от Штейнера, и имею свидание-прощание с ним, много мне разрешившее в будущих годах моей кучинской жизни; в нем — заря нового расцвета Антропософии в моей душе, но уже... без... морды „*Общества*“, с которым все счеты кончены. Не я их кончал. Кончила их героическая кончина Рудольфа Штейнера (в день на-

шего прощания с ним, 30 марта); 30 марта 1923 года я поклонился человеку, давшему мне столько, и зная, что еду в Россию и его не увижу — долго; 30 марта 1925 года его не стало...»[37]. В письме к Иванову-Разумнику от начала марта 1927 года Белый вспоминал: «...оживает „*доктор*“ (*К. Н.* невольно мирит меня с ним); в марте 23<-го> года доктор мне „все“ объясняет, что казалось неясным»[38].

Вопреки утверждению Белого, что уже в марте он принял решение вернуться на родину в круг друзей-единомышленников, Клавдия Николаевна окончательно склонила его к этому только в июне, после почти месяца, проведенного вместе на горном курорте в Гарцбурге («беседы с К. Н. о Москве; я кладу решение: какою угодно ценою вернуться в Россию» (*РД*)). 23 июля 1923 года Белый проводил ее в Штеттин, откуда она одна проделала свой обратный путь. А 1 августа и он получил извещение Берлинской комиссии Наркомпроса о разрешении на въезд в РСФСР, однако ему пришлось ждать визы два с половиной месяца. Наконец, 23 октября Белый выехал из Берлина, или, как он выразился в письме к Иванову-Разумнику, — «я за ней рванулся»[39].

Вернувшись в Москву в конце октября 1923 года, Белый оказался отчужден от литературной жизни. Неприятие официальными советскими инстанциями его творчества было обусловлено главным образом резко отрицательной оценкой, вынесенной ему Л. Д. Троцким в специальной статье, опубликованной в «Правде» 1 октября 1922 года и вошедшей в его книгу «Литература и революция» (1923). Заключительная фраза статьи Троцкого содержала в себе приговор: «Белый — покойник, и ни в каком духе он не воскреснет»[40]. В 1928 году Белый писал: «Я вернулся в свою „*могилу*“ в 1923 году, в октябре: в „*могилу*“, в которую меня уложил Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними все критики и все „*истинно живые*“ писатели; даже „*фетировавшие*“ меня в 1921 году странно обходили меня, опустив глаза; „*крупные*“ заслуги мои оказались настолько препятствием к общению со мною, что самое появление мое в общественных местах напоминало скандал, ибо „*трупы*“ не по-

являются, но гниют. Я был „*живой труп*"; „*В. ф. а.*" — закрыта[41]; „*А. о.*" — закрыто[42]; журналы — закрыты для меня; издательства — закрыты для меня; был момент, когда мелькнула странная картина меня, стоящего на Арбате... с протянутой рукою: „Подайте бывшему писателю". Так — не случилось. <...> Уйдя из Москвы, я два года просидел на замоскворецком заводе, служившем мне скорее одром болезни, которую медленно я преодолевал...»[43]. Безусловно, литературные возможности Белого были ограничены после возвращения в Москву, но свое положение он несколько утрирует. В 1924 году его книга «Одна из обителей царства теней» печаталась в Госиздате, были опубликованы несколько статей. Он работал над инсценировкой романа «Петербург» по заказу М. А. Чехова (пьеса ставилась МХАТом 2 в ноябре 1925 года) и начал писать первый из «московских» романов по договору с издательством «Круг». Кроме того, Владимир Лидин включил его автобиографию и библиографию его работ в сборник «Литературная Россия» (1924). Тем не менее Белый остро ощущал свою «периферийность» в советском литературном процессе. Самое пребывание в Москве, где он жил полтора года в квартире старых знакомых, Анненковых, в «замоскворецком заводе» (Бережковская наб., химический завод Анилтреста)[44], стало для него источником горьких переживаний.

В январе 1925 года Белый записал: «Длится та же безотрадная жизнь у Анненковых в комнате с разбитым окном, в атмосфере скандалов, устраиваемых В. Г. Аннековой, это<го> исключительного по жестокости человека; я совершенно расшатан этой жизнью, ни читать, ни правильно работать в такой обстановке нельзя» (*РД*). В феврале его преследовала «одна мысль, куда бежать из анненковской квартиры» (*РД*), и, наконец, в марте Белый окончательно решил «у них не жить» (*РД*). Жена известного гидролога М. А. Великанова указывает Белому и Клавдии Николаевне на подмосковное дачное место Кучино, и 24 марта, по словам Белого, «приглашает нас в имеющиеся у них в Кучине 2 комнатки в научной колонии (бывшее имение Рябушинского). Едем» (*РД*). «*По опыту знаю,* — *писал*

Белый Тициану Табидзе, — что только тогда человек освобождается, когда он имеет место, куда он может бежать, чтобы из тишины увидеть и себя, и окружающих»[45]. Кучино становится таким местом. Именно о «кучинском периоде» жизни и творчества Белого Клавдия Николаевна так много пишет в своих воспоминаниях. Они оставались там до апреля 1931 года.

26 сентября 1926 года Белый писал Иванову-Разумнику из Кучино: «...в наше время стало в 10 раз труднее преодолевать косность и идти „*против течения*"; это становится почти героизмом; да и: с годами для меня все „*вопросней*": надо ли писать, стоит ли еще писать; не есть ли писание в наших днях — „*контрреволюц<ионное>*" упорство, трафарет сознания? И т. д. Может быть, уже и литература — „*беловежская пуща*" в европейской культуре; а писатели — десяток зубров. Мне ясно одно: что тысячи писателей, наших и западноевропейских, — не писатели в смысле традиций русской литературы: что угодно — спекулянты, „*словаки*" (от „*слово*")-поставщики, прикомандированные к „*штабам*" и т. д., — все что угодно, но это *не писатели*; между тем: читают именно *их*, а не нас; *они* нужны; мы — беловежская пуща: почти ископаемые... А может, это и не так»[46]. И все-таки Белый стремился всячески подчеркивать свою лояльность и готовность влиться в строй писателей-«попутчиков»[47].

В воспоминаниях Клавдия Николаевна подробно описывает «творческую драму» тех лет, но умалчивает о не менее драматической эмоциональной стороне их совместной жизни. В Москве Клавдия Николаевна продолжала жить в квартире мужа, но проводила все больше времени с Белым. М. Н. Жемчужникова писала: «...многое изменилось, когда А. Белый как бомбой взорвал гармонию дома Васильевых, и эта бомба детонировала среди окружающих людей»[48], то есть московских антропософов. С самого начала «кучинского периода» Клавдия Николаевна проводила половину недели в Москве, а другую половину — в Кучине, со временем же она стала жить почти постоянно под Москвой, у Белого. «Они жили своей особой жизнью, зимой — Кучино, летом разнообразные поездки — Коктебель, Кавказ»[49]. Для многих друзей она стала «пленни-

цей» его судьбы. Но для Белого Клавдия Николаевна — «это какой-то вулкан исканий, всегда бескорыстных, огонь любви (не показной), воплощенный долг (не выпирающий императивами) и многообразие культурных интересов с постоянным пафосом научиться; если бы не К. Н. — дни моей жизни текли бы не так; нет, — радостно жить на свете, когда видишь людей, как она; 10-летнее мое знание ее превращает это знание в растущее удивление, во вскрик радости, благодарности и бескорыстной любви за то, что она такая, какая она есть. В воспоминаниях моих о ней нет не только ни одной тени, нет ни одной пылинки; вся она в сознании моем сверкает, как бриллиант...»[50]. Для него она — «*„ритмический жест"* судьбы <...>. Наша встреча с К. Н. — кричащий *ритмический жест*, в котором ни я, ни она — не повинны наши личности...»[51].

Из уважения к чувствам семьи Клавдии Николаевны Белый не афишировал их отношения. (Так, она не упоминается по имени в его книге «Ветер с Кавказа» (1928), где есть лишь ссылка на «спутника».) Только самым надежным друзьям — Иванову-Разумнику, М. А. Чехову, П. Н. Зайцеву — дано было знать о степени их близости. К 1927 году ситуация еще более осложнилась: муж Клавдии Николаевны, Петр Николаевич, не скрыл от нее, что он полюбил другую женщину. Но Клавдия Николаевна нигде в воспоминаниях не пишет о «напряженности своего личного положенья в Москве»[52]; лишь в дневнике можно найти записи об этом: «Боль, встающая со всех сторон в моей жизни, постоянный зажим всех чувств в центре... <...> Только иногда глухо стонет сердце. Боже, дай еще мне выдержать путь моей жизни»[53]. 16 августа 1928 года Белый снова доверился Иванову-Разумнику: «...мы с К. Н. *вместе* (и работаем, и морально мыслим, и вместе ищем, взявшись за руки) уже с 1918 года. И за десять лет Бог знает как стали близки: можно сказать, что все мое стало ее и все ее стало моим (и люди, и вкусы, и заботы дней и т. д.); всем это ясно; и всем это понятно (и ее родным, и Петру Николаевичу, ее мужу, который сам признается, что он вполне понимает меня и ее и ничего не может противопоставить нашей моральной связи[54]). Но тут-то и

подымаются *„Парок бабье лепетанье, — жизни мышьей суетня“*. Петр Николаевич — человек благородный, честнейший и силящийся сознанием стать на уровне проблемы *Пути*; увы, — у него слабая воля и *страстное*, ревнивое сердце; он мучается нашей близостью с К. Н. тем сильнее, чем яснее видит, что сказать тут нечего. Он прекрасный человек, умный доктор, изумительно музыкально одаренный, но... — несмотря ни на что, он с 1910 года (года женитьбы) до 1928-го все еще погибает от *„безнадежной“* любви; и ведет порою себя, как капризный ребенок. Мать К. Н., Анна Алексеевна, старушка пуританская с явным уклоном и в толстовство, и в *„брандизм“* (от *„Бранд“*, драма Ибсена), когда-то взяла с нас слово, чтобы К. Н. внешне осталась с П. Н. и чтобы мы (я и К. Н.) не были мужем и женой; она очень слаба; у нее склероз; и боязнь *убить* ее держит нас в условностях. Единственно, кто мог бы нас разрешить от *„уз“* протестантской *„морали“* (в кавычках) и догматов *„семейного дома“*, в котором К. Н. (в силу обстоятельств, а не своей воли) должна играть роль *„супруги“*, — единственно, кто мог бы нас *разрешить*, так это П. Н.: но повторяю: тут он *слаб*, как... капризный ребенок; и, так сказать, *„бронирует“* себя той Анной Алексеевной, которая *требует*, чтобы К. Н., *„якобы“* щадя П. Н., осталась *„мадам“* Васильевой; и тут-то начинаются *„бабьи... лепетания“* и *„мышьи... грызни“*, буквально изгрызающие душу К. Н. *„Наши“* прекрасно понимают нас с К. Н.: но остается *труп быта*, который насильно привязали к К. Н.: все эти отдаленные родственники Анны Алексеевны, живущие 70<-ми> годами прошлого века, родственники Петра Николаевича, начиная с его матери, бывшей *„директрисы“* ленинградской гимназии, ныне приехавшей из Сочи к *„Клоде и Пете“*! <...> Конечно, Петр Николаевич мог бы, если бы был *сильным* человеком, освободить К. Н., т. е. доказать Анне Алексеевне, что он *не погибнет* без *„Клоди“*. А он... человек слабый; а мы, который год, боимся поднимать разговоры на эти темы из-за здоровья Анны Алексеевны (припадок, сердечный удар, вообще *„удар“*). И стало быть: ложь *„жизни сей“* — довлеет; мы с К. Н., когда рассуждаем обо всем этом, — решаем: до кончины (не дай Бог!) Анны Алексеев-

ны положено нам быть „*страдающей*" стороною, ибо мы, увы, все же — *сильнее духом*... Но что стоит это К. Н.!»[55]

Клавдия Николаевна умалчивает, разумеется, и о гонении на членов антропософского движения. (До самой смерти она надеялась напечатать свои воспоминания в Советском Союзе, и ее жестоко обманывали, подавая надежду на такую возможность; этим объясняется отсутствие слова «антропософия» в тексте и всего одно упоминание имени Р. Штейнера). Еще в 1924 году А. С. Петровский, один из самых близких друзей Белого и Клавдии Николаевны, был арестован и на полгода заключен в Бутырскую тюрьму[56].

9 апреля 1931 года, после нескольких месяцев «нестерпимостей» (А. Белый) они покинули Кучино и уехали в Детское (бывшее Царское) Село, где жили по соседству с Ивановым-Разумником и его женой до апреля 1932 года. «Апрель—май 1931 года оказались тревожней, чем предполагали все мы, и особенно близкие Борису Николаевичу и Клавдии Николаевне люди. Над нами собиралась гроза. <...> В апреле 1931 года в Долгий переулок (где находилась квартира Васильевых. — *Ред.*) явились чекисты и забрали архив А. Белого, одновременно начались аресты людей, связанных с писателем»[57]. 8 мая арестовали мужа и сестру Клавдии Николаевны, Петровского и других деятелей антропософского движения. «Опасаясь, что меня могут тоже арестовать, — вспоминает П. Н. Зайцев, — я немедленно отправился в Ленинград, чтобы предупредить Бориса Николаевича о печальных событиях. <...> являюсь я и рассказываю об изъятии архива и аресте сестры Клавдии Николаевны, Елены. Белый немедленно написал письмо А. Горькому, и я тут же отправился в Москву. <...> 27 мая после тщательного обыска, не давшего никаких результатов, был арестован я»[58]. 30 мая в Детском Селе Клавдию Николаевну также арестовали и отвезли в Москву, на Лубянку.

Белый горел «как на медленном огне, в тревоге за К. Н. <...> Кл<авдия> Ник<олаевна> мне не жизнь моя, а — 1000 жизней», — писал он В. Э. Мейерхольду 8 июня, обращаясь за помощью[59]. По совету Иванова-Разумника Белый оставался в

Детском Селе, но, как писал он З. Н. Райх 18 июня, не находил себе места: «...извелся! К. Н. мне дороже жизни, ни в чем не винна, а — страдает. Если бы ее постигло что-нибудь без вины и я не мог бы быть с ней, мне остается судьба... Есенина!»[60] 23 июня Белый выехал из Детского в Москву. По приезде он начал хлопотать об арестованных друзьях[61], а также подавать заявления в Коллегию ОГПУ с просьбами о возвращении конфискованных рукописей и пишущей машинки. 27 июня благодаря ходатайству Мейерхольда Яков Агранов, член Коллегии и заведующий секретно-политическим отделом ОГПУ, принял его, «позволил горячо, до конца высказаться, очень внимательно отнесся» к его словам[62].

3 июня Клавдия Николаевна и Петр Николаевич были освобождены: «До сих пор хожу, как во сне; еще не могу сообразить; все кажется, что — сон. К. Н. помолодела, веселая, стриженая; хохочет; <...> у меня есть надежда, что все хорошо...»[63]. А 18 июля они стали мужем и женой[64]. В письме к А. С. Петровскому в конце декабря 1931 года Белый рассказывал: «...как странно, что то, о чем думал года, что казалось неосуществимым, в эти тревожные, темные месяцы разрешилось само собой <...>. Так что *мертвая петля*, душившая нас троих от невозможности К. Н. развестись с ним и стать моей женой, сама собой развязалась; может быть — такое неожиданно светлое разрешение личных трагедий нас троих оттого, что мы очень настрадались в ряде лет; и уже с *23 года* было почти чудовищно, что К. Н., будучи связана со мной всем, должна была числиться его женой»[65]. Больше месяца Белый, Клавдия Николаевна и ее бывший муж «провели буквально втроем <...>. Только втроем нам и было хорошо, — писала Клавдия Николаевна Петровскому 14 декабря. — Мама в это время сильно бунтовала и не хотела принять Б. Н. в новой роли моего „мужа"... И тут Петя часто заступался за Б. Н., когда у них с Мамой доходило до очень острых моментов. Теперь Мама вся обратилась сердцем к Б. Н. и восстала на Петю. Вот какая она бурная!»[66]

Они также ждали разрешения для Клавдии Николаевны выехать из Москвы. Как писал Белый Сталину 31 августа 1931 го-

да, «с нее взяли подписку о невыезде из Москвы до окончания дела бывших членов „Русского Антропософского Общества“, заметив, что временное прикрепление есть просто „*формальность*“. Бросив срочную работу, <...> два месяца живу без помещения, возможности работать, в бесполезных шестинедельных хлопотах — заменить жене временное прикрепление к Москве временным прикреплением к Детскому. <...> Может быть, жест этого моего письма к Вам — вскрик отчаяния и усталости и недомогания; так и отнеситесь к нему, но, если бы Вы мне смогли помочь в инциденте с женой, для меня эта помощь была бы стимулом к преодолению и других трудностей, которых не мало»[67]. Письмо, может быть, и подействовало. 6 сентября они наконец уехали обратно в Детское Село. Белый писал П. Н. Зайеву, находившемуся в ссылке в Средней Азии: «...мы с К<лавдией> Н<иколаевной> самовысылаемся в Детское; и теперь эта жизнь в Детском — необходимость изменить режим жизни К<лавдии> Н<иколаевны> (не иметь большого контакта с антроп<ософской> средой); она дала такое обещание при выпуске на свободу; <...> мы должны спешно покинуть Москву, что советуют опытные люди (Воронский, Санников и др.)»[68]. Осенью, после хлопот, доведших Белого до сердечной болезни, большинство конфискованных рукописей и машинку ему вернули.

О жизни в Детском Селе Белый рассказывал Г. А. Санникову 25 ноября 1931 года: «Всё, что касается нас с К<лавдией> Н<иколаевной> — мирно, благополучно; живем тихо: очень много работаем, К<лавдия> Н<иколаевна> помогает мне в работе над Гоголем (диктую ей, и она ведает роем выписок и цитат) <...>. В Ленинграде почти не бываем; видим главным образом детскоселов, соседей Шишковых, Петрова-Водкина и нек<оторых> других; живется с Разумниками тихо и просто»[69]. Но в апреле 1932 года Белый и Клавдия Николаевна приняли решение уехать из Детского Села. Вернувшись в Москву, они поселились в полуподвальном помещении на Плющихе, в одной квартире с родственниками Клавдии Николаевны и с ее первым мужем. Отдельную квартиру в кооперативном писатель-

ском доме на ул. Фурманова Клавдия Николаевна получила уже после смерти Белого.

В последнее десятилетие жизни Белый постоянно тревожился о благополучии родных, о деньгах, о «жилплощади», переживал о судьбе новых произведений[70]. Он желал участвовать в строительстве «нового общества», но видел все меньше как политических, так и литературных возможностей для этого. В письме к Сталину он писал: «...деятельность литератора становится мне подчас невозможной; и на склоне лет подымается вопрос об отыскании себе какой-нибудь иной деятельности, ибо каждая моя новая работа <...> требует с моей стороны вот уже скоро десять лет постоянных оправданий и усилий ее провести; каждая моя книга проходит через ряд зацепок, обескураживающих тем более, что участие мне в журналах почти преграждено; на мою долю выпадает писание толстых книг (до 30 печатных листов), требующих огромных усилий; а они лежат чуть ли не года до выхода в свет, что ставит в весьма трудное и моральное и материальное положение; <...> нервы истрепаны, здоровье расстроено, прежних физических сил уже нет и не может быть»[71]. На этот раз апелляция к высочайшей инстанции не возымела действия. В 1931—1933 годах аналогичная ситуация возникла с романом «Маски» и со вторым томом воспоминаний «Начало века», в котором Белый всеми силами «оправдывал» и себя и свое «символистское» поколение. А когда этот том наконец вышел во второй половине ноября 1933 года, ему была предпослана статья Л. Б. Каменева, характеризующая всю литературную деятельность Белого как «трагикомедию», разыгранную «на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы». Ознакомившись с предисловием, Белый пришел в негодование, у него резко ухудшилось состояние здоровья. 8 января 1934 года он скончался.

20 апреля 1933 года Белый, «чувствуя себя слабее и предполагая», что ему «недолго остается жить», обратился с просьбой к Совету Народных Комиссаров, чтобы он «обеспечил ту, кто в ряде лет являлся моим ближайшим другом, сотрудником, секретарем, — ту, которую я люблю всеми силами сво-

ей души, — а именно: я прошу обеспечить жизнь и судьбу жены моей Клавдии Николаевны Бугаевой (и ее ближайших родственников: матери, сестры, тетки) <...>. Особенно прошу, чтобы в случае смерти моей жене дали б возможность жить в квартире, предоставленной мне писательским кооперативом»[72]. Через два года после кончины мужа ей дали эту возможность и назначили мизерную пенсию.

Преданная Белому в жизни, Клавдия Николаевна посвятила свои труды и дни сохранению творческого наследия писателя и работе над ним. Она составила каталог рукописей, аннотированный перечень писем Белого и писем к нему (1000 карточек), с помощью А. С. Петровского и Д. М. Пинеса написала подробный обзор «Литературное наследство Андрея Белого»[73], составила детальную летопись его жизни и творчества, библиографии произведений Белого и работ о нем на русском и иностранных языках. Она много лет трудилась над словарем языка поэзии и прозы Белого, над картотекой собственных имен и эпитетов, встречающихся в его прозе (4000 и 9000 карточек), и над полной алфавитной росписью лексики романа «Маски» (10000 карточек). Она также наблюдала за теми немногими изданиями его произведений, которые появлялись после его смерти. (Существует, например, ее переписка 1939 года о переводе книги «Между двух революций» на английский язык, а также оглавление, составленное ею к неосуществившемуся в 1946 году изданию однотомника стихов Белого.) Вся эта работа, разумеется, не принесла ей ни копейки, и время от времени ей приходилось продавать в государственные хранилища материалы из оставшегося у нее архива. Многое, впрочем, оставалось у Клавдии Николаевны до самой смерти, в том числе антропософские работы Белого[74].

Во время тяжелой болезни, которая парализовала ее и приковала к постели на последние семнадцать лет, за К. Н. Бугаевой самоотверженно ухаживала Елена Васильевна Невейнова, антропософка, которая буквально спасла ее, как было сказано мне одним из их общих друзей. (Опекала ее и Мария Николаевна Жемчужникова.) Тем не менее Клавдия Николаев-

на пристально следила за работой над творчеством Белого и терпеливо отвечала на вопросы и выполняла просьбы ученых — как советских, так и западных. Она скончалась 22 февраля 1970 года. Ее похоронили в одной могиле с мужем, на кладбище Новодевичьего монастыря.

К. Н. Бугаева — автор необычайно содержательных воспоминаний об Андрее Белом. Написанные в 1934—1936 годах, они наполнены множеством живых подробностей. Мы видим и слышим Белого как никогда и нигде раньше.

Образ Белого, созданный К. Н. Бугаевой, отчасти сходен с тем, который известен нам из других источников: чудак, неуклюжий в мире «вещей» и часто беспомощный в житейских делах, но гений, когда погружался в возвышенную сферу творчества. Многие, как Надежда Мандельштам, свидетельствовали о магнетической силе его личности: «Казалось, он весь пронизан светом. Таких светящихся людей я больше не встречала. <...> он заряжал каждого, кто к нему приближался, каким-то интеллектуальным электричеством. Его присутствие, его взгляд, его голос оплодотворяли мышление, ускоряли пульсацию. У меня осталось впечатление бестелесности, <...> чуда...»[75]. Белый — «пленных дух» для Марины Цветаевой; Н. Валентинов определил его как «бестелесное существо», которому «физическое было чуждо, было вне его и сознания его. <...> Я, например, никогда не видел, как и что он ест»[76]; а Федор Степун «последнюю сущность» своего восприятия Белого как человека не смог выразить иначе «как в форме странного вопроса: да существовал ли вообще Белый?»[77]. Клавдия Николаевна восстанавливает, наконец, и человека, и человеческое в образе Белого. Она находит детали, которые, как ни у кого до нее, придают Белому «телесность»[78]. Ее портрет лишен карикатурности, которая обезображивает некоторые другие воспоминания[79], и написан он так, что, раскрывая внешнее, одновременно дает почувствовать и понять все, что за этим внешним таилось.

К. Н. Бугаева принадлежит «к числу тех умных мемуаристов», которые, по словам В. Ф. Ходасевича, «сами оставаясь в

тени, умеют на первое место выдвинуть изображаемые события»[80]. В ее мемуарах «событие» — это Андрей Белый. Клавдия Николаевна не самоутверждается, не настаивает на своем особом месте в жизни великого человека. Перед нами не «Моя жизнь с...», а просто «Воспоминания о Белом». Он настолько был частью ее мира, что его образы, слова, даже особенности стиля (например, множество тире) встречаются и у нее. Она кажется его верным отражением. Тем не менее невозможно описать другого человека, не оставив в изображенном следов собственной личности. Клавдия Николаевна не оригинальничает ни морально, ни эстетически и не представляет себя интеллектуально равной Белому, несмотря на то что она, безусловно, была человеком широкого образования, разностороннего интеллекта и глубокой культуры. (Это чувствуется на каждой странице ее текста.) Напротив, она подчеркивает, что у Белого в последние годы с острой болью вставало сознание его интеллектуального одиночества. Клавдия Николаевна не претендует на роль человека, способного восполнить отсутствие взаимопонимания у других людей. Но она давала не менее необходимое: доброту, нежность, тепло и любовь. «Всегда думаешь, глядя на них обоих, — писала Г. А. Назаревская[81], — „Вот люди, которые любят друг друга так, как вообще хорошо бы любить людям". <...> Я не знаю второй женщины с более сильным и непрестанно растущим интеллектом, чем Кл<авдия> Ник<олаевна>, и я не знаю второго человека, настолько могущего жить в другом (и для других), *ничего* не теряя в исключительном своеобразии своей утонченной и, вместе с тем, мощной волевой индивидуальности. Только такой человек мог быть подругой Бор<иса> Ник<олаевича> и не расплавиться в его огнях, а лишь „добела раскалиться"...»[82]. Именно твердость и надежность ее характера сделали годы, которые Белый прожил с нею, самым устойчивым периодом его жизни. Все его прошлые увлечения — Ниной Петровской, Любовью Дмитриевной Блок и Асей Тургеневой — неизменно искривлялись какой-то гримасой и, в конечном итоге, приводили его к мучительной неуверенности, терзаниям, даже истерике. Все эти

женщины были с претензией на «артистический темперамент»: Н. Петровская была писательницей, Л. Д. Блок считала себя актрисой, а Ася Тургенева была художницей (она делала, в частности, витражи Гетеанума в Дорнахе по эскизам Р. Штейнера и собственным)[83]. И все они были лишены уравновешенности в той же мере, что и сам Белый. В результате эти увлечения часто не отделялись от заманчивой и ложной «игры», в которой каждый исполнял какую-то предназначенную ему роль. Ничего подобного, слава Богу, не было в отношениях Белого с Клавдией Николаевной.

Все мемуаристы подчеркивают спокойный и ласковый нрав Клавдии Николаевны. Когда она приехала в Берлин в 1923 году, Белый был как израненный зверь. Тихая устойчивость ее характера, ее самоотверженная заботливость и преданность, постоянная дружественность и вера в антропософию вернули его к жизни. В последующие годы она создала атмосферу спокойствия, окружавшую бурную творческую жизнь Белого. Надежда Мандельштам писала об этой «маленькой, умной, когда-то хорошенькой» женщине, которую она видела в Коктебеле летом 1933 года. В то же время, она, по-моему, ошибочно приняла заботу о муже и личную настороженность Клавдии Николаевны (нельзя забывать о времени, проведенном ею на Лубянке) за презрение ко всем «непосвященным в ее сложный антропософский мир»[84]. В настоящей книге нет и намека на что-либо подобное. Не встречается здесь и каких-либо доказательств ее силы воли и характера, без которых она не могла бы выдержать всяческие семейные и житейские невзгоды (в том числе арест, допрос, лишения и болезни последних лет) и жизнь с человеком постоянно и бурно меняющихся настроений, одержимым мыслью о своей работе, которая требовала неизменного режима.

В рецензии на «Начало века» В. Ф. Ходасевич писал: «Поехав в Россию, Белый там, наконец, обрел тот семейственный лад и уют, которого ему так недоставало всю жизнь и которого каждый человек, особенно в немолодые годы, вправе хотеть. Вероятно, и в качестве антропософа нашел он себе подходя-

щее, очень тесное, окружение. Но в литературном смысле оказался он одинок в высшей степени»[85]. Клавдия Николаевна не могла преодолеть его литературную изоляцию, но она создала ту атмосферу, которая давала Белому возможность творить. Он признал это, когда «с любовью и благодарностью» посвятил свой последний сборник стихов «Зовы времен» той, «без которой не осуществилась бы никогда эта редакция текстов».

Джон Малмстад
Гарвардский университет

[1] Зайцев П. Московские встречи. (*Из воспоминаний об Андрее Белом*) / Предисл. Д. Юшкина. Публ. и примеч. В. Абрамова // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 557—591 (Список сокращений, используемых в комментариях, см. на с. 324—325 наст. изд.); Зайцев П. Н. Воспоминания об Андрее Белом / Публ., вступит. статья и примеч. В. П. Абрамова // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 77—104. См. также: Гаген-Торн Н. И. Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый) // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 546—556; Морозова М. К. Андрей Белый // Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995. С. 49—50.

[2] «Из Москвы приезжала антропософка К. Н. Васильева, звала с собою в Россию, к антропосфоской работе. Белый, прикрыв дверь от нее, шипел: „Хочет меня на себе женить". — „Да ведь вы сами хотите жениться?" — „Не на ней! — яростно хрипел он. — К черту! Тетка антропософская!"» (Ходасевич В. Андрей Белый // Ходасевич В. Колеблемый треножник: Избранное. М., 1991. С. 308). В это время (1923) К. Н.* еще была замужем за П. Н. Васильевым. Ср.: «„ТЕТКА" — определение антропософки, догматически шаржирующей антропософию <...>. *Термин „ТЕТКА" придуман доктором* (Р. Штейнером. — *Ред.*)» (Белый А. Воспоминания о Штейнере. Paris, 1982. С. 68—69). «Она была похожа на монашку („антропософская богородица", иногда в сердцах называл ее Борис Николаевич, конечно — за ее спиной, но так называл он и других своих антропософских подруг). <...> у К. Н. Васильевой тоже был целый ряд различных воплощений: иногда в его диком воображении она была защитой и убежищем, „почти что мамоч-

---

*Здесь и далее К. Н. — Клавдия Николаевна Бугаева. — Ред.

кой", а иногда он готов был приписать ей коварную роль: она послана „доктором" следить за ним и спасти его! Какая-то мысль „спасти" его, видимо, уже тогда жила в этой женщине, но угадать, что она станет его женой, было совершенно невозможно. Она была, как говорилось когда-то, особой загадочной...» (Берберова Н. Н. Курсив мой: Автобиография. М., 1996. С. 196). Ср. также: «Тогда же прибыла в Берлин некая почтенная антропософка, старая его приятельница, которую за глаза он именовал „антропософской теткой". Нельзя не поручиться, что эта „тетка", на которой он впоследствии женился <...>, не была специально делегирована для увещевания „падшего ангела", для возвращения его на путь истины» (Бахрах А. «По памяти, по записям»: Андрей Белый // Континент. 1975. № 3. С. 312—313). П. Н. Зайцев только пишет, что К. Н., «узнав из рассказов Шкапской о положении Белого, сильно встревожилась и, как человек исключительной энергии, немедленно начала действовать. По всей вероятности, ее появление в Берлине и было для Белого спасением» (*Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 561).

3 В своих воспоминаниях Надежда Мандельштам писала о лете 1933 года: «Мужчин тянуло друг к другу, но жена Белого, видно, помнила про старые распри и статьи О. М. И явно противилась сближению. <...> Все же они встречались, хотя и украдкой, и с охотой разговаривали. В те дни О. М. писал „Разговор о Данте" и читал его Белому. Разговоры шли горячие, и Белый все время ссылался на свою работу о Гоголе, тогда еще не законченную» (Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1989. С. 145). Надежда Яковлевна ошиблась: Белый закончил работу над книгой «Мастерство Гоголя» (М.; Л., 1934) в апреле 1932 года. Кроме того, из писем Белого выясняется совершенно иное его отношение к встрече в Коктебеле. 7 июня 1933 года он сообщал П. Н. Зайцеву: «Все бы хорошо, если б не... Мандельштаммы <sic!> (муж и жена); и дернуло же так, что они оказались с нами за общим столиком <...>; приходится с ними завтракать, обедать, пить чай, ужинать. Между тем: они, единственно, из 20 с лишним отдыхающих нам *неприятны* и чужды» (*Минувшее 15*. С. 324). 17 июня Белый писал Ф. В. Гладкову: «Что сказать о Коктебеле? <...> Из писательских братий кроме меня, Мандельштама с женой да Мариенгофа — никого; оба мне далеки, но с Мариенгофом относительно легко: он умеет быть любезно-далеким и легким. А вот с Мандельштамами — трудно; нам почему-то отвели отдельный столик; и 4 раза в день (за чаем, обедом, 5-часовым чаем и ужином) они пускаются в очень „умные", нудные, витиеватые разговоры с подмигами, с „что", „вы понимаете", „а", „неправда ли"; а я — „ничего", „не понимаю"; словом: М<андельштам> мне почему-то ис-

ключительно неприятен; и мы стоим на противоположных полюсах (есть в нем, извините, что-то „жуликоватое", отчего его ум, начитанность, „культурность" выглядит особенно неприятно)» (Переписка Андрея Белого и Федора Гладкова / Предисл., публ. и примеч. С. В. Гладковой // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 769). Эмма Герштейн вспоминает: «...Осип Эмильевич, упоминая в своих „мыслях вслух" о Коперниковом видении мира, связывал свои новые постижения с Коктебелем. Мне казалось, что многое из его слов было навеяно на этот раз беседами с Андреем Белым» (Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998. С. 46). Она также упоминает стихи Мандельштама, написанные на смерть Белого («Голубые глаза и горячая лобная кость...» и «Утро 10 января 1934 года» и добавляет: «Осип Эмильевич послал эти стихи вдове Андрея Белого. Они ей не понравились. <...> Я не заметила никаких признаков обиды или раздражения по этому поводу у Мандельштама, но мне было видно, что он искренне и глубоко огорчен» (Там же. С. 50).

[4] См., например: Волошина М. (Сабашникова М. В.). Зеленая Змея: История одной жизни / Пер. с нем. М. Н. Жемчужниковой. М., 1993. С. 207. Между прочим: не путать (как я сделал в предисловии к первому изданию этой книги на английском языке) К. Н. с Елизаветой Ивановной Васильевой (урожд. Дмитриевой, 1887—1928), она же – Черубина де Габриак.

[5] Жемчужникова М. Н. Воспоминания о московском Антропософском обществе (1917—23 гг.) / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. М., 1992. Вып. 6. С. 21.

[6] Имеются в виду заключительные строки 4-й главы поэмы «Первое свидание» Андрея Белого (БП. С. 442) и церковь в Полуектовом переулке в Хамовниках.

[7] Имеются в виду ранние сочинения Белого — его четыре «симфонии» (особенно «2-я, драматическая»). См.: Белый А. Симфонии / Вступит. ст., сост., подгот. текста и примеч. А. В. Лаврова). Л., 1991.

[8] Письмо Белого к Иванову-Разумнику от 23 октября 1927 г. Цит. по: *Переписка*. С. 545.

[9] Там же. О своей беседе со Штейнером в Базеле К. Н. подробно рассказала в воспоминаниях о нем (1929): Bugajewa K. N. Wie eine russische Seele Rudolf Steiner erlebte. Basel, 1987. S. 25—30; они пока изданы только в переводе с русского на немецкий; рукописи К. Н. — в РГБ и в частных собраниях.

[10] См.: Bugajewa K. N. Ibid. S. 31—34.

[11] См. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 23 октября 1927 г.: К. Н. «первая встретила меня в Москве, в *Остоженском переулке*, где помещалось О<бщест>во; в этом помещении жил, конечно, Алексей Сергеич, собирал библиотеку, а К. Н. выдавала книги — там же; я постоянно забегал к Алеше; и — постоянно с нею встречался» (*Переписка*. С. 546).

[12] Там же. С. 545.

[13] *РД*. Далее ссылки на этот источник даются в тексте.

[14] Это письмо находится фонде А. Белого в РГБ. Приведем его текст полностью:

«Дорогая и глубокоуважаемая Клавдия Николаевна, я бесконечно страдаю, что заставил Вас страдать; Вы оказали мне доверие, принесли Ваши рисунки, т. е. нечто интимное для Вас; вся обстановка, вся атмосфера, весь стиль окружающего грубо ворвался; „получилось безобразие"... А между тем Ваши рисунки затронули во мне многое; я думал о них и о встающем в связи с ними целую ночь; и то, что хотелось сказать, я нес вчера на сердце; *опять*-таки не удалось; люди еще не умеют быть друг с другом; „кругобегущая жизнь" всегда похищается ариманическими существами, заводящимися решительно на всех собраниях людей; быть среди людей для меня значит: убивать *своих* и *чужих* младенцев, как царь Ирод; все, что, расплавясь в душе, хочет процвесть и вовне, обыкновенно убивается нами друг в друге. И потому то, что *тайна воплощения*, процветания, протянутости к душам есть тайна, над которой как бы повешен я всю жизнь; потому-то в душе в ряде лет не осталось живого места; мои книги, как „Пепел", „Петербург", „Голубь", есть плач за растерзание в сердце того, что некогда жило и просилось в „симфониях"; измученный Ариманом, давно я привык к своему люциферическому острову: там нет «младенцев», но нет и убийств — в полярном холоде одиночества. Радости нет там: есть долг в Кантовом смысле вместо *моральной фантазии*: милая Клавдия Николаевна, вот и у меня все запуталось, остановилось, замерзло; и слова, готовые в ритме, без ритма стали немыслимыми словами, непроизносимыми; то, что Вы несли мне как рисунки, Вы не донесли; я — тоже.

Будем же добры: простим друг друга, что не умеем *быть*; сегодня я залез в свое кресло с ногами; сижу в нем; есть уют в люциферовской бесприютности — быть одному, „самому" на „острове"; 2½ месяца уезжал я в бескеросинную деревенскую тьму — к себе самому; и... к Люциферу. И опять — хочется в тьму! „Свет из грядущего" — не для меня; я это говорил и Доктору; Доктор знает, что уже 3½ года я в

„тихом бунте"; и вряд ли что меня вылечит из этого состояния. У меня вечное чувство обиды: чувство разбитых ценностей, осколки их занозами колют во всем организме души; оттого я по отношению к другим — „колючий".

Простите за это интимное признание. Простите, что невольно обидел Вас. И еще раз спасибо за рождественское письмо. Остаюсь искренне преданный и глубоко уважающий Вас

Борис Бугаев»

(РГБ. Ф. 25. К. 30. Ед. хр. 3. Письмо без даты, написано по старой орфографии).

[15] Подробнее об этом см. в письме Белого к Иванову-Разумнику от 23 октября 1927 г. (*Переписка*. С. 545—547).

[16] Имеется в виду квартира в доме № 6 по Садовой Кудринской, где Белый поселился (вместе с А. С. Петровским) 14—15 февраля 1918 г.

[17] *Почему я стал символистом*. С. 472.

[18] Письмо к Иванову-Разумнику от 1 марта 1927 г. (*Переписка*. С. 506).

[19] Письмо Андрея Белого к А. А. Тургеневой от 11 ноября 1921 г. // Воздушные пути. Нью-Йорк, 1967. № 5. С. 304. См. также: «Письма Андрея Белого А. А. Тургеневой» в составе моей публикации: Andrej Belyj at Home and Abroad (1917—1923): *Materials for a Biography* // Europa Orientalis. 1989. № 8. P. 430—450.

[20] *Почему я стал символистом*. С. 477—478.

[21] *Переписка*. С. 216.

[22] Воздушные пути. № 5. С. 306.

[23] Там же. С. 307.

[24] Там же.

[25] Письмо к Иванову-Разумнику от 18 ноября 1923 г. (*Переписка*. С. 254).

[26] *Почему я стал символистом*. С. 481. В этом Белый винил жену Штейнера, решив, что она препятствовала его встрече с мужем.

[27] Там же. С. 483.

[28] Письмо к Иванову-Разумнику от 23 октября 1927 г. (*Переписка*. С. 547). Намек на пожар Гетеанума, антропософского центра в Дорнахе, в ночь на 1 января 1923 г. В 1914—1916 гг. Белый участвовал в его постройке.

[29] *Переписка*. С. 507.

[30] Там же. С. 547.

[31] *Андрей Белый: Проблемы творчества.* С. 550. К. Н. была связана с В. Р. Менжинским (1874—1934), с 1923 г. — зам. председателя, с 1926 г. — председателем ОГПУ, отдаленными родственными отношениями.

[32] В письме-заявлении в ОГПУ от 1 июля 1931 г. Белый сообщал о Трапезникове: «...в 1924 году едет лечиться за границу и долго умирает у своего приятеля (с 1910 года), больного Бауэра (антропософа); вопрос о перевозке его в СССР к старухе-матери вместе с главным заданием (лечебного характера) и обуславливает вторую поездку за границу моего лучшего друга, К. Н. Васильевой, в 1926 году» (Из «секретных» фондов в СССР / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 12. С. 359). К. Н. уехала в Германию, по свидетельству Белого, 21 марта 1926 г.: «Горестный отъезд К. Н. за границу (едет лечиться)»; она возвратилась обратно (в Ленинград) 15 июня: «Радостное возвращение К. Н.: встреча» (*РД*). Другой целью ее поездки были контакты с деятелями Антропософского общества. См. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 18 марта 1926 г. (*Переписка.* С. 348).

[33] См. примеч. 2.

[34] *Переписка.* С. 507. Письмо от 1 марта 1927 г.

[35] Почему я стал символистом. С. 481.

[36] *Переписка.* С. 507. В письме к Михаэлу Бауэру (Bauer, 1871—1929), крупному деятелю антропософского движения, датированом 24—26 октября (в действительности — декабря) 1921 г. Белый писал: «Frau Wassiliew (die wirklich Seele von unseres Gesellschaft)» («Фрау Васильева (настоящая душа нашего Общества)» — *нем.*) (Gut Taja. Andrej Belyj: Symbolismus. Anthroposophie. Ein Weg: Texte — Bilden — Daten. Dornach, 1997. S. 97).

[37] *Почему я стал символистом.* С. 481—482.

[38] Переписка. С. 507.

[39] Там же. С. 547.

[40] Троцкий Л. Внеоктябрьская литература: (А. Белый) // Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991. С. 54.

[41] «Открытая деятельность Вольфилы прекратилась на основании распоряжения от 7 мая 1924 года за подписью М. Кристи, где было сказано, что ленинградское отделение Главнауки не находит возможным зарегистрировать ВФА в качестве научного общества <...> После этого отказа в регистрации, 4 сентября, Ассоциация была закрыта представителем Исполкома, а имущество было передано Союзу писателей»

(Иванова Е. В. Вольная Философская Ассоциация. Труды и дни // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1992 год. СПб., 1996. С. 22).

[42] О закрытии Русского Антропософского общества в мае 1923 г. см. цитировавшиеся выше воспоминания М. Н. Жемчужниковой (С. 51—52).

[43] *Почему я стал символистом*. С. 483.

[44] См. об этом: Зайцев П. Московские встречи. (Из воспоминаний об Андрее Белом) // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 563.

[45] Табидзе Т. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, 1964. С. 241. Письмо от 3 декабря 1929 г.

[46] *Переписка*. С. 379.

[47] См.: Богомолов Н. А. Андрей Белый и советские писатели: К истории творческих связей // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 325—327.

[48] Жемчужникова М. Н. Воспоминания о московском Антропософском обществе... С. 22.

[49] Там же. С. 52.

[50] Письмо к Иванову-Разумнику от 18 марта 1926 г. (*Переписка*. С. 348—349).

[51] Письмо к Иванову-Разумнику от 23 октября 1927 г. (Там же. С. 546).

[52] *Лица*. С. 255.

[53] Там же. С. 245.

[54] См. в этой связи недатированное письмо П. Н. Васильева к Белому, опубликованное Н. С. Малининым (*Лица*. С. 302).

[55] *Переписка*. С. 608—609. Знакомство К. Н. с Ивановым-Разумником состоялось между 15 и 17 июня 1926 г. — после возвращения К. Н. из-за границы в Ленинград и перед отъездом вместе с Белым в Москву.

[56] См.: *Переписка*. С. 306, примеч. 2.

[57] Зайцев П. Н. Воспоминания об Андрее Белом // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 99.

[58] Там же. С. 99—100. Письмо Белого к Горькому от 17 мая 1931 г. опубликовано мною: Минувшее. Вып. 12. С. 350—351).

[59] Из переписки А. Белого: Письма В. Э. Мейерхольду и З. Н. Райх / Публ., вступит. статья и коммент. Джона Малмстада (в печати). См. также другой вариант этого письма (*Переписка*. С. 680).

[60] Там же.

[61] Заявления опубликованы мною, см.: Минувшее. Вып. 12. С. 352—360.

[62] Письмо Белого к В. Э. Мейерхольду от 4 сентября 1931 г. (В печати). См. также письмо Белого к Иванову-Разумнику от 27 июня 1931 г. (*Переписка*. С. 678—679).

[63] Письмо к Иванову-Разумнику от 3 или 4 июля 1931 г. (*Переписка*. С. 681).

[64] Письмо Белого к В. Э. Мейерхольду от 4 сентября 1931 г.

[65] Письма Андрея Белого к А. С. Петровскому и Е. Н. Кезельман / Публ. Роджера Кийза // Новый журнал. Нью-Йорк, 1976. № 122. С. 157—158. Петровский, как и многие другие антропософы, арестованные в 1931 г., был в ссылке. Н. Я. Мандельштам писала о Белом: «Ведь судьба его читателей и друзей была очень горькой: он только и делал, что провожал в ссылки и встречал тех, кто возвращался, отбыв срок. Его самого не трогали, но вокруг вычищали всех» (Воспоминания. С. 146).

[66] Письма Андрея Белого к А. С. Петровскому и Е. Н. Кезельман. С. 164. Имеющаяся там опечатка поправлена мною.

[67] К биографии Андрея Белого: Три документа / Публ. Г. П. Струве // Новый журнал. Нью-Йорк, 1976. № 124. С. 159—161.

[68] Письмо от 23 июля 1931 г. (*Минувшее 15*. С. 301).

[69] Санников Д. Каждому свой черед // Наше наследие. 1990. № 5 (17). С. 92—93.

[70] Творческая деятельность Белого в последние десять лет его жизни была разнообразной: в эти годы он написал цикл «московских» романов, подготовил окончательную редакцию своих стихотворений, переработал и расширил мемуарную трилогию и написал новаторские исследования о Пушкине и Гоголе.

[71] Новый журнал. Нью-Йорк, 1976. № 124. С. 160—161.

[72] Там же. С. 161—162.

[73] Речь идет о квартире в кооперативном писательском доме по адресу: Нащокинский пер., д. 3, кв. 55. Завещание Белого опубл. в кн.: Литературное наследство. М., 1937. Т. 27/28. С. 575—638. Авторство Д. М. Пинеса в публикации не указано, поскольку он был тогда репрессирован. Обзор опубликован со значительными сокращениями, обусловленными цензурой.

[74] После смерти К. Н. многие из этих материалов, вместе с ее личным архивом, вошли в фонд А. Белого в РНБ и РГБ. См.: Записки отдела рукописей ГБЛ. 1972. № 33. С. 248; 1977. № 38. С. 183; 1979.

№ 40. С. 167. О продаже архива Белого в Литературный музей в 1932 г. см.: *Переписка.* С. 700—701.

75 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. С. 145.

76 Валентинов Н. Два года с символистами. Stanford, 1969. P. 47.

77 Степун Ф. Встречи. Мюнхен, 1962. С. 169.

78 В письме В. Ф. Маркова, написанном мне в 1981 г., содержится подтверждение этому: «За книгу Бугаевой еще раз спасибо. <...> Чудесно о том, как Б<елый> подметал пол (теперь я верю М. Чехову, что он, прощаясь, надел на голову кошку вместо шляпы)».

79 См., например, мелочные мемуары Романа Гуля, который настолько поверхностно знал Белого, что должен был для своих «воспоминаний» о нем прибегнуть к повторениям подлинных воспоминаний других свидетелей и выдумать абсолютно недостоверные «сведения» от себя (Гуль Р. Я унес Россию // Новый журнал. Нью-Йорк, 1978. № 132. С. 56—59).

80 Ходасевич В. Ф. Книги и люди. «Близкая даль» // Возрождение. 1933. 23 февраля, № 2823.

81 Назаревская Гали Алексеевна (1901—1957) — художница.

82 Неопубликованные воспоминания Г. А. Назаревской, написанные летом 1947 г., хранятся в фонде А. Белого в РГБ (Ф. 25. К. 40. Ед. хр. 25).

83 См.: The Goetheanum Windows. With personal Reminiscences of Rudolf Steiner's explanations on the theory and practice of glass engraving by Assia Turgeniev. London; New-York, 1938.

84 Мандельштам Н. Воспоминания. С. 145.

85 Ходасевич В. Ф. Книги и люди. «Начало века (окончание)» // Возрождение. 1934. 5 июля, № 3319.



Воспоминания
об **Андрее Белом**

Durch alle Töne tönet
Im bunten Erdentraume,
Ein leiser Ton gezogen,
Für den, der heimlich lauschet.
Schlegel[1]

ВСТУПЛЕНИЕ
(Посвящение)

Воспоминания встают... окружают. Светлый, скользящий рой. Одна за другою проплывают картины того, что было когда-то. В центре каждой — лицо, как сияющий луч. Я всматриваюсь. Хочу взглядом остановить непрерывную смену видений. Хочу словом поймать милый облик.

Но вдруг все становится музыкой, стройным движением звуков. И во взволнованной памяти, оформляя и строя ее, проходит хор строгих созвучий. Растет, надвигается и плывет невыразимой симфонией. Я слушаю... Слышу, — о, как ясно я слышу: волну ее ритмов, бурю темпов, сложность инструментовки, глубину гармонических взрезов, творческий взрыв диссонансов. Слышу: бездонности пауз, глухую угрозу в басах, молитву в высоких октавах, светлую трезвость C-dur, бархатный траур d-moll... Все тональности, все интервалы: поступь твердая кварты, вздрог септимы, легкая квинта, интимная терция, золотисто-воздушная секста, голубая, как небо, октава.

О, какой звонкий мир... Kallokagatheia[2]*... «Симфония»*[3]*...*

И раскрываются в памяти: милые годы, когда все это было, когда около, рядом бился пульс нескудеющей жизни. Билось сердце, горевшее светом любви, огнем волей пронизанной мысли. И пели, и пели живые мелодии, не переставая, — с самых тех пор, когда «из родников проговорившей ночи»[4] *зазвучала*

впервые мне эта симфония, — когда в жизнь мою, как светлая буря, как тихая ласка зари на снегах, — вошел Б. Н.*

Собирайся же, память! И неси, — неси в слово то, что слышит душа. Лишь отражением — бледным — будет то, что сумею сказать. Но говорят во мне только любовь, благодарность и счастье, что все это было — и есть. И будет — всегда.

---

* Здесь и далее в тексте воспоминаний Б. Н. — Борис Николаевич Бугаев. — *Ред.*

«КОНТРАПУНКТ»[1]

Б. Н. любил выражать свою мысль в формах и терминах музыки. Мир звучал для него, *«говорил»* ему, звал. Цикл своих первых стихов назвал он «Призывы» и дал почти то же заглавие своему последнему сборнику — «Зовы времен»[2].

Кроме постоянных и почти обиходных в устах его выражений: пауза, ритм, фермата, стокатто, crescendo и т. д., чаще и нужнее других были ему: контрапункт, тема в вариациях, фуга.

Контрапункт — одновременное звучание пересеченных мелодий. Слух различает отдельно движение каждой и — соотносит их вместе, сливает в одно. Темы то сходятся на одной общей ноте, сообщая ей глубину многомерности, только внутренно сложенной из скрещения разных путей; то далеко разбегаются эти темы в разные стороны, расширяясь в охвате звукового пространства и почти разрывая единство потока. И вдруг, в резком внезапном порыве, снова бросаются к встрече в смелом изломе пути и на мгновение стынут в аккорде, чтобы тут же опять разбежаться в легкой стремительной фуге.

Да, каждая тема слышна. Слышна, но не выделима из целого, — из целого, где контрапункт непрерывно ведет свою *главную* тему.

Так встает передо мной облик Б. Н. — как *главная* тема его неисчислимых мелодий; или, по его любимому выражению, — как его А-большое среди

постоянных, вариационных «переложений и сочетаний» его малых abcd, cdba, bcda и т. д., — его мыслей, исканий, стремлений. Встает глубоко скрытый его лейтмотив — песнь его жизни: «Excelsior... amans amare!»[3] — Excelsior! * — выше, все выше вперед, во имя Любви, — через любовь к Любви.

И для этого всё: жизнь, познание, творчество — поднять в самосознание мысли, поступков и чувств. Всё как путь к одному, в чем конкретно раскрыто Excelsior, — к полноте человека: к *Челу века, к звезде* будущего, к звезде любви и свободы.

Чело века — как цель, как венец устремлений — Б. Н. уже *видит* и знает его[4]. Видит и знает. — Но он видит и знает так же остро другое: «Как труден горний путь, и как еще далеко, далеко все, что грезилося мне» (В. Соловьев)[5].

Устремление воли остается все то же. Но тело — слабеет. Организм не выдерживает.

Я хочу здесь дать ряд картинок из жизни Б. Н. Пусть из контраста их встанет полный его облик. Ведь только так можно найти к нему путь.

И вот вижу Б. Н. в круге дневных мелких забот; вижу его в момент творчества. И вот он — в минуты *большие, в ответственных* случаях жизни. Это совсем разные, на первый взгляд, облики. Но странным образом они тесно связаны между собой, переплетены: они почти обусловливают друг друга. Точно живой закон сохранения энергии.

Для первого — все было трудно. Из всего вырастала *проблема*. Как заполнить анкету, как написать доверенность, что делать с отсыревшими папиросами, как развязать затянувшийся на ботинке шнурок, как продеть запонку. Во всех этих мелочах у него не было ни навыка, ни сноровки, ни даже самой про-

---

*В примечании к статье «Проблема культуры» («Символизм», 459) он приводит цитату из Геффдинга, которая заканчивается словами: «...Христос поставил перед Европой великое Excelsior». Есть упоминание и в «Арабесках»: «Выше, выше — excelsior!» (355).

стой житейской догадливости. Он сознавал это и очень ценил в других эти качества, смотрел с «*уважением*»:

— Вот ведь, так просто... а мне невдомек.

Из-за этого «невдомек» происходил целый ряд «царапающих осложнений».

Но бывали порой и веселые инциденты. Вот один из них, рассказанный мне Галей Киреевской[6]. В Коктебеле, в доме Макса Волошина[7], все приезжавшие гостить должны были сами себя обслуживать. Никаких уборщиц не полагалось. Сами носили себе воду из бочки, стоявшей внизу около кухни, под нашей террасой, сами убирали комнаты, выносили сорные ведра, мыли посуду. Первое время Б. Н. взялся «ходить за водой». Но он делал это так долго, задерживаясь по дороге со всеми, кто хотел его приветствовать или с ним поговорить, что пришлось снять с него эту заботу.

Зато обязанность «подметальщика» лежала всецело на нем. Нужно сказать, что он любил «это дело»: убирать пыль и сор. И когда нам случалось летом жить без прислуги, то стирание пыли и особенно подметание комнат Б. Н. брал на себя. Последнее делал очень охотно и, как все, необыкновенно тщательно и «систематически». Его занимало, как постепенно «из ничего набиралась очень почтенная кучка», прежде невидная. Призывал посмотреть — «вместе поудивляться». И, стоя с веником или щеткой в руке, начинал развивать полушутливые, полусерьезные мысли — о «прометях» и «пропылях», о «прометеевой пыли», которою непрестанно осыпается жизнь; о том, что из «неучтенных, нестертых пылинок» образуются очаги всевозможных зараз и болезней[8] — душевных, физических, социальных, что в этих «незаметных пылинках» лежат корни крупных научных ошибок и всяческих заблуждений и зол. Называл это «философией Кифы Мокиевича»[9]. Поговорив и поудивлявшись, он самым тщательным образом собирал кучку сора на специально для этого предназначенный лист белой бумаги (только не газетной: «на газете не так отчетливо видно!»), — еще раз удивлялся и заботливо относил выбросить в определенное место. Чтобы сор лучше попал на бумагу, он «изучал»

предварительно пол, все неровности, скважины, сучки. Сор заметал на высокое место, бумагу подкладывал ниже и, став на концы ее обеими ногами, добивался того, чтобы собрать все до последней соринки.

Он действительно не мог ничего делать механически, без интереса. Или не брался совсем, или углублял и осмысливал, переплетая дело с игрой, игру с делом*. Даже в самой серьезной работе у него присутствовал элемент этой своеобразной *игры.* О ней лучше всего можно сказать в словах Гераклита, которые сам же Б. Н. выбрал заглавием для одного из отрывков романа «Маски»: «Вечность — младенец играющий»[10].

В Коктебеле подметать пол было не просто. Мешали постоянные сильные ветра. Сор летел из-под веника, бумага срывалась с места. Устав от бесплодной борьбы, Б. Н. разражался сердитыми восклицаниями. Со стороны могло показаться, что он с кем-нибудь ссорится, даже бранится.

Один раз, когда меня не было дома, Галя Киреевская, жившая на одной с нами террасе, услышала отчаянный, ярост-ный крик Б. Н., отчетливо доносившийся из его комнаты. Она знала, что меня нет, и поспешила на помощь. Подойдя, она увидела Б. Н. в бурном негодовании и смятении. Он бросался по комнате в разные стороны, ожесточенно потрясал и взмахивал веником в погоне за разлетавшимися из-под ног бумажками, окурками и другим сором.

— Нет, невозможно! Отказываюсь! Не могу подмести... Ветер, как назло... Ай... Вот, вот... опять! Так я и знал... — вскрикивал он, с упорством царапая по полу, и с такой силой бил веником, что слышался только треск ломавшихся прутьев.

— Б. Н., да вы дверь затворите! У вас же сквозит: окно открыто и дверь, — и Галя быстро захлопнула дверь. Б. Н. остановился, затих и с минуту глядел пораженный. Потом, просияв, высоко вскинул руки:

— Галина Сергеевна, — это же ге-ни-ально!

---

*То же было с бритьем, например. Там были свои наблюдения, переживания, — своя *философия и система.*

И бросился до-подметать, выражая громкое восхищение той «гениальной простотой», с которой Г. С. разрешила это «трудное положение».

Другой случай относится к гораздо более ранним годам — 1905—1906. В это время Б. Н. гостил в Дедове у С. М. Соловьева[11]. Однажды приехал их навестить М. И. Сизов с сестрой[12]. Пишу с ее слов.

Продолжая нескончаемый разговор об искусстве, филологии и философии, они всей компанией двинулись в соседнее село Надовражино: посмотреть хоровод, интересовавший их как своеобразное продолжение греческих плясок. Только что прошел дождь. Б. Н. отставал, то и дело роняя с ноги непомерно большую калошу, и издали подавал свои реплики.

Сергей Михайлович наконец оглянулся:

— Боря, что же ты отстаешь? И, приглядевшись, добавил: — Э, да у тебя там калоша спадает.

— Да, Сережа, спадает, — кротко согласился Б. Н., продолжая прихрамывать.

— Так ты поправь!

— Сережа, а как?, — с недоумением остановился Б. Н.

— А вот как! Дай калошу сюда! — шагнул к нему Сергей Михайлович. Быстро нагнувшись, он сорвал пучок травы и затолкал в калошу.

— Бери. Надевай! Теперь хорошо?

— Спасибо... Совсем хорошо... Как это ты догадался!

Это неумение справиться с жизненными мелочами особенно выступало во время поездок и вообще при всякой перемене места. Б. Н. страстно любил путешествовать. Но он физически заболевал от одного приближения к билетной кассе. И просто не умел постоять за себя, или — как он говорил — «*напереть, отодвинуть плечом*» кого-то другого. Он отступал, если нужно было ловить единственную каюту, единственного носильщика, единственный номер в гостинице. А когда пересиливал себя и пытался что-то устроить, то все равно ничего не выходило. Ему не везло. Этого он не выдумывал. Там, где другим все удава-

лось легко, перед ним воздвигались тысячи трудностей в виде более или менее крупных или мелких случайностей, которых не перечислишь. Отменялся нужный поезд; экскурсия захватывала целый автобус, на который у нас давно уже были взяты билеты и который мы ждали в течение многих часов; оказывалась запертой всегда в это время открытая касса или контора. Даже погода присоединялась к этому «граду сюрпризов». Ливень размывал дорогу; неожиданная гроза застигала нас как раз на пересадке; такой же неожиданный холод встречал в самое непоказанное время и в самом непоказанном месте. Однажды профессор-гидролог М. А. Великанов[13] рассказал Б. Н. о своеобразном сделанном им наблюдении, которое он полушутя называл *законом щельности*: иголка падает со стола и... попадает в щель. В поездах Б. Н. часто чувствовал себя такой «защемленной иголкой» и предпочитал отказаться от самых интересных планов, чем «очертя голову ввергать себя в водоворот энных возможностей».

Его ужасала одна мысль о тех «гигантских» и совершенно бесплодных усилиях, которые неизбежно связывались для него с каждой новой попыткой тронуться с места.

Зимою, в Кучине[14], — обычно это начиналось уже в январе—феврале — он изучал путеводитель (Анисимова)[15] и карту Кавказа и оживленно мечтал, что непременно поедем и туда, и туда: «Нельзя же не увидеть такого прекрасного места». А когда приезжали в первый намеченный пункт и хоть немного сносно устраивались, он уже никуда не хотел больше двигаться. Сначала отшучивался: «От добра добра не ищут». А потом говорил раздраженно и грустно: «Нужно все рвать из горла. А я так не умею. С нашими слабыми силами лучше и не соваться. Все равно затолкают».

Так просидели мы в 1930 году четыре месяца в «неинтереснейшем» Судаке[16]; а в наших зимних планах была намечена и Ялта, и южный берег Крыма, и Новый Афон, и даже Кахетия, о чем шла переписка с тифлисскими друзьями[17]. Вместо всего Б. Н. засел за «Начало века» и отговаривался, что не может теперь бросить работы[18]. Так же сидели в 29-м году в Эривани, отказавшись от намеченных Джульфы, Нахичевани, Карабаха, Севана[19]. Пограничные разрешения, билеты, гостиницы,

сомнительная погода — опять воздвигались как неразрешимый вопрос. От всего отмахнувшись, Б. Н. увлекся архитектурой Армении, целые дни читал, делал выписки, ходил в Музей, в библиотеку[20]. Выставил этот кордон, как защиту, чтобы не приставали и не уговаривали.



Дом Шиповых, в котором А. Белый и К. Н. Бугаева жили с 1925 по 1931 г. Кучино. 1930
Фото В. М. Носилова

И насколько другим он бывал за работой, за книгой. Тогда он был у себя, в своей нормальной стихии. И часто был счастлив. С непередаваемым выражением выходил он иногда в мою комнату, чтобы прочесть то, что за минуту перед тем написалось. Я не могу назвать это радостью. Это было бы внешне и грубо для тех тонких оттенков, которые пробегали тогда на этом лице. И как передать их живую игру? Как отразить едва уловимые отсветы необычайных процессов рождения слова, которые только что, только что кончились — там, за столом. На по-

бледневшем лице еще проходили их легкие тени. Взгляд расширенных глаз еще не видел предметов. Какой-то непередаваемый величавый покой овеивал лоб, словно венец строгой, собранной мысли. А улыбка уже озаряла приветом. И взволнованной теплотою звучали, чуть прерываясь, слова: «Вот, послушай! Прочту...»

Что-то не наше, не здешнее было в этом лице, во всей его позе. Припоминалось невольно: «Но лишь божественный глагол»...[21] И казалось, что не должна, не смеешь на это смотреть, что нужно склониться и так принять его дар.

Нет, не радость была в нем тогда, а может быть... счастье — торжественное, отрешенное, высокое, чистое, — счастье прикосновения к «своей отчизне дальней» (Баратынский)[22].

Таким же бывал он на лекциях. Точно опытный мастер прикасался верной рукой к душам слушателей. И чем многочисленней была аудитория, тем больше росла его сила, тем крепче звучал как-то особенно углубившийся голос.

Но вот опять: стоило только выйти за дверь, очутиться в давке перед трамваем, как весь он сжимался; сам отходил и меня увлекал быстро в сторону. Глядел с выражением ужаса, переходившего в гнев, на картину «кулачного боя». Иногда этот гнев разражался. Б. Н. начинал возмущенно кричать, обращаясь к «человеческим чувствам». Этих взрывов я боялась больше всего: просьба его, конечно, была безуспешна, а сам он после этого на несколько дней был разбит. Лежал в тяжелой мигрени и слабым надорванным голосом восклицал:

— Жить не умею! Чем же я виноват, что так устроен, что не могу вырывать себе блáга; и не умею вне правил проскальзывать. Мне жить нельзя.

В этом растущем с годами смятении перед «трудностью жизни» сказывалась уже его роковая болезнь. Как мне передавали, профессор Абрикосов, делавший вскрытие, нашел, что недомогание началось лет десять назад[23]. А мне кажется, что гораздо раньше. Сколько я помню, он всегда говорил, что чувствует себя «насквозь больным», что организм его вконец подорван и что он все делает через силу.

«Давно поломанная вещь,
Давно пора меня в починку», —
писал он еще в 1921 г. в «Первом свидании»[24].

Как это ни странно, но источником многих трудностей и бытовых осложнений являлась еще необыкновенная, почти изысканная деликатность и мягкость Б. Н., которую он часто обращал совсем не по адресу. (Я говорю об этом подробнее в другом месте.) Он не только не умел постоять за себя в нужных случаях, он даже не мог достаточно решительно заявить о самых простых своих нуждах, о том, на что имел самое элементарное право.

Точно вся энергия его огненной воли шла без остатка в другом направлении. И там — вне быта — вставал его подлинный облик. Там Б. Н. был тверд и решителен, не знал никаких колебаний. Действовал быстро, точно, верно; часто с какой-то холодною трезвостью, часто — строго, с повелительной силой. Был скуп на слова и на жесты. Никогда не забуду его интонации, когда он властно, отрывисто бросил: «Дайте палку!» — человеку, ударившему неудачно медведя, в лапах которого была крепко зажата нога Б. Н., — случай, происшедший в Пассанауре, о котором подробнее расскажу дальше.

Таким бывал он всегда в минуту опасности или в минуту, требовавшую серьезных решений, быть может менявших все направленье судьбы, — например, в Гарцбурге, в 1923 году[25].

Но прежде всего таким был Б. Н. в творчестве. Бесстрашно и неуклонно шел он своим одиноким путем. И упорно работал — один, не находя почти отзвука. Но тут ничто не могло его остановить. Тут выступало в нем то, что он считал главным в работе художника.

«Воля — первое в творчестве, — утверждал он настойчиво. — Если спросят меня, что всего нужнее художнику, я отвечу: воля, воля и воля. Воля и упорный кропотливейший труд. Только так создается подлинное произведение искусства. Оно оплачено дорого. Горы усилий нужны. Талант, вдохно-

вение — вздор. Без работы на них далеко не уедешь. Талант не поможет, коли нет воли к труду, к физической черной работе. Разве не труд — ночами не спать; и — часами, неделями, месяцами водить рукой по бумаге. Гений тот, кто в искусстве умеет трудиться. Иначе покажет *„нутро“*, от которого будет тошнить...»

Полушутя, полусерьезно Б. Н. находил справедливым, что писатели зачислены в союз рабочих полиграфического производства. Показывал свой средний палец, на котором за годы держания ручки натерлась большая твердая шишка, изменявшая форму руки. Но он ею гордился: «Это моя *рабочая* мозоль. Справедливо, что меня отнесли к *рабочим* полиграфического производства. *Я и есмь этот рабочий*».

Без громкого возмущения он не мог слышать или читать, когда «не-художник» с сознанием своего спокойного превосходства начинает разглядывать человеческие недостатки и промахи художников: их неуравновешенность, беспорядочность в жизни, их чудачества, даже пороки. «Воля художника, — говорил он, — несет слишком большую нагрузку. Вся она брошена в дело: в работу. Поэтому в жизни сам он выглядит часто безвольным, неприбранным. Ему некогда прибираться. Он не может ни на минуту отойти от своих *разведенных котлов*, как кочегар на паровозе. Он — *при котлах состоит*. Он — своеобразный урод. И он *трижды урод* в периоды максимальной заряженности творчеством. Хорошо это или дурно — вопрос другой. Но — это факт, с которым нельзя не считаться. Творчество — это такая стихия, о мощных ураганах которой в иные минуты не может судить тот, кто им не был подвержен. В таком состоянии всякий художник (музыкант, живописец, поэт, скульптор, актер — все равно) может наделать тысячу глупостей, тысячу непоправимых ошибок в своей человеческой жизни. И все-таки он — без вины виноватый. От этого нелегко ни ему, ни другим. И нельзя говорить, что ему все дозволено: положение художника *обязывает*, а не *развязывает*. Но при всей доброй воле он не властен тогда над собой. И, составляя суждения, которые внешне не лише-

ны оснований, нужно все-таки брать на учет особенности устройства той *сложной машинки*, которую так абстрактно и с легким сердцем называют — *художник*, не задумываясь о том, каково ей жить и *творить*. Тайна творчества есть все же тайна. И она далеко не разгадана. Самая необходимость художнику продавать плоды своей кровной работы вносит в душу его разбивающий диссонанс: рынок и мир красоты. Если это изменится, если отпадет от него забота о хлебе насущном, заставляющая его нести на продажу свой совершенно особенный труд, тогда, может быть, он сумеет быть более гармоничным и в жизни. Теперь *всю гармонию* свою отдает он искусству — своему мастерству. И ходит по жизни в лучшем случае как чудак, на других непохожий. Чудил Пушкин. Чудили Ибсен и Гоголь. Был чудачище Толстой. Достоевский, Некрасов, Гете — по-другому расплачивались. Гармонии и нормы у них не ищите. Нужно прямо сказать, что все они с жизнью не справились. Поверьте, что то — не случайность. И рубить здесь с плеча осуждение, втайне радуясь, что „меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он"[26], — просто грешно и преступно».

В архиве Брюсова сохранилась анкета 1919 года о Некрасове, заполненная рукой Б. Н. Он подробно и в положительном смысле отвечает на девять вопросов. А в ответ на десятый: «Как относитесь вы к распространенному мнению, что Некрасов был безнравственный человек?» — Б. Н. резко и решительно написал: «Не задумывался»[27]. Сухая, отстраняющая краткость этого ответа красноречивее многих слов. В нем слышна та негодующая интонация, которую я много раз слышала из уст Б. Н. при подобных вопросах о Пушкине, Гете, Толстом[28] и других. «Нельзя с кондачка подходить к трагедии большой жизни», — говорил он с горячим волнением.

Он хорошо знал и в себе «негармоничного человека». И нес его, как свой «больной горб», как своего рода душевную мозоль, которая в результате работы натерлась на душе, как и на пальце. Бороться с этим по мелочам он считал бесполез-

ным. А изменить в основном — невозможным, при данных условиях. Но с тем большим жаром мечтал о возможности синтеза в будущем, когда снимется роковое противоречие в сознании художника, стоящего как бы на грани двух несоединимых миров.

Он часто цитировал строчки Пушкина, в которых тот, по словам Б. Н., с «фотографической точностью» отразил ни с чем не сравнимый и глубочайший трагизм этого совершенно особого самосознания:

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон... Но лишь *божественный глагол* до *слуха чуткого* коснется, душа поэта *встрепенется*... *Бежит* он, *дикий* и *суровый*, и *звуков*, и *смятенья* полн, — на берега *пустынных* волн...» (курсивом передаю интонацию Б. Н.)[29].

Особенно поражала Б. Н. совершенная точность слов: «*Бежит* он, *дикий* и *суровый*...». *Бежит* — потому что в такие минуты нельзя *не* бежать: соединить звуки *услышанных глаголов* со звуками жизни поэт нашего времени еще не умеет, не может. И из тех, кто *не бежит*, кто никогда *не бежал*, едва ли многие могут представить себе конкретно, о чем именно говорит Пушкин, что́ разумеет он под состоянием *дикой суровости*, неумолимо влекущей *бежать* прочь от людей. А между тем это так и есть. Иначе и лучше не скажешь. Не пережив, трудно представить себе стихийную мощь того *смятения*, которым охвачена тогда душа поэта.

О необходимости творческого уединения совершенно отчетливо говорит также Гете: «Ich fühlte recht gut, dass sich etwas Bedeutsames nur produzieren lasse, wenn man sich *isoliere*. Meine Sachen, die so viel Beifall gefunden hatten, waren Kinder der Einsamkeit» («Wahrheit und Dichtung»)[30].

Б. Н. писал в своих ранних статьях: «Искусство есть искусство жить»[31]. Или: «Художник есть прежде всего человек»[32]. Это понимание искусства он считал основным. И чем дальше с годами, тем настойчивее и строже ставил знак равенства между искусством и жизнью.

«Но отчего же, — спрашивал он иногда в глубокой задумчивости, — отчего же те, кто *умеют* жить, — так *неумелы* в искусстве? А те, кто оставили после себя сокровища красоты, — в жизни были совсем *не* прекрасны. Здесь есть над чем пораздумать. А не бить с кондачка. Пока что — это трагедия, а совсем не предмет обвинения, осмеяния или таких кондачковых анкет». Он вспоминал Брюсова, Сологуба[33], делал несколько отрывистых замечаний. И замолкал в той же строгой задумчивости.

Перехожу теперь к новой теме в облике Б. Н. Несколько раз в своей жизни Б. Н. подвергался очень серьезной, а может быть, и смертельной опасности. И избавлялся от нее благодаря необыкновенной решительности и находчивости в такие минуты. К способности не растеряться, сохранить присутствие духа присоединялась еще удивительная пластичность и гибкость (*ритмичность*, как он называл) всего его тела. Он говорил, что тогда его тело действовало как бы само, не управляемое сознанием, и точно знало, что ему нужно сделать.

Как инстинкт самосохранения это явление, в общем, известно. Но в Б. Н. этот процесс протекал необычно. Он *сознавал* и *подглядывал* в себе свои инстинктивные действия. И очень охотно и много говорил об этих *подглядах*. Казалось, что он постоянно контролировал, разбирал и учитывал все свои непроизвольные движения, жесты, слова.

«Нет, почему я так сделал!» (или «сказал» или даже «подумал») — то и дело слышалось его оживленное восклицание. И после этого начинался немедленный разбор предполагаемых «почему». Он как будто не мог оставить в себе ничего бессознательного, необъясненного. И хотел во все сам вмешаться. Но это не был рассудочный анализ или психологическое самонаблюдение. Вопрос Б. Н. ставился гораздо глубже. Его интересовало взаимоотношение области сознания и бессознания в человеке, роль бессознательного в наших поступках. Что значат всем известные и почти ходячие выражения: «рука не поднялась», «ноги сами понесли», «сорвалось с языка», «дернуло же меня» и др.? Каждый их знает

и ими пользуется. Но откуда они взялись и что они значат — над этим редко кто думает, кроме немногих специалистов-филологов*.

Б. Н. думал над этим. И видел в таких бессознательных выражениях еще одно подтверждение близкой ему мысли о том, что сфера морали только отчасти покрыта в нас сферой сознания и что моральные корни поступков — *голос совести*, в частности, — погружены в *глубокое дно бессознания*. Это *дно* живет своей, нам *доныне неведомой* жизнью, в которой и кроются побуждения к так называемым *непроизвольным* поступкам, то есть, в сущности, к тем или иным движениям или действиям тела. Самое слово *поступок* Б. Н. производил от *поступь*. А *поступать*, то есть действовать, производил от *ступать*. Словосочетание «поступь поступков» приобрело для него глубокий внутренний смысл и в последние годы стало обычным, когда он хотел указать на природу морального. Не случайно он дал название одной из главок в «Масках»: «Поступь поступочная»[35]; в этой главке профессор Коробкин пытается высказать свое понимание сущности человека как отношение числа звуковых колебаний (то есть ритма) — к рукам и ногам (то есть к поступкам).

Наряду с правилами сознательной этики наш нравственный облик с одинаковой, если не с большею, силой обусловлен жизнью особого инстинктивного ритма, память о котором сохранилась в указанных выражениях языка. Этот ритм, минуя сознание, действует непосредственно в теле: вызывает в нем инстинктивные или непроизвольные сокращения мышц и тем самым влечет в разных случаях к разным поступкам, а также мимике, жестам и позам.

Отсюда все растущий с годами интерес Б. Н. к жесту и к *телу*. Герои его последних романов говорят столько же жеста-

---

*Например, А. М. Пешковский относит их к «неразрешенному вопросу о происхождении языка», причем он отвергает гипотезу анимизма, как еще не проверенную (Русский синтаксис. М., 1934. С. 62—67, и особенно 72, о «живительном» оттенке в глаголах)[34].

ми, сколько словами; даже жестами, мимикой — больше. По словам Б. Н., ось реализма лежит именно в этом *внимании к телу,* к телесному жесту. Этим подлинный реализм отличается от *многочувствий* и многословий душевной романтики и от рассудочных сентенций сентиментализма. «Уменье подметить вздрог мускула» — мощный реализм Льва Толстого. В реализме *тело* входит в поле зрения художника.

Можно по-разному относиться к жизни этих закрытых от нас, темных, неозаренных глубин; можно бежать от них как от хаоса, в страхе заклиная их словами Тютчева: «О, страшных песен сих не пой...»[36]; но можно сказать вместе с Пушкиным: «Я понять тебя хочу: темный твой язык учу»[37].

Б. Н. выбрал Пушкина. Он с особым вниманием слушал в себе этот «темный язык»; *наблюдал* и изучал в себе *поступь поступков.* Он говорил: «Нет пределов сознанья в пределах сознанья».

Его интересовало даже не самое проявление инстинкта, а возможность подглядеть в себе, так сказать, на ходу его действие. Понять механику этого действия в каждом отдельном конкретном случае. Понять, почему это действие развивается неодинаково: почему иногда инстинкт просыпается и ведет к сохранению жизни, иногда же, напротив, как бы отступает и даже толкает к *несчастному случаю* или к тому, что называют *роковым стечением обстоятельств.*

Для Б. Н. было бы *мистикой* просто поверить и допустить — прежде всего в себе — такие *случайности.* Он утверждал, что они изучаемы. Для этого необходимо расширение и углубление естественнонаучного опыта и активность внутренней жизни — самосознание. Никто не знает, к каким представлениям о материи и, конечно же, о теле приведут опыты Бора и Резерфорда[38].

И, изучая по-своему «темный язык» телесного жеста, подглядывая *сокращения и растяжения* мышц, Б. Н. хотел сделать хотя бы первые шаги на пути к тому, чтобы сознательно вмешаться в услышанное Пушкиным «парок бабье лепетанье». Он хотел внести свет пониманья и мысли в тютчевский «хаос», так как он знал, что «бессознанье озаряемо светом созна-

ния». Оттого-то с никогда не ослабевающим интересом он рассматривал все те случаи, где приоткрывалась возможность поймать в себе момент пересеченья инстинкта с сознанием. Он хотел подметить, как отразились в сознании непроизвольные действия тела, единственно верные и нужные в данный момент. Он рассказывал, что в те молниеносно короткие миги он заставал себя одновременно в двух разных центрах сознания: в более глубоком — спинно-мозговом, и в нашем обычном — головном. Это обычное сознание не утрачивалось и даже не ослабевало, а, скорей, обострялось в такие минуты. Оно вело как бы двойную работу: с одной стороны, с усиленной зоркостью наблюдало, точно извне, со стороны, все происходящее, а с другой — слушало и выполняло какие-то приказания, шедшие из глубины.

Б. Н. *помнил последовательно* каждый отдельный момент и помнил то, что побуждение — или *приказанье* — к поступку шло именно не от обычного, а от того, *другого* сознания, или от *спинки* (спинной мозг), как он называл это шутливо. *Спинка* и диктовала тогда, по его словам, содержание поступка.

У него была вообще очень выразительная спина. И я часто по ней узнавала его настроение. У нас были даже соответствующие названия: добрая спинка, больная спинка, квадратная (то есть сердитая, раздраженная) спинка и другие[39].

Повторяю, что в этих *подглядах* для Б. Н. имело значение, главным образом, то, что он *осознал* в себе *инстинктивный* жест, то есть, пусть на мгновение, проник в область бессознания. Его интерес и внимание все больше и больше привлекала *эта химия переплетения сознательных актов воли с бесконтрольной стихией телесных движений**.

Первый из случаев *подгляда* в себе этой *химии*, о котором хочу рассказать и который припоминаю со слов Б. Н., отно-

*Конечно, эта особенность сознания Б. Н. необычна. Но также необычна и та особенность его памяти, которую он называл «мой кодак» и которую я описываю в отрывке «Природа»; и еще многое другое.

сится к его гимназическим годам[40]. Это было в 6—7 классе гимназии. Перед сном Б. Н. в постели еще долго читал. Ночного столика у него не было, и большую высокую лампу приходилось ставить рядом с собою на стул, а по окончании чтения каждый раз вставать и относить ее на комод, который стоял в головах у постели. Как-то раз он поленился проделывать всю процедуру: вставать, надевать туфли и пр. Понадеявшись на свою ловкость, хотел просто привстать на постели и одной рукою перенести лампу прямо над головой на комод. Но сделал неловкое движенье ногой, поскользнулся и, потеряв равновесие, полетел с горящею лампой в руке прямо на спину. Все же не растерялся и быстро стал *соображать*, что теперь делать. Рассказ был гораздо длиннее того неизмеримо короткого мига. Но Б. Н. рассказывал именно так: очень длинно, со всеми подробностями. И самую *длинность* рассказа рассматривал даже как наглядное доказательство разности ритмов или времен, в которых живет в нас сознание и бессознанье. Он *понял* мгновенно, что падает, и падает мимо постели, на пол, что огонь опрокинется на него менее чем через секунду. Остановить падение было уже невозможно. Но из спинного сознания поднялось, что *возможно*: 1) *направить* движение так, чтобы упасть *на постель* и 2) *удержать* лампу в руках. Миг — и уже он лежал на спине, опрокинувшись на подушки, высоко держа над собой лампу в напряженно застывших руках. Он помнил, как сделал движение, изменившее ось падения тела, и помнил, как инстинктивно вытянулись и напряглись его руки. Потом он осторожно поднялся. Поставил лампу на место. Снова улегся, закутался. Тут только сказался испуг: его стало трясти, как в лихорадке; весь он дрожал, даже зубы стучали. Не мог заснуть до утра, но позвать никого не решился.

Другой раз дело было в Швейцарии. Б. Н. переживал тогда глубокую личную драму[41]. Но он не любил «самотéрзов» и, чтобы отвлечь себя и успокоиться, уезжал подальше в горы. Забирался на какую-нибудь маленькую станцию в горной глуши, оставлял вещи в отеле и отправлялся бродить по горам. Эти

прогулки его восстанавливали и физически, и морально. Мало сказать, что он горы любил. Он в горах оживал, как бы попадая в свою основную стихию[42]. Он находил здесь тот внешний ландшафт, который глубочайшим образом гармонировал с его внутренними переживаниями. Ритм гор — это был его ритм. Он как бы слышал здесь свое: «Excelsior!», обращенное к нему извне от величавых и строгих, отовсюду его обступивших гигантов. «Excelsior!» — его любимое слово, которое часто в себе повторял и которое давало ему силу проходить *выше* и *над разъятыми ущельями жизни*. Охваченный торжественно-светлым зовом «Excelsior!», уходя в горы, он надевал всегда неизменно сюртук. Этим праздничным платьем он как бы отрезывал себя от того, что «оставил в долине» («Котик Летаев», 10)[43] и сливался с «возвышенным» праздником гор*.

В непередаваемо прекрасных строках запечатлел он в «Котике Летаеве» эти прогулки. Часами бродил среди гранитовых «многозубий» и пиков, в «расколах громадин», ни души не встречая. Слушал «полифонию» гор... Он говорил, что стоял в эти дни на границе меж жизнью и смертью, не в смысле самоубийства, а в смысле глубочайшего кризиса, из которого в катастрофах сознания рождалось самосознание его: «Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза» («Котик Летаев», 13). По-новому осмыслялись все прежние «мертвые» смыслы; вставало: «...смысл есть жизнь: моя жизнь...» («Котик Летаев», 13).

Однажды Б. Н. долго шел по дороге, которая мягко винтила по склону. Ему вдруг стало скучно в обход делать длинные петли: решил сократить. Головокружения он не боялся, а карабкаться по кручам страстно любил. Измерил на взгляд расстояние вверх до следующего поворота дороги. Оно показалось невелико, и подъем выглядел *пустяковым*. Перешагнув через парапет, отделявший дорогу, бодро и весело закарабкался.

---

*Так — в сюртуке — снят он там же, в горах среди скал, у парапета дороги с каким-то бродячим фотографом (снимок этот у меня и у А. С. Петровского[44] сохранился.)

Все шло хорошо. Он уже довольно высоко поднялся. Но вдруг почувствовал слабость в руках* и одышку; хотел проверить, много ли еще осталось идти. Взглянул вверх. И замер в испуге: вверху конца не было. Зеленовато-серая круча выпукло загибалась, уходя в неизвестность. Инстинктивно он тотчас же заглянул вниз. И почувствовал, как леденеет от ужаса: там конца тоже не было. Зеленовато-серая круча выпукло загибалась у него под ногами. Казалось, что он повис в воздухе. Повторилось переживание, охватившее его когда-то при восхождении на пирамиду: взвешенность на ребре шара, где каждый следующий шаг представляется бредом[45]. Что делать? Почувствовал, что одному отсюда не выбраться. Стал кричать, звать на помощь. Прислушался: тихо. Снова кричал... никого. Убедившись, что никого и не будет, вдруг успокоился. Сознание с обостренной четкостью отмечало безвыходность положения и рисовало неизбежную смерть. Но откуда-то из глубины поднималась волна тишины и покоя. В самом деле, что же тут страшного? Что конец наступил? Но разве смерть страшна? Разве она не была столько раз уже прежде желанной? Довольно страданий... Пора отдохнуть...

Он готов был разжать онемевшие пальцы, которые плотно цеплялись еще за какие-то корни. Но тут что-то дрогнуло еще глубже: в сердце. Зазвучала новая сильная нота. Наперебой прежним мыслям о желанном покое хлынули бодрые, светлые мысли. Возвращалося мужество; руки и ноги снова окрепли. «Что бы там ни было, — вдруг зазвенел чей-то, как ветер, освежающий голос, — но разбиваться и падать так, просто — нельзя. Жизнь — *это смысл.* „Смысл — это жизнь: *моя жизнь*"**. И она драгоценна. Нужно ее сохранить. Нужно карабкаться дальше, не рассуж-

---

*Б. Н. всегда жаловался, что при очень сильных, неутомимых ногах у него непомерно слабые руки.

**Эти слова из «Котика Летаева» нельзя ставить в прямую связь с переживанием на откосе. Но Б. Н. говорил, что там впервые после долгих страшных месяцев в нем зазвучал опять лейтмотив: «о жизни» и «к жизни».

дая: зачем. Прежде всего: экономия сил и расчет! Думать только о том, куда ногу поставить, за что захватиться... Вперед...» Он огляделся и — тронулся. Сыпались камни. Кусты обрывались, когда он на них повисал. Но он полз. Полз упорно. Без мыслей, без чувств. Все существо словно стянулось в одну упругую и эластичную точку твердо направленной, нерассуждающей воли: вверх! Только вверх, чего бы это ни стоило! Последние миги были уже за пределами слов. Сердце *разрывчато* ухало; шумело, как море в ушах; пальцы немели, для дыхания не было воздуха.

По временам он опять замирал и начинал звать на помощь. Прислушивался, выжидал. И, не получая ответа, полз дальше. Наконец под рукой ощутил что-то плоское, твердое: край дороги. Почти машинально он подтянулся, перекинулся через невысокую стенку и на мгновение как бы потерял сознание. Напряжение кончилось. Силы сразу иссякли.

Сколько лежал так — не знает. Показалось: минуту! Встав снова на ноги, захотел посмотреть на пройденный путь. И — отшатнулся: гладко, почти отвесно спадала зеленоватая плоскость; а внизу бледно серела неширокая лента: дорога, откуда он полз.

Так вот какой был подъем! Не верил себе. Еще раз заглянул: убедиться. И — все так же не верилось.

13 августа 1926 г. произошел еще один случай, чуть не стоивший жизни Б. Н.[46]

Все дни перед этим он был особенно грустен, даже подавлен, и казался более чем обыкновенно рассеянным. Накануне, уходя к себе спать, он позвал меня в проходную темную комнату и показал за окно: «Вон там Марс! Посмотри, какой страшный...» На темном небе, совсем низко над крышей соседнего сарайчика, точно кровавый злой глаз, тускло горела звезда. Стало вдруг жутко. Мы молча простились.

На другой день Б. Н. должен был ехать в издательство («Круг»)[47]. Этим я объясняла отчасти его настроение. Он не любил *московских* поездок и откладывал их до последней возможности. Но, кроме того, август был для Б. Н. всегда трудный месяц. В детстве он в августе много болел и один раз чуть не умер (от дизентерии)[48]. С тех пор эти дни были всегда окраше-

ны для него в *тона тихой грусти и серьезных раздумий*. Он любил темными августовскими вечерами подолгу смотреть на звездное небо, уйдя в свои думы. От мыслей о звездах, путях их, о формах жизни, возможной на этих далеких *мирах*, переходил к мыслям о человеке, о *я*, о сознании, о смерти, вернее — о жизни по смерти, когда существо человека снова рассеется в космосе и каждая *звездочка* может стать местом новой, неведомой жизни. Вспоминал об отце[49], о своих с ним беседах в такие же звездные летние ночи, о Персеидах, метеоритах, о созвездии Геркулеса, к которому мчится земля, уносимая необъятным для мысли полетом нашего Солнца в мировую пучину. Я уже знала по прежним годам эти темы августовских песен без слов в Б. Н. и поэтому не удивилась, когда утром он вышел такой же сосредоточенно-тихий, погруженный в *свое*. Рассеянно брился, пил чай, собирал свой портфель; рассеянно-грустно простился и с отсутствующим видом, слегка крутя палкою в воздухе и чуть-чуть согнувшись, пошел по освещенной утренним солнцем дорожке на станцию Я долго смотрела с балкона (мы жили тогда наверху, в летней надстройке) вслед ему, как он медленно удалялся и наконец исчез за деревьями на повороте. Во мне вспыхнуло вдруг необъяснимое беспокойство; напрасно я убеждала себя, что ничего не случилось и беспокоиться нет оснований; это не помогало. Я как-то ничем не могла заняться и, бросив все, ушла в лес, чего никогда не делала в случае отъездов Б. Н.; постоянно бывало, что он приезжал раньше срока, так как указывал время поездки *с запасом*, чтобы я не волновалась напрасно. Бывало и так, что он возвращался уже с полпути, воспользовавшись каким-нибудь пустяковым предлогом.

В лесу было прекрасно: тихо и солнечно. Но тревога не оставляла меня. Когда же, вернувшись домой, я увидела, что его еще нет, то совсем пала духом. Села на балкон и стала глядеть на дорожку. Поезда проходили один за другим. Дачники возвращались толпами. А он все не приезжал.

Наконец на повороте, там, где утром скрылся Б. Н., показалась сестра[50]. Я вскочила: что это значит? Где же Б. Н.?

Сестра замахала мне издали и крикнула снизу, чтобы я не беспокоилась. Быстро взбежав на балкон, она досказала все остальное: «Б. Н. у нас на Плющихе[51]. Его ушибло трамваем. Но опасного нет ничего. Мы были с ним в амбулатории. Нашли вывих плеча. Петя пойдет с ним к Руфанову (хирург)[52]. Б. Н. спокоен. Он очень тихий. Плечо, конечно, болит... Хочет видеть тебя и послал меня в Кучино...»

В ответ одна только мысль: скорее... — к нему! Но мы и так уж бежали на станцию. Подошел поезд. Москва... трамвай... переулки... Наконец-то Плющиха! Спустились по лестнице. Постучались. «Б. Н., вот они и приехали», — крикнула в комнату мама[53], открывая нам дверь. А от стола нашей *кухоньки*, из своего любимого уголка, уже поднимался Б. Н. Ждал здесь, чтобы встретить скорее. Бледный, лицо сразу осунулось, около губ страдальческая морщинка. Рука на повязке: одно плечо ниже другого. Только глаза сияли навстречу:

— Ничего. Все уже кончилось. Руфанов — художник. Вправил руку так, что я и не заметил... Взял за локоть... подвигал вперед и назад. Я думал: он пробует... А он говорит: готово! Все кончено!.. Вот это — искусство! — Б. Н. хотел улыбнуться. Но улыбка не вышла: поморщился и больше еще побледнел.

— Б. Н., вы лучше пойдите и сядьте поудобнее в кресло, — перебил его Петр Николаевич — Вам нужен покой. Идемте, я вам помогу.

Мы прошли в нашу комнату. Усадили Б. Н. в большое покойное кресло; долго укладывали подушки, ища удобного положения для руки. Все же боль была сильная, хотя Б. Н. и хотел сделать вид, что *пустяки*, и все принимался опять и опять хвалить хирурга, Ивана Гурьевича Руфанова.

Понемногу начал рассказывать, как это вышло. Он уже побывал в редакции «Круга», которая помещалась где-то в переулках за почтамтом, у Мясницких ворот. Сойдя с тротуара, он пересекал теперь проезд около Чистых прудов с трамвайной линией «А», намереваясь пойти по бульвару в сторону Покровки, там сесть на трамвай к Курскому вокзалу, чтобы отправиться в Кучино. Рассеянное состояние его продолжалось. Шел, за-

думавшись, совсем позабыв о том, где находится, все стараясь поймать какую-то ускользавшую мысль. Очнулся от неожиданного страшного удара в плечо: «Как ло́мищем ахнуло!» Обернувшись, увидел вплотную с собой что-то огромное, что на него надвигалось, закрыв вдруг собой все поле зрения. Еще не понимая, что же, собственно, происходит, *поймал себя* на неожиданно странном движении: он заметил, что сделал высокий прыжок, перевернулся волчком, точно кувыркаясь в воздухе, и отлетел, как отброшенный, в сторону. Это он *еще помнил*. Затем сознанье погасло... Пришел в себя от чувства сильной боли и слабости во всем теле. Понял, что лежит на земле; и тут же подумал, что, пожалуй, больше не встанет. Как-то неясно мелькнуло: что ж это — смерть? Как хорошо и как просто... Откуда-то издали донеслись голоса, очень глухо: кто-то там разговаривал. Он сделал усилие: открыл глаза. Над ним с участием наклонились незнакомые лица... Кто это? И где он? Но слабость была так велика, что глаза снова закрылись. Подумалось: «Только бы так и лежать. Ничего больше не нужно. Как все просто. Какая тишина...» Но его тормошили: нужно подняться и ехать в амбулаторию. «Кому подняться? В какую амбулаторию?» — прислушиваясь, с усилием старался понять. Понемногу сознание опять возвращалось. Из отрывков слов и разговоров ему уяснилось, что он попал под трамвай и спасся лишь чудом. Удивлялись, как он оказался на мостовой, в нескольких шагах от трамвайных путей, а не под трамваем, который налетел как раз в то время, когда Б. Н. переходил через рельсы. Он же, как сквозь сон, снова *припоминал*, что, получив сзади в плечо сильнейший толчок и увидев, как на него бешено мчится нечто огромное, сделал отчаянный поворот и подпрыгнул, с *целью* — именно с *целью* (Б. Н. это подчеркивал) — отброситься в сторону. Когда об этом рассказывал, то трудно было решить, что́ для него тут существенней: то ли, что спасся от (может быть) смерти, или же то, что поймал в себе глубочайший бессознательный жест.

Но прежде чем добраться до Плющихи, он прошел еще через ряд настоящих мыта́рств. Когда усадили его на извозчика, он был

еще настолько слаб, что не мог давать никаких указаний. Вскочивший за ним милиционер повез его сперва в милицию на Петровку, а потом в ближайшую амбулаторию. Через несколько шагов: стоп! остановка! «Что такое?» — «Да пересаживаться: на другого извозчика». — «Зачем же?» Милиционер, вероятно не расслышав вопроса, влек из пролетки. Каждое движение было мукой. Рука висела, как плеть. От боли лоб, все лицо покрылось холодной испариной. Он с трудом сдерживался, чтобы не застонать (в перенесении больших физических болей Б. Н. был очень терпелив). Пересели, поехали. Через несколько шагов опять остановка, опять пересаживаться. Так раза четыре. Каждый раз с возрастающей мукой. Наконец Б. Н. взмолился: «Да что же это за пытка! Зачем на другого извозчика? Едем на этом...» — «А кто будет платить?» — обернулся грубо извозчик. Б. Н. не понял: «Как *кто* платить?» — «А как же, — вмешался милиционер, — даром никто не повезет всю дорогу. Как доедем до первого свободного, так и слезай, пересаживайся. Такое правило есть». — «Так я заплачу».— «Что же вы раньше-то не сказали!»

Но и на этом не кончилось. Амбулатория, до которой кое-как добрались, оказалась закрытой. Хмурая женщина мыла полы. «Подождите вот здесь, а я пойду справлюсь по телефону, куда еще ехать», — усадил его милиционер на скамейку. Б. Н. был как в бреду. Пустая мрачная комната, лужи воды на полу, босая женщина с подоткнутой юбкой и грязной тряпкой в руках... Откуда все это? Зачем? И как, наконец, он здесь очутился? Казалось, он снова теряет сознание. Тогда через все вспыхнуло вдруг неудержимо и повелительно: прервать этот бред. Вернуться домой: в Кучино... Нет, сил не хватит... Сперва на Плющиху... Милая... ждет... беспокоится...

Появился опять милиционер: «Едем!» — «Куда?» — «В амбулаторию». — «Голубчик, не надо! Поеду домой!..». Милиционер сперва не сдавался. Пришлось спорить, упрашивать. Наконец согласился, помог сесть на извозчика и хотел было сопровождать. Но Б. Н. уговорил не беспокоиться, уверив, что чувствует себя хорошо и прекрасно доедет один. На Плющихе встретила его мама: Б. Н. постучал ей в окно[54].

Еще один случай описан самим Б. Н. в «Ветре с Кавказа»[55]. Перескажу его здесь своими словами.

Летом 1927 года при проезде по Военно-Грузинской дороге мы остановились в Пассанауре отдохнуть и позавтракать. Выехали из Тифлиса шумной веселой компанией на двух автомобилях. Б. Н. был в приподнятом настроении. Осуществлялась его давнишняя мечта: увидеть Военно-Грузинскую дорогу*, побывать в тех местах, где когда-то военным врачом служил его дед, где родился и рос до десятилетнего возраста его отец[56], Н. В. Бугаев. В этих местах — Мцхет, Душет, Ананур — Б. Н. все казалось заранее близким и милым. К тому же он был захвачен быстрой ездой, прекрасной погодой, красотою ландшафтов. Впечатления настоящего переплетались с впечатлениями, нахлынувшими из детства. Вставали рассказы отца о чудесной, как сказка, таинственной жизни в крепостях на далеком Кавказе. Об этом взволнованно, быстро шептал мне, переживая едва ли не встречу: с дедом, с отцом.

Мы только что пронеслись мимо Душета, мелькнувшего справа россыпью беленьких домиков на изумрудных холмах, залитых солнцем; сделали короткую остановку в Ананурe. Б. Н. уверял, что это и есть та самая крепость, где 70 лет тому назад родился отец. С огромным волнением обошел он крепостные развалины, заглянул во внутренний дворик. Весь загорался от мысли, что именно здесь, может быть, родители его отца скрывались от нападения горцев, рассказ о котором он помнил, отсюда бежали они со своим сыном, тогда еще трехгодовалым младенцем. Воображение его пылко работало. Он бледнел от волнения и говорил о далеком прошедшем так, будто это было вчера и он сам был свидетелем всех тех событий.

И вот — Пассанаур. Мы вышли из автомобилей. Сопровождавшие нас «поэты»[57] разбрелись в хозяйственных хлопотах: о помещении, завтраке, винах. Мы с Б. Н. остались на

---

*В Кучине и в Цихис-Дзири мы уже *скрупулезно* ее изучали, знали все станции, расположение горных цепей, старались представить себе «Перевал», Казбек и «Ущелье».

дворике перед гостиницей. Подошла милая, всегда внимательная Н. А. Табидзе[58] и начала разговор. Б. Н. бродил сперва около, восхищаясь высокими зелеными громадами, обступившими величавой толпой горизонт, закидывал голову и искал, не выглянут ли где-нибудь «убеленные снегом гиганты». Он был все в том же радостно-приподнятом настроении. Улыбался навстречу всему, и ему казалось, что все, и в природе, и в людях, улыбается так же ответно, что все любит друг друга. С переполняющим чувством любви и доверия подошел он к двум небольшим горным медведям, привязанным тут же посередине двора к врытым в землю столбам. Медведи свободно маячили по двору на своих довольно длинных веревках. Б. Н. любил вообще всяких зверей и *зверушек*. Но особенную симпатию чувствовал к *мишукам*, или *мишкам*. Со словами: «Мишка, милый...» — он наклонился и стал гладить медведя по голове.

Отвлеченная разговором с Ниной Александровной, я издали машинально следила за этой сценой. Но была совершенно спокойна, не предполагая опасности; звери казались ручными; иначе разве пустили бы их так, без всякой ограды. Но через мгновение произошло что-то странное. Б. Н. вздрогнул и как-то неестественно отклонился назад, упираясь на левую ногу. Правая оказалась в лапах у *мишки*. Откуда-то выскочил незнакомый совсем человек и ударил палкой медведя. Тот глухо заворчал, не выпуская ноги Б. Н. Я все еще не представляла себе всей меры опасности. Но почему-то кругом все вдруг стало *не то*. И горы, и очень высокое небо, и желтый песочек площадки, и мишка, вплотную припавший к ноге Б. Н. (выше колена), и фигура самого Б. Н., так странно откинутая назад, — все *как застыло, точно перенеслось на экран*.

Увидев испуг на лице человека, взмахнувшего палкой, не помня себя, рванулась к Б. Н. Он, бледный и строгий, но совершенно спокойный, каким-то не своим, а сухим, повелительным голосом отрывисто бросил: «Дайте палку!» Миг — и палка уже опустилась. Зверь мотнул головой: его лапы разжались. Потеряв упор, Б. Н. странно перевернулся в воздухе, подпрыгнул и не упал, а, будто играя, прикоснулся к земле и тотчас же

снова стал на ноги. Подбежал незнакомый брюнет, с участием взял его под руку: «Подите отдохните, — вы дешево отделались». Б. Н. был все еще бледен, но так же спокоен и лишь изредка вздрагивал. Мы прошли с ним в комнату, где он прилег. Кроме Н. А., никто из ехавших с нами тифлисцев этой сцены не видел. Скоро позвали к столу. Б. Н. уже овладел собой, о *случае* упомянул только вскользь и небрежно. Его не стали расспрашивать, и он принял участие в общей застольной беседе: выслушивал тосты, сам отвечал. Но я знала, как глубоко он был потрясен и как серьезно воспринял происшедшее (подробная запись осталась в его дневнике), и удивлялась его молчаливости, выдержке. Так бывало всегда: о том, что задевало особенно сильно (интимно), он меньше всего говорил.

Часто потом он *детально* анализировал *случай*: «Я сразу не понял, что это серьезно. Думал — мишка играет. Когда же попробовал освободить ногу (стало вдруг неудобно стоять), то почувствовал, что зажат как в стальные клещи. Тут только увидел: нет, не игра это!.. *Помню* затем все, что было. *Помню*, как просил палку, как ударил по морде. Но почему именно по морде — не знаю. Мишка цепко тянул меня влево, к другому, который — я это видел — уже поднялся навстречу, злобно поглядывая в мою сторону. Я давал себе во всем очень ясный отчет. Но переживал это как-то со стороны, точно дело шло не обо мне... Я сознавал, что движениям моего мишки мешает только ошейник, который оттягивал его назад и душил горло. Я стоял чуть-чуть слишком далеко от него. И очень хорошо *понимал*, что стоит мне сдвинуться на два сантиметра, тогда я погиб... А силы уже изменяли. Тут вдруг откуда-то слева поднялась и ударила палка. Я не видел, кто бьет, но почему-то узнал, что удар был неверный, что надо бить иначе; и больше того, что я *знаю, как* именно. Но того, что я ударю по морде, *тогда я не знал*. Это мелькнуло, как молния, только в самый момент удара»[59]...

Уже вернувшись в Москву, Б. Н. узнал (не помню, прочел он об этом или ему рассказали), что единственное уязвимое место у медведей именно нос и что если бить их, то только по носу. Б. Н. был поражен: «Нет, это невероятно! Ведь тогда я

этого не подозревал... Спроси меня там, я не ответил бы... Так *почему же ударил именно по носу*? С чего это взял...»

И, охваченный своим постоянным стремлением проникнуть в «темный язык» бессознательных действий, Б. Н. продолжал припоминать все подробности этого случая, чтобы *рационально* представить себе всю последовательность своих *иррациональных* движений и окончательно уяснить себе, каким образом могло быть, чтобы *рука* его знала то, чего сам он *не знал*.

Наконец, последнее, что припоминаю.

Как-то в Кучине (осенью или зимой 1927 г.) вечером Б. Н. сидел за работой. В углу за его столом стоял столик, заваленный ворохами бумаг и папок. Такие же вороха лежали кругом на большом рабочем столе. Я была в другой комнате. Вдруг мне показалось, что освещение изменилось: словно воздух заколебался и побежали откуда-то отсветы. Удивившись, я заглянула к Б. Н. и невольно вскрикнула: что это? Весь его угол пылал. Б. Н. вскочил на мой крик и первую минуту глядел, не понимая. Потом в один миг сорвал одеяло с постели и бросился к пламени. Повалил густой дым.

«Еще что-нибудь! Скорее, скорей!» — отрывисто вскрикивал Б. Н., быстро кидая в угол то, что я ему подавала. Через секунду он уже топтал там что-то ногами. Дым все еще шел. Но пламя погасло. Прибежала хозяйка. Мы вместе *дотушивали*. Поднялись восклицания, расспросы: как? почему? Всего вероятнее, что, когда Б. Н. закуривал папиросу, искра от спички отбросилась в угол и попала в камышовую корзину, стоявшую под столиком и также полную всяких бумаг; она оказалась больше всего пострадавшей от пламени. Углубившись в работу, Б. Н. ничего не заметил. И когда услышал мой возглас и поднял голову, то увидел, что на него из угла прямо бьет пламя.

«Даже не успел испугаться», — отвечал он на *áхи* Елизаветы Трофимовны[60] и улыбался очень довольный, главным образом тем, что «пожар ликвидирован» быстро. О случае этом скоро забыл.

Б. Н. любил рассказывать о своих гимнастических способностях. Но к этой чисто физической ловкости в себе он относился совсем иначе, чем к *подглядам* в зону бессознания, говорил о ней в других выражениях, другим тоном, более легко и внешне; и никогда не *разглядывал*. Здесь все было заранее ясно и просто. Часто, смеясь, прерывал свой рассказ и бросал с веселым задором: «Упущенная карьера! Мог бы быть акробатом иль фокусником...» Лукаво поглядывал на собеседника и с удовольствием продолжал свой веселый рассказ. Его занимало то выражение недоумения, даже смущения, которое выступало порой на лице слушателя, не знавшего, как принять эти слова, а главное, как на них ответить, чтобы попасть в тон Б. Н. и вместе с тем не выказать и «неуважения».

Б. Н. придавал много значения тому, что в определенный момент в его детство вошло много движения. Он писал об этом в «На рубеже двух столетий». Вспоминая с благодарностью одну из своих гувернанток, m-lle Бэллу Радэн[61], он называл ее своей «избавительницей» именно за то, что она расколдовала в нем «ненормально оцепеневшую» детскую душу («На рубеже...», 220); его «тихие» игры, в которых двигалась больше всего фантазия, заменились живыми подвижными играми: «...при мадемуазель я начинаю много бегать и лазить по деревьям; из меня вырабатывается великолепный лазун; и вдруг обнаруживается подлинная гимнастическая ловкость, предмет удивленья мальчишек; она добивается того, что <...> нас с ней отпускают в <...> гимнастическое общество; и я два года, еще до гимназии, и марширую, и прыгаю, и упражняюсь на „ба́рах" (впоследствии, отроком, я щеголял различными фокусами на трапеции, быстротой бега, высотою прыжка, уменьем ходить с зажженною лампою на голове и взлезать на четыре поставленных друг на друга стула)» («На рубеже...», 221). И несколько дальше повторяет почти то же самое: в младших классах гимназии «я с таким совершенством» проделывал фокусы, что «ужаснул свою суеверную бабушку; за фокусами вспыхнула страсть к акробатике, в которой я был тоже горазд; пойди я по этому пути, я очутился бы в цирке; я потрясал ту же

бабушку тем, что мог, поставив друг на друга четыре стула, на них взобраться; и, стоя под потолком, держать горящую лампу на голове, что мне запретили; я проделывал курбеты и на трапеции...» В Кисловодске (14 —15 лет)[62] «я прельщал барышень, раскачиваясь и не держась руками за веревки...» («На рубеже...», 323).

В годы студенчества акробатические способности сохранились еще в полной мере. Компания «орга́ников», студентов четвертого курса, к которой принадлежал Б. Н., устроила себе что-то вроде клуба на плоской крыше университетской химической лаборатории; туда вылезали через окно и там проводили часы в чаепитии, в шумных спорах на обширные темы нового искусства и в веселых *дура́шных* забавах. В этих забавах Б. Н. был одним из самых *отчаянных* зачинщиков и исполнителей; выдумки его не иссякали: он «здесь же устраивал цирк и показывал, как возможно над бездной ходить по перилам, имея на голове стакан чаю; иль прыгая на одной ноге чрез поставленный на перила сосуд; весна, молодость, просто избытки сил ну́дили лазить по перпендикуля́ру стены, зацепляясь за выступы...» («На рубеже...», 419). Это было хождение по карнизу стены квартиры Владимировых[63] на Смоленском бульваре, на высоте второго этажа; распластав по стене руки и распростершись на плоскости, он осторожно передвигался к ближайшему окну, демонстрируя своим знакомым, как вор может забраться в окно их квартиры. (Фотографический снимок его и одного из товарищей в этой *распластанной* позе находится в ГЛМ.)

В 1923 году в Альбеке (курорт на Балтийском море)[64] ему пришлось проделать такое же путешествие. Он снимал комнату в пансионе (во втором этаже) в нескольких шагах от моря; целые дни проводил на пляже, в трусиках и купальном халате. Как-то раз он вернулся к себе, чтобы переодеться и отправиться на вокзал, где обещал встретить своих русских знакомых, не знавших немецкого языка; времени оставалось немного, и он торопился; но перед запертой дверью вдруг обнаружил, что

ключ от комнаты потерял: в карманах халата его не оказалось, не оказалось его и в кабине, куда Б. Н. бросился и где обыскал *все мышиные норки*; искал даже в песке: безуспешно. Положение было *критическое*. При его невероятной исполнительности и при его — в пустяках даже — верности данному слову, он не мог и *помыслить* обмануть ожидавших. Бросился к слесарю. Но день был воскресный, и слесарь отказался прийти. В сильнейшем волнении, мечась перед запертой дверью, Б. Н. громко выражал свое негодование на «нелепую ситуацию: быть отрезанным от собственной комнаты в костюме, близком к костюму Адама». На его яростный крик появился сосед (или соседка, не помню) осведомиться: что же случилось? Тогда Б. Н. вдруг пришла в голову *счастливая мысль*, которую он тут же и высказал: проникнуть к себе через соседнюю комнату, с балкона которой, *тряхнув стариной*, он мог по карнизу добраться до своего окна. Сосед согласился. И Б. Н., мгновенно перешагнув через перила, пополз по узкому выступу: точно так же, как 20 лет тому назад. Внизу собралась кучка зевак, с интересом наблюдавшая редкое зрелище. Слышался смех, шутки, возгласы одобрения, страха. Кажется, поняли так, что это — пари. Но Б. Н., смеясь, уверял, что, конечно же, сочли за вора, и он будто бы очень боялся, что начнут швырять камнями. Но обошлось во всех отношениях благополучно. Он влез в окно, быстро переоделся и тем же путем двинулся обратно. Поблагодарив за любезность соседа, поспешил на вокзал, где успел вовремя встретить знакомых. Был очень доволен, что прежние навыки пригодились.

В 1924 г. в Коктебеле как-то сама собой устроилась площадка для игр. Б. Н. с таким увлечением и мастерством играл в мяч, что на него приходили смотреть[65]. Составилась даже особая партия: Б. Н. и М. А. Волошин. Контраст их фигур был так поразителен, так подчеркнуто живописен, что не только окружающие, но и сами они, как художники, живо чувствовали его, восхищались яркостью этого сопоставления и любили играть свою «партию», от души веселясь, точно дети.

Кто-то так и зарисовал их на этой площадке с перелетающим между ними мячом[66]: широкий, неповоротливый, но по-своему ловкий Макс, как бы живое олицетворение массы и веса; и Б. Н., преувеличенно длиннорукий и длинноногий — всякое отсутствие массы и веса.

Этот рисунок долгое время висел потом в так называемой «музыкальной комнате». В 24-м году в ней танцевали, пели, ставили шарады, импровизировали кино; в ней было тогда столько веселья и шума[67]. И там же этот рисунок оставался — через девять лет — в 1933 году, когда Макса уже не стало, а Б. Н. в той же комнате так сильно страдал. По нелегкой для меня случайности, в этой комнате как самой большой и прохладной нас поместили, когда Б. Н. заболел[68]. И, сидя у его изголовья, я невольно постоянно видела перед собой это живое напоминание о том, чего уже не вернешь.

Б. Н. особенно интересовали такие игры, в которых было много движения и где можно было проявить свою физическую ловкость и верность *прицела*: крокет, кегли, мяч, серсо, даже «блошки»[69].

А вот карты, шашки и даже шахматы он не любил. Особенно последние. Как это ни странно, шахматы вызывали в нем упорную скуку. Единственное, что он здесь признавал, — это пестрые кубики, из которых, оставив в стороне указанные образцы, он из собственной фантазии складывал самые причудливые орнаменты и розетки. Один такой ящик с кубиками, кем-то подаренный, помогал ему коротать долгие пустые часы в берлинском пансионе у Крампе[70]. В форме и красках «розеток» часто отражалось его душевное состояние.

Любовь к подвижным забавам и играм проснулась опять особенно в кучинские времена. Чего только он ни придумывал!

Летом, уходя в лес, непременно забирал с собой *мячик*, чтобы всласть поиграть где-нибудь на поляне, «вдали от наблюдающих глаз». Он закидывал так высоко, что мяч казался не-

большой черной точкой, и, пока он падал обратно, Б. Н. успевал проделать разные сложные фигуры: несколько раз присесть, перевернуться, подпрыгнуть, обежать большой круг по поляне, лечь на землю и быстро подняться, повертеть в воздухе палочкой и т. д.

Он часто шутил, что признает только два состояния: ходить и лежать; и терпеть не может сидеть. Особенно за столом. Очень скоро устают ноги, шея, спина. Все тело наливается тяжестью. Если уж сидеть, то лучше всего на корточках: «как арабы».

«Превосходная поза! Никогда не устанешь. Часами могу так сидеть. По мне, хоть бы не было стульев», — говорил он, присаживаясь, и улыбался снизу вверх, обводя всех глазами.

Он сидел на носках, почти не касаясь земли. Иногда с шутливым вызовом предлагал мне его опрокинуть. Казалось, что это нетрудно. Стоит только коснуться рукой, и он упадет. На деле же выходило другое: все усилия были тщетны. Его «взвешенное состояние» оказывалось необыкновенно устойчивым и прочным. Концы пальцев ног точно вросли в землю; весь он был как железный и упруго выдерживал все толчки и усилия хоть немного сдвинуть его с места.

«Старайся, старайся, — поддразнивал он хохоча, — я-то уж знаю, что не свалюсь. Года могу просидеть...».

Многие знают этот жест Б. Н., когда в пылу разговора он вскакивал, подходил к собеседнику, легко опускался на корточки возле самого стула и продолжал говорить, заглядывая снизу в лицо. Потом так же легко вдруг поднимался и, стоя или идя по комнате, доканчивал свою мысль.

В молодости он любил танцы и хорошо плясал ползунка. Даже в 1932 году, как-то развеселившись, он «тряхнул стариной» и пустился вприсядку.

Порой находил на него особый задор, и он принимался *показывать* всевозможных зверей, подражая их типичным движениям и мимике. Один за другим появлялись: барсук, слон, ленивец, медведь, мартышка, белочка, заяц, кот, собака и др.

Это делалось молниеносно, с такой поразительной быстротой, что я не успевала опомниться. Едва раздавалось его тороп-

ливо-лукавое: «Хочешь видеть ленивца?» — как во мгновение ока уже никакого Б. Н. не было, а на спинке кровати, плотно вцепившись руками, ногами и воображаемым *хвостом*, на перекладине повисал *ленивец*, сонно помаргивавший на меня тупыми, ничего не выражавшими глазками. Оторвать его от перекладины тогда не было никакой возможности: казалось, его руки и ноги приросли к ней навсегда. Но мгновение — и нет никакого ленивца, а посреди комнаты тяжело высится *слон*, медленно и широко размахивающий длинным хоботом, и от времени до времени бросающий этот хобот высоко вверх, направо, причем он особым образом топал правой ногой и с непередаваемым — нечеловеческим! — звуком «у-у-у!» шумно выпускал забранный воздух. Или выскакивала белочка — *хвост парусом*, в лапках орешек, который она вкусно грызла, наклоняя головку то вправо, то влево. Или заяц прислушивался, испуганно поводя длинными ушами, и потом *улепетывал*, мелькая в воздухе крепкими задними лапами. Или мишка косолапо раскачивался, глухо ворчал и грозно *поревывал*, а крошечный хвостик его беспомощно повисал на широкой мохнатой спине. Или же, наконец, смешная мартышка соскакивала с плеча итальянца-шарманщика, уморительно жеманилась, расправляя кругом свои юбочки, и начинала приплясывать, строя умильные рожицы.

Нет, словами не передашь, что тут поднималось. Это была удивительная способность мгновенно менять весь свой облик и давать каждый раз до иллюзии точное подражание.

А то вдруг припоминал свои фокусы с картами или схватывал палочку и проделывал разные *кунштюки*: вращал, перебрасывал с *перевертом*, ловил, балансировал, держа на лбу, на кончике пальца, носился с нею, как ветер, по комнате. Или же медленно шел, весь как застывший, со стаканом воды на голове, раскинув для равновесия руки. Или даже стремился нагромоздить стулья и показать мне *воочию, чем во времена óновы* приводил в трепет бабушку. Но тут приводил в трепет меня и встречал мое отчаянное сопротивление. Я оттаскивала его в сторону, а он отбивался, со смехом рвался прочь к стульям, спешил с грохотом

поставить их один на другой и уверял, торопливо отмахиваясь, что не полезет на них, что хочет лишь *продемонстрировать*, какова была *пирамида*, на которую он когда-то взбирался. Мы весело спорили под шатавшимся нагромождением и мирно разносили стулья по местам после того, как Б. Н. убеждался, что я вполне оценила и ясно представила себе весь *риск* его предприятия.

Такие игры вовсе не всегда были следствием непосредственно хорошего настроения. Очень часто, напротив, Б. Н. прибегал к ним как к своего рода физиотерапии, именно в такие минуты, когда на сердце было особенно тяжело, а он не хотел отдаваться своему мрачному настроению. Тогда-то он и бросал этот *Аполлонов ковер над Дионисовой бездной** . Он предпочитал шуткой и смехом закрыть то, что заставило бы его мрачно лежать на постели, лицом повернувшись к стене. Это бывало, но очень редко, — очень, очень редко. Чаще всего шутка и смех помогали, и он, веселый и бодрый, опять принимался за свои очередные дела.

Все же больше всего в разнородных играх Б. Н. выливался просто *избыток* жизненных сил, которого он так и не успел изжить и о котором много раз писал в «На рубеже...» и в «Начале века». Этот *избыток* вызывал в нем неравновесие сил чисто физических и душевных. Физических сил постепенно становилось все меньше и меньше, а душевных до конца было все еще слишком много.

«Какой вы молодой! Сколько в вас жизни...» — говорили и писали ему постоянно.

И даже доктор Славолюбов, который осматривал Б. Н. во время болезни его в Коктебеле и который — я видела это —

---

*Это выражение не раз встречается в книгах Б. Н. Например, в «Арабесках»: «...мир искусств, — золотой ковер Аполлона над музыкальною бездной» (49)[71]. Оно родилось из строк Тютчева: «На мир таинственный духов / Над этой бездной безымянной / Покров наброшен златотканный / Высокой волею богов» («День и ночь»). И еще: день, как золотой ковер... «Ковер, накинутый над бездной» («Святая ночь на небосклон взошла...»)[72].

сразу же понял всю степень опасности, мягко, но очень настойчиво посоветовал: «Б. Н., берегите себя. Ваша болезнь в том, что вы слишком молоды для своих лет»[73].

Слово «игра», «играть» у нас очень богато значениями. Играет солнечный луч, играет молодое вино, играет актер, музыкант, играет ребенок; есть игра драгоценных камней, игра волн, игра светотени. И сколько еще есть разных «игр».

В «игре» Б. Н. было также много оттенков. Главный из них: игра творческих сил, или еще, как называл ее сам Б. Н.: игра sui generis*. Она началась очень рано.

Из *упоительной* свободной игры**, из детских фантазий и сказок Б. Н. сам выводил в себе начало той линии, «которая в будущем вытянулась в писательство» («На рубеже...», 222).

«Взобравшись на дверь своей детской (лет 8—9), я часами выглубляю фабулу своей игры»: опасная, но «прекрасная» жизнь в «дремучих американских лесах»[74]. Таким образом: «...я упражняюсь в сюжете и в приурочивании предметов комнатного обихода к предметам ландшафта природы лесной; дверь детской <...> — скала, высоко приподнятая над лесными чащами и недоступная врагу; лишь сидя на ней, я в безопасности: опустись в леса, — там рыщут гуроны, враги мои; <...> самое дремучее место леса — гостиная; зеркало — <...> водопад, красный комод — гранитная гора...» («На рубеже...», 222).

«Тут я — „символист", изучающий символизацию: дана дверь детской, дана необходимость ей найти место в американских лесах; вывод: дверь не дверь, а белая скала над вершинами леса; вывод: я — на скале: так заводится привычка: сидеть на двери верхом; в годах я непрестанно символизировал; и доходил до большего и большего совершенства реализовать мои символы; это сказалось позднее в том, что *натуралистические* образы в книгах моих выглядят как символы; и обратно: симво-

---

*своего рода (*лат.*). — *Ред.*

**Не в игрушки, которые он быстро ломал, а в «кого-нибудь» или во «что-нибудь».

лы мои ищут себе натуралистической подкладки» («На рубеже...», 228 — 229).

О своих уроках с Бэллой Радэн Б. Н. писал: «А учиться с мадемуазель — одно восхищение; это же — игра, а не ученье; и здесь все мне легко дается; я сперва отыскиваю на карте Северной Америки область озер, где „он" бродит („он"— субъект игры); потом —заинтересовываюсь уже всею Америкой; потом интересует меня, как попасть в Россию; и я — в России; незаметно земной шар мною изучен; и мы с мадемуазель загадываем ряд кругосветных путешествий. Вслед за физической географией заинтересовываюсь я и политической; государства, народонаселение, столицы, количество жителей, армия и флот — все входит в сферу моих интересов; но я ничего механически не заучиваю, а стараюсь узнанное ввести в игру; и в упражнениях над расширением сюжета игры я овладеваю фактами». Прочитав в ту же зиму несколько «мифологических книг (для детей), <...> некоторое время я переполнен событиями греческой мифологии, опять-таки овладевая ими в играх; я разыгрываю миф о Язоне, об аргонавтах, о Персее; с особенным вдохновением совершаю я двенадцать подвигов Геракла» («На рубеже...», 223).

Дошло до того, что в азарте игры он — тихий, почти робкий мальчик — произвел страшное опустошение в огороде, сбив палкой все цветочные завязи у помидоров.

«Период перманентной игры, — пишет Б. Н. дальше в «На рубеже...», — обнимает десятилетие; она — вторая действительность; в ней мальчик — „герой": установление связей между отдельными моментами нескончаемого сюжета, имеющего своей сферой историю». Игра «вырабатывает во мне и контроль мыслей и инициативу, которая вылезает в жизнь зрелой позднее уже <...>. Она длилась до времени сериозного изучения Шопенгауэра, Милля и символистов; <...> ознакомляясь с „героями" истории, я их обирал, перелагая на свой лад; „он", выросший из Кожаного Чулка плюс Скобелева, скоро включил и Суворова <...>, ранее, узнавши о подвигах Юлия Цезаря и речах сенатора Цицерона, я обобрал и Цезаря, и Цицерона <...> надо же было объяснить себе ежедневное посещение гим-

назии: „он" ежедневно ходит в Сенат и не урок отвечает, а речь произносит; <...> последние следы „его" теряются в слухах о нем, что он с головой ушел в авторство, пишет стихи, замышляет невиданные произведения <...>. Далее — краткий перерыв; „его" — нет. И тотчас же: рождается „Андрей Белый", — то же мое „второе я"» («На рубеже...», 227—228)*.

Что все это, о чем пишет Б. Н., — игра это или не игра? И где здесь граница между игрой, искусством и жизнью?

Жизнь — движение пробуждавшейся мысли — требовала себе прямого исхода в движении тела. Продумать, даже пережить — было мало. Нужно было подействовать — *совершить*. И совершал двенадцать подвигов Геракла, завоевывал страны, как Александр; был полководцем, равным Суворову. Сидя на двери — на скале — выжидал удобного момента, чтобы спуститься и с опасностью для жизни пересечь враждебные чащи; был путешественником, открывающим новые страны; был оратором по образцу Цицерона. Все это — в действии, в движении, в своеобразно осуществленных поступках. Скоро товарищем в играх стал С. М. Соловьев. Игры расширились, разрослись, зазвучали свирелью поэзии. И Б. Н. вспоминает в «Первом свидании»: «Мои строфические дни / И симфонические игры»[76].

Но и в гораздо более поздние годы *движение тела* было так же необходимо Б. Н. Оно создавало *оттяжку от головы*: прогулки, *работа со снегом*, гимнастика действовали на кровообращение, освежали и отвлекали от мыслей. Отсюда берлинский фокстрот, как та же *оттяжка*, как сознательно выбранное средство не сойти с ума в тот трагический период в жизни Б. Н.[77] И так же все для того, чтобы *уравновесить голову*, — прогулки по морю под парусами и на веслах, купанье, загар, игра в мяч, «камешки», рисунки, *листики* осенью и снеговые *Версали* зимой. В своих так им называемых работах со снегом Б. Н. *композиционно* продумывал линии всех дорожек в кучинском дво-

---

*Alter ego — псевдоним Б. Н. в годы, когда он хотел вообще снять свой псевдоним и писать как Б. Бугаев. Но не согласились издательства[75].

рике и с необыкновенным изяществом обрезал боковые *бордюры*, после чего они принимали вид искусно подстриженных снежных *боскетов* с картин Сомова[78]. В ярком солнечном свете и при луне эти *боскеты* вызывали невольное «ах» восхищения не только у посещавших Б. Н. москвичей, но и у наших кучинских соседей, не слишком склонных к эстетике.

Для забавы же и для *игры* — он любил иногда *поиграть*, что: рассеянный! Б. Н. принимался в веселые часы рассказывать разные смешные инциденты, возникавшие на почве его действительно частой рассеянности.

«На ловца и зверь бежит», — весело смеялся он. И рассказы лилися рекой.

Однажды в Берлине он поздно вернулся домой после одного из своих ресторанных и фокстротных походов. Все уже спали, и он двигался осторожно, чтобы не помешать соседям. Улегшись в постель, потянулся взять что-то из ящика в своем ночном столике; не рассчитал движения, слишком выдвинул ящик и с грохотом уронил его на пол со всем содержимым. Испугавшись, что шумом обеспокоит соседей, наскоро подобрал разбросанные по полу вещи и хотел вставить ящик обратно. Тот не вставляется: вдвинулся наполовину и дальше не шел. Б. Н. долго возился с ним, двигал в разные стороны, удивлялся и шепотом ахал: «Скажите пожалуйста! А! Вот так история!» Все напрасно. Совершенно измучившись, решил отложить до утра и сообщить о непонятном казусе убиравшей комнаты фрау Эльзе. Когда проснулся, первая мысль была: «Как же ящик?» Ящик не двигался. Едва показалась в дверях фрау Эльза, Б. Н. бросился к ней.

— Фрау Эльза, взгляните! Непонятное что-то! Испортился ящик!

Та наклонилась. Вдруг весело фыркнула, едва сдерживая смех, показала:

— Но это же ключ, Herr Бугаев! Вы не тем боком вставили ящик!

Оба они дружно расхохотались.

В Москве, в 1924-м или 25-м году Б. Н. пригласили прочесть доклад на частной квартире для небольшого кружка инженеров. Предварительно он зашел к В. О. Нилендеру[79] условиться о ночлеге, заговорился, и когда взглянул на часы, то оказалось, что нужно спешить (опаздывать он не любил). Поскорее оделся и, что-то еще договаривая с провожавшим его до передней Нилендера, бросился к выходу. Доклад удался. «Инженеры» остались довольны и разошлись с выражениями всяческой благодарности, взяв обещание встретиться снова. Разгоряченный, Б. Н. пережидал, пока немного *простынет*, договариваясь с хозяином о продолжении лекции. Наконец он поднялся, простился и, надев шубу, хотел уходить.

— Б. Н., а вы здесь забыли накидку, — крикнул ему инженер и протянул вслед «что-то широкое, темное».

— Какую накидку? Не было у меня накидки! — отрицал Б. Н. Но хозяин настаивал:

— Ваша накидка, Б. Н. Больше ничья. Видите, вешалка пустая. Все, кроме вас, разошлись.

Б. Н. пригляделся и с удивлением признал:

— Это же накидка Владимира Оттоновича! Как она здесь очутилась?

— Б. Н., вы в ней пришли! Больше никак! — улыбался хозяин. Пришлось допустить, что, торопясь от Нилендера, он *прихватил впопыхах и накидку*. Как это случилось, понять невозможно: шуба Б. Н. и без того была так узка, что он с трудом в нее *втискивался*. «Металось ли широчайшее облачение снаружи или повисло внутри» — так и осталось загадкой.

Но и Нилендер был поражен, когда Б. Н. вернулся с накидкой: «Так и проехалась с вами?! И не потеряна?.. Великолепно...»

Поселившись временно в Базеле, Б. Н. особенно полюбил высокую площадку на набережной, над Рейном, возле старого Мюнстера. Часто бродил там и подолгу сидел на скамейке, глядя вниз на зеленые быстрые воды. Там зазвучали ему темы «Кризисов»[80], вставали образы Ницше, Эразма[81] — тоже некогда жителей Базеля. Занятый этими мыслями, он однажды спускал-

ся по широкой лестнице, ведущей от Мюнстера к Рейну. Вдруг за спиной его раздалось сердито-испуганное восклицание: «Ай! Что вы делаете?! Разве так можно!» Не относя восклицания к себе, Б. Н. все же бессознательно обернулся. И, к величайшему удивлению и ужасу, увидел перед собой рассерженное лицо молоденькой девушки, за локоть которой зацепилась ручка его палки. Девушка поднималась по лестнице, а он тянул ее вниз. «Что вы делаете? Вы можете на смерть меня расшибить!» — начала она негодующим тоном. Но, увидев растерянное и испуганное лицо Б. Н., весело расхохоталась: «Какой вы, однако, рассеянный! Вперед, если захотите так же крепко задуматься, то не берите под руку палку крючком назад и не спускайтесь по лестнице. Иначе может случиться несчастье». Б. Н. бормотал извинения и пытался что-то такое сказать. Но она махнула рукой и, весело смеясь, побежала вверх по ступеням.

Однажды в «мусагетские»[82], а может быть, и в еще более ранние годы Б. Н. несся по Арбату, куда-то сильно спеша. Встретив знакомого, хотел с ним *любезно* раскланяться и рванул быстро в сторону шляпу. Но в глазах знакомого брызнул смех, а сам Б. Н. ощутил непомерную тяжесть шляпы. Оказалось, что болтавшийся сзади шляпный шнурок непонятным образом задел за сюртучную фалду и при поклоне она *лихо* взвилась вслед за взмахом руки.

Нечто подобное повторилось при мне в Берлине в 1923 г.[83] В весенний солнечный день мы решили с Б. Н. сделать «Ausflug»*. По дороге на вокзал что-то нас задержало. Стоя у кассы, Б. Н. отчаянно волновался, что мы опоздаем на поезд; и едва получив в руки билеты, опрометью бросился к выходу на перрон. Вслед ему раздалось вдруг добродушно-смешливое: «Hei, hei, junger Mann, nicht so schnell mil meiner Uhr!»**, и в ту же минуту я увидела, как из жилетного кармана толстого немца, стоявшего у кассы за Б. Н., вылетели золотые часы. Сверкнувши на сол-

*прогулка (нем.). — *Ред.*

**Эй, эй, молодой человек, не торопитесь с моими часами! (нем.) — *Ред.*

нце, они повисли на спине Б. Н., зацепившись за пуговицу пальто. Он стремительно рвался вперед, а немец придерживал его за рукав и пытался вернуть себе улетающие в пространство часы. Рассерженный непонятной задержкой, Б. Н. яростно обернулся. Глаза его разрывались от гнева. «Оставьте! Что вы меня держите? Мы ж опоздаем на поезд!» — кричал он по-русски.

Но немец уже справился со своей задачей и, водружая на место часы, по-прежнему с добродушием крикнул: «Laufen Sie mal... s'ist schon fertig»*.

Когда мы уселись в вагон и я рассказала Б. Н. о «происшествии», он до слез хохотал над своей «неудачной попыткой ограбить почтенного немца».

Более мелких *недоразумений* — не перечислишь. Они случались на каждом шагу. Вдруг начинались шумные поиски очков, незаметно сдвинутых на лоб; или шапочки, крепко зажатой в руке. Причем раздражение и горесть потери были так велики, а поиски так стремительны, что и мне, захваченной этой бурей, не сразу удавалось обнаружить пропажу. А сколько раз Б. Н. собирался подлить в стакан с вином *воды* из молочника или *поперчить* суп из... чернильницы. Или же нетерпеливо рвал и сердился, что никак не может просунуть голову в ворот *противной* рубашки; а при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это был просто рукав. Или, прощаясь и спеша договорить последние фразы, стремился поцеловать руку у пораженного собеседника (Б. П. Григорова[84]). Или изо всех сил дергал дверь, «не желавшую отворяться», и не замечал, что она заперта еще в «неожиданном месте на коварный крючок».

И однако, при такой как бы постоянной рассеянности, он ни разу не спутал того, на что сознательно обращал свое внимание: не потерял ни одной нужной бумажки, билета, квитанции. Но для этого он должен был сперва сосредоточиться и *сознательно* запечатлеть в своей памяти каждую мелочь. Это

---

*Бегите, все в порядке (*нем.*). — *Ред.*

называлось у нас: «довести до сознания». Перед выходом по делам или перед поездкой Б. Н. каждый раз методически сортировал свой карманный *портфелик.*

«Ну, довел до сознания, — говорил он облегченно, окончив *трудное дело* разборки, — можешь теперь быть спокойна. Ничего не потеряю».

И действительно не терял.

Но без такого обзора-*компендиума*, как он называл, «был как в темном лесу» и никогда не забывал его сделать. Поэтому он не любил, чтобы во время работы трогали его письменный стол, где видимый беспорядок листов, папок и книг был им строго продуман и «доведен до сознания».

Рассеянность Б. Н. во многом происходила от постоянной сосредоточенности его на каких-нибудь своих мыслях, а также от его темперамента, заставляющего его делать и переживать все с необычайной стремительностью и порывом.

Об этом мы часто с ним говорили. Он разбирал в себе свой темперамент и старался понять ту сложную *интерференцию* самых разных оттенков, из которых слагалась трудно определимая ткань его темперамента и его характера вообще. Оказывалось, что в нем смешаны, и притом почти в равной мере, холерик, меланхолик и сангвиник. Только флегматика не было *ни на йоту.* И сколько мы ни искали, так и не могли найти ни одной флегматической черточки. А будь он хоть немного флегматиком, ему было бы гораздо легче жить и работать.

Зато меланхолика было — «хоть отбавляй!». И острые *задуми* меланхолика, соединяясь с кипучим напором холерика, создавали вокруг Б. Н. ту взволнованную напряженность атмосферы, которую не все понимали и не все могли выносить, говоря, что он утомляет и подавляет. «Холерик, сцепившись с меланхоликом», заставлял его бурно реагировать на малейшее впечатление, «ввергая в водоворот катастрофических вихрей».

Прежде чем перейти к Б. Н. сангвинику, кратко скажу, что была еще зона, которую Б. Н. называл в себе *вне-* или *над*тем-

периментной. В ней он укрывался «от бурь темпераментной зоны». Все реакции в ней проходили иначе, совсем в другом ритме и формах. Там были тишина, нежность и строгий покой. Бурный огонь темперамента переходил там в ясные мысли, в свет самосознания. И звучала его изначальная тема: «Excelsior... amans amare», — выше вперед, — через любовь к Любви. Но эта зона была глубоко скрыта в Б. Н., и мало кому он ее открывал.

В *темпераментной зоне* его спасало то, что он сам весело называл в себе *неисправимым сангвиником*. Он действительно всегда был открыт для смеха и шутки, для солнца и радости; был как-то детски доверчив, беспечен и беззаботен. Охотно шел к людям, отзываясь на все их интересы, большие и малые. И сам был всегда готов поделиться своим. Даже в самые тяжелые минуты, находясь в обществе среди живых, интересных людей, он мог действительно быть, а не только казаться веселым. И никакие удары судьбы не могли истребить в нем этой, в основе своей жизнерадостной воли. «Воля к жизни» была постоянным солнечным центром его существа. Она провела его сквозь недетскую боль его больше чем грустного детства и не покидала его никогда на протяжении всех его дней. Это была его музыка, его «песня без слов». «Воля к жизни», любовь к силам, строющим жизнь, — ее-то видели многие. И в этом источник, почему многие не понимали или так неверно понимали Б. Н. Одни просто считали его поверхностным, едва ли не легкомысленным, весельчаком и откровенно завидовали: «Какой счастливый характер! Вам легко жить!». Я не преувеличиваю. О таких отзывах со смехом рассказывал сам Б. Н. Да и мне не раз приходилось выслушивать такие замечания.

Другие, главным образом более близкие к Б. Н. люди, недоумевали и даже негодовали, как может он в данный момент веселиться, искать развлечений: «Значит — все нипочем. Значит, как с гуся вода!».

Говорившие это не видели в Б. Н. такого чрезмерного богатства души, которое нельзя было нести только в себе, кото-

рое непременно нужно было кому-то отдать. Этот-то разрывающий переизбыток часто понимали упрощенно, как эгоизм. Считали, что именно эгоизм позволяет ему с — видимой — легкостью переходить от одного впечатления к другому, увлекаться новыми людьми, завязывать новые отношения.

А между тем на протяжении шестнадцати лет я видела, как Б. Н. умел быть верным и преданным, как долго он хранил свои чувства, с каким трудом и болью отходил от своих глубоких привязанностей, когда, наконец, убеждался, что было «не то».

Повторяю, что часто *выход к людям* был жестом самосохранения. Ему нужно было ощутить вокруг себя жизнь, убедиться в ее реальности именно в те минуты, когда в его сознании проходила уничтожающая трагедия гибели и смерти. Тогда ему нельзя было долгое время оставаться наедине с собой. Сборник «После разлуки» показывает, к чему это могло привести*.

В этот период его поведение очень многих смущало: «Пьет... Танцует фокстрот!..»[86] Он же знал, что теперь именно уединение для него опасно. Целые ночи, оставаясь один, он кипел, бушевал и доказывал что-то кому-то. А утром, поднявшись усталый, с мигренью, он горько сетовал: «Сегодня опять не заснул. Всю ночь подо мною ходила постель, и я сжимал кулаки!»

После таких ночей необходим был *разряд*: новый приток впечатлений; нужно было кинуться к людям, пошуметь, поболтать, посмеяться, бросить, в сущности, тот же «Аполлонов ковер над Дионисовой бездной». Б. Н. знал, что в этом жесте его понимают неверно. И не умел, а отчасти, из гордости, не хотел объяснить. Помню тогда наши беседы; его упрямое: «Каков есть, таков есть... Пусть таким принимают. Дела мне нет до того, что подумают...».

Но сильнее и глубже этого вскрика было то, что заставило его в «Первом свидании» сказать:

О, обступите, люди, люди,
Меня спасите от меня...[87]

---

*Он жил тогда совершенно один в при-берлинской деревне Цоссен[85].

В тот период с особою остротой Б. Н. проходил через свой последний темпераментный кризис. Этот кризис отмечен им в «Ракурсе к дневнику» (находится в ГЛМ) краткой записью: «Переоценка ценностей десяти лет (людей... идей... себя)»[88].

Я привела эти строчки из «Первого свидания» не как прямую автобиографию, а как иллюстрацию одного из моментов тогдашнего настроения Б. Н. С такою же силой в нем звучали тогда и строчки Вл. Соловьева: «Одно, навек одно...», и слова глинковского романса: «Сияй же, указывай путь...»[89], и многое другое.

Б. Н. всегда возражал против «по прямому проводу» автобиографического истолкования поэзии, даже лирической*. Он говорил об ошибках, которые непременно возникнут, если в лирическом стихотворении будут искать непосредственного отражения личности автора в момент написания.

В предисловии к «Пеплу» (1929), назвав эту книгу в целом «лирической поэмой», он пишет, что герой поэмы — «шатун, бродяга», которого он, автор, просит не смешивать с собой, так как «лирическое „*Я*" есть *мы* зарисовываемых сознаний, а вовсе не „*Я*" Б. Н. Бугаева (Андрея Белого), в 1908 году *не бегавшего по полям*, а изучавшего проблемы логики и стиховедения»[90].

Биографический узел всегда гораздо сложнее. И лирика, как и всякое творчество, может дать только своеобразно оформленный и преломленный материал к пониманию. Преломленный настолько, что, по словам Б. Н., «мрачнейшее стихотворение неведомым путем может вырваться из-под пера в самые безоблачные минуты. И наоборот: иные прозрачные светлые строчки слагаются как раз тогда, когда на душе царит мрак отчаяния».

В связи с этим скажу здесь еще об одном. Каждый раз, когда думаю о темпераменте Б. Н., во мне начинает звучать его голос, читающий все то же стихотворение «Тимпан» из последнего сборника «Зовы времен»[91].

---

*Исключая лирику «личного чувства», да и то с оговорками.

Ритм мелодии дан там на дыхании трех разноокрашенных волн интонационно поющего голоса. В пределах трех строф сомкнут диапазон звучаний — от огненных взрывов тимпана, через певучую призрачность флейты, до сквозного струения арфы.

Он начинал — будто весь вспыхнув — с бурного взлета острых хохочущих строк: «Поднял голос —/— Упорный, лукавый, / Как Пан —...». Потом из обрыва в глубокую паузу едва намечал, замедляя, напевно: «Точно сон из забвения, / Точно хитон / Фиолетовый...». Потом — новая пауза... И — вздохом душистого воздуха веяла «Са́фо», лицом озаряясь на звук; а вдаль, угасая легким всплеском созвучий, «арфа —/— Струилась / Ручьем / Серебристым —/— Из рук».

Нет, нужно было раз только слышать, как читал свой «Тимпан» Б. Н., чтобы этого никогда не забыть.

Меня однажды спросили: был ли Б. Н. скрытен? Этот вопрос заставил задуматься. Просто ответить «да» или «нет» на это — нельзя.

Он мог совершенно свободно и очень открыто говорить о себе почти со всеми и, казалось, — высказывать *все*. Но тональность этого *все* у Б. Н. была необычна. И непосредственность его проявлений, которую в нем иногда отмечали, его безграничная, как казалось, откровенность в высказываниях о себе также имела особый оттенок. В нем была редко встречающаяся объективность по отношению к себе, какая-то *объективированность*, выделенность себя же в себе. Точно он различал в себе своего рода субъект и объект и в то же время оставался всегда и во всем самим собой, тем же неповторимым Б. Н. И вот Б. Н.-субъект говорил об объекте-Б. Н. как о ком-нибудь постороннем, как о другом человеке. Он мог обсуждать слова и поступки этого человека, мог оценивать их совершенно незаинтересованно и беспристрастно, со спокойствием, свободным от личной взволнованности.

Может быть, это действовала в нем привычка художника, который всегда все видит и наблюдает невольно. Он и себя наблюдал наряду со всем остальным. Он следил за собой и

видел себя со стороны даже в такие минуты, когда казалось, что никакое самонаблюдение невозможно. В одном разрезе я уже рассказала об этом, говоря о его самообладании и твердости в минуты опасности или при принятии серьезных жизненных решений. Но даже в мелких случаях, и даже тогда, например, когда он «взрывался», не владея собой, он всегда как-то видел себя и сознавал, хотя и не мог сдержать своих «взрывов». Он говорил мне об этом, а иногда я и сама это видела.

Так и в разговоре с людьми. Он был совершенно открыт и обращен к человеку; и все-таки — еще глубже, под этой открытостью оставалось что-то, чего он не открывал.

Он рассказывал о себе горячо и правдиво, часто с большим увлечением и без всякой ноты утаивания. И все-таки он обнаруживал только то, что хотел обнаружить, и настолько, насколько считал это в данный момент возможным и нужным.

Он часто говорил, что в человеке есть зона, вообще невыразимая в слове. Там человек всегда один, сколько бы друзей и любимых у него ни было. Там он один — с собою и Богом. В момент смерти каждый пройдет через это. В следующей зоне человек живет с тем, кого он называет своим «ты»; там он уже не один; там он — «Я и ты». И, наконец, в третьей зоне он живет со многими, — там он в «мы», прежде всего с друзьями и потом — уже со всеми людьми.

Конечно, это не было сухой схемой, механическим, рассудочным разделением. Через все всегда звучал голос сердца. Он проходил через все зоны, связывал их и делал слова Б. Н. всегда такими живыми и нужными каждому, с кем он говорил.

И оттого в его личных словах так необычно звучала не личная нота. Он говорил не о себе, а о *человеке*, с которым случилось то-то и то-то, что со всяким может случиться. И слушавший чувствовал себя не исключенным, а включенным в этот человеческий опыт, в это человеческое переживание.

Исключительно о себе Б. Н. говорил очень редко и мало. И, пожалуй, не будет ошибкой сказать, что свое самое главное, свое заветное и святое он почти не выговаривал в слове.

Он давал его в интонации, в жесте, в совершенно особенном тембре голоса, в невыразимом, сияющем и точно полном огня и слез взгляде; и в паузе. В паузе больше всего.

Но как сказать о том, что шло от него в этой паузе...

Это был светлый, глубокий покой, чистота, отрешенность и строгость «перегоревших страданий». О них в «Христос Воскрес» Б. Н. сказал: «Я знаю: <...> перегорающим страданием века омолнится голова каждого человека»[92]. И вот, казалось, что видишь, как буря страдания здесь уже улеглась, уже *перегорела* — в любовь. И любовь, победив, засияла трепетом легких лучей где-то незримо взошедшего солнца; оно — это солнце — согревало и озаряло теперь все черты; лицо его тихо светилось; и в детской улыбке, в прерывавшихся тихих, как вздохи, словах было доверие к силам добра, к силам жизни. Какое-то детски простое доверие, простая горячая вера.

Привожу несколько строк из письма В. П. Д.[93], полученного мною в январе 1941 г., — гораздо позднее того, как я сделала эти записи. В. П. пишет мне: «...Он весь был — *музыка,* — это первое, и второе — он был весь *детскость*. Да, несмотря на его острый ум, огромную эрудицию — он был где-то, в глубине глубин, — чистый, ясный ребенок. Эта детскость, так редко встречающаяся в людях, светилась иногда в лучистости его глаз... <Он рассказывал что-нибудь и> его глаза были такие лучезарные, чистые и детские. Детские в доверии, в радости озарившей мысли, в стремлении отдать другому то, что зазвучало как некое открытие. <Это был> взгляд „ребенка-гения"<...>. И третье — какая-то *детская беззащитность.* Да, именно так... Он мог греметь, сердиться, стучать кулаками, негодовать, но, но... он все же был беззащитен...»

Но бывали другие минуты. Тогда — будто стремясь из бездонных глубин, откуда-то из самых недр бытия, в нем вздымались огромные волны... Грозно и мрачно неслись и ударяли, казалось, что: в небо. Точно вихрь, вдруг взлетал и звучал как угроза, вопрос: «Зачем же возникла такая вертучка миров, где умнейшим, добрейшим...» («Москва под ударом»)[94].

Он вскакивал, будто поднятый ураганом нахлынувших мыслей. И застывал. Легкий и тонкий, он тогда казался гигантом. Стоял одиноко и прямо перед миром и Богом. С нечеловеческой властью и силой бросал свой человеческий вызов: «„Не хочу быть дураком перед Господом Богом" (слова Ломоносова)[95]. Если я человек, то и страдать хочу по-человечески: зная и понимая, что и зачем. Мы — люди, а не бессловесные твари, которым положено мучиться, не понимая. Если же у нас отняли понимание, то я *не* согласен. *Я хочу понимать!* И заявляю об этом. Не хочу говорить, что прекрасно, коль вижу: *не* прекрасно совсем... Осанны в кредит петь *не* могу... И ходить дураком *не* желаю...».

Как стремительные удары неслись его *не*, — сухие, короткие и страшные в своей отрицающей силе. Кого или что видел он перед собой? В кого бил, или — сам обо что разбивался? Какая сила вздымала в нем эти гневные волны? И как он мог совмещать в себе эту мрачную бурю и тот сияющий ясный покой? Как вообще мог *один* человек нести в себе и выдерживать такой страшный контраст состояний?

Беру его же слова, в которых слышу ответ на эти вопросы. Уже после, когда его не было, как-то читала я «Маски» и — вздрогнула. Неожиданно новым совсем смыслом зажглись мне знакомые, столько раз слышанные прежде строчки. Я словно видела вновь перед собой Б. Н. и слышала его голос: «...летучие ужасы мира стремительно вниз головою низринулись — над головою не нашей планетной системы, — чтобы зодиак был возложен венком семицветных лучей! И вселенная звездная стала по грудь: человек — выше звезд!» («Маски», 312)

«Человек — выше звезд!» — звучал его голос.

«Выше звезд» — как же и чем? «Выше звезд» он любовью, — сердечным теплом. Ему дан этот луч, этот солнечный греющий луч, рассекающий черные тучи всех «ужасов мира». В разговоре с Тителевым (в «Масках») Коробкин указывает на факт убывания скорости света, что ведет к охлаждению нашей вселенной. И на насмешливый вопрос Тителева: «Ты-то... разогреешь созвездия?» — отвечает решительно: «Да-с!» — «Чем?» — «Любовью»[96]. Это — ответ самого Б. Н.

И я вспоминаю: каким бы смятением ни был охвачен Б. Н., но при слове *любовь* он стихал. И как бы ни был велик его протестующий *бунт*, но стоило только сказать: «Ведь есть же любовь!» — и он весь озарялся. Точно все разрешающий синтез, проносилось дыхание света: словно что-то склонялось над ним и покрывало собой все сомнения, непонимания, неразрешенности всех неразрешенных вопросов. Потому что в любовь верил он до конца, безусловно. Она была для него той *реальной реальностью*, которой ничто не могло поколебать, затуманить.

Вспоминаются изумительные слова блаженного Августина: «Nondum amabam, sed amorem amavi. Quaerebam quod amarem amans amare». («Я еще не любил, но любил любовь. Искал что полюбить, любя любовь».) (Привожу по памяти цитату, запавшую в душу мне в очень юные годы и с тех пор нигде не встречавшуюся.)[97]

И вот, о Б. Н. могу сказать силой этих единственных слов: да, всю свою жизнь он «любил любовь». И с какой огненной силой.

Но — любовь он таил. Это и было то, что в общении с людьми он не обнаруживал, о чем целомудренно-строго молчал. И потому очень немногие знали в нем это свойство души, немногие предполагали в нем эту способность. И немногие видели, как он умел любить, как хотел любить и как он любил.

Мне почти страшно писать это слово. Слишком много оттенков в его понимании. Оно стало избитым, захватанным; стало штампом, почти таким же бессодержательным, как и другое великое слово: добро.

Но, говоря о самом главном и внутреннем в Б. Н., об этом нельзя не сказать. Это было то, чем он дышал, чем билось его сердце, — его чистое, строгое и, как солнце, горячее сердце, укрытое в нем глубоко, глубоко, недоступно для взоров. А он нес любовь как родник своей жизни; он верил в любовь как в изначальную силу, создавшую мир; и в своем творчестве видел лишь «малый и слабый» отблеск этой великой, единой основы всего.

И сам он в любви своей был бескорыстен и щедр; он не присваивал, не брал себе, но отдавал себя, — без вопросов,

сомнений, без меры, — в одном неудержимом горячем порыве: отдать.

Так любил он тех, кого считал бесконечно выше себя, тех, перед кем он благоговейно склонялся.

Но так же любил он тех, к кому сам он склонялся, в ком не мог не почувствовать их беспомощной слабости, но кого в свете своей беспредельной любви он называл и считал себе братьями.

Записав эти строчки, я смущенно задумываюсь. Имела ли я право об этом писать? Имела ли право касаться того, что сам Б. Н. оставлял только в паузе...

Но смысл моих слов один. Я хочу рассказать о том, что я видела и узнала в Б. Н., чему от него научилась и чего многие в нем не знали совсем.

Он действительно был очень сложен в своих проявлениях. Но как же могло быть иначе? Как мог он сразу открыть свою правду?

Жизнь сознания в нем, его самосознание было так многообразно построено, так многосоставно. Сколько сфер, зон, пластов и потоков в нем всегда пересекалось. Как бурно двигалась и неслась эта певучая ткань, образуя мгновенные смены переложений и сочетаний, — то, что Б. Н. называл в знаках алгебры abc, cba, bac и т. д. Это можно было бы уловить и передать лишь в формах музыки.

И он, действительно, был как живая симфония. Как в симфонии, светлый мажор в нем сочетался с трагическим скорбным минором; стремительность бешеной фуги сменялась высоким покоем хорала. Сложнейший хроматический ход *разуверенья*[98] прерывался *щеглячьей* наивностью радостной песенки. То он взлетал, как «Тимпан» («Зовы времен»), и несся в огненном смехе стокатто; то размеренно шел в сдержанной мощи rubato. То слышались грохоты гулких ударов: «Гордо глыба молота / Закачалася в твердых руках» («Зовы времен»)[99]. И вдруг запевала мелодия серебристой, «малиновой» нежностью[100], будто «зов бирюзовый», будто «бледно-лимонная

блеснь» из-под руки, «с лютни срывающей прозвуки грусти чудесной» («Зовы времен»)[101].

Больше всего он был — музыка, и больше всего он был — ритм. Ритм и музыка едва сдерживались в нем человеческой формой.

И все же он был *человек.* Не только был, но и хотел быть человеком, — именно *прежде всего* и *до конца* человеком. Сам так смотрел на себя и хотел, чтобы так же к нему подходили другие. Хотел, чтобы видели в нем не писателя, не автора книг и — что хуже всего — не «арабеску от символизма». Он хотел, чтобы в нем видели человека — «Бориса Николаевича». Только на этот звук он откликался сердечно и ласково. На подходы иные сердился. И едва только слышал ноту придыхания «Андрей Белый», тотчас же становился далеким и сдержанным, порой неприятно официальным, порой подчеркнуто вежливым и любезным. Но все это значило, что он насторожился и спрятался, ожидая, что будет дальше.

Но окончательно он не выносил, когда люди «с улицы» обращались к нему как к «учителю жизни» или, что еще хуже, когда видели в нем существо необычайное и даже... сверхчеловеческое. А такие случаи тоже бывали. Тогда, рискуя обидеть, пугаясь этого и оттого приходя в совершенную ярость (иначе Б. Н. не умел себя защитить), он взрывался потоком громких, отчаянных криков. Летел, как лавина, на оглушенного почитателя:

— Вот... Вы пришли разговаривать... А знаете вы, что у меня зубы болят, что я рот полощу шалфеем. Где же мне говорить... Вы подумали, что мне как раз завтра анкету фининспектору подавать... Мне время дорого. Я должен работать, как вол! Вы врываетесь к человеку, когда вам захочется, а у него мигрень жесточайшая... Вам неведомо, что я всю ночь не спал за корректурой...

Все это выкрикивалось с нарастающей быстротой, с единственной целью как можно скорее, скорее, скорее «прервать безобразие ложной позы учителя», показать, что «учителя» нет, а есть усталый больной человек, который хочет оградить себя

от неожиданных притязании на углубленный, многочасовой разговор о «последнем и вечном», когда ему не до того.

Такой крик давался Б. Н. нелегко. Иногда целый день после этого он не мог уже прикоснуться к работе. А успокоившись, когда гнев проходил, он говорил потом, полусмеясь, полусердито, что «чреватость» и «нарочитость», надетая к тому же «как на корове седло», — для него «хуже горькой редьки».

И напротив, чем проще, непритязательнее и конкретнее был вопрос, с которым к нему обращались, тем охотнее он откликался.

Как-то мало знакомый ему человек, благодаря Б. Н. за живую беседу, воскликнул с горячим порывом: «Б. Н., как удивительно и хорошо, что около вас нет никаких мусорных куч, которыми осыпаются знаменитости. К вам подходишь свободно. Вы подпускаете прямо к себе. Это делает в вашем присутствии просто счастливым. Начинаешь в вас верить! И — начинаешь верить в себя...»

Б. Н. ласково улыбнулся. Но ничего не сказал. Он расслышал искренность и прямоту этих слов и сдержал уже готовый вспыхнуть протест. Видно было, как «знаменитость» резнула его.

Разумеется, он допускал и уважение и естественный пафос дистанции. Они не могли помешать. Даже напротив — так как развязности и бесцеремонности он вообще не любил; встречал ее или строгим «нахмуром», или подчеркнутой предупредительностью — признаком, что он недоволен. Слишком навязчивых и развязных людей быстро ставил на место.

Но у него была «откровенная слабость». Можно было подумать, что он ревновал себя к «Андрею Белому» и зорко следил, чтобы «Андрей Белый» не затмил собой «Б. Н.» Внимание и ласка, оказанные «Б. Н.», были дороже всех лестных слов, расточаемых по адресу «Андрея Белого». Убедившись же, что «Б. Н.» признан, что его замечают и с ним считаются, он успокаивался, добрел, становился веселым, доверчивым и очень-очень простым. Он открыто радовался всякому знаку внима-

ния, всякий пустяк принимал с благодарностью. Б. Н. не был особенно избалован и мало видел тепла и забот о себе и простой человеческой ласки. Но нужно было, чтобы и внимание и забота направлялись именно к нему, к Б. Н, а не к «абстракции», не к «арабеске» «Андрей Белый», которую он отразил как свой литературный «каркас», назвав его «Леонид Ледяной», — в «Записках чудака» и в стихотворении «Леониду Ледяному», предназначавшемуся для сборника «Звезда»[102].

Что же значило на его языке «оказать внимание Б. Н.»? Расскажу несколько маленьких случаев.

Во время наших кавказских поездок предмет постоянных забот и волнений составляли «трудности с самоваром», потому что Б. Н. всегда любил «поуютничать за чайком». Он перебирал и обсуждал вновь полученные впечатления и тут же записывал их, кое-как примостившись «у самоварика» со своими листами и папками. А между тем получить самовар на Кавказе — «редкое благополучие». И можно было бы написать целую эпопею о наших «самоварных и чайных боях» в Армении и в Грузии. Только с большим трудом добились мы, например, признания самовара в Схвитори[103], в доме, где по местным обычаям день начинался и кончался вином. А какие «горы усилий» ушли в Эривани, прежде чем на столе у нас в номере появился наконец кипяток!

И вот, когда из Тифлиса мы должны были «взлететь» в Коджоры (прекрасное горное место в тифлисских окрестностях), Табидзе[104], в доме которого мы остановились на несколько дней и с которым прежде уже не раз совершали поездки, предложил нам взять с собою в Коджоры его самовар. Б. Н. встретил это предложение с восторгом. Он положительно ликовал и бурно выражал Табидзе свою благодарность. И как же не радоваться, когда с нами в Коджоры «взлетал» самовар, то есть открывалась возможность многих «блаженных и плодотворных часов».

Также тронуло Б. Н. внимание одной знакомой, которая заметила, что он с удовольствием кушает сладкие батумские булочки с ореховою начинкой — «рожки», как он называл, и стала их привозить, навещая нас в Цихис-Дзири[105].

Вспоминая свои «сирые» дни в больнице в 1921 году[106], Б. Н. всегда говорил, что большим утешением ему в то печальное время были кедровые шишки, которые вместе с рассказами о душистых сибирских лесах и о Байкале приносила ему одна из его слушательниц по Лито[107], проведшая свое детство в Иркутске.

Но зато как же он был недоволен, почти возмущен, когда друзья забыли привезти для него из-за границы цветных карандашей, о которых он к тому же специально просил. Цветные карандаши, бумага и краски были всегда желанным подарком. И вот теперь он бурно негодовал:

— Да, хорошо!.. Когда: «Б. Н., почитайте нам», — то вытащат из постели. Болен, здоров, — все равно им: читай! А карандаш привезти — это трудно! Абстрактные люди!

И долго еще волновался и не мог забыть «невнимания» к своей «незатейливой просьбе».

«Абстрактный» — было в устах Б. Н. выражением величайшего порицания, имевшего много оттенков, главным же образом указывавшего на эгоизм. Другим сильно порицающим словом было «нечеткий» в применении к поступкам или вообще к поведению человека. «Нечеткий поступок» означало на обыкновенном языке: непорядочный или просто дурной. В знак более легкого неудовольствия и неодобрения он говорил еще о человеке «Verstandesseele», то есть умствующий там, где нужно было бы чувствовать. Других порицаний не помню.

В жизни Б. Н. был исключительно легок. У него не было никаких особенных требований, никаких капризов, даже просто привычек. Когда он работал, для окружающих это было совсем незаметно. Не происходило никакого «священнодействия». Он тихо сидел за столом, углубившись в писание, и его не смущало, если в комнате шла своя жизнь. Он уверял даже, что от этого ему только «уютно». Лишь бы было сухо, тепло, лишь бы вечером на столе горела светлая лампа; большего он не требовал. Ни шум, ни разговоры ему не мешали; он их не слышал, если только это не была ссора. «Добрая атмосфера» вокруг

была для него важнее всего. В этом отношении он был очень чувствителен. И если даже враждебность направлялась не на него, он все же сжимался, приходил в угнетенное состояние, нервничал. При этом — он совсем не умел сглаживать положение и обходить острые углы, и если вмешивался, то только ухудшал и запутывал дело.

Настроение домашних тем более отражалось на нем, что он очень охотно вступал со всеми в общение, интересовался общими радостями, разделял заботы и горе. Для каждого находил свой язык, быстро схватывая оттенки характеров и особенности окружающих лиц. За обедом или чаем он все наполнял своими живыми рассказами, в которых был просто неистощим.

Так было в моей семье. Мама, тетя и брат[108], не говоря уже о сестре, полюбили его как родного. В 38-м году тетя писала мне в связи с 8-м января — днем памяти Б. Н.: «Всегда вспоминаю дорогого Бориса Николаевича с любовию. Пусть я его не всегда понимаю в его писаниях, но в жизни он был честный, чистый, любящий человек; это было для меня понятно»*.

И странно было видеть, как эта сердечность, непритязательность и доступность сочеталась в нем в иные минуты с острым сознанием своей отделенности, с чувством невольного, беспредельного одиночества, которое вызывалось его роковым для него превосходством. Порой оно тяготило его самого и окружало трудною для других атмосферой постоянного напряжения и беспокойства.

Отчасти это было связано в нем с нотою «Андрей Белый» (Леонид Ледяной). Как «Андрей Белый» он был не только избалован, но, пожалуй, пресыщен. Он слишком привык быть в центре внимания и интереса; привык быть окруженным; выслушивать восхищения и восторги. Но эти внешние знаки нисколько не радовали, не забавляли его, а лишь раздражали; потому что «главного» не получалось: не получалось общения с людьми и не возникало горячей беседы, которой он всегда так искал и так ждал.

---

*Письмо приложено[109].

В такие минуты он часто переживал состояние, близкое состоянию профессора Коробкина в романе «Москва под ударом» (30): «Поговорить-то ведь не с кем; из всех математиков разве десяток, рассеянный в мире, мог быть ему в уровень».

Его охватывал приступ жгучей тоски. С острой силой вставало сознание своего «интеллектуального одиночества», — невозможность ни с кем поделиться обилием кипевших в нем познавательных сил, ввести в круг своих интересов и «домыслов».

Он испытывал подлинный голод по собеседнику, который мог бы активно участвовать в разговоре, поднимающем вопросы культуры, сознания, мысли; который мог бы не только выслушивать, но оспаривать, возражать, выдвигать свои встречные темы.

В отчаянье бросался он на постель лицом в подушки. И, приподняв голову, несколько вбок неотрывно и остро глядел: «Я хотел бы общения... настоящего разговора...». Чтобы развлечь его, я шутила: «Сам виноват! Зачем такой умный... Вот и не с кем поговорить...» Иногда шутка действовала. Он быстро вскакивал, принимал гордый вид, уморительно сдвигал и заламывал свою шапочку и с лукавой иронией важно растягивал: «Да... у-у-умен... слишком умен...»

И без всякого перехода, с хохотом бросался к столу — зарисовать тут же вспыхнувшую в уме карикатурную сценку. Я с облегчением вздыхала: это значило, что приступ прошел и на этот раз с ним покончено.

Иногда же, не отвечая на шутку, он с тоскою глядел: «Ах, мне так трудно жить... так трудно с людьми. Мы на разных языках говорим. Только и слышу: „Б. Н., как интересно... ах, ах..." Мне же опротивели все „интересы". То — интересно, и то. И все лишь одни трепыхи́... по поверхности. Нового нет ничего. Ведано-переведано, что́ будет и как. Все уйдет в пустоту. Через два уже слова видишь: оборвалось... Ты летишь далеко... Говоришь, говоришь, говоришь. До́ хрипоты, до́ изнеможения. Без прока, без отклика... Говоришь о том, что тридцать лет говорил, что сто раз пересказывал... И та же безответная бездна... Нет, почему невозможно общенье с людьми?»

Иногда еще к этому добавлял слова Баратынского: «Все *ве́домы,* и только *повторенья* грядущее сулит»[110].

Он подчеркивал голосом «ве́домы», «повторенья» и резко обрывал на «сулит» и замолкал.

Глядел на меня с разрывающей мне душу скорбью, но будто не видел. Тогда чувствовалось: этому одиночеству не так просто помочь. Этой тоски не смахнешь, не расшутишь, — не развеешь ничем.

Весь он сразу и резко менялся. Словно ветер старинный поднимался из дали тысячелетий и обвеивал его ледяною и жгучей струей. Припоминались слова древней книги: «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем и возвращается ветер на круги свои... Что было, то и будет... Не выскажет всего человек... Не насытится око зрением; не наполнится ухо слушанием... Предал я сердце мое тому, чтобы исследовать мудростью все, что... под небом... Но кто умножает познание, тот умножает печаль»[111].

Печаль чрезмерного знания, не отданного, не разделенного, росла из его неподвижно расширенных глаз. Взгляд был невыносим: в нем смешались слезы и холод. Напряженный и острый, сухо и немо тоскующий, он обжигал и замораживал. «Суета сует — все суета и томление духа!»[112] — неотвратимо звучал приговор всему, что ни есть «под луною и солнцем».

И, как изгнанник, заброшенный в необъятность вселенных, к истокам времен и пространств, он оттуда тянулся:

«Тяжело быть в таком отдаленьи... Ведь и я человек... Зачем же я здесь одиноко блуждаю? Я хочу быть с людьми. Мне здесь дико, и пусто, и холодно»[113].

Что на это сказать? Как облегчить?

Я брала его руку. Прижималась к ней головой. Сердце плакало. Мы оба молчали. Сколько времени так проходило — не знаю: времени не было.

Но вот он начинал другою, свободной рукой тихо гладить мне волосы, сперва еле слышно касаясь, потом все сильней, все живее.

Казалось, что он возвращался. Откуда?

«Eine Strasse muss ich gehen, die noch Keiner ging zurück»[114].

Да, он ходил по дорогам, где спутников быть не могло.

«Eine Strasse muss ich gehen» — эти слова из романса Шуберта (цикл «Зимнее странствие») одно время постоянно звучали в устах Б. Н. Он даже включил их в «Кризисы», над которыми работал тогда, а гораздо позднее ввел их опять в «Между двух революций»[115].

Ему слышался в них лейтмотив его странной судьбы, особенно остро поднявшийся в нем в те трудные годы: лейтмотив безвозвратного и одинокого странствия. Эти годы он еще называл своим «Winterreise» — по имени этого цикла песен Шуберта.

Для Б. Н. многие из его внутренних состояний, порой даже целые полосы жизни, связывались со словами любимых поэтов или с темами музыкальных произведений.

Он находил таким образом как бы внешнюю сжатую формулу для того, о чем *своими словами* было бы трудно и долго рассказывать.

Нельзя перечислить и вскрыть все эти своеобразные формулы. Пришлось бы пересказать почти всю биографию Б. Н. Здесь были и Пушкин, и Гете, и Баратынский, и Лермонтов, Тютчев, Вл. Соловьев, Дельвиг, Глинка, Шуберт, Шуман и ряд просто романсов или песен, едва ли имеющих автора.

Назову еще две или три из них.

К тем же годам, что и «Winterreise», может быть немного позднее, относится тема, выражение которой давал Баратынский. Привожу это стихотворение «На что вы дни», стараясь внешним образом передать интонацию Б. Н.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Ты подвиг свой свершила *прежде ТЕЛА,*
БЕЗУМНАЯ душа!
И, тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,

Под *веяньем* ВОЗВРАТНЫХ *сновидений*
Ты *ДРЕМЛЕШЬ, а ОНО*
БЕССМЫСЛЕННО глядит, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец *пустого* дня![116]

Условия жизни тогда были очень суровы. В домах не топили, трамваев не было. Б. Н. сильно страдал от холода и почти всегда был нездоров.

Он приходил к нам в чужих, слишком больших валенках, в неудобной тесной шубе с душившим воротником, замерзший, усталый; садился в кресло, произносил несколько бурных взволнованных жалоб на «невыносимую жизнь» и, вдруг както сразу умолкнув и оборвав свои возгласы, погружался в странное немое оцепенение.

Я спешила дать ему чаю. После двух-трех стаканов он оживал, оживлялся. Принимался рассказывать, где был, с кем встречался, о чем говорили; потом раскрывал свой портфель, вынимал пачки исписанных листиков — последнее, над чем работал, и начинал читать, прерывая себя отдельными замечаниями:

— Это черновики... Лишь загрунтовка... Прицеливаюсь, как это может быть взято.

Часть этих записей так и осталась неиспользованной и погибла вместе с другими бумагами Б. Н. на разных квартирах, по которым он кочевал в эти годы[117]; часть же вошла в «Крещеного китайца»[118], в «Дневник мечтателя»[119], в «Афоризмы о правде»[120].

Наконец, после всего, перед уходом, сложив и убрав свои рукописи, он снова задумывался и отрывисто, то волнуясь, то успокаиваясь, начинал анализировать свое странное состояние.

Большая измученность, слабость и истощенность физическая переходила в душевном не то в полудрему, не то в полусон. Картины воспоминаний наплывали одна за другой бесконечною сменой, как беззвучно скользящая ткань облаков,

завораживая и погружая сознание в какое-то томительное оцепененье.

Тогда-то с непередаваемой болью начинал выговаривать он Баратынского, подчеркивая острою интонацией отдельные слова и строчки.

После глубокой паузы на *«ты дремлешь»*, он обрывал голос в другую, казалось, бездонную паузу: «А *оно....»* И замолкал надолго, как бы ища нужное слово. И потом, из молчания, сурово и медленно приподымал, точно вздох, точно стон мировой муки Атласа: *«бессмысленно....* глядит...». Глаза широко открывались, как-то стеклянно вперяясь во что-то; будто с ужасом видели перед собой это неизбежное *утро, без нужды* сменившее ночь, — сменившее только затем, чтобы, мертвенно повернувшись колесом *пустого* постылого дня, снова уйти в ту же ночь.

Много раз и потом слышала я, как Б. Н. цитировал и читал это стихотворение целиком и частями. Но никогда не звучало оно с такой безнадежностью, с такой силой «разуверенья» души, раненной, быть может, в самом глубоком.

И как контраст вспоминаются мне строчки Дельвига: «Когда, душа, просилась ты погибнуть иль любить»[121].

Эта тема сопровождала Б. Н. через всю жизнь. Впервые она зазвучала ему еще в юности, едва ли не в детстве. И шла с ним, раскрываясь по-разному в разных годах. В ней отражались очень интимные, едва уловимые движенья души, то искавшей погибели, то вновь утверждавшей любовь.

Это была тема борьбы, трагический лейтмотив самых скрытых душевных глубин. То вставала она, как вопрос: *не быть или быть?* То манила сладкой отравою мыслей о гибели, соблазняющим зовом: уйти в «вечный покой». То вырывалась как утверждение, как светлое «да» над всем горем, страданием жизни; и переходила в светлую тему: «Сияй же, указывай путь». В «Сияй же» был призыв к силам света, было дыхание юных надежд, вера в счастье, свет зорь, волны музыки, огонь вдохновения. Оно зажигалось всегда «Непобедимой звездой» над смущаю-

щим зовом «погибнуть». Вот почему он мог сказать в «Первом свидании»:

Бросай туда, в златое море,
В мои потопные года —
Мое рыдающее горе
Свое сверкающее: «Да»![122]

Но тогда борьба еще не окончилась. И казалось, что с первых моментов, когда пробудилось сознание, и до последних почти его дней в нем решался *вопрос роковой;* и душа была ареной борьбы. Точно на чаше весов всю жизнь было взвешено: любовь или гибель?.. И чаша весов колебалась.

Но в последний раз победила любовь. Осенью 33-го года в письме к моей сестре Б. Н. снова и уже окончательно утверждает эту победу — с какой-то почти торжественной силой и с весеннею нежностью. Заканчивая письмо, он пишет ей: «...мне сейчас хорошо и тихо; прислушиваюсь к себе; и слышу точно голоса, гласящие о выздоровлении и самопознании; вероятно, нечто подобное испытывал Лев Толстой в эпоху своего кризиса: хочется быть лучше, облагообразиться; и голос тишины и безмолвия, точно приподымаясь откуда-то, сулит помощь <...>. Странные дни, странные часы, странные мысли, чувства и волевые импульсы.

Да, кризис сознания!

Вот чем я преисполнен, взволнован в эти дни; и вспоминаются слова Дельвига:

Когда, душа, просилась ты
Погибнуть иль любить...

Ну, конечно — „любить", а не погибнуть.
Верю в силу любви.

(Москва. 15 августа 1933 г.)»[123].

В этих словах слышу я синтез всех его тем — итог, подведенный всей жизни, всей борьбы и всей бури контрастов.

Это письмо, в сущности, было последним. После него были почти все открытки или короткие приписки в моих письмах. Силы Б. Н. быстро падали.

И то, что было потом, можно передать уже в словах:

Мы — вот:
Мы — верим вере;
Пути —
Неисповедимы.
Иди:
Открыты двери!
Зовет —
Эфир родимый.

(«Зовы времен»)[124]

ПРИРОДА

«В образах, данных природой,
слышатся художнику зовы Вечного...»
(«Луг зеленый», 24)[1]

Да, «зовом вечного», или еще — по его же словам — «праздником <...> утраченного смысла» («После разлуки»)[2] была для Б. Н. природа. И еще: она была «школой», — живой неиссякаемой школой, источником непрерывных исканий и опыта.

Попробую рассказать, как это было.

И сразу же поднимается — начинает звучать одна из его главных тем: «понять и осмыслить». Все и всегда. И для этого — познать, изучить. Неотложно, стремительно. Все — от самых отвлеченных вопросов теории знания до произвольной непроизвольности творчества — ритмов, звуков и образов — до жизненных фактов, поступков, отношений с людьми; и даже до — снов. Едва ли не каждый день, а иногда несколько раз на дню слышала я от него его любимый — как он называл это — «пушкинский лозунг»: «Я понять тебя хочу: темный твой язык учу»[3]. После слова «хочу» в произношении Б. Н. подчеркнуто слышалось *двоеточие*, и смысл стиха раскрывался тогда для него в основной его теме: «*чтобы понять* тебя — учу твой язык»*.

И Б. Н. беспрерывно *учился*. Объекты и стиль изученья менялись. Но стремленье оставалось все то же: «понять... хочу». С этого день начинался и этим заканчивался. В беседах за утренним чаем Б. Н. часто

---

*Так когда-то «учил» он язык своего злого врага — Кащея Бессмертного — Канта[4].

рассказывал только что виденный сон и начинал его разбирать и исследовать, полушутя, полусерьезно. В «Котике Летаеве» он пишет: «Я любил рассказывать сны: пояснять свои миги сознания». А позднее, в «Ветре с Кавказа», он рассказал два-три таких сна[5]. Вечером, за ужином или на вечерней прогулке, он любил продумать все, что случилось за день, и рассмотреть это в том же все познавательном, вне-эмоциональном разрезе. Самый день проходил также в смене «учеб». Им конца не было. «Век живи, век учись» — постоянная поговорка Б. Н., которую он произносил то шутливо, смеющимся тоном, а то очень серьезно.

Но последствия от прохождения разного рода «учеб» по-разному отражались на организме Б. Н.

Увлекательный и блестящий язык фактов культуры, искусства, истории вызывал сперва нервный подъем, а потом разбивал и измучивал, повергая в депрессию.

Живое же «слово» природы дарило, не требуя жертв; питало и радовало, оздоровляя: морально, физически, творчески.

Прежде всего, «благостно» успокаивалась голова. Без всякого напряжения мысли мыслились сами. Их как и не было — пришли и ушли, оплеснули «душистыми ветерочками», прозвенели, как пташки. То были все же *мысли*, но мысли не головные, не рассудочные, а как бы музыкальные. Они мыслились всем существом, они пели в груди, во всех членах; омывали живою волной утомленное тело. От них шло освежение, бодрость, как от нарзанной щекочущей ванны.

«Всласть надышался озоном», — говорил в такие минуты Б. Н. В его интонации эти слова означали не только природный озон, не кислород лишь, очистивший легкие, а всю живящую силу многообразных воздействий природы. И с годами потребность в этом «озоне» росла. Так цветку нужен солнечный свет. Так нужен воздух для птицы.

И Б. Н. все настойчивей «рвался» к природе, а «вырвавшись», производил больше всего впечатление именно птицы, выпущенной из душной клетки на волю, в родную стихию, в лучистый простор. Он говорил и смеялся, и вновь говорил, го-

ворил. О чем были эти слова, трудно сказать. Они сливались в какой-то щебечущий плеск: ни о чем, обо всем. О том, что видят глаза, что поет в сердце, о том, что жизнь хороша и столько в ней красоты. Кто не слышал этого милого неудержимого «щебета», не видел счастливой улыбки, озарившей черты, детской радости, брызнувшей в синих, как волны, глазах, кто не знает трепетных интонаций этого голоса, этих быстрых взволнованных слов, летящих от сердца к сердцу, тому трудно представить себе Б. Н. в такие минуты. И слово «щебет» выбрано мной не случайно. Оно взято у самого Б. Н., из стихотворения «Сердце», *переделанного*, а в сущности, написанного в 1921 году. Им открывается его последний сборник «Зовы времен»:

Сердце, ты птенчик,
Свой щебет уйми![6]

До сих пор еще слышу я, как звучали в устах его эти строки. В них навстречу природе и миру, щебеча и ликуя, неслось его сердце; чистое, «детское» сердце, которое он так рано в себе затаил и которое всю жизнь просило раскрыться.

Детское сердце...
Раскрылись цветы... —

звучало в последней строфе этого стихотворения, которое Б. Н. называл «credo лирического поэта».

И часто во время прогулки, внезапно остановившись, он порывисто произносил: «Природушка! Природушка-матушка...» — и протягивал вперед руки.

В звук этих слов вкладывал он тогда все, чем был переполнен. Все волнение свое от встречи с «живой красотой беспредельной гармонии». Перед ликом природы, благодарный и нежный, стоял он, как любящий сын, простирая к ней руки. Безмолвно склонялся перед величием ее существа, частью которого с особенной силой себя тогда чувствовал. В этих словах, глубоких и тихих, как вздох, изливалось огромное чувство.

Была в них взволнованность счастья оттого, что «*такое* вот довелось пережить», была благодарность за полученный щедрый «подарок» («дар», как всегда говорил Б. Н. о природе), был восторг удивления: «Вот ты *какая!*».

Но и была немота («Я словами так немощно нем...»[7]), невозможность сказаться: от полноты, от черезмерности пережитого.

Улыбка сбегала с лица; оно прозрачно светилось; взгляд углублялся, синел, становился бездонным, и — ширился, ширился. Он застывал, протянувши вперед как для объятья раскрытые руки. Глядел, и глядел, и глядел...

И вдруг, без единого звука, делал крутой поворот, точно срывался всем телом, хотел улететь. Но шел неожиданно медленно, ступая легко, чуть касаясь и как бы не замечая земли, в глубоком покое, с тем же светлым, омытым лицом, с тем же ушедшим в себя и расширенным взглядом. И снова, но уже как далекое эхо каких-то ему только слышных звучаний с губ его тихо слетало, едва различимо для слуха: «Природушка, матушка...»

Но, отдаваясь этим широким охватам «явленья природы» как целого, Б. Н. с неменьшею силой умел пережить и отметить в ней также и «малый отрезок», деталь.

Куча пестрых камней при дороге, «просиявшая красками Врубеля» (близ станции Казбек на Военно-Грузинской дороге)[8], «розовый воздух» цветущего персика в садах Эривани[9], кружевные узоры изгрызенных ветром снегов в полях Кучина, туман, наползающий дымными змеями из ущелья (Дарьяльского)[10], слоистый срез скалы над шоссе в Красной Поляне[11], жестянка, блеснувшая ясно в траве на кучинском дворике, и многое, многое становилось предметом живого разгляда и удивленья.

Б. Н. мог надолго засесть над муравьиною кучей, наблюдая, как «добродетельный очень мураш старается» — тащит «громадину» хвоинки; или наклонялся почти до земли, вглядываясь в «сложную сеть перекрытий», образующих лабиринт

муравьиных построек, чтобы угадать, как перекрещены там под землей все эти входы и выходы.

В мире «зверей и зверюшек» все было ему интересно; он на все реагировал, выражая в своего рода *постоянных* эпитетах отношенье к увиденному. «Деловитая» пчелка, «прыткая» ящерка, «разленившийся» кот, «солнечная» коровушка, «бородатый» козел, «крикливая» галка, «глупая» курица, «злая» свинья — все вызывало поочередно симпатию, смех, «уваженье» или же неприязненный вздрог.

Порой раздавался его громкий возглас:

— Это же невозможно! Такого и Мейерхольду[12] не выдумать! И Петрову-Водкину[13] не разглядеть... Иди же скорей!...

Я подходила. Б. Н. схватывал за руку и, волнуясь от нетерпенья, тянул:

— Смотри же, смотри... Какова композиция! Каков подбор красок! Нет, я пасую: искусству до этого далеко... — Он показывал на гниловатый пенек, обросший грибами и мохом, и на присевшую возле лягушку. Краски пенька, грибов и лягушки образовали чудесную серовато-зеленую гамму тонов с яркими сине-оранжевыми и золотистыми пятнами.

Сколько встает в моей памяти таких сценок.

То останавливал Б. Н. «апельсинный» просвет в темной гуще деревьев, когда солнечный луч, прорезав высокие кроны, косо падал на траву; то, сощурив глаза, «до слепоты» любовался он «сверкунцами» обледенелых сугробов; то подыскивал слово, чтобы передать легчайшую ткань разноцветных вечерних теней над Эриванью; то поднимал и ощупывал плотный полузасохший листок с «декадентским узором» (в Цихис-Дзири)[14]. Стоял, погруженный в глубокую думу, или, не шелохнувшись, сидел, слегка опершись подбородком на палку. Не перечислить «объектов» его изучения, не исчерпать вереницы «разглядов».

Совершенно особую роль в жизни Б. Н. играли прогулки. Он гулял всегда очень охотно, даже по городу. О значении этих прогулок для его творчества я подробнее говорю в другом месте. Здесь лишь отмечу, что на прогулке Б. Н. и отдыхал, и «учился», и набирал «материалы».

Поэтому для него было не безразлично, как и с кем погулять. И, обычно очень мягкий в общении с людьми, он был требователен, почти капризен (казалось иным со стороны), когда дело касалось прогулки.

Особенно не любил он ходить «всем скопом» или «стадами», то есть в большой и разносоставной компании.

«Это уже не прогулка... Это какой-то мартириум[15]... Хуже всякой работы, — роптал он раздраженно. — Пропащее время. Точно и не гулял. Ни людей, ни природы не видел. Нельзя мешать эти вещи. Люди и разговоры — одно. Прогулка в природу — другое».

Для гулянья вдвоем также нужны были свои условия. Прежде всего было нужно, чтобы спутник «не являлся обузой», то есть был бы достаточно близок, чтобы Б. Н. его не стеснялся; иначе он чувствовал себя связанным, принужденным поддерживать разговор и «шагать нога в ногу». А он хотел быть свободным, гулять как ему вздумается, отходить в сторону от дороги, «кружить», делать петли, большие обходы, идти напрямик; или — остановиться, задуматься; бросить два-три замечания и снова надолго умолкнуть.

Особенно досадовал он, когда на прогулке затевались «умные» разговоры или, как он говорил, — когда проявлялась «бестактная аритмия» со стороны спутника, который в горах начинал вздыхать вдруг о море или у моря заводил речь о том, как прекрасны леса. Мешал ему одинаково и скучающий вид в человеке, равнодушном к природе, и слишком большая готовность «не глядя» всему восторгнуться и, отмахнувшись от этих восторгов, поскорее возобновить разговор, уводящий от всякого прикосновения к природе.

Не раз после подобной прогулки, расставшись с «безрадостным партнером», Б. Н. бурей влетал в комнату: «Нет!.. Невозможно! Зачем шли гулять... Просто бред... Разговоры умнейшие поднял... а сам спотыкается. Я ему: „Осторожнее, здесь канава...“ А он: „Да, да“, — и рассеянно тычется в яму... Угробил мне все... Какая-то куриная слепота к небу и солнышку... Я не умею быть *умным*, когда щелкает птица, когда пчелка жуж-

жит и облако пучится над сосной. Умничать нужно в стенах. В них мы довольно сидим... Вырвешься в кои-то веки: полюбоваться, порадоваться... Не до умных тут слов... Только успей примечать... Закипают живейшие мысли... Не от головы: от глаза, от уха, от ритма дыхания. Все тело здесь вестник. А будешь переть со своей *психологией*, так мимо всего и пропрешь... Черствые души: без глаз, без ушей... Мертвецы...».

Б. Н. уверял, что лучшие мысли его идут «от природы» и что каждая новая местность для него «кладезь новых богатств». Подтверждением этого служат его дневники. Я же могу привести лишь несколько случаев, врезанных в память.

Однажды, в Красной Поляне, Б. Н. записал в дневнике целое рассуждение о стопе ямбической и хореической: ямб — шаг подъема на гору, хорей — шаг спуска с горы[16]. Ямбом мы всходим по круче, преодолевая препятствие: делая малый шаг, набираем сил для большого; хореем как бы скользим вниз в большом шаге и удерживаем себя в малом, чтобы не пуститься бежать по покатости. Утром, когда мы гуляли в горах, все это было наглядно «продемонстрировано» на примерах различной походки.

Как-то в другой раз Б. Н. долго сидел над белой от пены горной речкою Мзымтой, в той же Красной Поляне. Он молчал, уйдя в свои думы. По выражению глаз и лица было заметно, что он не смотрит, а слушает; и слушает все более напряженно, с волнением, словно хочет поймать какие-то поразившие его звуки.

Вдруг он резко поднялся, подошел ближе ко мне и, стараясь перекричать оглушительный грохот реки, стал порывисто и горячо говорить о языке будущего[17]. Он говорил, что явственно слышит ритм и тональность этой будущей речи, совсем не похожей на нашу; слышит до ощущения на языке, до особых движений в гортани, до тонкой вибрации голосовых связок. Но не умеет об этом сказать. Голосовой аппарат наш к этому не приспособлен; он еще не готов. Гортань человека должна измениться. Тогда только — в будущем, неизмеримом годами, —

прозвучит и вовне эта новая речь, уже теперь так поразившая его внутренний слух. В этой речи сольются в живом неожиданном синтезе голоса и звучанья природы; в словах этой речи будет сила, которой не знает теперь человек. Пенье птиц, рокот моря, плеск ручья, крик животных, шелесты трав, шумы лесные, порывы ветров, громовые раскаты объединятся и свяжутся в непредставимую ныне ритмично певучую ткань. Слово будущего будет организовано по законам неведомой ныне фонетики.

Все это я больше угадывала из его взволнованных жестов, из пауз, которые как бы продолжали досказывать то, что не было сказано в слове. Он же только бросал отдельные полувосклицания, полунамеки, дополнял их взмахами рук, поворотами головы, движеньями тела, которое в эту минуту казалось само воплощением охватившей его мелодии будущей речи.

Не могу даже точно сказать, говорил ли Б. Н. то, что я здесь записала. Или — это мое впечатление, отзвук того, что я в нем услыхала и что шло от него помимо всех слов. Твердо помню лишь первоначальный момент, когда он подошел с восклицанием: «Нет, что́ я слышу...».

О «будущем языке» Б. Н. говорил со мною и прежде. Впервые в 1918 году, зимой (в комнате было холодно, и Б. Н. кутался зябко в пальто), в связи со своей литературной работой: он писал тогда «Записки чудака», которыми сразу же был недоволен[18]. Читал мне отрывки, находил, что они неудачны, что неверным приемом он только калечит прекрасную вещь. Но как быть, когда спотыкаешься о каждое слово, когда обычным словесным запасом не передашь динамической легкости темы «Записок»: «Тема прозрачна! А на листы оседает гротеск». Это — все равно что булыжниками из мостовой пробовать нарисовать облака. Что получится? «Тончайший» мир образов будет разбит; предстанет уродство, явный и неприятный «гротеск»; ибо нет еще способов дать эти образы в написанной строчке, не раздробив их на атомы.

«Нет! Почему я не композитор... — восклицал Б. Н. — В музыке знал бы я, как отразить...»

И вспоминал, как давно, еще в юности, на прогулках своих по полям и оврагам Серебряного Колодезя он подслушивал «новый язык»[19]. Это звучание шло и тогда от природы. И тогда он был им взволнован. Но «был еще молод и глуп» и пытался сложить свой язык; придумал грамматику, синтаксис. Уезжая в поля далеко, чтобы быть одному без свидетелей, он громко выкрикивал звуки. И убеждался: «Не то!». Понимал, что попытки все тщетны, ибо время еще не пришло. Знал только твердо одно: в голосах и ритмах природы есть нечто, что как бродильный фермент должно войти в речь человека, чтобы преобразить ее, сделать снова конкретной и сильной.

Но не расскажешь о том, что было, когда он так говорил, о тех тонких и звонких узорах, которые тут закипали, почти ощутимо для глаз, но совершенно беззвучно. Словами не дашь глубокой безгласности его пауз, красноречивости его умолчаний, когда вдруг, обрывая себя, он затихал, а пробужденные ритмы певучими волнами разливались вокруг.

Мне не с чем сравнить его необычайные высказывания. Опыты Хлебникова идут совсем в другом направлении. Б. Н. знал эти опыты[20]; кое-что в них находил «интересным», но относился к ним сдержанно, с холодком: «Головные конструкции». К заумникам вообще особой симпатии он не питал. И считал, что заумь есть обнаженье того, что подлинный мастер слова — Пушкин, Баратынский и Гоголь — дает в скрытом виде, «целомудренно» тонко, так что сразу не сыщешь.

В материалах Б. Н., переданных в ГЛМ, сохранился разбор «зауми» стихотворения Баратынского «Финляндия». Если не ошибаюсь — это звуки: Р-Л-Н*.

Вот еще ряд примеров того, как претворялись в Б. Н. восприятия «новой» природы.

В Коджорах, дачном месте, расположенном высоко над Тифлисом, с горизонтом, как нам говорили, на 500 километров в диаметре, мы провели несколько незабываемых меся-

---

*В свои РасселИНы вы пРиНяли певца, ГРаНиты фиНские, гРаНиты вековые[21].

цев летом в 1928 и 1929 году[22]. Б. Н. сразу же обратил внимание на изменение всех восприятий пространства на такой высоте.

Бродя по горным дорогам и подолгу задерживаясь на открытых местах, он изучал игру светотени, изумлялся перламутровой нежности колоритов, сверканью и блеску «легчайшего» воздушного моря, игравшего всеми отливами радуги далеко внизу под ногами: «Посмотри же! Земля легче воздуха! Видишь — чернильная клякса на сквозной кисее... А это всего лишь тень облака, бегущего над азербайджанскою степью».

Он отмечал здесь непостоянство всех очертаний, условность всех контуров, являющих ежедневно и, можно сказать, ежечасно, симфонию новых пространств в зависимости от освещения, влажности воздуха, от направления ветра, наконец, от *угла зрения*.

«Танец горных ландшафтов! Не устанешь смотреть, — восклицал Б. Н. оживленный, счастливый. — Сегодня там брошена бирюзовая шаль, а вчера выпирали зубцы Дагестана. Сегодня — Армянский хребет на носу, а завтра посмотришь — отскочит на край горизонта. Так уже было!»

Для наблюдений он выбрал себе «лабораторию зрительных опытов» — на коджорской вершине, в десяти минутах ходьбы от отельчика, в котором мы помещались. Уходил туда с пледом, с портфелем для зарисовок на много часов. И кончил тем, что построил целую теорию «перспективы четвертого измерения», основанную на принципе глубины, на взгляде «сверху вниз», с высоты[23]. В сжатом виде об этом сказал в «Мастерстве Гоголя» (118—119)[24], а в дневнике своем там же, в Коджорах, с увлечением исписал ряд листов.

Поездка по Волге от Сталинграда до Нижнего (на пароходе «Чайковский») тоже была откровением и отразилась на десятках страниц дневника[25].

С первых же дней этой поездки интерес Б. Н. возбудили овраги, прорезавшие берег Волги. «Овраги» — была для Б. Н.

старая тема, на которую он реагировал в течение всей своей жизни. Не случалось ни разу, чтобы, проезжая по Курской железной дороге через пересеченную оврагами местность (за Тулой и дальше на юг), Б. Н., стоя в окне вагона, не прочитывал мне длинных лекций о губительных действиях «овражной системы», о «ехидных отвержках» (маленьких боковых овражках), посредством которых распространяется эта «система»; с жаром перечислял, какие есть способы более или менее целесообразной борьбы с этой страшной «болезнью земли», волновался угрозой засухи и превращения в пустыню плодороднейших ныне полей чернозема. Вспоминал Вл. Соловьева, поднявшего тему «овраг-враг». (Ср. «Первое свидание»: «...что земли портящий овраг / Грызет юго-восток Европы»[26].) В университете Б. Н. писал на эту тему свое кандидатское сочинение профессору Анучину[27]. И запомнил с тех пор «об оврагах». Но не имел еще случая увидеть их так, как теперь с палубы парохода: в продольном разрезе.

Через несколько дней молчаливого наблюдения и размышлений он стал говорить мне о том, что такое овраги: это, в сущности, те же все горы, только воздушные, воздухом врезанные в поверхность земли. Рельеф оврагов есть лишь обратный, как бы отраженный рельеф высоты. Это горы... Это горы России: незримые, опрокинутые «вниз головой», будто повисшие в обратном полете[28]. В горных хребтах недра земные выпирают наружу, громоздятся под небо. В оврагах — небо врезано в землю.

На Волге Б. Н. был в первый раз. И Волга пленила его. Он любовался ее безмятежным раздольем, ее величавым спокойствием.

Стояли яркие июльские дни. Золотые пески, изумрудные заросли, синие воды под широким, чуть выгнутым куполом с легкими взмахами перистых облачков, тихие, нежные зори — все было так невесомо, прозрачно. Мы целые дни проводили на палубе. Б. Н. вспоминал Блока и грустил, что Блок Волги не видел: «Потеря невознаградимая. Если б увидел... Только он сумел бы о Волге сказать»[29].

«Вольная Волга», воля на Волге, Волга и воля — повторял Б. Н. по-разному. Ему нравилось аллитерационное звучание «вол и воль»[30].

Первые дни он только приглядывался, «прицеливался», вбирал в себя музыку Волги; слушал, о чем ее «песня без слов»; и часами сидел на корме, затихший, сосредоточенный.

Потом, как всегда, начал рассказывать.

Да, Волга — великая река русской истории. Недаром два беспокойных вольнолюбивых очага нашей родины связаны с нею: разбой и раскол[31]. Низóвая Волга — «разбойная». Верховáя Волга — «раскольничья». «Разбой» и «раскол» разыгрались как песни, как пестрые мифы далекого прошлого. Задумчиво глядя на медленно плывшую мимо нас панораму лесов и лугов, он сплетал золотую певучую сказку. Потом замолкал и тихо шептал: «Вот бы Блока сюда. Кто, как не он, об этом расскажет».

Б. Н. поразили плоты: *плывучая* жизнь на плотах; целые деревни, с избами, огоньками, с развешанным для просушки бельем, с мирно жующей коровой, с толпой ребятишек. Или еще огромные, левиафаноподобные баржи, ленивые, сонные; а впереди их влекущий на длинном канате бойкий смешной пароходишка. Задрав нос, фыркая дымом и деловито крутя колесом, он задорно ершится. «Маленький, да удаленький», — хохотал Б. Н.

Поездка по Волге была завершением нашего первого путешествия на Кавказ. Разница всех впечатлений резко бросалась в глаза. Продумывая и «изучая» их, Б. Н. сравнивал Волгу с Кавказом. Он разбирал шаг за шагом, какой путь следует выбрать: Москва—Волга—Кавказ или обратно: Кавказ—Волга—Москва, чтобы впечатление было сильнее. В каком направлении получится художественно более яркий эффект.

Мы привыкли к равнинам; и глаз наш не удивится шири волжских просторов, если мы попадем в них непосредственно после Москвы. Тот же знакомый, чуть измененный ландшафт: «Даль без конца...»[32].

Ничего особенно нового, яркого. Те же знакомые линии, краски; те же разливы пространств, те же запахи. В них мы родились, росли. Мы перестали их видеть, как не видим, в конце концов, тех, с кем живем. Слишком все здесь «свое», незадевающее, простое, — ничем в глаза не бросается. «По продолжению» так и пройдет незамеченным.

Для впечатления нужен контраст.

И его дают горы. Там наш взгляд поражен, можно сказать — ошарашен. Все не то, что у нас, все — «не так!». Вместо привычных плавных горизонталей всюду вздымается вертикаль. Слом под прямым углом в 90 градусов! Тут скала, а там пропасть: гляди вверх, гляди вниз... но уже кругом не раскинешься. Нет тебе многоверстных привольных степей. Совсем иной мир. Для многих — мир «тесный», гнетущий. Многие гор не выносят. А почему? «В ответ мог исписать бы я целые томы», — волновался Б. Н.

Для него горы, до странности, были «родною стихией» с тех пор, как он их узнал.

Но, избрав себе «родиной» горы, Б. Н. не изменил своей «первой любви»: «милым местам» средней России, где прошли его детство и юность. Волга напомнила ему далекие годы «Симфоний», его полудетских поэм[33], подняла в нем опять «золотолазурные» темы. Он отдыхал от «экзотики» Батумского побережья, от «изощренной утонченности» Военно-Грузинской дороги.

Волга ничем не тревожила: нежно лелеяла, навевала родные, глубокие грезы. Но по величию и размаху она не уступала «Хребту»; не умалялась сравнением, а как бы еще вырастала.

Не забуду я вечера в Нижнем, когда на закате мы вышли на высокий обрыв и залюбовались широким Заволжьем. Далеко, сколько глаз хватал, раскинулись там луга, перелески. Среди них, как кусочки цветного стекла, отражая краски заката, блестели озерки и затоны. Все вместе казалось темнеющим шелковым платом, брошенным на плечи какой-то невидимой «Марфы» (героини «Хованщины»), расшитым цветами и камнями, и звучало неотразимою музыкой Мусоргского.

И Б. Н. решил окончательно:

— Нет, Волгу нужно увидеть после Кавказа, чтобы ее оценить.

В том же роде вопрос задавал себе Б. Н. и после Военно-Грузинской дороги. Как по ней лучше ехать, чтобы картины ее дали большее нарастание и значительность их вскрылась бы глубже: от Тифлиса на Владикавказ? Или обратно?

Разбору того и другого пути было отдано много раздумий. Б. Н. мысленно проводил перед собой всю панораму «Дороги», оценивал оба разреза пути:



Сравнивал композицию каждого. Он старался быть беспристрастным и составить суждение независимо от того, как проехал он сам (от Тифлиса)[34]. «Скинув со счетов себя», разбирал, что и как увидел бы человек, выезжающий из Владикавказа; каковы преимущества предстающих ему перспектив. Многое казалось и тут интересным.

Но решающим было «тризвучие»: Перевал, Казбек, Ущелье. Подъем к Перевалу со стороны Тифлиса острее; дает более яркий контраст; и Казбек, увиденный после уже Перевала, звучит как интервал, необходимый для разрешения напряженности, вызванной этим подъемом. Ущелье же Дарьяльское входит как заключительный тон, не снижающий, а довершающий своею высокой нотой музыкальную полноту впечатления. Архитектоника пути, таким образом, строится цельно: сперва нарастание и углубление «прелестного» («reizend»), затем резкий вздерг к «высокому» («Hoch»)[35], потрясающий «все мозги и составы» (Млеты—Гудаур); и дальше — успокоение на «прекрасном» (Ущелье). Смены дня — утро, полдень и сумерки (весь путь укладывается в этих пределах) — аккомпанируют общему ритму.

Рано утром остается за нами коричнево-серый Тифлис, и мы словно ныряем в зеленеющий сон «пленительных» долин Грузии, залитых солнцем. «Елисейские поля» — назвал их Б. Н.[36] Потом надвигается роскошь уходящих под небо лесов «строгого» Пассанаура; за ними тотчас же «подступы» к Млетам, вздернутый мост над Арагвой, еле видной внизу; и стремительный млетский «зигзаг» к Гудауру. Там — неожиданно дико пустынная, странно безмолвная ширь: перевальное плоскогорье, точно огромнейший остров, взвешенный в волнах тумана. Дальше: мощный хорал розовых скал вблизи Коби; быстрый слет в ледяном бешеном ветре к долине Терека; и торжественное разрешение всей этой «горной фуги» — Казбек с мажорным аккордом Ущелья.

В него мы вступили едва ли не в сумерках.

После горячего дня, обжигавшего ветром и солнцем, ослепившего яркостью красок, величием форм, было так благостно мчаться в мягких сгущеньях теней. Глубокие серо-зеленые складки, почти что без контуров, тихо скользили, то придвигаясь к машине, то отступая. В сердце стучало еще от острого «взлета» в возвышенно-мрачный «разгон» пустынь Перевала. А глаза уже успокоенно отдыхали. Свежей прохладою веяло из перекрестных ущелий. И мысли, такие же свежие, легкие, отлетали от головы, «как ветерок». Переполненный впечатлениями день погружался в бархат ласковой летней ночи. Последние километры мы летели совсем в темноте, взрезанной только огнями машины. Сумрак спустился, как занавес, и покрыл собою «пережитое великолепие красок и форм». Отрадный, необходимый покой.

— Да! Довольно... — шептал мне Б. Н. — Мгновение было прекрасно. Но длить его дальше — нельзя. Должно пройти много дней, пока все разберется, уляжется; пока целое даст свой отстой.

«Целое» стояло всегда в центре его внимания. Целое: стиль, композицию, архитектонику целого — старался он уловить. Так, наряду с редкой способностью видеть детали мельчайшие, отметить все «пустяки», мало кому интересные, Б. Н. стремился к этому «цельному» взгляду. А «устремляясь» к нему, с исключительной зоркостью «схватывал» части. От него не ускользал

ни один мелкий штрих, ни малейшая черточка. Обилие наблюдений не разрывало его. Он тотчас же их синтезировал, сливая в один организм, в «композицию целого». Но и это казалось еще недостаточно. И на этом не останавливался его строющий синтез. Композиция, едва возникая, уже пересекалась с другой, чтобы тотчас же вновь перестроиться в третью, четвертую и т. д. Так создавалась «градация композиционных разглядов»; и каждый отдельный кусок загорался лучами все нового смысла. Прочитывая и соотнося эти смыслы, Б. Н. достигал наконец своей цели: «всестороннего» представления о предмете. Без этого представления он не мог оставаться. «Все во всем», «понятие в круге понятий» — был его метод мыслить и жить.

От подобных «разглядов» самые простые, затертые вещи приобретали порой неожиданный блеск; точно снимался слой пыли и «многоцветие» радуги разгоралось над серым бесцветным пятном.

У Б. Н. был один, всегда повторявшийся жест, которого я сперва не понимала; он вызывал во мне даже досаду.

Какой бы предмет ни дать ему в руки, он тотчас же быстро его поворачивал, чтобы заглянуть с другой стороны. Впервые это отметилось мне еще в 24-м году в Коктебеле, когда началось увлечение коктебельскими камешками, или «каменная болезнь», как это шутя называлось тогда в Коктебеле[37].

Потом пошли годы кучинской жизни. И невольно я часто недоумевала: «Зачем он так делает?» Даешь ему книгу, он мгновенно перевернет ее и посмотрит «обратную» сторону. Покажешь вновь купленный чемодан — то же самое. Передашь квитанцию с почты — опять тот же жест. Все это я видела постоянно и, признаюсь, считала отчасти привычкой, отчасти же следствием его необычайной подвижности. Казалось, что он и возле себя ничего не может оставить в покое и непроизвольно приводит в движение все, к чему прикоснется.

Но при первой же нашей поездке «к горам» мне стало ясно другое: дело совсем не в автоматизме привычки и даже не в *беспокойном характере*; я поняла, что в этом жесте сказалась очень

глубокая и основная черта: потребность взять каждую вещь «максимально полнее», охватить ее «со всех возможных сторон»; тогда представление будет «реальным», динамичным, то есть правдивым, и не сузится в абстрактно-рассудочный «штамп».

Вскоре же после того, как мы устроились в Цихис-Дзири, в Б. Н. проснулась его прежняя коктебельская страсть. Мы с утра отправлялись на пляж и там отсиживали часы, укрываясь под зонтики в защиту от солнца; выгребались «сокровища», которые затем подробно сортировались по возвращении домой[38]. Мы «наизусть» знали свои материалы, помнили «в лицо» (особенно Б. Н.) каждый чем-нибудь замечательный «уникум».

У большинства камешков есть своя лучшая, так сказать, показная, нарядная сторона, и сторона «оборотная», худшая, всегда почти с большим или меньшим изъяном. Наблюдая, что и здесь привычка Б. Н. не изменилась и он «переворачивает» каждый поднятый или поданный ему камешек, я нарочно стала давать их ему с другой, менее выгодной, непоказной стороны. Он немедленно переворачивал и торжествовал, что *так* гораздо красивее. Когда секрет мой случайно открылся и я рассказала Б. Н. о подмеченной мной его «страсти выворачивать все наизнанку», он долго смеялся, был чем-то очень доволен; у нас даже сложилось шутливое выражение: «перевернуть на обратную сторону»; оно применялось в разных мелких и крупных случаях жизни.

Во время одной из наших тихих бесед (на прогулке или за чаем) Б. Н. поднял вновь эту тему и стал уже серьезно анализировать свой с первого взгляда «бессмысленный» жест. Тогда окончательно стало мне ясно, что жест не случаен: он только «деталь», которая органически входит в «композиционное целое» характера и темперамента Б. Н.

Отсюда же и его манера гулять. Я уже говорила, что он редко шел прямо, не отходя от дороги; разве лишь в слишком знакомых местах или когда цель прогулки была определенно намечена. Обычно же прогулка Б. Н. состояла из бесцельных по виду блужданий. Он беспрерывно оглядывал горизонт, отходил куда-нибудь в сторону, возвращался назад, останавливался, пово-

рачиваясь легким порывом то вправо, то влево; присаживался, все так же озираясь кругом, не оставаясь ни минуты в покое.

Этим стремился он снять ограниченность «роковой точки зрения»: «Ведь стоит лишь шаг отойти — и уже все другое. А ты и не подозреваешь об этом. И выносишь свой приговор: местность выглядит так-то и так-то. Жестоко провираешься! Выглядит-то она вовсе не так... Почему наш глаз не может вращаться? Сидит себе неподвижно в глазнице и несет нам обманные вести...»

И с увлечением Б. Н. начинал рисовать, какая картина мира предстала бы пред нами, если бы глаз наш вращался, если бы мы могли одинаково свободно видеть вперед и назад, во все стороны. Корень многих ошибок был бы этим изъят. Видеть полный охват горизонта вовсе не то, что видеть одну его треть, да и то под определенным углом. И Б. Н. искал способов разбить эту статику; делал это сознательно и бессознательно, произвольно и непроизвольно. Одним из сознательных способов был *наклон* головы направо, налево — с целью сместить привычное направление зрительной оси. Как удивилась я, прочитав не так давно у Р. Роллана о том, что можно, «наклонив голову и прищурив глаза, слить гармонично все плоскости пейзажа...» («Очарованная душа». Т. 1. Л., 1936. С. 200). Такое *совпадение* таких разных во всем *современников* — едва ли случайно. И если присоединить к этому «сферическую перспективу», выдвинутую Петровым-Водкиным[39], то невольно подумается, что художники нашего времени подошли к каким-то новым возможностям видения и восприятия мира.

«Взять явленье в контексте» — был также один из приемов созерцания для Б. Н.

Увидев прославленный замок Тамары[40], Б. Н. сперва удивился «мизерности» зрелища:

— Так себе, мушка невзрачная присела над Тереком.

Но, вглядевшись, рассмотрев все кругом, он пришел к заключению: замок хорош, если его взять как штрих на фоне огромной картины: улетающих под небо скал, обступивших здесь

Терек. Тогда замок выигрывает. «В таком контексте» вскрывается его красота, неприметная иначе. Перенеси этот замок отсюда, от Терека, и он потеряется. Он хорош как бронзово-ржавый узор, вотканный ярким пятном в роскоши тускло-серо-зеленых гобеленных ковров, которые углубленными складками падают из темно-синего неба к серебристому Тереку.

Или в Цихис-Дзири, когда в садах расцвели голубые гортензии (на одном из кустов Б. Н. насчитал до трех тысяч «соцветий»). Против нас на соседнем холме газон перед дачей был обсажен гортензиями. Издали, на большом расстоянии они имели вид незабудок. Отсюда — «аджарские незабудки» в «Ветре с Кавказа»[41]. Б. Н. был удивлен, до чего здесь «похорошела» гортензия, которая так безобразна, когда видишь ее в комнатной обстановке втиснутой в тесную банку с бумажными бантами, среди занавесок, ковров и диванных подушек. Гортензия требует иных перспектив, иных — крупных — масштабов, яркого света, экзотики красок. Там, в Москве, мы ставим на стол скромные незабудки и ландыши; они радуют нас. В Цихис-Дзири они были бы жалки. Они выпали б из кричащих роскошеств ландшафта; потому они убраны здесь. Глаз просит иных сочетаний. И на фоне апельсинной аджарской скалы незабудкою стала гортензия, ландышем стал флердоранж. Природа — опытный мудрый художник. Она знает, что где поставить: не сделает «ляпсуса». Смотри на нее и учись.

В Цихис-Дзири же вечером, на закате, когда мы возвращались с прогулки домой, Б. Н. любил еще раз обойти всю вершину холма, на котором была расположена дача. Тащил за собой и меня. Но я отказывалась; садилась тут же на ступеньках веранды с видом на море. Мне казалось, что Б. Н. нужно побыть одному. Одному все по-своему оглядеть и понять.

Он бродил по садовым дорожкам среди пальм, бамбуков, бананов и кактусов, рассеянно взмахивая и крутя в воздухе тростью. Выходил на открытое место. Останавливался и, медленно поворачивая голову, окидывал горизонт долгим, пристальным взглядом. Словно измеривал все отношения, устанавливал стиль «композиции», ловил пропорции в линиях берега,

неба и моря, гор и ущелий, далеких и близких, «еще» освещенных и «уже» утонувших в тени.

Или садился на лавочку*, над склоном холма, упадающим круто под ноги, рядом с кустом пламеневших азалий лицом на закат; обвивал руками колени, причем трость поднималась горизонтальною черточкой в крепко зажатой руке, — и долго, долго глядел, точно забывшись, погруженный в свою неотрывную думу.

Незаметно темнело. Падали легкие сумерки. Стирались и гасли окрестности. Огромный Юпитер зажигал в море «елочный шарик» серебряных отблесков[43].

Ваня, мальчик, который прислуживал нам, приносил самовар. Я звала Б. Н. к чаю. Он откликался не сразу. Нужно было тронуть его за плечо. Тогда он быстро оглядывался и, не слушая моих слов, тянул сесть рядом с собою: «вдохнуть в себя чудо совершеннейшей красоты».

Он был полон немого восторга перед гармонией («непревзойденной») законченного произведения искусства, вышедшего из рук «великолепного мастера».

— Как все продумано, как безошибочно взято!.. Учусь композиции, учусь колориту, — бросал он отрывисто, — учусь смешивать краски, давать перспективу...

И долго еще говорил, не замечая, что все изменилось, что перед глазами построился мир черно-серых и чуть синеватых теней, покрывших «пиры» ослепительно-ярких «роскошеств» цихис-дзирского дня.

И встает передо мной другая картина: посещение и осмотр развалин храма Звартноц под Эриванью[44].

В этой поездке нас сопровождал М. С. Сарьян[45]. Молчаливый, медлительный, но тонкий и чуткий художник, он был как раз таким спутником, какого ценил Б. Н. Без лишних слов, разговоров, он умел показать самое главное, отметить основной и характерный штрих.

---

*Эту лавочку можно видеть на его цихис-дзирских рисунках[42].

Отъезд был назначен на раннее утро, и мы давно уже ждали Сарьяна, волнуясь, что он запоздал, что будет уже слишком жарко. Наконец-то машина подъехала. Мы быстро уселись, обменявшись коротким приветствием. Солнце порядочно жгло, несмотря на то что час был все еще ранний. Машина рванулась, и мы понеслись среди глиняных стен приэриванских садов. Высокие пирамидальные тополи бросали острые стрелки теней. Мы жадно ловили эти кусочки прохлады. Жар нарастал. Впереди — дымно-желтая даль, обожженная солнцем. Пыльной лентой туда убегало шоссе. Оно было пустынно. Лишь изредка мчалась навстречу машина или скрипели колесами арбы. Казалось, дороге не будет конца. Шевелились неясные мысли: не вернуться ль домой, под защиту спасительных стен? Было мучительно видеть сухой, безотрадный простор, глотавший нас жаром и пылью.

Вдруг — резкий сворот машины налево: от шоссе отделилась узкая колея, обсаженная, как показалось нам, желтой акацией. Но пряный, особенный запах, плеснувший в лицо, показал, что ошиблись.

— Оливки! — обрадовался Б. Н., узнавая пленивший его еще в Коктебеле за несколько лет перед тем «сладостный» запах.

— У нас это дерево называется *пшат*, — поправил его М. С. Сарьян. — В конце аллеи и будет Зварт-Нотц, — добавил он каким-то особо торжественным тоном, будто без слов говорил: «Приготовьтесь...».

Б. Н. на это весь насторожился и вытянулся: увидеть Зварт-Нотц, древнейший из храмов Армении, о котором было уже прочитано им все, что удалось найти в Эриванской библиотеке, — вслушаться здесь, средь развалин, в «застывшую музыку» старых столетий, коснуться рукою священных руин...

— Вот: приехали... выходите, — произнес М. С. Сарьян почти шепотом, также взволнованный, настороженный.

Машина стояла средь зарослей пшата. Мы не видели перед собой ничего, кроме кривых перепутанных веток суковатых кустов. В невольном молчании ступили мы на старую, старую землю. Б. Н. побледнел и как-то строго весь выпрямился,

готовясь увидеть дошедший до нас «след глубоких веков». «Excelsior!» — казалось, произносил он без слов.

Мы тихо двинулись, отстраняя нависшие ветки. Ожидание, как электрический ток, разлилось в жарком воздухе и почти сковало нам члены.

Впечатление стало безмерным, когда через 10—15 шагов кусты расступились и мы оказались на обширной площадке; повсюду кругом возвышались развалины; осколки колонн, стен, карнизов лежали у ног.

Мартирос Сергеевич опять произнес:

— Вот и Зварт-Нотц...

В том же молчании мы вступили на устланный серо-желтыми плитами пол, забродили среди колоссальных обломков, покрытых тонкой резьбой. Входили под своды, нависшие грудой высоких полуобрушенных арок; едва проползали сквозь какие-то полутрещины, полудвери; спускались по лесенкам, рассматривали вделанный в стену очаг: сколько веков назад горел здесь огонь и готовилась пища!

Мартирос Сергеевич давал короткие объяснения и умолкал. Вдруг Б. Н. крепко сжал мою руку и дернул к себе. Я испуганно оглянулась, не понимая, что с ним. Он стоял неподвижно. Взгляд был направлен куда-то поверх обступивших обломков колонн. Я взглянула туда же. Направо от нас и налево, высоко в расплавленном небе сверкали снега Арарата и Алагеза. Предгория их занимали по полгоризонта. А величавые главы прозрачно светились в своих белоснежных венцах. Монументальная красота нас окружавших руин показалась почти нестерпимой на этом «возвышенном» («erhaben») фоне. Здесь Зварт-Нотц, грандиознейший некогда храм, затерялся, как еле заметная кучка камней. Он, казалось, тонул в необозримом, сухом, золото-сером пылающем море Армянской равнины. Громады распавшихся цоколей, толщи обрушенных стен, возле которых страшно было стоять, казались песчинками перед лицом просиявших серебряных «старцев Армении».

— Природа и здесь победила, — прошептал Б. Н., — не может быть, чтобы строители не учли этого «фона» и не включили его в

замысел возводимой постройки... Нет, это же невозможно!.. — оборвал он, не договорив. И показывал вниз, себе под ноги.

Там, среди треснувших плит замощенного пола, на тонких сухих стебельках плескались в ветре и в солнце огоньки алых маленьких маков. Это было единственное цветовое и живое пятно в гамме древних золото-серых тонов[46].

Контраст этого милого «reizend» («прелестного») еще острее подчеркивал тонким и нежным штрихом монументальную мощь всей картины.

Б. Н. молчал.

Громко и сухо звенели цикады; в воздухе теплыми волнами плыл аромат цветущего пшата, пряный и сладкий, тоже «древний» какой-то.

И веяли грезы далеких, далеких времен.

Бывало, порой Б. Н. спохватится:

— Надо бы завести записную книжонку.

И закупал сразу две или три «про запас». Долгое время они пустовали; при случае в них заносились сперва адреса, телефоны, встречи с людьми да списки закупок в аптеке, на почте. Потом сразу, чуть ли не в один день, заполнялись набросками для литературных работ или заметками о посещении выставок, лекций, музеев. Впечатлений же от природы Б. Н. в них так и не записывал. Для этих записей предназначался дневник; там в конце каждого дня подводились итоги: где были, что видели. Записи же на ходу, во время прогулки были бы только помехой.

Вместо них у Б. Н. был свой особый «прием», чтобы удерживать в памяти нужное. Этот прием запоминания Б. Н. шутя называл «мой кодак»[47]; и мог ввести в заблуждение людей его мало знавших, когда весело уверял:

— Всегда ношу с собой свой кодак. Очень удобная штука. Прицелишься, щелк! И готово: картинка защелкнута!.

Этот своеобразный «кодак» вполне заменял все блокноты. Б. Н. много раз объяснял мне подробно устройство «занятной машинки». «Кодаком» Б. Н. называл особенность своей памяти, которую сам же в себе подсмотрел и владеть которой учил-

ся годами, проделывая для этого целый ряд *sui generis* упражнений. Но открылась она непроизвольно, с раннего детства, вне всяких усилий или намерений с его стороны. Он говорил, что умеет запоминать, так сказать, «впрок», для будущего. В каждый данный момент нельзя осознать все обилие поступающих впечатлений, не создавая нагромождений, пестрого хаоса. Происходит невольный отбор: осознается лишь малая часть; она-то и доходит у нас до сознания и составляет содержание памяти. Остальное проходит как бы бесследно. Его как и не было: память его не хранит. Но Б. Н. умел сохранять это при помощи своего «кодака». Он вел как бы двойной, тройной и более набор впечатлений; и говорил, что поступает при этом совсем как фотограф, который «защелкивает» в свой аппарат все, что ему приглянется; проявляет же эти пластинки не сразу. Может случиться, что иная из них пролежит непроявленной годы.

По-иному еще он называл это: «мой дальний ящик». Отложения этого «дальнего ящика» могли быть проявлены в любую минуту, когда лишь к тому представлялся соответственный повод.

Память Б. Н. казалась совсем безграничной. Но заранее, без нужды, и сам он не знал о том, что в ней хранится. «Защелкивал» он на «кодак» помимо сознания; *сознания* — да, но не *воли*, воля тут принимала участие, но каким-то своеобразным путем, исходя не из сознательных, а из других, более глубоко в нас заложенных центров. В этом бессознательно-волевом, но все же *волевом* отборе и заключалась трудность для понимания устройства той любопытной «машинки», которую Б. Н. называл «мой кодак».

Когда Б. Н. начинал всматриваться в прошлое, сосредоточиваясь на нужном моменте (лицо, событие, место), — прошлое в нем оживало. Он разглядывал его, изучал; сравнивал свои прежние воспоминания с теми, какие предстали теперь; и переоценивал, *осмыслял* все по-новому.

И нужно было слышать его в такие минуты. Казалось невероятным, что это — лишь *воспоминания*, что все это было уже очень давно. Время поворачивало назад свой поток и выносило все новые, новые образы, детали, штрихи.

Как раз в те минуты, когда «кодак» безостановочно «щелкал» и я знала, что Б. Н. едва успевает «хватать», казался он внешне необычайно рассеянным. На самом деле зоркость его лишь усиливалась и рассеянность была обманчива. Она опускалась, как заградительный щит, между *сознанием* и «кодаком», чтобы сознание не мешало напряженной работе последнего. Взгляд Б. Н. суживался, вбирался в себя; глаза быстро перелетали от предмета к предмету, ни на одном не задерживаясь. Он явно *не видел*. Казалось даже, что глазами он *мыслит* теперь. А сила зрения, точно отделившись от глаз, окружает его сплошным зрительным органом.

Тогда говорили: «Ах, Б. Н. ужасно рассеян... Он не видит совсем окружающего».

Б. Н. знал о себе эти отзывы. И не оспаривал. «Пусть так думают. Не объяснишь. Но если бы знали, *что* видит именно *этот*, рассеянный Б. Н...» Об этом говорит он в своих «Масках»: «Наблюдательность с учетверенною силою, как *кодаками*, нащелкивала свои снимки» (340).

Однако, ценя свой «кодак» и пользуясь им постоянно, Б. Н. не считал его какой-то непогрешимою панацеей против власти времени, стирающего и изменяющего в нашей памяти контуры прошлого. Особенно не надеялся он на себя в смысле сохранения географически и графически точных воспоминаний о какой-нибудь местности.

«Удержится только экстракт, настроенье, импрессия. Точные линии, формы сотрутся. Воображение вмешается и пририсует свое. Мой кодак — все же не фотография. Он больше направлен на глубину, может быть, на четвертое измерение (время—пространство). Но для второго и третьего достовернее перед глазами иметь положительный фотографический снимок».

И Б. Н. искал этих снимков. Вспоминал, как при писании «Путевых заметок» помогли ему простые открытки, которые пачками он накупал в Италии, в Тунисе, в Египте[48]. То же самое пытался он сделать теперь на Кавказе — в Батуми, Тифлисе, в Армении. Но потерпел неудачу. Выбор открыток и снимков был слишком скудным. Тогда-то желание хоть как-нибудь закрепить

характерные мелочи посещаемых мест толкнуло его к зарисовкам. Так появились его кавказские рисунки.

Он их начал шутя, для забавы. Рисовал сперва карандашом (в 1927 году в Цихис-Дзири):

— Осенью, в Кучине, когда прольются дожди, будет приятно развернуть эти листики и вспомнить, в какой роскоши жили мы летом.

Он набросал тогда фасад нашей дачи, веранду, башенку, где была его комната, балкон при ней, вид на залив и на старую крепость оттуда. Первый план на рисунках заняло то, что поразило нас больше всего в Цихис-Дзири: «буйство» тропической зелени. Пальмы, чинары, бамбук, виноградные листья были подчеркнуты в своих «гигантских» размерах. И лишь на втором только плане отметился романтический стиль цихисдзирских ландшафтов.

В следующие приезды увлечение рисунками продолжалось. Готовых открыток опять не оказывалось. А в планах Б. Н. наметился новый том своего рода продолжения «Путевых заметок». Кроме того, он предполагал перенести на Кавказ место действия III тома романа «Москва», поселив профессора Коробкина на время в Коджорах. Делал обширные записи в «Дневнике» и в дополнение к ним «пририсовывал». В Эривани, в Схвитори — все еще карандашом. Но в Коджорах и в Красной Поляне уже карандаш был бессилен. И Б. Н. перешел на акварель. При втором посещении Коджор рисование стало страстью[49]. «Мастерская» Б. Н. расширилась. Из своей комнаты он уже въехал в мою. На всех столах появились в обилии блюдца с водой, бумажки с пробами красочных пятен, «ассортименты» красок, наборы кистей, правда самых непритязательных, закупленных в первом попавшемся магазинчике. Б. Н. художником себя вовсе не мнил и довольствовался весьма малым: лишь бы краска красила да не лохматилась кисть. Для рисунков он выбирал бумагу нарочно «похуже» и больше всего любил рисовать на клочках и обрывках. «Тогда лучше выходит. А на хорошей очень уж страшно. Какой я художник! Прямой линии провести не умею».

В Коджорах кто-то узнал, что Б. Н. *рисует*, и привез ему из Тифлиса в подарок прекрасный, обтянутый парусиной альбом и угольный карандаш. Б. Н. благодарил, восхищался «роскошным» подарком, пробовал толщину бумаги, выражая свое удовольствие: «Не промокнет. Краски не поплывут, не размажутся. Прекрасная вещь». Но к подарку потом не притронулся и продолжал «мазать» по-прежнему на клочках[50].

Начинал он с того, что во время прогулки карандашом набрасывал схему, размечая цвета и оттенки. Колорит же запоминал «наизусть». Дома доделывал. И на это шли целые дни. Технических знаний в сфере живописи у Б. Н. не было. Делал все наугад, изобретал и придумывал свои способы. Главная цель была — получить основной колорит, добиться гармонии линий и красок. Для этого он делал прежде всего «загрунтовку», то есть весь лист покрывал тонким слоем отобранной краски, с тем расчетом, что потом она будет просвечивать и в смешении с остальными даст рисунку желанную цельность.

«Загрунтовочный» цвет Б. Н. тщательно, долго продумывал. Нужно было предугадать, что получится при наложении дальнейших оттенков, появится ли тогда ожидаемый нужный эффект. Не обладая техническим опытом в смешении цветов на бумаге, предугадать это заранее трудно. И Б. Н. пережил здесь немало волнений. Да и самое качество красок (едва ли не детских!) часто портило дело. Б. Н. рассчитывал на ультрамарин, как значилось на тюбике, а получались тона васильковые; фиолетовая оказывалась сиренево-серой; розовая отливала в вишневую. Хуже всего обстояло с белилами: они — то блестели, как клей, и не впитывали в себя других красок, то ложились грязной, свинцовой замазкой. Сколько «снежных вершин», сколько «хребтов» было загублено через эти белила; сколько «облаков» и «туманов» погибло! Отчаявшись, Б. Н. прибегал даже к... зубному порошку.

Решая вопрос о загрунтовочном цвете, он волновался не в шутку: момент «крайне ответственный»; неправильный выбор может все «провалить».

Затем шла раскраска, выявление разных тонов. При плохом качестве кистей и красок — процесс в достаточной мере мучи-

тельный. Кисть то царапала, то лохматилась, то разлезалась по волоску; не лучше и с красками: одна рассыпалась в песок нерастворимыми зернами, другая ложилась неровными сгустками, третья «откровенно» не красила. В изнеможении Б. Н. вскакивал:

— Нет, больше я не могу! Разорву и конец! Это какой-то мартириум! Нечего сказать: отдых! Хорош отдых! Хлопот полон рот... Пусть кто хочет так отдыхает. Я — нет, не желаю. Мне и зимой предстоит сидеть не разгибаясь... Идем погулять. Проживешь и Коджор не увидишь из-за этой мазни.

Он с отвращением брал в руки отброшенный листок. Вдруг замолкал, начинал пристально вглядываться; машинально опускался на стул; и через минуту, забыв о прогулке, опять с ожесточением «мазал».

Когда рисунок вчерне был готов, то в иных случаях Б. Н. применял еще один способ: это — «промыв». «Промыв» заключался в том, чтобы весь лист с готовым рисунком, когда краски подсохнут, сразу, как можно быстрее, покрыть тонким слоем воды. Для такой процедуры требовалась «смелость», решительность, точность глаз и руки. Нужно было «бесстрашное» владение кистью. Ничего не стоило одним неверным движением испортить труд нескольких дней: «перепромыть», то есть взять слишком много воды, смыть какой-нибудь тонкий оттенок или посадить «роковое» пятно. Я не помню, чтобы фактически этот «промыв» когда-нибудь окончился «катастрофой». Но неизбежность такой «катастрофы» всегда предрекалась Б. Н. Право, казалось порой, что иной хирург на операции волнуется меньше.

При «промыве» мое участие было необходимо. Стоя — чтобы свободнее двигать рукой, — Б. Н. не отрывал глаз от бумаги и отрывисто вскрикивал:

— Еще воды!.. Тряпку... Поверни лист... этот... *этот* вот угол... Левый... Да *левый* же!.. — поднимал он голос до крика. — Скорее... Кисть... *Другую*... Где же промокашка?.. Ай, будет пятно. Перемочил!.. Нет, ничего: контур остался... Ну, готово... Не трогай! не трогай!.. Размажется!..

Оба мы вне себя, раскрасневшись, метались туда и сюда. Позабыв обо всем, кроме лежащего перед нами клочка бу-

маги, ошеломленно поглядывали то на «клочок», то друг на друга.

Наконец Б. Н. опускался на стул и, ласково улыбаясь, говорил совсем другим тоном:

— Прости! Опять накричал... Проклятый промыв... Нет, больше не стану так рисковать!

Цель «промыва» была та же, что и «загрунтовки»: достигнуть единства и цельности тона. Так же «загрунтовывал» и «промывал» он свои художественные произведения.

«Мазня с красками», по словам Б. Н., была прекрасной оттяжкой от мыслей. Но в конце концов и она утомляла порядком. Больше всего страдали глаза. В них поднималась жестокая «резь», и, чтобы ее успокоить, Б. Н. прибегал к компрессам из борной, принужденный на несколько дней бросить кисть. В «горячий» момент он проводил над рисунком все утро и вечер; перерыв делался лишь для отдыха после обеда. Если я предлагала гулять, дать глазам передышку, он упорно отказывался: «Выйдешь — рассеешься!» Говорил таким тоном, будто его отрывали от серьезной работы.

Но когда на него находил «прогулочный стих», то он не знал ни меры, ни удержа. Мы гуляли, гуляли, гуляли: утром, днем, вечером, перед сном. И Б. Н. был неутомим и предприимчив неисчерпаемо в этих прогулках.

— Идем, идем, — тащил он меня, — что под крышей сидеть!.. В Кучине насидимся. Не так-то скоро попадем опять в эти места.

И мы отправлялись.

Больше всего его влекли к себе горы. Ходить по дорогам он не любил. Было скучно «топтаться» по исхоженным тропкам. Он стремился сойти от дороги и самому «прокладывать путь». Неизвестное манило его, и ему казалось, что в каждой местности должны быть уголки, о красоте которых не знают путеводители. Я шутила, что он хочет быть новым Колумбом и на удивление всем открыть еще раз Америку. Б. Н. смеялся, сердился: «Оставь! Какой я Колумб...», — но делал по-своему.

Сколько раз мы блуждали от этого, сколько раз почти ссорились. Сокращая пути к «интересной» вершине, попадали в

глухие, колючие заросли или царапались вверх по кручам среди кустов, потеряв направление. Б. Н. громко и горестно упрекал меня в отсутствии инициативы, в пассивности; а я его — в эгоизме, в беспроком искании *новых* путей. Оба были взволнованы и полны негодования не на шутку. Своя правота казалась бесспорной. И — таилась надежда: перевлечь противника на свою сторону. Разойтись же и предоставить друг друга его желаниям и вкусам — никак не могли: как же так, — *бросить!*

Наконец устанавливалось соглашение: я пойду по дороге, а Б. Н. там, где ему хочется, но «не слишком рискуя» и помня, что я за него беспокоюсь. В «неопасных», но интересных местах он будет меня подзывать.

Взволнованное лицо его озарялось тогда детски счастливой улыбкой, и Б. Н. с ликующим видом бросался к «желанным высотам», карабкался, перепрыгивал с камня на камень. На ходу беспрестанно оглядывался и кивал мне в знак ободрения.

Лазал он великолепно: легко и бесстрашно. Будто весь век жил в горах. Головокружения никогда не испытывал и никакой высоты не боялся. Напротив, чем выше и круче был обрыв под ногами, тем смелее и предприимчивей он становился.

Добравшись до особенно интересного места, он останавливался, распрямлялся и начинал свой «обзор». Оглядевшись, кричал мне подробно о том, что теперь видит, как все изменилось; восхищался, насколько здесь лучше, чем внизу, в моем тесном «защёме». Звал к себе: нетерпеливо доказывал, что подъем пустяковый, что страшного нет; когда же я медлила, он начинал все больше и больше сердиться, досадуя, что я такая трусиха, что «эдак» мне никогда ничего не видать.

По правде сказать, мне было тогда не до видов. В пылу убежденья Б. Н. так метался, так рвался, ожесточенно махая руками, что у меня была одна мысль: «Только бы не сорвался! Вот, не глядя шагнет и... что тогда делать!»

Чтобы его успокоить, кое-как начинала и я ползти вверх.

Страх за Б. Н. особенно вырос во мне после одного случая в Коджорах. Это было у «замка Разбойника»[51]. Б. Н., по обык-

новению, ушел вперед, а я потихоньку следовала за ним на довольно большом расстоянии. Вдруг ему показалось — он все время оглядывался, где я, — что меня кто-то хочет обидеть (мимо шли пастухи, попросившие у меня папирос). В ту же секунду, не разбирая, что под ногами, громко крича какие-то угрозы и отчаянно потрясая палкою в воздухе, Б. Н. стремглав ринулся с кручи! Я застыла на месте от ужаса. Как он не разбился о камни — не понимаю. И хотя он уверял, что прекрасно все помнил, что у него безошибочный инстинкт лазуна, меня это не успокоило: «Один раз сошло. А другой — неизвестно». И я стала бояться «несчастного случая».

А он теребил: «Не затем же приехали в горы, чтобы гранить тротуары... Тоска... Что тут увидишь: в дыре...»

Он демонстративно, с презрением заворачивал голову, сердито и быстро поглядывал на меня, чтобы видеть, как я реагирую на его заявление.

Загорался опять старый спор. И после взаимных упреков — опять примиренье. Иногда он шутливо жалел меня: «Бедненькая! Как это грустно: головокружение... Прости, что кричу... Ну, пойдем, пойдем низом. И здесь хорошо. Видишь, какой прекрасный зигзаг впереди... Ах! Что это там?»

И, уже забыв обо всем, Б. Н. далеко: наклонился, заглядывает, повисая над краем обрыва. «Заглянуть сверху вниз» было в нем почти страстью. Так в детстве ломал он игрушки, чтобы посмотреть, что там внутри, так потом переворачивал все «на обратную сторону».

Он искал на Кавказе сухих «изощреннейших» пиков, острых «пальцев», то есть остатков от выветренных горных пород, жесткой щетиною покрывающих скаты; эти «пальцы» поразили его своей дикою красотой в Альпах, в Швейцарии. В сборнике «После разлуки» в стихотворении «В горах» есть строчки: «Отовсюду приподнялись / О, сколькие — колкие елки / Высвистом — порывистым — ввысь...»[52]. Конечно, здесь имеются в виду и «елки» — деревья. Но смысл образа шире.

И вот, на Кавказе ни «пиков», ни «пальцев» почти не встречалось. После тщетных поисков и ожиданий Б. Н. решил: «Кав-

каз *моложе**: века не успели еще так поработать над ним. Слишком много здесь зелени, слишком обильны леса. Или, может быть, это мы обреченно вращаемся на периферии, и в самые тайники не довелось нам проникнуть».

Он внимательно изучал путеводитель, следил по большой разостланной на столе карте и сокрушался, что самое интересное на Кавказе для нас заповедано. Из-за отсутствия горных дорог мы попадем лишь в зону «прелестного» («reizend»). А Б. Н. влекло к себе сурово-прекрасное «hoch»: благородные обнаженные земли, «гололобые глыбины», базальты, граниты и мхи.

В Тифлисе нам сильно расхваливали дорогу на Бакуриани, в горах над Боржомом: «Что Швейцария! Вот поезжайте на Бакуриани».

И мы поехали. Разочарование полное: «Слишком зелено, слишком уютно»[53].

Б. Н. снова брался за путеводитель.

— Ведь вот, здесь сказано: снежные горы, дикий, суровый ландшафт. Мне это и надо. Смотрю: как проехать? Никак... Сперва по железной дороге. Потом от станции такой-то — в экипаже, потом верхом. Остаток пути — пешеходная тропка. Где же это мне в мои годы и со слабым здоровьем! Еще верхом я бы мог... — огорченно захлопывал он путеводитель.

Только в Армении и в Коджорах несколько насытился его «горный голод». «Колких елок» и «диких пиков» здесь, правда, также не было, но в Армении их заменило ощущение «колыбели истории»[54], величественный ритм Арарата, который господствует над всей страной[55]. Пленили «золотые кони» Гехарда[56], — импрессия гигантских размывов золотисто-желтых пород, повиснувших над маленьким монастырем, утонувшим в глицини-

---

*Как Б. Н. был бы доволен, если бы мог прочитать заметку Н. Сергиева «Возраст кавказских гранитов» («Известия»,1935. 14 октября). В ней говорится: «Нами получены *новые* данные о возрасте гранитов осевой части Кавказского хребта. Эти граниты, до сих пор считавшиеся принадлежащими к древнейшей эпохе Земли — докембрийской, *неожиданно „молодеют"* на несколько геологических периодов. По-видимому, образование их нужно отнести к мезозою». (Курсив мой. — *К. Б.*)

ях, миндалях и белых акациях. Пленили и дымно-синие «стражи» Севана, — сумрачно прекрасные вершины хребтов, поднявшихся над этим чудесным озером-морем, высоко вознесенным на над-Эриванское плато[57]. И еще многое, многое.

А в Коджорах были неотразимы «просторы высот». Единственный, как говорили нам, по широте вид с коджорской вершины. Там, над взволнованным морем «хребтов и хребетиков», по краям горизонта ежедневно всплывали и таяли *новые* очертания *тех же* все горных цепей Армении, Дагестана, Кахетии, Большого Кавказа, Сурама; намечался пролет Военно-Грузинской дороги[58]; и тающим золото-розовым воздухом простиралась необозримая азербайджанская степь, чуть подернутая васильковым атласом Куры.

Было на что посмотреть! И Б. Н. выбрал Коджоры как постоянное место «возврата», место, где он лучше и полнее всего «отдыхал».

«Вернуться еще раз в Коджоры...» оставалось горячей мечтой его до конца[59].

И до конца сохранилась в Б. Н. любовь к непроторенным дорожкам. Летом 1933 года, когда, еще до проявившейся тяжкой болезни своей, он был давно уже болен насквозь, мы попрежнему много гуляли и по-прежнему иногда разделялись на этих прогулках. Забыв свои немощи, он забирался по склону, шел верхом, по узкому гребню холма, оставив меня внизу на параллельной дорожке. Повторялось, как прежде: он останавливался, сообщал об открывавшихся горизонтах, жалел, что от меня они скрыты, звал к себе и, наконец, «взрывался» от огорчения за меня: «Не увидишь!».

И опять сердце во мне разрывалось: страх, что он оборвется, и счастье видеть его таким*. Снизу казалось, что он плещется в воздухе. Тонкий и легкий, будто без всякой опоры, носился он над самым краем обрыва: белая шляпа, белая рубашка без пояса, золотистая бамбуковая палочка в руке. Охвачен-

---

*Пусть простят мне этот лирический вздрог. Но это было еще так незадолго до того, как все оборвалось.

ный солнцем, в синей прозрачности неба, весь в ветре и в воздухе, сам был как ветер, как воздух, — без веса, без тяжести. Будто закон тяготения — не для него.

Так запечатлелась во мне одна из наших последних коктебельских прогулок.

Тема этих отрывков: «*Б. Н. в природе*» мной далеко не исчерпана. Еще многое здесь остается сказать. Слова Гете: «Искусство есть зрелая природа»[60] — звучали ему как девиз. И все *искусство* свое, все свое «мастерство» он понимал как продолжение и завершение «дела природы». Не выключал, а включал себя в этот великий процесс. «Моя природа есть природа вообще. Слово есть выражение сокровеннейших тайн природы», — писал он в «Магии слов». Подтверждением этого было, в сущности, все, что он дал не только как лирик-поэт, но и как прозаик-мыслитель, он весь коренится в природе. Природой полны его книги. Она дает ему образы, звуки и краски: она проплетает всю ткань его прозы. Как и Диккенс, которого он до конца так любил, в картинах природы он дает психологический лейтмотив и лиц, и событий, в значительной мере заменяя им *психологию* собственно.

А для него самого «встреча с нею» была всегда *праздником*. И звучат мне живой биографией слова его из «Весенней мелодии» в «После разлуки»:

Так —
— Испокон
Веков —
Увековечены: —
— Природы праздники, исполненные
Светами
Утраченного
Смысла...[61]

Этим *праздничным* светом для многих навсегда «утраченного смысла» сияла и пела Б. Н. природа — с самого раннего детства и до конца его дней.

РАБОТА НАД «МАСКАМИ»

Тематика

В этой главе я хочу рассказать, как работал Б. Н. над романом «Москва». Рассмотрев свои записи, я увидела, что они распадаются на две части. Первую я называю «Тематика». Непроизвольно в ней отложилось все то, что относится к зарождению образов, тем, лейтмотивов, к их изменению во времени и в процессе работы; а также те внешние поводы или случайности, от которых пробуждались порой и шли эти темы. Сюда же отнесено мною и то, что Б. Н. называл своими «вспомогательными пособиями», — листья, камешки, ткани, с которых он «списывал» обстановку, костюмы и пр. И это — уже переход ко второй части — «Мозаика». В ней пытаюсь я показать, как работал Б. Н. над написанием текста своих художественных произведений, как возникал этот текст, его материалы, его различные стадии. Порою это переходит почти в описание рукописи «Масок», хранящейся в ГЛМ[1], порою же это — бытовой рассказ о мелочах жизни, служивших фоном рабочего дня Б. Н. Кончаю я эту главу рассказом о причинах, заставлявших Б. Н. всегда стремиться «в деревню», о Кучине как об этой желанной «деревне» и даю несколько кучинских ландшафтов, вынутых из романов, написанных Б. Н. в Кучине[2].

Напомню в кратких чертах содержание этих романов: «Московский чудак», «Москва под ударом» и «Маски» — или, как называл их Б. Н., «Москва»,

т. I—II. Я выделяю, главным образом, те моменты, которые затронуты мною в этих записях, и оставляю в стороне ряд существенных тем, например, жену и сына Коробкина, Задопятова с женой, доктора Доннера и др.

Прежде всего: главные действующие лица, характеристику которых заимствую отчасти у Б. Н., из его драматической переработки первого тома[3].

Математик, профессор Коробкин. «Знаменитый ученый, сделавший мировое открытие в области теоретической механики».

Фон Мандро. «Предприниматель, директор компаний, крупный спекулянт, живущий широко, со славой „темного афериста". На самом деле — „кукла" в руках шайки международных шпионов»[4]. Вначале германский, потом французский агент. Несет в себе все пороки разложившейся цивилизации, вплоть до преступной страсти к 17-летней дочери. Вдовец. Он же — переодетый «дед Мордан», или «старчище». Он же — во втором томе — Друа-Домардэн, публицист из Парижа.

Лизаша — его дочь, гимназистка, «странная девушка», «не то старушка, не то младенец, не то бесенок, не то ангеленок». Обожает отца. Зовет его «богушка». В «Масках» она — жена Киерко-Тителева, или «мадам Тителева».

Киерко — друг Коробкина, крупный революционный деятель, агитатор и организатор. В «Масках» он — нелегальный, живет под фамилией Тителев, в одном из глухих переулков Москвы.

Вишняков — горбун-портной, добрый и умный. Импонирует Грибикову и «спасает» Кавалькаса, увлекаясь сам Армией Спасения.

Никанор — брат профессора, чудак-неудачник, «строптивец»-добряк. Горячо любит брата.

Серафима — сестра милосердия в лечебнице для нервнобольных, сперва сиделка, потом «ученица» и друг Коробкина.

Пэпэш-Довлиаш — психиатр, владелец лечебницы, где оказался Коробкин. Злой циник.

Грибиков — злобный старик, мещанин, «проживатель».

Кавалькас — «полу-литовец, полу-немец, карлик без носа, бывший „Лепорелло" (и жертва) молодого „дон Жуана" — Мандро, ныне его ненавидящий, но от него зависящий». Дружит с Вишняковым, распевая вместе с ним песни Армии Спасения.

Велес-Непещевич, или «черный квадрат». Организатор убийства Мандро, агент русско-английской разведки, — «звено, так сказать: меж Земгором, Булдойером и Булдуковым» (79)*.

Мадам Тигроватко, мадемуазель де-Лебрейль, офицеры Пшевжепанский и Сослепецкий — лица, участвующие в обличении и убийстве Мандро.

Фабула развивается приблизительно так: открытие Коробкина возбуждает интерес в зарубежных военных кругах. Германия через посредство Мандро пытается купить это открытие для военных целей. Профессор резко отказывает. Между тем в доме Мандро назревает скандал. Его порочное отношение к дочери переходит в прямое насилие. Поступок получает огласку. Мандро скомпрометирован и должен бежать. Чтобы спасти свое положение, он решает во что бы то ни стало овладеть открытием. Под видом нищего старика — «старчища», он бродит вокруг дачи Коробкина, ища случая. Случай представляется, когда профессор едет в Москву по делам. «Старчище» следует за ним до станции, едет вместе в вагоне, почти насильно навязывается в дом к профессору и остается с ним ночевать в пустой городской квартире Коробкина. Он требует выдачи открытия, угрожая насилием. Профессор снова решительно и с негодованием отказывает. Происходит страшная сцена «мучений» Коробкина, во время которой оба сходят с ума. В припадке безумия Мандро убегает от бредового зрелища своего преступления и попадает в больницу неузнанный. А Коробкина, полуживого, растерзанного и безумного, под утро уже находят встревоженные соседи во главе с портным Вишняковым и карликом Кавалькасом.

---

*Здесь и далее в этой главе в круглых скобках после цитат из романа «Маски» указан только номер страницы по изданию: Белый А. Маски. М., 1932. — Ред.

Его отвозят в лечебницу. В этот же день начинается мировая война 1914 года. Этим кончается первый том.

Во втором томе показано медленное выздоровление Коробкина и осознание им перенесенных страданий как последствия научной его «безответственности», позволявшей ему не задумываться над гибельными «для миллионов» результатами его «теоретических», чисто научных работ.

Появляется вновь Мандро. Теперь он — француз, Друа-Домардэн, посланный с секретным поручением из Парижа в Москву. На нем скрещены нити разведок России, Америки, Англии, следящих за ним. Мадам Тигроватко поручено раскрыть в нем «Эдуарда Мандро». Она делает это, используя для обличительной сцены оскорбленную им дочь Лизашу, теперь «мадам Тителеву».

Разоблаченный Мандро подвергается сначала домашнему аресту в Пелль-Мелль отеле, под надзором Велес-Непещевича. Здесь его навещает профессор Коробкин, вышедший к тому времени из лечебницы и живущий в доме у Тителевых и в тесном общении с ними. Лизаша рассказывает ему о своей драме с отцом. Коробкин решает устроить их встречу и с этой целью направляется в Пелль-Мелль отель, откуда и приводит отца к дочери.

Непосредственно после свидания офицер, посланный Велес-Непещевичем, отвозит Мандро на квартиру Тигроватко, где и происходит убийство Мандро. Эти события совпадают с началом революционного переворота.

Второй том кончается рецидивом болезни профессора, вызванным напряженными переживаниями последних дней, и взрывом домика Тителевых.

Б. Н. заканчивает этот том словами: «Так все, что любило, страдало и мыслило, что восемь месяцев автор словесным сплетеньем являл, вместе с автором, — взорвано: дым в небесах!

Что осело, что — пырснью отвеялось? Кто — уцелел, кто — разорван?

Читатель, — пока: — продолжение следует»[5].

Помню, с каким недоумением вынес ко мне Б. Н. прочитать эти строки:

— Вот, — не знаю, что написалось. Думал кончить совсем иначе... И вдруг...

Он оборвал себя. И, все еще как-то недоумевая, прочел приведенные выше слова.

Этот роман он начал писать осенью 1924 года, по возвращении из Коктебеля, и думал сперва назвать его «*Слом*»[6].

За каждую художественную вещь принимался он более чем неохотно; долго тянул: противился всем существом. Откладывал до последней возможности и пользовался всяким предлогом: только бы «еще» не писать. Слишком хорошо по прежнему опыту знал все последствия и пугался заранее. Ясно предвидел, какую «бездну моральных и физических сил» возьмет у него *такая* работа; предвидел, в каком опустошении и «разгроме сознания» он останется, когда «будет поставлена последняя точка». И шел заведомо, как на неизбежную тяжелую болезнь, в «невеселые месяцы».

Так было и на этот раз. Разговоры о новом романе, который «надо» писать, поднимались чуть ли еще не зимой. Но только в конце весны, перед самым отъездом в Коктебель, Б. Н. дал окончательное согласие издателю* (Хелминскому или Лежневу)[8].

В Коктебеле Б. Н. собирался провести все лето с тем именно, чтобы пожить в тишине и основательно поработать. Укладываясь в дорогу, он очень заботился взять с собой достаточное количество бумаги и для черновиков, и для чистовой переписки, а также захватить побольше карандашей и чернил. Это был вечный страх Б. Н.: «остаться без капли чернил и без кусочка бумаги». И мы постоянно возили с собой во все путешествия неудобные бьющиеся пузырьки и тяжелые раздутые папки. И то и другое в сильной степени осложняло для нас всякие передвижения с места на место.

Но жизнь в Коктебеле сверх ожидания сложилась так, что ни о какой работе нельзя было думать. Близость моря, возле

---

*Договор между Б. Н. Бугаевым и Н. Э. Хелминским от 14 апреля 1924 — ИМЛИ. 34/2481[7].

которого Б. Н. проводил целые дни, большая, интересная и шумная компания, съехавшаяся на дачу Волошина из Москвы, Ленинграда и других городов, отсутствие уединенной комнаты, в которой можно было бы укрыться от людей, искавших общения с Б. Н., постоянные прогулки, поездки, игры, литературные чтения и беседы то в мастерской М. А. Волошина, то на нижней террасе-столовой, то на открытой вышке под небом, наконец, даже танцы, — все это в целом мало способствовало рабочему настроению. Время было заполнено так, что не оставалось «ни минуты свободной»[9].

Кроме того, еще Б. Н. с увлечением отдался новому тогда коктебельскому спорту «загара». «Загар» требовал также немалых забот. Было совсем не безразлично, *как* и в какой срок загореть. Пускались на всякого рода хитрости и «подтасовки». Б. Н. тотчас же изобрел свой собственный «метод». Задачей его было так загореть, чтобы на теле не оставалось нигде «порочащих» бледных пятен и чтобы загар ложился ровно, приятно для глаз. Он не жалел себя. Весь день был размечен. Выбирал в определенные часы определенное место и загорал «систематически» — то в окне своей комнаты, выходившем на крышу столовой, то на нашей террасе, когда в мертвый час она пустовала, то на пляже. Для одного оттенка загара необходимым являлось утреннее солнце, для другого — только вечернее. «Система» была тщательно «разработана» и продумана до мелочей. И Б. Н. добился-таки того, что его «загар» единогласно признан был «образцовым» (чем он «откровенно» гордился)[10].

Но самой главной и сильной оттяжкой от писанья романа было захватившее Б. Н. увлечение коктебельскими камешками[11]. «Камешки», как и «листики», — это целая *глава* в жизни Б. Н.; и о их мне придется не раз говорить. Здесь затрону их лишь попутно.

Каждому приезжавшему в Коктебель М. А. Волошин показывал свои коллекции камешков, набранные за много лет не только им, но еще его матерью. Приглядевшись к коллекциям, Б. Н. их не слишком одобрил. Вскоре же с моря наносил себе

«первые пробы» по своему вкусу. Призвал Макса, ему показать. Макс рассмеялся:

— Ну, Боря, совсем не то у тебя. Никуда не годится... Одни сплошные собаки! Ни одного фермампикса.

«Собаки» и «фермампиксы» были особые коктебельские термины. Первые означали простые, неинтересные камни. Вторые — прозрачные, всевозможных цветов и рисунков, иногда даже драгоценных пород: яшмы, сердолики, хризолиты, хризопрасы и пр.

Б. Н. был возмущен:

— Как: собаки! Так я ж покажу, что такое собаки....

С этого началось.

Все же первое время Б. Н. пытался еще как-то бороться с охватившей его «каменной» коктебельской болезнью и вспоминал о романе. Несколько раз собирался «взять себя в руки» и засадить за работу.

— Через две недели начну, — отвечал нетерпеливо на чей-нибудь случайный вопрос.

А через две недели опять повторял то же самое, то с шутливой небрежностью, а то с раздражением. Я видела, что сам он собой недоволен: отступать от того, что задумано, он не любил; в Москве же решил, что летом будет работать. И вот — эти «камешки»!

Наконец, как-то за утренним чаем, в июле уже, он заявил мне с запальчивым видом:

— Решил окончательно, что писать в Коктебеле не стану, — и поглядывал на меня неприязненно — будто я только и делала, что приставала: пиши да пиши. Я давно уже видела, что в глубине души сам он к себе «приставал» все это время и что теперь перед собою оправдывается. Так бывало не раз!

Не дожидаясь ответа, бросился бурно, с жаром доказывать:

— Ка́к еще нужно писать! Я же пишу! Мои коллекции — это и есть мой роман. Собираю себе драгоценнейший материал. Орнамент оттенков, интерференция красок: это же перспективы, и — богатейшие. Весь слог мой изменится. Не могу обо-

рвать этих опытов. Это опыты с словом[12]. Учусь лепке словесных ходов... Вот, посмотри... — Он увлекал на террасу, где на перилах расставлял коробочки с камешками, устраивал ежедневные «смотры» своих многосоставных «градаций». — Видишь, видишь! Гляди: все целятся на красоту, на фермампиксы. По мне — хоть бы не было их. Зато из последних собак я сделал то, что все ахают... Сами не видели!.. Я же знаю, что делаю. И знаю, что это не все: мне еще нужно добрать, доразглядеть... Вот здесь не хватает... И здесь... Промежуточный тон не заполнен. Как же я брошу....

Высказав это все, сразу, без передышки, вдруг успокоился, повеселел, точно свалил с души камень, отстоял свое право на «баловство». Поглядывал ласково и со вздохом закончил:

— Ты не сердись, что кричу. Не объяснишь никому. Пристают: над чем вы работаете, Б. Н.? Будто так просто ответить, над чем... Коли скажу, то раскроют глаза, назовут чудаком, сумасшедшим... Разве втолкуешь глухим....

Голос стал повышаться. Боясь, что он опять разволнуется, я перебила, что пора уже к морю, что говорят — ночью был сильный прибой и нанесло много новых камешков. Забрав «синий мешочек»* и пеструю плетеную корзиночку, мы поспешили на пляж.

Вопрос о романе больше не поднимался.

Наконец в Москве, поздней осенью, он засел за работу, нехотя, с ропотом. Вначале шло туго, не клеилось. «Не расписался». Приносил прочитывать первые сценки и жаловался, что скучно, бледно, бездарно.

В главных чертах план первого тома был давно уже ясен. Б. Н. задолго до этого говорил не только о первой, но и о второй части романа. Теперь же, приступая к работе вплотную, он — по

*Этот «синий мешочек» был сшит в Коктебеле из особенно прочной материи, которая могла бы выдерживать «трение тяжестей». Этот мешочек сопутствовал затем Б. Н. во всех поездках, вплоть до последней, до... клиники. Он еще цел и теперь.

обычаю — записал своего рода программную схему, или — как он называл это — «план». Почему-то всегда в таких случаях любил брать самый случайный «клочок» — иногда оборот другой рукописи, иногда даже просто конверт от письма, недавно полученного и лежавшего под рукой на столе. На «клочке» был набросан порядок предполагаемых глав и были даны их названия, хотя бы условные. Окончательное заглавие Б. Н. тщательно продумывал и давал только в конце, когда все уже было написано. «Клочок» фигурировал потом во все время работы; и Б. Н. очень следил, чтобы он не затерялся. Это был как бы «первый кристалл», первый контур, — то зерно или клеточка, от которой потом разрасталась вся ткань. И такой же «набросочный план» порядка и содержания будущих глав сохранился и в черновиках незаконченного четвертого тома воспоминаний — последней работы Б. Н., которой он был занят осенью 1933 года[13].

Но, как постоянно бывало и прежде, в процессе писанья «Москвы» первоначальный план вскоре же отодвинулся и заменился другим. Фабула развернулась не так, как предполагал сперва Б. Н.

В частности, совсем по-иному вычерчивалась вначале в его представлении фигура Грибикова. Б. Н. думал, что во втором томе Грибиков займет возле профессора место Мандро. Поэтому и уделял ему столько внимания. И с первых же страниц первой части начал «загрунтовку» этого типа для будущего.

Это кажется странным теперь, после того как написаны «Маски» (или второй том), где Грибиков упомянут лишь вскользь. Но тогда и на словах Б. Н. очень много рассказывал о Грибикове, рисовал его образ в мельчайших подробностях и одно время был занят им не меньше, чем даже профессором, и во всяком случае больше, чем Эдуардом Мандро. Последний сперва рисовался абстрактно, был скорее насильно построенной схемой, чем подлинным образом. О Мандро Б. Н. знал изнутри только то, что он «др». Но содержание этого «др» еще не вскрылось отчетливо. Грибиков занимал первое место. Домик его не случайно поставлен окно в окно против дома Коробкина. Не случайно и то, что он появляется тут же на третьей странице в

первом же сне, так неприятно смутившем профессора. В конце этого сна Коробкин видит, как: «...окно — отворилось; и Грибиков, точно стенная кукушка, просунулся, фукая на переулок; от „фука" — булыжники, домики и тротуары как пырснут, распавшись на атомы пыли, секущие эти пространства; Иван же Иваныч, сам пыль, привскочил, оказавшись опять у себя на диване пред мухою — в пункте, откуда он был громко свергнут» («Московский чудак», 11).

По словам Б. Н., в этом сне дан лейтмотив отношений Коробкина с Грибиковым во втором томе. Там «фук» Грибикова должен был разыграться в настоящую тему преследований. И вот, теперь уже Грибиков всюду лезет в глаза. Приближаясь к окну своего кабинета, профессор каждый раз наталкивается глазами на неизменно торчащего у своего окошка и подглядывающего Грибикова и бессознательно раздражается этим негласным надзором. На квартире у Грибикова поселяется затем уже подлинный соглядатай профессора, агент Мандро, Кавалькас (карлик Яша). Грибиков был последним, кто видит (в «Москве под ударом») убегающую из дома Коробкина «гориллу», то есть Мандро, и призывает ее задержать.

Как злобный паук, расстилает Грибиков вокруг профессора свои сети. Высматривает и вынюхивает сперва «вполне бескорыстно», «из любви к искусству». А потом и со смыслом: помучить и отомстить профессору за свое мушиное злое ничтожество. Для Грибикова нестерпим самый факт существования столь непохожего на него и столь богатого чем-то ему неизвестным и потому уже взятого на подозрение мира.

По рассказам Б. Н. (в 1924 и 1925 гг.), Грибиков во втором томе становился председателем домового комитета в том доме, где одиноко, без семьи и близких, жил после октябрьского переворота Коробкин, в холоде, голоде и всяческом бытовом неустройстве. Вместо преследований Мандро, вынуждавшего у профессора его открытие, он попадал в лапы Грибикова, который мучил его всевозможными мелкими, но колючими гадостями. Грибиков притеснял и донимал растерявшегося профессора роем анкет, предписаний, повесток,

в котором последний беспомощно барахтался, а Грибиков плавал как рыба в воде.

Этим Б. Н. хотел во втором томе романа, в сущности, только расширить тему своего небольшого рассказа «Йог», написанного еще в 1919 году[14]. Имя же героя — «Коробкин»[15] — фигурировало еще в 1911—12 гг. в рассказах Б. Н. Вячеславу Иванову на «Башне» (так называлась тогда в литературных кругах квартира В. Иванова).

Но за время, отделившее первый том от второго, намерения Б. Н. изменились. У него вызрели новые планы и мысли, и он предполагал, оставив в стороне Грибикова, сосредоточиться главным образом на тематике войны, России, народа, Коробкина и Серафимы.

Так он и начал писать осенью 1928 года (сентябрь—октябрь). Вскоре, однако, ему пришлось оставить «Москву» и приняться за предложенную издательством «Федерация» «Диалектику ритма»[16]. Из «Москвы» он успел закончить одну лишь главу (первую).

За это короткое время произошло очень важное изменение, никак не предвиденное Б. Н. В записях его дневника 15 октября 1928 года отмечено: «...сдвиг фабулы»*.

Дело в том, что заканчивая «Москву под ударом», Б. Н. полагал, что он навсегда распрощался с Мандро, «похоронил» его, так сказать, окончательно. «Горилла (т. е. Мандро) жила трое суток еще... в тюремной больнице... вне себя, неопознанная...» — это были заключительные слова о Мандро[18], которыми он уводился со сцены с тем, чтобы больше на ней уже не появляться. Но — «вопреки воле автора», Мандро «не пожелал упраздниться» и «заявил» об этом самым решительным образом. Б. Н. был не в состоянии «угомонить притязаний» Мандро и должен был придумывать объяснение, данное в «Масках»: Мандро не умер, а выкраден из больницы своими покровителями-иезуитами.

---

*«1928 г. октября 2—31. Работа над... Москвой. Написана 1-я глава 2 ч. Октября 15... сдвиг фабулы» («Ракурс к дневнику». Рукопись хранится в ГЛМ)[17].

Этим, однако, дело не кончилось. И когда осенью 1929 года Б. Н. снова принудил* себя взяться за продолжение романа, его ожидал ряд «сюрпризов», еще раз «смешавших все карты». Война, фронт, народ и Россия оттеснились с переднего плана, стали лишь фоном картины[20]. Интрига опять сосредоточилась на Мандро, который «разрастался» неудержимо.

Кроме того, выступил еще «непрошеный» брат Никанор, о котором прежде как-то не было речи.

Точно не помню, но мне кажется, что уже в Кучине, по возвращении с Кавказа, где Б. Н. много думал над продолжением романа, он сказал мне впервые:

— А знаешь ли, к профессору приезжает брат Никанор. Он узнал о несчастье с братом и едет его навестить.

Вместе с «Никанором» потянулись и «Тителевы», как ближайшие участники в заботах о заболевшем профессоре. С другой стороны, их, вернее, Лизашу тянул за собою Мандро.

Помню, как в ту же осень, немного позднее, Б. Н. с большим огорченьем сказал мне, что от Мандро не легко теперь будет отделаться, что он «желает»: во-первых, встречи с профессором, во-вторых — с дочерью, что в этих встречах должно быть дано какое-то оправдание тому, что произошло между ними в «Москве под ударом», и что, наконец, Мандро должен быть как-то убит.

Все это намечалось лишь в общих линиях, скорее как «звук». И предстояла задача нелегкая: перевести этот «звук» в конкретные образы, облечь в плоть и кровь.

Особенно трудна и чужда была для Б. Н. тема отношений Мандро и Лизаши. Так он всегда говорил. После «Москвы под ударом» он намеренно *не хотел* ее больше трогать. Потому и поспешил поскорей «похерить» Мандро. Лизаша как тип была ему далека и неприятна. Он ее *не любил,* — «русалка!».

---

*«Мысли о символизме... грозили оттеснить „Москву"... взял себя в руки... углубился в... „Москву", увидел... написанное в прошлом году должно быть заново переработано» («Ракурс к дневнику», сентябрь—октябрь 1929)[19].

Точно так же отталкивал от себя «страшную мысль» об убийстве Мандро. Но «отвертеться теперь оказалось уже невозможно».

Все это происходило у меня на глазах.

Странная, совершенно особая жизнь заполнила наши комнаты. *Герои* романа сошли со страниц. Мы были уже не вдвоем. Никанор, профессор, Мандро, Киерко, Лизаша — двигались, говорили, выясняли свои отношения друг к другу, думали свои думы, огорчались и радовались, любили и ненавидели. Мы с Б. Н. оказались лишь «при», — мы только «присутствовали». И даже *не только* присутствовали, а сами были захвачены бурной стремниной. Мы совсем забывали, что их-то — *героев* — ведь *нет*, что *они* — только выдумка самого же Б. Н.... Какая там выдумка! Реальнее всякой реальности — не только для Б. Н., который говорил о них совсем тем же тоном и с той интонацией, как говорят о живых, действительных людях: своих знакомых, друзьях. Но и мне порою казалось, что всех их я знаю и видела в жизни. И у меня было чувство, что мы только свидетели каких-то независимо от нас происходящих событий, в которых не можем ничего изменить, — должны только смотреть, наблюдать. Других разговоров, других интересов в те дни у нас не было.

В первый момент, когда выяснился «поворот фабулы на Мандро», Б. Н. был по-настоящему огорчен, огорчен до возмущения; переживал этот «скос» как прямое насилие над собственной волей:

— Не хочу я глядеть в эту сторону... Зачем должен я разбираться в невкусице — «Лизаша-Мандро»? С чего привязались... Разве не обойдутся и без меня... *Я-то хочу* ведь писать о другом... Я чалю к иным берегам... *Мне* дела нет до их мерзи...

Потом добавлял с большой горечью:

— Вот, не знают, как пишутся вещи. Автор волит одно, а герои его с роковой неизбежностью влекут на другое. Ведь вот вижу: все идет вкривь... Ущемился профессор, оттого что раздулся Мандро. Серафима убита: будет «бледная тень на стене», потому что ведь надо же что-то сделать с Лизашей... А на всех — рук не хватит... Я и так уже болен...

И вновь бунтовал, возмущался, был действительно болен.

Переключение далось нелегко: слишком сильно звучали иные мотивы, иная тональность задуманного, — тональность, в которой широкая музыкальная тема «Слова о полку Игореве» пересекалась с Шекспиром.

Так и была первоначально написана эта «первая глава второй части», получившая позднее названье «Пробуд». Она начиналась словами: «Молкнет речь, молкнет Русь, молкнет ночь в шелестениях поля несжатого».

Все это время Б. Н. в который раз перечитывал Шекспира, особенно «Короля Лира»[21]. Говорил, что опять и «в который раз» его понял по-новому, что Шекспир — гигант, которому не перестаешь удивляться, у которого учишься мастерству драматического углубления образа. Так что впору все бросить и вплотную засесть за изучение Шекспира.

Шекспир нужен был Б. Н. для уяснения себе образа Коробкина. В Коробкине — «сумасшедший», бездомный, оставленный всеми, беспомощный внешне «старик» — король Лир — сочетается с внутренней мощью грозного законодателя — «Моисея», гениально, по постоянному отзыву Б. Н., изображенного Микельанджело[22].

О Коробкине скажу коротко, прежде чем перейти к Эдуардо Мандро, изменившему так нежелательно и неожиданно для Б. Н. стиль всей книги.

Образ Коробкина — самый близкий и дорогой для Б. Н. И — самый интимный[23]. Глубокая любовь, уважение и нежность к отцу переплетается здесь с прямыми высказываниями себя и о себе. Если в Аблеухове-сыне отразилась пламенная острота мысли молодого Б. Н., мысли, стремившейся «теоретически» разрешить и обосновать самые конкретные вопросы общественной этики и личных жизненных отношений, отразилась его бурная страсть к Л. Д. Блок (Софья Петровна)[24], то профессор Коробкин — это Б. Н. в двух последних десятилетиях его жизни. Внешний облик, манеры, характер, профессия — взяты им у отца. Это тот же профессор Летаев «Котика» и «Крещеного китайца», тот же «папочка», что и в «На рубеже двух столе-

тий». Но внутренний мир — переживания, мысли, отношение к людям, к науке, к природе — это порой почти дневниковые записи. Материал иных сценок — простой пересказ наших кучинских дней. Например, — прогулки профессора с дочерью, разговоры о шишках (елшишка, ершишка, сушишка — сухая сосновая шишка), наблюдения над муравьями, лягушками, стадом; растоптанный белый грибок; самая дачная местность с кирпичным заводом, с барским домом, белеющим на высоком речном берегу, — это Кучино. А описания некоторых домиков — фотографический снимок. Я могла бы их показать. Весь этот живой материал был введен потом в рамки сюжета.

Насколько интимно близок был Б. Н. образ Коробкина — видно из его автобиографической заметки «Почему я стал символистом...». В главке 17 (121-й лист машинописи) он пишет:

«Мне не раз говорили: „Неужели вы не могли обойтись без ужасной сцены истязания в вашем последнем романе? Она — жестока". Теперь, когда и роман позади, отвечу на эти слова *правдивым* ответом, который мне до сих пор было стыдно произнести вслух. Сцена истязаний профессора — лишь объективация в образе, вставшем передо мною, того, что сидело во мне, с чем я был соединен. Эти *истязания* во мне разыгрывались. Мне казалось в Берлине, что меня *истязают*. С переживаниями 1922 года складывались переживания вереницы лет: от детских напраслин... год тянулась, усиливаясь, меня терзающая нота. Я бегал в Цоссенских полях, переживая муки, которым не было ни образа, ни названия; а когда мука стала отделяться от меня, то образ меня самого встал передо мною. И на бумагу полились фразы: „Висел затемнелой своей головой, с запеками крови... И — мучился немо оскаленный рот. И казалось, что он перманентно давился заглотанной тряпкой — грязной и пыльной"».

Или:

«В диком безумии взгляда — безумия не было: но была — твердость: отчета потребовать, на основаньи какого закона возникла такая вертучка миров, где... глаза выжигают».

Или:

«Этот взгляд однокий... подмигивал мимоидущим: „Я знаю, — не можешь за мною идти: я иду по дороге, которой еще не ходили".

Так я переживал себя в Цоссене 1922 года, когда писал книгу стихов. И на вопрос, отчего я так жестоко обошелся с профессором, я ответил бы: „Отчего так жестоко со мной обошлась жизнь?"»[25]

Но мне думается, что и в построении самого сюжета, и в его развитии играли роль впечатления жизни, может быть, даже просто прочитанная книга, случайно увиденный рисунок или что-нибудь в этом же роде. И я не ошибусь, если скажу, что главный момент в мучениях Коробкина: Мандро *привязывает профессора к стулу*, готовясь пытать его, чтобы добиться признания, где тот спрятал свое открытие, то есть листики с вычислениями, — этот стул с привязанным к нему гениальным ученым, вспыхнул в Б. Н., вероятно, от брошюры Евг. Замятина «Роберт Майер»[26]. Отрывки из этой брошюры Б. Н. с огромным волнением мне прочитывал вслух, может быть еще в Берлине, восклицая: «Такова судьба гения!»

Привожу это место о «стуле».

Благодаря хитрым уговорам и настояниям жены, считавшей, что ее муж страдает тяжелой формой мании величия с буйными припадками, Майер оказывается в Геппингене, в *санатории и водолечебнице* для нервнобольных. Предупрежденные женой Майера врачи уговаривают его съездить в местечко Винненталь. Доктор фон Целлер, заведующий Виннентальской лечебницей, немедленно посадил его в одиночную камеру, в отделение для сумасшедших...

«Майеру все это представлялось странным недоразумением; он стал настаивать, чтобы к нему вызвали кого-нибудь<...>, кто бы мог разъяснить, что он, Майер, вовсе не сумасшедший, — ну, вот, хотя бы его жену. Но — странно — жена не приезжала <...>. Майер вызывал к себе кого-нибудь из администрации лечебницы: никто не являлся <...>. В припадке отчаяния Майер стал колотить сапогом в дверь. Для фон Целлера

этого было довольно, чтобы решить: пациент из *камеры номер такой-то* — (*номер семь:* камера Коробкина в «Масках» в *водолечебнице* Пэпэш-Довлиаша. — *К. Б.*) — буйный сумасшедший. Надеть на номер такой-то сумасшедшую рубаху и *привязать* его к „смирительному *стулу*". И номер такой-то *скрутили* и *привязали*. Неизвестно, сколько времени держали Майера в сумасшедшей рубашке на этом самом „смирительном стуле". Вероятно, долго, потому что сам он впоследствии рассказывал Дюрингу, что после этой процедуры у него жестоко болела спина и *во многих местах на теле были ссадины и раны от веревок*. Так просвещенный психиатр лечил одного из величайших ученых 19 века от его „заблуждений" и мании величия. Лечение это продолжалось целый год» (Евг. Замятин. Роберт Майер. М.; Берлин; Пг. 1922. С. 48—49).

Здесь — и выше еще — тема «мучений Коробкина» первого тома переходит в тему «лечебницы» и «психиатра» во втором томе («Маски»); выступает облик знающего, но внутренне грубого специалиста.

«Доктор фон Целлер был человек образованный, он читал статью Майера „Органическое движение в связи с обменом веществ". И потому доктор фон Целлер начал с расспросов: настаивает ли пациент на своем нелепом утверждении, что теплоту можно измерять какими-то килограммометрами? Майер, конечно, настаивал и, конечно, продолжал горячо утверждать, что именно он, Майер, открыл этот великий закон физики. Для фон Целлера это было явным доказательством, что пациент страдает манией величия и что пациент — несомненно, сумасшедший: ведь то, о чем говорит Майер, — „бессмысленно, как квадратура круга", так определил это ученый психиатр» (С. 48).

Так очерчивается будущий мучитель Коробкина, Пэпэш-Довлиаш, русским образцом для которого послужил известный в свое время в Москве психиатр Н. Н. Баженов[27].

Ряд других признаков также сближает Коробкина с Майером. В общих чертах — то же отношение семьи, жены в особенности и отчасти — сына. Посещение больного Майера кем-

то в лечебнице, его научное одиночество, его донкихотство, любовь к народным выражениям, поговоркам и шуткам, простота в обращении, непритязательность в одежде, живость движений, внезапное помолодение перед концом и, наконец, самое «выздоровление» Коробкина. Все это вызывает невольную мысль, что образ Майера как-то присутствовал в сознании Б. Н. и окрасил явление Коробкина. По прочтении брошюры Замятина общее впечатление является до странности созвучным.

В частности — о выздоровлении Коробкина.

Один психиатр (Николай Васильевич Зеленин) говорил мне, что это сразу же поразило его при чтении «Масок».

«В нашей художественной литературе есть прекрасные изображения душевных заболеваний. Но нет ни одного *выздоровления.* В этом отношении „Маски" — единственный случай. И поразительно, как художественное чутье подсказало здесь не-специалисту абсолютно правильный путь. В качестве специалиста я могу показать, что в тех редких случаях, когда нам, психиатрам, приходится наблюдать выздоровление, — оно происходит именно так. Именно так память и сознание, борясь, постепенно овладевают утраченным материалом и восстанавливают нарушенную связь временных и пространственных отношений. В своей работе о Б. Н. (художник—мыслитель—ученый) я хочу дать разбор этого процесса в терминах психиатрии». (Из письма Н. В. Зеленина ко мне[28].)

Мне остается сказать еще несколько слов о замыслах III тома «Москвы»[29]. Он начинается тем, что Коробкин, потрясенный переживаниями последних дней, — встреча с Мандро, исчезновение Киерко, разрыв с Никанором, взрыв домика, в котором они все живут, — потрясенный всем этим, Коробкин снова охвачен рецидивом болезни. В состоянии крайнего возбуждения он ускользает незаметно из дома и бродит по улицам революционной Москвы. По временам останавливается и начинает произносить речи. Его окружает толпа, вместе с которой он и движется дальше. Во время одной из таких речей, произносимой с высокого подъезда какого-то дома, он привлекает внимание группы анархистов, проезжающих мимо на

грузовике. Они «прихватывают» с собою профессора. И вот Коробкин водворяется в захваченном анархистами роскошном особняке (район Поварской) и живет там в полном неведении того, к кому он попал. Речи его на улицах продолжаются. И здесь-то случайно его узнает проходящий мимо Киерко. Заговорив с профессором, Киерко понимает, какая опасность грозит его другу от столь близкого общения с анархистами. Продолжая свою роль покровителя и охранителя Коробкина, Киерко извлекает его из «особняка» и устраивает его отъезд (с Серафимой) на Кавказ, подальше от опасных связей.

На Кавказе последствия рецидива сглаживаются, нарушенное духовное равновесие восстанавливается. Происходит ряд встреч профессора с представителями местной интеллигенции и народа. Его устраивают на жительство в Коджорах, близ Тифлиса. Там он вскоре становится центром целой группы людей, которые составляют вокруг него род коммуны. Жизнь и судьба этой коммуны на фоне истории и местного быта, в обстании высоких горных ландшафтов, в тесном общении с природой и должны были составить содержание III тома.

Оно было навеяно посещением Кавказа, на котором Б. Н. три года подряд проводил по нескольку «незабываемых» месяцев. Кавказ захватил его и поднял далекое прошлое. Вставала «старинная» тема, волновавшая его в дни молодости: организация «коллектива», связь людей, их совместная жизнь, их общее дело. Вставала опять тема «Арго» — аргонавтизм по-новому[30] — искание новых путей в страну Золотого Руна, страну новых людей, страну будущего. Все это ему хотелось облечь теперь в художественную форму, «воплотить» хотя бы на страницах романа.

Но — возвращаюсь к Мандро.

«Отхватив себе» столько места, Мандро, естественно, как бы химически изменил весь состав и даже заглавие книги. Она окрасилась иначе.

Появившийся сам в виде «маски» Друа-Домардэн заставил других также скрыть свои лица. От него пошла тема «масок», которая выяснилась вовсе не сразу и не намечалась заранее.

По крайней мере, мне не запомнилось, чтобы Б. Н. прежде о ней говорил. Он писал, никак не называя, просто продолжение: «Москва, том второй». Потом уже только заметил, что получается, в сущности, второй «Маскарад» и что герои его — только маски, — все, начиная с Мандро, — «маски чистой воды». «То есть совсем и *не* воды, *не* чистой, а...» — и, обрывая себя, Б. Н. не договаривал.

Но и Лизаша, и Киерко, и Серафима, и даже профессор — ходят друг перед другом загадками, ходят не тем, что они есть. А весь Пелль-Мелль отель, бар Пэар, домик Тителевых, салоны, квартира профессора, Тигроватко, даже лечебница, — замаскированность, инсценировка во всем.

Здесь мне необходимо сделать одно отступление.

Тема «маски» появилась в произведениях Б. Н. очень давно. Уже в «Аргонавтах», одном из его ранних отрывков в прозе, напечатанном в «Золоте в лазури» с датою «1904», действуют маски и домино[31].

В «Петербурге» эта тема еще углубляется; она становится почти стержневой[32]. Костюмированный бал, на котором являются «маски», — одна из решающих сцен этого романа[33]. Весь Николай Аполлонович — «маска». Он столько же «сенаторский сын», сколько и Красное домино, то есть что-то невскрытое, необнаруженное. Обступившие его на балу маски только подчеркивают ту же тональность некой таимой в себе «своей» жизни. «С опущенным забралом» проходит и Белое домино, уводящее с бала Софью Петровну[34]. Но не менее «маска» и Липпанченко, и безлицый «паршивенький господинчик», и живущий по подложному паспорту Дудкин, и прочие.

В те лично тяжелые и измучившие его годы сам Б. Н. одно время решил носить маску и проходил в ней несколько дней, не открывая лица. Об этом он писал в своих воспоминаниях[35].

Потребность надеть маску шла из очень большой глубины, из сложного, смутного чувства, которого тогда Б. Н. еще не умел определить. Прежде всего, ему хотелось закрыться, защитить себя от любопытных непрошеных взглядов. Маской он как бы ставил барьер между собой и окружающими, бесцеремонное

вниманье которых порой было тягостно. Б. Н. слишком был не похож на других и становился невольно предметом для их наблюдений. В спокойном состоянии он этого не замечал или шутливо отмахивался. Но когда личная жизнь обострялась и все становилось мучительным, тогда каждое прикосновение извне ранило больно; и он инстинктивно искал себе словно защиты в этом внешнем кусочке материи. С другой стороны, маска была в нем ответом на безнадежное чувство, охватившее его после неоднократных, горячих попыток найти настоящих друзей, открыть им себя и их увидеть открытыми. Когда этого не случилось и, пережив первое чувство боли, он стал размышлять о причинах, то увидел, что случай с ним «не случаен», что в нем скрыто более общее и роковое: разобщенность людей.

Б. Н. тянулся всегда к коллективу. Но коллектив не слагался. Все разбивалось о взаимное непонимание, о нежеланье увидеть друг друга, о глухоту к чужой правде. Сам он горячо и щедро раскрывался навстречу; нес другим все, что только мог; и с ужасом каждый раз убеждался, что в ответ на его горячий порыв на него опрокидывается аберрация представлений о нем, неверных и искажающих его образ. Тогда и подумалось: если так, если подлинного лица твоего все равно не увидят, если все равно исказят, истолкуют по-своему, то проще и лучше совсем скрыть лицо и ходить в откровенной личине. Впрочем, мыслей, определенных, осознанных, тогда еще не было. И «маска» была просто непосредственным жестом отчаяния и наивной попыткой сказать-таки свою, не выразимую в слове правду.

Гораздо позднее, в другой, очень тяжелый для себя период, в Берлине в 1922 году, Б. Н. начал носить очки — отчасти по предписанию врача, а отчасти из той же потребности: скрыться от взглядов людей. Он говорил, что очки вполне заменяют прежнюю маску, в них хорошо и спокойно. Надел — и возникла дистанция: «за очками» — делай что хочешь.

Выражение «сел за очки», встречающееся в «Масках», в этом смысле — автобиографично.

К тому времени Б. Н. уже более уяснил себе значение тех смутных и неотчетливых побуждений, которые когда-то заста-

вили его надеть маску. Тогда как раз он писал свои «Воспоминания о Блоке» и продумывал, в который раз, свои отношения с целым рядом людей[36].

Но только в еще более поздние годы, в 1926—31 гг., он окончательно осознал тему «маски», вскрыл ее глубокие, социально-исторические корни; расширил ее и связал с темой *личности* и *индивидуума*. Эту тему он развивал в своих лекциях и в незаконченном, большом исследовании по истории и философии культуры: «История становления самосознания»[37]. На протяжении многих страниц Б. Н. рассказывает там о первом появлении «личности» в истории, о том, как она расцветала, достигла вершин своей зрелости и как затем начала перерождаться, не желая уступить свое место пришедшему ей на смену новому организму человеческого сознания, которое Б. Н. называл «индивидуум» и в котором он видел возможности роста и развития в будущем*.

Начало «личности» — это Греция; все бывшее прежде — долично, без-лично; поворотным моментом было появление «маски» — «персоны» на сцене античной трагедии. Там она заменяет «лицо», которого в нашем, психологическом, смысле еще не было у человека. Таков первый след, начало процесса, который потом протянулся в веках и составил историю развития личного сознания человека. Постепенно со сцены «маска» — «персона» сошла в жизнь, утвердилась, окрепла там и начала свои действия: стала активным началом истории, стала «личностью».

Высшая точка расцвета ее и вместе с тем начальная точка, или рождение «индивидуума», есть 15 век, Ренессанс, эта эпоха крупнейших, ярко и разносторонне себя выражающих личностей.

Появившийся тут же «портрет», которого в собственном смысле до тех пор не знало искусство, есть художественное самосознание личности, знак того, что она себя «увидала».

---

*Передано в сжатой, конспективной форме, на память, очень большой и сложный ход мыслей. Становление индивидуума, вскрытие природы его и его отношения к личности есть, в сущности, содержание книги «История становления самосознания».

Далее наступил перелом в пути восхождения личности. В глубоких недрах истории крылся уже «индивидуум». Во всех областях жизни, искусства и знания подготовлялась возможность его проявления. Этот процесс еще не закончен. Но он развивался и рос в глубине, а на поверхности личность, гипертрофируясь, перерождалась. Из начала передового, ведущего она все больше и больше делалась тормозом, препятствием к движению вперед. Она продолжала удерживать за собой те богатства духовной и материальной культуры, которые принадлежали не ей лишь одной. Она стала собственником — капиталистом, жадно хватающим свой «капитал» и ограждающим свои узко личные интересы. С ненавистью относилась она ко всему, что только могло нарушить ее покой, отнять у нее ее собственность.

Но у истории есть своя логика. И на арену ее выдвигается новая сила, которая стала антиподом для личности, — выдвигается пролетариат. В том будущем, куда он идет, нет места для собственника в эгоистическом смысле. А таким собственником именно хочет быть личность. Новый будущий коллектив не может сложиться из собственников, желающих жить для себя; его могут образовать только люди с новым сознанием, которые преодолели в себе рамки личности и вышли из замкнутости в личном, семейном и даже народном кольце на простор горизонтов свободы и братства с тем, чтобы слить все богатства своих разнородных способностей в одном общечеловеческом деле культуры. Эти новые люди и есть «индивидуумы».

Индивидуум сам по себе уже есть *коллектив:* коллектив многих сил и способностей, живущих в одном человеке и часто ощущаемых им в себе как внутренние противоречия. Осознать в себе эти противоречия, примирить их и привести к единству самосознания, расширяющего, а не сужающего, — есть задача индивидуума, или — как называл его еще Б. Н. — «А» большого, овладевающего проявлениями своих малых a, b, c, d, — своих личных способностей и стремлений. «А» большое может строить на них различные фигуры: abcd, cabd, bcda и т. д. Другими словами: индивидуум может пользоваться своими силами, уме-

ло передвигая, располагая и «акцентируя»* их в известном порядке, по мере надобности. Индивидуум, по мысли Б. Н., есть волевой и динамический центр, который постоянно пульсирует в человеке и ритмически организует его. Индивидуум, коротко говоря, это и есть «организованный» человек, который встал над хаосом личных страстей, желаний, влечений и умеет свободно владеть всем многообразием своих устремлений.

Но нельзя смешивать понятия «индивидуум» и «индивидуалист». Они — прямо противоположны. Индивидуализм есть попытка той же все личности исказить индивидуум, подменить и представить его в ущемленном, эгоистическом виде. Индивидуалист неизбежно эгоистичен, эгоцентричен. А коллектив индивидуумов не может быть собранием эгоистов. Но он не может быть и человеческой икрой, бессознательной массой[38]. В нем лежат силы, несущие возможность для каждого к раскрытию всех его творческих сил.

Однако личность не уступает: она все еще тяготеет над нами и в нас: лицо человека еще покрыто плотно приросшею маской. Поскольку мы ходим в личностях, мы — маски, обман друг для друга. Индивидуальное, неповторимое в каждом из нас затянулось непроницаемым слоем, и мы посерели, обезличились в повседневном общении. В сущности же, не «обезличились», а, напротив, покрылись *личиной*, заслонившей *лицо*.

Но в сознании отдельных людей уже наступает момент, когда, в силу разных причин, корни которых в истории, в жизни, в коллизии личной судьбы, в них может вспыхнуть ощущение *лица* и под *личиной*. Это значит, что где-то уже появилась трещинка и *личина* начала отставать.

В своих «Масках» Б. Н. и хотел показать этот вздрог лица под личиной. С парадоксальной заостренностью подан в этом романе один из центральных моментов: снятие «маски» с Друа-Домардэна (то есть решение его участи) при помощи «маски» же — «мадам Тителевой», надетой на дочь, на Лизашу. Сцена встречи их на квартире у Тигроватко: схватка двух масок, от-

*Иногда Б. Н. говорил: «педалируя».

чаянный бой — не на жизнь, а на смерть — для Друа-Домардэна[39]. Он пойман на том, что еще в нем осталось живого, что могло еще человечески дрогнуть, сломать его «чéрчь и вы́черчь», — сломать, но тем самым и выдать его. Это «живое» в нем: дочь, которую он «оскорбил», дочь, Лизаша! И она же, одетая в маску, выносит ему приговор свой: виновен.

С каким волнением рассказал мне Б. Н. эти сцены, когда они ему самому уяснились. Перед тем он упорно и напряженно искал: «Как, как все это построится? Как и чем может быть оправдан Мандро перед Лизашей? Где отыскать и как показать в нем точку живую, чтобы автор мог за нее ухватиться»... Только так и понимал слово «авторство»: найти живое в каждом из главных героев и тем самым найти «оправдание». Не для того, чтобы «смаковать гря́зи сознания», погружался в них Б. Н. со своей неугасимой, неугасающей болью за «достоинство человека» и непоколебимой верой в это достоинство, а для того, чтобы провести эти «грязи» путем страдания, через катарсис, намеченный нам еще в греческой античной трагедии. И хотя по отыскании «точки живой» предстоял еще труд, и не малый, эмпирической разработки всех сценок в их жизненной правде, но этот «труд» был уже легче после того, как основной, моральный вопрос был разрешен.

Помню я одну нашу прогулку с Б. Н. в Кучине, ранней весной 1925 года (начало апреля)[40], — прогулку, на которой он «понял», что Лизаша не та, какою увидел сперва ее: не безнадежно испорченная. В это время, после нескольких месяцев перерыва, он только что начал писать третью главу первой части.

Было тихое, солнечное, но не слишком яркое утро. В воздухе пахло нагретой землей и прошлогодними влажными листьями. Снег только что стаял, и в лесу не успело просохнуть. Набродившись порядком, мы присели над краем оврага на ствол опрокинутой бурей березы. Б. Н. замолчал, стал рассеянным. Сидел с потухшей в руке папиросой и невидящими глазами смотрел в чащу леса. Вдруг он вскочил и бурно, с размаха ударивши палкой о землю (палка описала большую дугу), вскрикнул:

— Поймал, поймал!...И Лизаша — «хорошая»... Поймал ее в солнышке... заиграла, как... лучик. Она *по-настоящему любит* отца. Остальное — гримаса, болезнь. Теперь знаю, что с ней делать!

После этого Лизаша не стала ближе ему в своих «больных проявлениях», но он знал уже ее «лейтмотив», или «тему».

Линия «больных» изломов Лизаши — вся «мадам Тителева». И к «мадам Тителевой» присосалась, как спрут, Тигроватко, избравши ее орудием злого предательства, разорвавшего сердце Лизаши живой.

Срыв маски с Друа-Домардэна дан в двух моментах (пишу, припоминая, как рассказывал это Б. Н. и как читал в первоначальных набросках).

Сперва: в гостиной у Тигроватко, при разгляде «Лизетты», пастушки «фарфорово-розовой» с отшибленной ручкой, в которой когда-то держала она флажолет, играя свои «пасторали над бездной», в доме Мандро (в первой части). Безделушкою этой теперь пытала его Тигроватко, притворяясь «вполне простодушной»: предлагала взглянуть на изящный фарфор[41].

И — «что-то случилось с Друа-Домардэном <...> парик, борода, стекла черные, точно кордон <...> защищать стал лицо: за очки, за парик, — оно село...» (102). Личина отстала, задергалась. Дипломат искушенный был застигнут врасплох. Сидел как затравленный зверь под перекрестными хищными взглядами. Сознавал отчетливо: «Кончено все!» Пытался еще удержать за собой поле битвы.

Но пытка продолжалась. Наступала развязка (момент второй). Бесшумно раскрылась портьера, и черная змейка скользнула, привставши на тоненький кончик хвоста: мадам Тителева, «маска номер второй» — маска, потому что «лица-то ведь не было». Была лишь густая вуаль, да «бледный как мел подбородочек... с улыбкой безглазой и злой: ртом глядел, как кусая» (105).

Удар был без промаха!

Друа-Домардэн окончательно выдал себя тем, что под «маской» узнал он Лизашу и к ней рванулся, забыв обо всем. Порыв

был — мгновенье. Опомнился тотчас же. «*Вновь* построилась корреспонденция носа со щечною впадиной» (105). Все стало на место. Но в маленьком слове «вновь» показана трещина в поведении «че́рчя и вы́черчя», те две-три секунды, когда «корреспонденция»-*таки* потерялась. И за Друа-Домардэном достаточно зорко следили, чтобы этот короткий момент потерять.

А он, уже охваченный холодом знанья об ожидающей гибели, все еще бился, — в ударах «молоссов тяжелых»:

«— да́рр
— да́рр
— да́рр —
— вот что́ есть молосс!

Греки древние с ним шли: на бой» (105)*.

Бой Друа-Домардэн проиграл. Не дочь, не Лизаша — а пастушка Лизетта, фарфор лиловато-сиреневый и безлицая черная змейка с огненным крокусом в ручке, — его предала. Так предают нас поступки, наши же собственные, бросая нас в волны событий и приводя нас к тому, чего не хотели бы видеть.

Сцена с мелодекламацией в Бар-Пэаре[43] для Друа-Домардэна — уже отказ от борьбы: пусть будет, что будет... «Все к чертовой матери: все!» — раздается со сцены... Теперь все усилия воли, вся комбинация «блан-э-нуар» — только оцепенение ужаса в ожидании смерти решенной; и остается сверлящий вопрос лишь: смерти *какой* и *когда?* С этого мига Друа-Домардэна уже нет средь живых. И мадам Тигроватко с оранжевым Ранжером дико проносится в танго над пустым, гладким местом. Маска распалась. Друа-Домардэн стал Мандро. И такой — он никому больше не нужен. Остается убрать его: поскорее, без шума.

Как мучительно было Б. Н. довести до конца эту ноту (дать сцену убийства). Он заболел от Мандро. Велес-Непещевич вызывал содроганье, де-Лебрейль — отвращенье. Тигроватко скакала в глазах, будто баба-яга. Все кривилось и «рожилось». Работал совсем через силу — «со стоном» (как записал в дневнике).

---

*Б. Н. особенно выразительно читал всегда эти строчки. Видно было, что в «молоссы» он многое вкладывал[42].

«Когда же я кончу?.. Эдак можно совсем заболеть. Они меня мучают... Зачем это нужно? Кому? Ведь я так хочу писать о прекрасном, о добром, *простом.* У меня есть эти темы. *Мне* не нужны эти ужасы. Зачем же они прилипают? Откуда?.. — Не ведают люди, как пишется нечто художественное... Это мартириум...»

Было странно слушать эти слова, произносимые тоном горького негодования, протеста и ропота, и видеть, как тут же Б. Н. забирал свои рукописи и усталой походкой, согнувшись, опять шел к столу: «вгрызаться» в «отвратительный, больной и мрачный кошмар». Склонялся к бесчисленным листикам, папкам, тетрадям; шуршала бумага, скрипело перо. Комнаты наполнялись особою, острою тишиной. Часы начинали мелькать.

Но кроме всяческих «неприятных сюрпризов» (вроде «взрыва» Мандро и всего, что с ним связано) бывали порой и приятные неожиданности, — «добрые» или «занятные» появления; к сожалению, таких было мало, и они вызывали столь же неподдельную радость, как неприятные — неподдельный протест. Б. Н. встречал этих «редких гостей» своим любимым «Willkommen!» («милости просим») и с удовольствием отдавался «разгляду» их обстоятельств и дел. Таким веселым подарком предстала пред ним фигурка портного в «Москве под ударом». Б. Н. сразу же полюбил «синеглазого» горбуна*, писал его с увлечением, с большим интересом, очень легко и охотно, нисколько не утомляясь. К Вишнякову он чувствовал «откровенную» слабость и ревниво следил, чтобы и слушателям его новый друг также нравился, чтобы его замечали. Читая о Вишнякове, весь загорался и вместе с тем был насторожен: достаточно ли оценили прекрасные качества его любимца? Зачастую, видя «неинтерес», сам принимался с жаром расхваливать и выдвигать горбуна. «Вишняков, Вишняков...» — так и слышалось. Вишнякова нельзя было тронуть!

Насколько помнится, Вишняков появился в середине июля (в 1925-м)[44]. Мы жили то лето в Кучине, в мезонине с балко-

*В напечатанном тексте цвет глаз не указан. Но я помню, что Б. Н. говорил о голубых или синих глазах Вишнякова.

ном, обращенным в сторону леса. Б. Н. долго засиживался по ночам за работой и перед сном просил дать ему чаю и чего-нибудь закусить.

В ожидании, пока я приготовлю, выходил на балкон подышать, освежиться, «взять в себя» тишины и предрассветной прохлады. Поставив чайник на керосинку, я спешила к нему. Мы усаживались на верхних ступеньках деревянной крутой лесенки, сбегавшей на дворик, — в березы и сосны; или — на перилах балкона над цветником и небольшим огородом, тесно обсаженным тополями, рябиной и ясенем.

Высокие старые ели, березы и клены соседнего сада надвинулись справа мохнатой стеной; а прямо, через дорогу, за небольшой лужайкой темнела спокойная гущина соснового леса. Оттуда тянул ветерок. Было тихо кругом. На всю окрестность мы только двое не спали. Это был любимый наш час: час непередаваемого очарования летних ночей перед зарею. Кое-где еще теплились звезды; но на востоке уже начинало бледнеть. Скоро там появлялись первые отсветы перламутра. Б. Н. сидел, прислонившись к балконному столбику, чуть подняв голову и охватив руками колени. Мы молчали или переговаривались полушепотом, осторожно, чтобы не потревожить хозяев, которые помещались под нами внизу. Б. Н. очень следил за собою, чтобы «не зашуметь».

Оставляя его, я возвращалась к керосинке и чашкам. А когда все было готово, выходила опять, чтобы тихо окликнуть его.

Как-то раз на мой зов он ответил, не слушая:

— А знаешь, еще кто-то просится: стучится и беспокоится. Очень живой и осмысленный. Не разглядел только, кто... Но бурно настаивает, чтобы на него обратили внимание. Мне *он* решительно нравится...

Дальше Б. Н. не стал об этом рассказывать, ссылаясь на то, что образ *того*, кто желает вмешаться, ему «еще неотчетливо виден», и кроме того, в этом образе «есть что-то странное», чего он, Б. Н., еще не может понять.

Несколько дней после этого ходил молчаливый, рассеянный и как-то тихо взволнованный. Усиленно что-то записывал,

рисовал; по временам глубоко задумывался, лежа на сеннике на балконе, и надолго замирал, неотрывно глядя в сторону леса сквозь прорезь перил.

Мне Б. Н. все еще ничего «не показывал и не рассказывал». Даже на прогулках говорил о другом. Но видно было, что думы его устремлены все на то же, что новый «пришелец» заполняет его целиком.

Наконец появился он с листиками, очень довольный, сияющий, с легким чуть-чуть задором:

— Прочту... Вот чудеса!.. И не думал... Вылупился птенец... Да какой!.. Знаю, будешь оспаривать, — перебивал он себя (меня всегда огорчало, что у него столько уродств и уродов). — Но выслушай до конца... Сперва же взгляни — вот он какой, — и протянул мне карандашный набросок фигуры портного, взятой в разных ракурсах и положениях. Запомнился больше всего портной Вишняков, идущий по улице: спина сломана почти под прямым углом, клок бороденки задорно торчит прямо в небо, в руке палка, на которую он опирается, далеко выставляя вперед. Везде очень тщательно был вырисован горб на крестце. — Теперь слушай... — взял в руки страничку «пред-черновика», написанного также карандашом.

Лист представлял собою такое сплетение стрелок, надставок и вставок, что при одном взгляде на этот орнамент уже рябило в глазах. Разобраться в этом запутанном лабиринте было не легче, чем в черновике любой партитуры. Чтение Б. Н. действительно походило скорее на считывание нотных знаков с листа. Но он был на этот раз очень доволен и оживленно вставлял замечания:

— Ведь *хороший*! Ведь прелесть какой! Слышишь: швец очень дельный! Грибиков шипит на него, но побаивается: спуску не даст... Слышишь, *как* говорит егозе: «Посмотри, егоза, дворик воньким, а фролки цветут...»[45]

Эти «фролки» были взяты у Даля (с. 1154)[46] и давно уже записаны в «загрунтовочных рубриках» (о них — ниже). Но Б. Н. никак не мог определить для них место в романе. А между тем он находил, что это слово живей и ярче передает сущность цве-

тущего растения, чем обычное слово *цветок*; да и вся фраза «пришлась очень по сердцу» — и своей формой, и содержанием. Она была одно время у нас в постоянном ходу как излюбленный «афоризм»: «фролки» и «вонькие дворики» вплетались во все разговоры и шутки.

Б. Н. «полюбил» Вишнякова еще и за то, что на нем отдыхал, и «играл с ним» перед тем, как «окончательно кануть» в мрачные сцены «инцидента» с Мандро и мучений Коробкина.

Зная, что Б. Н. не выносит «праздных» вопросов, — а я понимала, что для него это будет именно такой праздный вопрос, — я все же как-то не удержалась и осторожно спросила:

— А зачем его все-таки нужно было сделать уродом?

Ждала, что последует взрыв. Но Б. Н. не рассердился, быстро взглянул на меня и очень серьезно, с грустью, ответил:

— Мне заповеданы иные приемы. Удел мой — гротеск. Таков весь стиль романа... А кроме того, таким он явился. Тут я ни при чем, — докончил он уже другим, шутливым и чуть-чуть вызывающим тоном.

И снова с любовью по нескольку раз перечитывал сценки с портным, внося небольшие поправки.

В эти же летние ночи, на том же балконе сложились и «огородные» песенки горбуна[47]. Их вызвали к жизни «корнеплоды и злаки», произраставшие тут же внизу, в огороде. Перегнувшись через перила, Б. Н. вглядывался в «тучные пучи» свеклы, репы, капусты и огурцов. Тусклые капли росы серебрились на тугих, круглых листьях. Казалось, под ними что-то шепчет, вздыхает, роится и тихо, но настойчиво ширится. Казалось, что в эти ночные часы открываются уху неслышные днем процессы произрастания: хлопотливая, осторожная возня всех этих корешков и корней, набирающих в себя соки.

Б. Н. занимало это «природное варево». Не поворачивая головы, он быстро шептал мне:

— Пойди, пойди сюда... Слышишь: пыхтят и стараются. Пучатся изо всех сил... Очень смешные и добродушные кругляши. Никому не делают зла.

Потом, помолчав, начинал так же тихо нашептывать строчки:

— ...Жив — землей, росой — омыт...

Но далеко не всех «просителей» Б. Н. мог удовлетворить, как «удовлетворил» Вишнякова в «Москве под ударом» или Никанора в «Масках». И, несмотря на свой интерес, сочувствие и даже симпатию к ним, принужден был «пока что» отказывать.

Так, пришлось «оставить без всяких последствий» усиленные, «ожесточенные и даже злобные толчки», в которых заявлял о себе шведский «ученейший» математик Пшордоннер. Он собирался из Христиании приехать в Москву, чтобы лично познакомиться и завести отношения с профессором Коробкиным, которым Пшордоннер был сильно заинтересован.

Пшорднер появился осенью 1925 года, и Б. Н. «обещал» его «устроить во втором томе, так как в первом теперь уже поздно и все места давно заняты»[48].

Разговоры о Пшордоннере возобновлялись несколько раз. И одно время осенью 1927 года он был предметом интересных, как сказка, рассказов за чаем и на прогулках. Он разыгрался в большую и сложную тему с далеко уходящими в глубь европейских политик корнями. Об этом «шведском профессоре», портрет которого был, конечно же, нарисован и носил черты сходства с Коробкиным, отличаясь лишь совершенно прямой вертикалью непомерно высокого лба и свирепым весьма выражением маленьких глазок, — об этом «шведском профессоре» Б. Н. говорил, что «еще неизвестно, к добру он иль к худу, но что умница, то несомненно». Пшордоннера, вместе со многим другим, «заглушило пышное разрастание Мандро».

Кроме «просителей» и тех, кто «ломились насильно», были еще темы и образы, которые оформлялись, а иногда и возникали от какой-нибудь случайной внешней причины. Таковы: Кавалькас (Карлик Яша), «малайская тема» Мандро, «черномазенький мальчик», комнатный лабиринт и «композиционное разрешение» «Москвы под ударом», а также и обстановка, костюмы и прочее в «Масках».

Эту особенность своего *авторства* Б. Н. относил к тому, что он настойчиво называл в себе «натурализмом и реализмом» (иногда прибавлял sui generis), поскольку «натура» его не выдумана из головы, и в основе образа лежит реальность — природного или культурного, бытового порядка, проведенная через сознание автора, и поданная приемом, выбор которого есть право художника, в данном случае — «Андрея Белого».

Попытаюсь хотя бы вкратце сказать, как это происходило. Буду давать только факты, только «сырье», как назвал бы это Б. Н. Но сперва приведу рассказ самого Б. Н. о том же. На него я натолкнулась совершенно случайно, уже гораздо позднее, после того, как были сделаны эти записи. Рассказ этот затерян в конце «Символизма», в многостраничном петите его «Комментариев»[49]. Б. Н. говорит там о художественном переживании, о том, как возникает «лирический пафос», как рождаются образы в художнике, и в заключение приводит рассказ о том, как «мгновенно» *была им осознана фабула давно задуманной* героической поэмы. Названия этой поэмы он не указывает. Но судя по всему, это «Дитя-Солнце»; отзыв о «вальсе» из этой поэмы есть в одном из писем Блока к Б. Н. Текст ее был потерян, если не ошибаюсь, в 1907 году[50]. Вот как звучит этот рассказ в «Символизме»:

«...всем лицам, имеющим прикосновение к творчеству, известен тот факт, что затронувшее нас художественное произведение (в положительном или отрицательном смысле) вызывает в нас творческий процесс совершенно индивидуальный, не имеющий отношения к воспринятому; скопленный запас творческих впечатлений, покоясь в глубине бессознательного, не имеет выхода; художественное произведение, пробивая наше сознание, дает выход и творческой энергии; и энергия эта рождает в нас образы, имеющие лишь косвенное отношение (а часто и никакого) к виденному или слышанному. Здесь опишу случай, бывший со мной: у меня был план большой героической поэмы, осознаваемый смутно, в неопределенных красочных и звуковых сочетаниях, возникший, как тональность, без мелодии и ритма под влиянием воспоминания об „Оссиане" Мак-

ферсона; о фабуле не было времени думать; я жил в имении, где были два пса: белый пойнтер и рыжий сеттер, враждовавшие друг с другом, причем пойнтер отличался мужеством и благородством, сеттер же был хитр и ласков; однажды после дождя я вышел на террасу: освещенный вспыхнувшим солнцем, пойнтер стоял в воинственной позе пред своим противником; это было воистину эстетическое впечатление; лучи освещали красновато-розовую шерсть сеттера и белую, гладкую шерсть пойнтера, стоявших среди сверкающих на солнце луж; мгновенно фабула моей поэмы была осознана: рыжебородый, бессмертный праотец человеческого рода хитростью украл с неба творчество жизни, чтобы из ряда человеческих поколений перекинуть мост от земли к небу; но последний человек, который должен победителем вступить на небо, оказался рожденным от смертной и одного из небожителей; вместо того, чтобы вступить в бой с ними, он повернулся на рыжебородого праотца человечества, отрекаясь от своего родства со смертными: боги отстояли небо — человеческий род был низринут. Я подробно описываю этот случай возникновения мифа под влиянием совершенно посторонних эстетических восприятий (ярко освещенных псов) как типичный случай для целого ряда *творчеств* в области *сюжета*»*.

Возвращаюсь теперь к своему рассказу.

В конце 1923 или в начале 1924 года Б. С. Земенков, поэт и художник, показывал Б. Н. свои рисунки[51]. Среди них была одна небольшая картинка в резких буро-желтых тонах. Сюжет ее мне лишь смутно запомнился: не то бульвар, не то улица, фасады скучных домов, тощие деревца с купоросно-зелеными шапками листьев, несколько мужских фигур в черном; и в левом (если не ошибаюсь) углу — уродливый карлик в кроваво-красной куртке; лицо — меловой гладкий блин, а вместо носа — треугольник черной заплаты.

Б. Н. сразу же обратил внимание на этот «гротеск»; долго молча разглядывал, то наклонялся, вблизи изучая детали, то

---

*Другой пересказ содержания этой поэмы дан Б. Н. гораздо позднее, в «Между двух революций» (С. 20—23).

отступал и, чуть сощурив глаза, внимательно глядел издали. Просмотрев остальные рисунки, опять возвратился к «гротеску»; но не высказал никаких определенных суждений, не указал, что его здесь так поразило.

Только осенью 1924 года, когда по обыкновению пришел однажды к нам на Плющиху почитать мне последние, вновь написанные сценки «Москвы» и впервые в них встретился «карлик»[52], он кратко напомнил:

— Это рисунок Б. С. Земенкова. Я его очень тогда заприметил, — и добавил, что рисунок сильно помог ему дооформить неясно еще рисовавшийся образ[53].

Вот как дан портрет этого карлика в «Московском чудаке»:

«Просто совсем отвратительный карлик: по росту — ребенок двенадцати лет; а по виду — протухший старик; эдакой гнуси не сыщешь <...>. Но она видится лишь на полотнах угрюмого Брегеля.

Карлик был с вялым морщавым лицом, точно жеванный желтый лимон, — без усов <...> со съеденной верхней губою, без носа, с заклеечкой коленкоровой, черной, на месте дыры носовой; острием треугольничка резала четко межглазье она; вовсе не было глаз: вместо них — желто-алое, гнойное, вовсе безвекое глазье, которым с циничной улыбкою карлик подмигивал. <...> уши, большие, росли — как-то врозь; был острижен он бобриком; галстух, истертый и рваный, кроваво кричал; и кровавой казалась <...> домашняя куртка, кирпичного цвета, вся в пятнах...» («Московский чудак», 71—72).

«Вполне неожиданно» появилась на свет и «малайская тема» Мандро — малайский тигр, тростники, бамбуки, статуя негра, нож с филигранною ручкой, «пестрятина перьев, пестрятина тканей... явайское что-то...» («Москва под ударом», 126—127, 136—137 и др.). Я не помню, чтобы до этого Б. Н. говорил о «малайской» тональности в Эдуарде Мандро. Этот же вечер — помню отчетливо.

Это было в июле 1925 года, на той же все даче у Левандовского[54].

Б. Н. отдыхал после обеда, лежа на разостланном на полу сеннике. Я сидела спиной к нему у стола и читала. Мне казалось, что он задремал, так было тихо.

Вдруг он порывисто приподнялся (я обернулась на шум) и тотчас же снова откинулся на подушки, как зачарованный, глядя перед собой в одну какую-то точку, — в какую, я понять не могла и молча следила за направлением его взгляда.

Прошло минут пять или шесть, — мне показалось, что долго.

Наконец срывающимся от волнения голосом он медленно выговорил:

— Нет... что... я... увидел... взгляни!.. — И протянул вперед руку.

Не отводя все еще глаз, он показывал мне на освещенный солнцем круглый бамбуковый столик, стоявший тут же, в ногах. Красноватый солнечный луч падал наискось из окна смежной комнаты и зажигал лучистые звезды на гладкой поверхности бамбука. Она струилась расплавленным золотом, переливаясь вспышками странных, «павлиньих» узоров.

— Нет... погляди сюда... Это же целая тема: это — малайская комната в доме Мандро... Он — тигр, залегающий в тростниках...

И Б. Н. снова откинулся, замолчал. Опять стало тихо. Красноватые пятна, косо скользнувши со столика, легкими вздрогами поднимались уже на дощатой стене. Сужаясь, вытягиваясь, они багровели, потом тускнели и скоро угасли совсем. В комнате все посерело: сгустились сумерки. А мы также еще оставались по-прежнему: Б. Н. — на сеннике, закинув за голову руки; я — у стола. Не хотелось двигаться с места, нарушать тишину. Я знала, что Б. Н. «додумывает», и важно теперь не спугнуть этих дум: в них оформляется ряд будущих сценок.

Но вот он тихо поднялся.

— Что же, идем погулять! Уже время...

Мы оделись и вышли в золотой, догорающий вечер.

Кровавое пятно на площадке перед дверью квартиры Мандро, а с ним и вся тема хмурого «итальянского» (так называл

его Б. Н.) мальчика, о котором толковали слуги в доме Мандро, что: «не нашинский», который приснился Лизаше (подал ей ножик: «Этим ножом его ты...») и которого встретил на пустынном московском бульваре убежавший из дома Мандро[55], — все это пошло от реального пятна крови.

Это пятно Б. Н. видел в Берлине летом 1923 года, в обстановке, напоминающей своей тональностью то, что он описал на соответственных страницах романа. Внутренно — это тональность неблагополучия и скрытого злодеянья; внешне — тоже площадка на устланной ковром лестнице, и на площадке у самых тяжелых, массивных дверей, ведущих в квартиру, — буро-коричневое, довольно большое пятно свежезапекшейся крови.

В это время, вернувшись из Гарцбурга, Б. Н. жил две-три недели в «подозрительном», по его словам, пансионе у Anhalter Bahnhof, в одной из боковых улиц, налево[56]. С балкона комнаты Б. Н. в душные, летние вечера мы часто слушали грохот подъезжающего поезда, свистки паровозов и подолгу смотрели на стеклянные крыши вокзальных перронов, на которых «злою угрозой» ярко пылал отблеск заката. Б. Н. томился в Берлине и мечтал о Москве. Все здесь казалось ему «угрожающим». «Злою угрозой» веяла вся эта местность, неожиданно для Берлина пустынная. Она вызывала в памяти Петербург Достоевского в дни убийства Настасьи Филипповны[57]. На улице попадались навстречу лишь разного рода потертые личности, «субъекты, вид которых сам по себе не внушал никакого доверия».

Не внушал никакого доверия Б. Н. и его пансион, ничуть не похожий на добродушные и добропорядочные, а иногда даже просто уютные, берлинские Familienheim'ы.* Против дверей его комнаты, которая выходила в темный узенький коридорчик, зиял широкий проход в огромную, мрачную, почти без мебели комнату, с окном из цветных готических стекол, с массивным столом посредине, с безвкусно роскошною люстрой и с цельной зеркальной стеной. Из этой стены всегда возникало навстречу собственное твое отражение, вызывая вздрог своим неожидан-

---

*пансионы (*нем.*). — *Ред.*

ным появлением из неопределенных мутно-серых туманностей слабо освещенного зеркала. За этой комнатой, по виду — столовой (но — для кого?), шли угловатые, гулкие коридоры; их приходилось пересекать каждый раз в бесплодных поисках недостижимой звонками прислуги. Все эти жуткие, необъяснимо-пустые пространства, без единой встречной души, хотя с двух сторон из-за плотно закрытых дверей доносились голоса, шорохи, смех, — все это, действительно, напоминало, скорее, недобрый притон.

Б. Н. оставался здесь против воли, лишь потому, что больше некуда было деваться (найти комнату русскому в Берлине в то время было почти невозможно — невалютность, советский паспорт). Комната для меня отыскалась на другом конце города, но я, разумеется, ежедневно навещала Б. Н.

Он встречал меня возгласом:

— Куда я попал! Все в высшей степени неблагополучно... — И, непроизвольно понижая голос до шепота, рассказывал о подозрительном поведении «мегеры» — хозяйки с помятым лицом и ее молодого, очень смазливого компаньона, в модных галстуках и шелковых пестрых носках. Никого из них я ни разу не видела.

Б. Н. жаловался, что ночами не спит: с 11 часов квартира наполняется странной жизнью; хлопают двери, что-то выносят и вносят, слышатся «тихие стуки», вскрики, шорохи, плач; кто-то куда-то бежит.

— Пахнет грабежом и насилием, — добавлял с отвращением Б. Н., — и к тому же квартира не имеет конца.

— Как не имеет конца?

— Так, не имеет. Я однажды нарочно исследовал. Если пойдешь по коридору, то в конце концов достигаешь до маленькой занавешенной двери. Раздвинув портьеру, без всякого перехода вступаешь в лабиринт новых коридоров и комнат... Конца не предвидится... Не выдержав бреда, я повернул... Ко всему еще из боковых каких-то щелей на меня стали с удивлением выглядывать молчаливые, неприятные лица... Бррр!.. — и Б. Н. вздрагивал.

Нужно сказать, что я уже знала о существовании этой маленькой «занавешенной» двери, превращавшей квартиру в ряд неизвестных квартир. На эту дверь я натолкнулась случайно в поисках за водой и посудой для чая (прислуга упорно не появлялась ни на какие звонки). Я также тогда повернула обратно после того, как в одной из комнат, расположенных уже *за дверью*, увидела двух растрепанных, одетых во что-то темное женщин. Они мрачно взглянули на меня и оборвали при моем появлении свой разговор. Не желая тревожить Б. Н., я умолчала о своем неприятном открытии. Обстановка была, действительно, не из веселых. И даже днем в ней делалось не по себе.

Однажды я зашла к Б. Н., чтобы вместе куда-то отправиться. Застала его в полном смятении. Он только что обнаружил на площадке, у самых дверей пансиона (2-й или 3-й этаж, теперь точно не помню), пятно запекшейся крови. Спросить, откуда оно, он ни у кого не решился; и торопил меня поскорей, поскорей уходить. Пересекая площадку, он с ужасом отвернулся и порывисто бросился вниз по ступеням.

После этого начал решительно искать себе новый приют, хотя Т. Г. Трапезников, бывший в то время в Берлине[58], очень стыдил его:

— Бросьте, Б. Н... Что вы, барышня, что ли! Нельзя же так нервничать...

Но уговоры не действовали.

— Хорошо ему, сидя на Kleiststrasse, так рассуждать. Пожил бы в трущобе! Всегда на мои нервы все валится: Б. Н. де нервный! *Преувеличивает*... Не *преувеличиваю*! А только вижу то, чего многие другие не видят.

И продолжал свои поиски более сносного помещения.

«Двусмысленная атмосфера преступного пансиона» у Anhalter Bahnhof произвела неизгладимое впечатление. И теперь, через два года, отразилась в развитии темы Мандро и Коробкина, — в переживаниях Мандро перед зеркалом («Москва под ударом», 156—157), в галопаде с Лизашей «сквозь века, через тысячи комнат» («Москва под ударом», 128), в «про-

долбинах» страшных «пещерных ходов, по которым гориллы лишь бегали», в бреде профессора о том, что «стены квартиры... в трещинах-с, в трещинах-с! Выйдешь в столовую, а попадешь из нее — неизвестно куда, потому что квартиры... соединились в сплошной лабиринт... и люди, свои перепутав дома, натыкаются в собственных комнатах на неизвестные комнаты», где уже «обнажились пустыши гулких квартирных сплетений, где — комнаты, комнаты, комнаты, комнаты, где ты — бежишь — бежишь: нет — никого: гулок шаг; бесконечность несется навстречу, из трещины черной, и сзади — она ж догоняет, из трещины — в трещину; лезет — навстречу, как мамонт; и вориком пойманным из-за шкафов ухо выставит.

— Кто вы?

— Да так себе я!

— Как вы здесь очутились?

— Не знаю и сам!..

— Мы, успокойтесь, — из трещины *горизонтальной*. А что, если вылезут из *вертикальной*: из центра подземного» («Москва под ударом», 215—216).

Это писалось в Кучине, в 1925 году. Но когда Б. Н. прочитывал вслух эти сценки, то казалось, что мы снова в Берлине, в обстановке зловещих окрестностей Anhalter Bahnhof, что за окнами догорает берлинский закат, а за дверью тянется гулкая сеть коридоров. Так странно и живо перенеслась на страницы романа душная и насыщенная скрытой преступностью атмосфера берлинского Heim'a.

Мы об этом не говорили. Это подразумевалось как бы без слов. Память еще слишком близко хранила берлинские невеселые дни. Не хотелось их трогать. И лишь однажды Б. Н. вскользь напомнил мне о «пятне» перед дверью и сказал, что отсюда возник в нем лейтмотив «итальянского» мальчика.

Приближался срок подачи «Москвы под ударом». Подготовительный материал «вышел из всех берегов» и давно уже не вмещался в портфелях*. Бумажный поток со столов переки-

---

*Портфелями Б. Н. называл папки с негнущимися, твердыми крышками.

нулся к стульям, хлынул на окна, достиг до постелей. Повсюду высились груды заботливо разобранных и рассортированных по отделам листов: черновики 4-й главки, 9-й, 11-й и т. д., отработанные, полуотработанные, предчерновики, предварительные «наметки», сделанные то карандашом, то чернилами, наконец — «вспомогательные» рисунки. Чтобы лучше уяснить себе облик «героев», Б. Н. делал их зарисовки. Такие наброски сохранились и у меня, и в рукописях, сданных в Центральный музей[59]. Все вместе это являло вид хаоса, в котором оставалось лишь без борьбы утонуть. Но Б. Н. называл этот хаос своим «рабочим порядком», когда «войска стоят в боевой готовности». Он прекрасно ориентировался в «организованном контрапункте» папок, знал, что куда положить, откуда что вынуть, и легко разбирал свою многоголосую бумажную фугу.

Работа шла лихорадочным темпом. Сидел, не разгибаясь, целые дни и отрывался лишь для вечерних прогулок. Число заготовленных и вчерне почти отделанных сценок быстро росло. Он торопился: «Пора и кончать!» Но все не мог остановиться, «детализируя» чудовищный образ «старчищи» и картины мучений Коробкина в «лапах гориллы». Переживал их в себе, как настоящую пытку. Писал, стиснув зубы, сквозь боль; но, как завороженный, не в силах был отвести глаз от «разъявшейся бездны сумасшедшей жестокости», перед которой жестокость зверя — ничто, лепет невинный, младенческий.

— Зверь обдерет и оставит... А здесь... — Он содрогался.

Но, содрогаясь и протестуя, сам в то же время — не понимаю, как могло это в нем совмещаться! — он с выдержкой вивисектора безжалостно, четко и трезво «разглядывал» и, как анатом или хирург, вскрывал пласт за пластом зловещую опухоль.

Листы покрывались детальнейшим описаньем мельчайших, чисто анатомических подробностей страшных действий Мандро над Коробкиным. И когда начинал он читать, то от этих подробностей стыла кровь, хотелось кричать, — перекричать стон

Коробкина, безумные завывания и взвизги Мандро; заткнув уши, хотелось бежать без оглядки.

— Нет, ты дослушай... — настаивал он, — нужно же мне доглядеть...

До-глядеть, до-увидеть, все до конца, до последней черты: перенести на себе «непереносимое», чтобы творческой волей сковать тот «трамплин», тот железный упор, который необходим для полной силы удара. Не крик, не истерика, а итог вычислений художника — «вычислений особого рода».

В окончательный текст вошло не более половины всех этих мучительных заготовок. Но таков был метод Б. Н.: в черновиках давать «щедрой рукой» исчерпывающий максимум, чтобы потом немилосердно «отжать» и «подвычеркнуть».

— Только так достигается концентрация текста. Сразу в меру никогда не напишешь. Две трети обречены тут же на вылет. Хлебом меня не корми — а дай почеркать...

Сколько раз слышала я эти слова. Они и теперь еще звучат мне так ясно.

Помню, что в «Масках» речь Коробкина перед экспертами в лечебнице занимала в черновом виде несколько больших листов и сама по себе звучала прекрасно; но для романа она была заведомо слишком серьезна, слишком научна. Заготовляя ее, Б. Н. говорил, что в таком виде она нужна ему «для разгона», что, лишь отправляясь от «полного голоса» профессора, он может дать художественно допустимый «ракурс».

Но там это было в плане работы.

Теперь же «детали» становились прямою помехой. Они утомляли Б. Н.; перегружали внимание и мешали сосредоточиться на неотложном.

Несколько дней уже он находился в тревожном недоумении: столько сделано, а главного нет, — нет композиционного разрешения для всей второй части.

— Без проку дальше множить штрихи... Я ослеп от них... Не вижу, не нахожу... Нет центрального тона, «*Москва*» не будет окончена! Что толку, что много, — огорченно сердился в ответ на попытки мои его успокоить. — Много... А самого нужного

нет... Все только россыпи... Не смыкается! Падает, как по швам, потому что нечем скрепить... А я, как нарочно, впал в бездарь... Этак месяцы могут пройти...

Он раздраженно сдвигал раскрытые папки и, нахмурившись, уходил на постель.

Видно было, как он томился: лежал неподвижно часами, закинув руки за голову. Или вдруг молча вскакивал, надевал быстро шляпу, брал палку и отправлялся один побродить на свою любимую просеку, в соседний лесок.

Эта прямая, широкая просека начиналась сейчас же за дачей и переходила в конце в веселую заросль молоденьких сосен и елочек, а еще дальше спускалась пологим откосом на уютный лужок с изумрудной травой и молодыми березами, который мы называли «из „Царской невесты"»[60]. Это было его любимое место в течение всех шести лет нашей кучинской жизни. Там постоянно продумывал он и «вынашивал» свои мысли; там же делал лучшие «наборы» земляничных, осиновых и других листьев; там любил отдыхать, лежа на пледе в тени под высокой сосной иль березой, изучая «попутно» игру светотени, плескание в ветре древесных ветвей, бег облаков, копошение всяких жуков и букашек и деловитую хлопотню «трудолюбивейшей пчелки». Все вызывало живой интерес, все подвергалось «разгляду». Иногда же сюда приносил он с собою работу; устраивался, скрестив ноги, на пледе, положив на колени в виде подставки «портфель» или доску, на которой особого рода «защипками» укреплялась бумага, «чтобы ветер не сдул!». Но на природе, «под небушком» работа не клеилась. Слишком много жизни было кругом. Вскоре он уже вскакивал, отбрасывал доску, папку и спешил «проследить», куда прыгнула «золотохвостая» белочка и отчего это фыркает там и роет лапами землю «взволнованный пес», увязавшийся с нами непрошено с дачи: «Верно, напал на ежа!»

Удостоверившись, что предметом волнения пса был не еж, а лягушка, он приседал перед лягушкою и разглядывал ее, громко оповещая меня издали о своих наблюдениях до тех пор, пока лягушка не скрывалась в траве; тогда он возвращался на плед

с целой коллекцией по дороге захваченных шишек и принимался весело «рассказывать и показывать» мне, какая из них «елшишка», какая — «ершишка», какая же — просто «сушишка», то есть — сухая сосновая шишка.

Незабываемые, легкие, золотые часы!

В один солнечный ветреный день — ветер не раздражал Б. Н., а лишь «весело взбадривал», и он любил кипучие «дни большого (летнего) ветра», когда все вперегонку летит и шумит и, размахавшися, плещется в радостном смехе, когда и в самом тебе силы кипят с удесятеренною живостью, а энергии и предприимчивости «хоть отбавляй», — в один такой день он надолго исчез.

С балкона я видела, как мелькали вдали сквозь деревья его белая шляпа и чесучевая рубашка без пояса. Он выходил на опушку, останавливался и, подняв голову, следил за быстро несущимися крепкими облачками на ярко-синем «васильевском» (от: «василек») небе. Постояв, поворачивался и опять шел в глубь просеки; по временам наклонялся, что-то искал, поднимал и разглядывал. И, наконец, совсем скрылся из глаз.

Я уже начала волноваться, где он пропал и почему не приходит к обеду, когда услышала на лестнице знакомые, легкие шаги, чуть ускоренные. Подойдя быстро к столу, он положил передо мною маленький осиновый листик. До «земляники», которая так увлекла нас впоследствии, мы еще не дошли; но на «осину» уже обратили внимание. Этот же листик имел совсем особенный вид: одна половина его горела, как рубинно-багряное зарево где-то далеко пылавших пожаров, — то, что больше передает немецкое слово — glühend*; другая — резкий, наискось смело прочерченный, точно чернейшею тушью, рисунок, как бы контур тоже далеких и странных ландшафтов. Казалось, перед тобою не листик, а огромное полотно, с мрачной силою передающее трагизм большого события. Вставали в памяти Грюневальд, Лука Кранах, Рембрандт[61].

— Вот, нашел-таки то, что нужно. В таких тонах будет дано окончание «Москвы под ударом»[62]. Теперь все сомкнулось. Есть

---

*пылающее (*нем.*). — *Ред.*

спайка. Больше нечего думать. Остается писать, как с готовой модели.

Голос звучал успокоенно: в нем слышалась уверенность, сила: отпали сомнения стольких мучительных дней. Б. Н. взял в руки листик, приблизил к глазам, потом положил его снова на стол, присел сбоку и, наклонившись, задумался, продолжая внимательно вглядываться в переливы пурпурных и бархатно-черных тонов, чуть продернутых золотом, как только что взятый из печки тлеющий, злой уголек.

Вот «импрессия» этого листика в передаче Б. Н.: «О, как странно! <...> казалось, что кто-то набросил на желтый, густой, чуть оранжевый фон сети пятен и желтых, и брысых, и черных, смешавшихся в желто-коричневый, просто коричневый, темнокоричневый, черно-коричневый цвет; эти пятна... странно жарели сквозь них выступающей, темной багровостью: точно на тухнущий жар набросали потухнувший пепел; и пепел — окрашивал.

Только в одном не коричневом месте сквозь смерок выступил темно-багровый предмет; и он жег, как жегл...» («Москва под ударом», 215).

Я сберегла этот листик, и позднее Б. Н. подарил его Р. В. Иванову (по просьбе последнего)[63].

Осиновый листик, принесший с собой «композиционное разрешение» «Москвы под ударом», нашелся случайно. Но он дал толчок в дальнейшем к совсем уже не случайному «использованию моделей» при разрисовке и раскраске словесного текста в «Масках».

«Моделями», или «натурой», Б. Н. называл в данном случае свои альбомы засушенных осенних листьев и коробки с морскими камешками, также «градационно» и «интонационно» разложенными.

Собиранием и *изучением* листиков Б. Н. начал усиленно заниматься с осени 1925 года[64]. Засушивал их, подбирал по тонам, по породам, по форме.

А на камешки натолкнулся впервые в 1924 году в Коктебеле, о чем я рассказывала уже в самом начале этой главы. Вто-

ричное увлечение ими он пережил в Цихис-Дзири, в 1927 году, во время своей первой кавказской поездки.

С этих «моделей» он «списывал»: то есть переносил, облекая в слова, взятые с листьев и камешков краски на одежду, особенно на женские платья, и на обстановку: ковры, драпировки, обои, мебель, посуду.

— Общий тон я, разумеется, вижу, — говорил он при этом. — Но как и куда это все разбросать, подскажет мне листик. Почем знаю я, какие там дамские шарфы, десс, тряпочки разные... И на какой скатерти какая должна быть поставлена пепельница, лампа или ваза. Не портниха я и не драпировщик... Мне нужно лишь, чтобы тона сцепилися в целое... И вот: беру камешек. И спокоен: проврաться нельзя. Природа не даст безвкусного сочетания. Пиши, хоть закрывши глаза!.. Почему неведомо это дамам — одеваться осмысленно. Вместо пошлых журналов и модных фасонов подбери из-под ног первый попавший листашку... Будет оригинально, красиво. А уж за вкус я ручаюсь...

В ответ на один такой возглас я, наконец, заступилась за «дам» — платье «по листику» или «по камешку» будет недешево стоить. Б. Н. удивился, слушал рассеянно. Спорить не стал, но явно мне не поверил, выражая всем видом: «Предрассудки сознания!..».

Привожу здесь несколько цветовых сочетаний из «Масок», взятых Б. Н. прямо «с натуры».

Приготовляясь писать, уже взяв карандаш и бумагу, он раскладывал перед собой на столе большой альбом, сшитый из листов глянцевитой бумаги — темно-лиловой, темно-красной, темно-синей и черной. Эти листы были «фоны». От выбора «фонов» зависело многое. На удачном «фоне» даже «так себе» листик горел, словно сотканный из световых переливов. На неудачном — даже «красавцы» превращались в «дрянцо». В заботе о «фонах», в умении их подобрать, положить каждый листик на лучший, ему отвечающий «фон» сказывалась постоянная мысль Б. Н. о значении «целого», о значении композиционного момента в искусстве. «В искусстве, но тем самым — и в жизни», — договаривал он неизменно, подчеркивая всей интонацией, что для него обе области принципиально неразделимы.

«Сочетай неудачно, поставь на недолжное место хоть перлы созданья, и ты убьешь их, загубишь... Напротив — из грязных, протрепанных „оборванцев", из этих никчемных, полуподгнивших осиновых листьев я беру и делаю: переднюю мадам Тигроватко. Они — на месте. Они дают то цветовое пятно, которое нужно мне здесь, как вводящий аккорд в тему гостиной, где сейчас произойдет нечто важное. Без „оборванцев" долго ломал бы я голову. На них же прямо *увидел* и взял...»

И Б. Н. перелистывал свои *альбомы.*

Там, на «фонах» чаще всего черных и черно-синих, в гармонических, но почти всегда асимметричных узорах были нашиты или наклеены осиновые листья. Для земляничных «фоны» были другие — лимонные, палевые, бирюзовые, голубые и белые; бумага не глянцевитая, а папиросная или обыкновенная писчая (большие листы). На таких же белых листах помещались боярышник, вишня, клен, виноград.

Пересмотревши страницы, Б. Н. останавливался на той, которая наиболее отвечала его намерениям в настоящий момент. И начинал быстро записывать то, что непосредственно *видел* перед собой. Он называл это: «набирать себе красок на палитру»; после чего принимался «добытыми кладами» пестрить и расцвечивать стены, материю, мебель, посуду.

Вот — передняя и коридор в квартире мадам Тигроватко — страница из альбома осиновых листьев:

«...желтые стены; и — крап: черный, серый, зеленый; зеленая мебель; портьера желтеющая с теми же пятнами: черными, серыми, серо-зелеными; ... коридорик, с обоями, напоминающими цветом шкуру бо: густо-черные пятна на бронзовом, темном...» (94).

Вот — гостиная (еще страница из того же альбома): «Древнее выцветом, серо-прожухлое золото: цвет — леопардовый, съеденный мертвыми пятнами, точно покрытый дымящимся еле износом, как бы вызывающим вздрог...

Драпри, абажуры — под цвет леопарда, пестримого дикими пятнами, как полувскриками, тихо душимыми; фон — желто-пепельный: весь в бурых пятнах...» (95).

Вот — диванная, где ожидала Лизаша, пока позовут ее для уличения Друа-Домардэна (тот же альбом):

«...гранаты, пестримые смурыми мушками, — стены; портьеры, как гарь от ковров: желто-пепельных, бархатных, точно курящихся дымом: и — скатерть; и вазы оранжевой высверк» (96); и «шторы — коричнево-черную гарь» (103) и «два кресла гранатовые, как огонь, распылались на бледно-зелено-желтые тускли, пятни́мые еле...» (103).

И, наконец, — тоже осиновый листик — платье мадам Тигроватко «из мурока, очень порочного, в серой иллюзии пятен, подернутых розовым отсветом» (95).

Б. Н. очень ценил в себе этот «натурализм», называл его «методом Гете»[65]. Мне не раз пришлось слышать, как после чтения отрывков из «Масок» в ответ на чье-нибудь восхищенное замечание: «Какая у вас богатая фантазия, Б. Н., как вы это ярко увидели», он горячо возражал: «При чем тут фантазия! Наткнулся под старость лет на место грибное... В годах еще должен учиться. Если бы кто-нибудь захотел, как я, посмотреть на богатства, бросаемые нам под ноги каждую осень щедрой природой, он мог бы проверить меня, точность моих зарисовок. Я только рабски копирую. Например, этот вот *съеденный мертвыми пятнами* цвет, *дымящийся еле износом*, — есть лишь буквальная передача «натуры» глазных впечатлений. Что вижу, о том и пишу. Подмечаю же то, что всемерно доступно для каждого. Не во-*ображение*, а *со-ображение*. Не фантазия, а *наблюдательность* и внимание — Aufmerksamkeit».

Всемерно и Aufmerksamkeit (любимое слово) Б. Н. произносил с одинаковым, очень сильным ударением на слоге «mer», выделяя очень открытое широкое «э» (вместо е) и упорно пренебрегая всеми поправками на ударение в слове Aufmerksamkeit.

Зато в другом, тоже излюбленном и часто употреблявшемся слове Naturwissenschaft* Б. Н. поименно и так же упорно подчеркивал голосом последний слог — «schaft». Его немецкий

---

*естественные науки (*нем.*). — *Ред.*

язык был вообще весьма живописен. Ударения, грамматика, синтаксис — все звучало в полной свободе, ad libitum*.

Иногда вместо листика Б. Н. брал для «модели» отдельный камешек или целый набор, то есть коробку «интонационно» отобранных и уложенных «градаций». Верхний слой в них составлялся из «уникумов», нижние же слои — из «фоновых» камешков. Уникумы — это был целый разряд камешков, особо выделенных и отмеченных Б. Н. за те или иные «индивидуальные» качества. Свои «уникумы» он знал наперечет и высоко их ценил. «Фоновые» — это были камешки, сами по себе ничем не замечательные, но дававшие в общем необходимую гамму оттенков.

Эти тщательно продуманные и «выношенные отстои» укладывались чаще всего в продолговатых синих коробках от папирос «*Таис*»: «Очень удобный формат», — как находил Б. Н.

При показывании коллекций существовал негласно ряд строгих правил, и прежде всего, не позволялось «давать волю рукам», то есть перебирать и трогать камешки пальцами. «Варварство! Ведь не колупаем же мы красок в картине...» — мотивировал свое требование Б. Н. Но бывали нередкие случаи, когда не подозревающий об этих строгих правилах гость, чаще всего человек, не слишком близкий Б. Н., вел себя «недостойно» и смело «выгребал» из коробки приглянувшийся ему камешек, отчего все остальные тотчас же рассыпались, сдвигались с мест и «композиция нарушалась».

Интересно было при этом наблюдать лицо Б. Н. На нем проходила вся гамма чувств — от неподдельного ужаса до грозного негодования. Едва сдерживая себя, он потихоньку отодвигал «Таис» подальше от предприимчивых пальцев любителя; незаметно, будто рассеянно, закрывал крышку коробки и обыкновенно на этом прекращал свой показ, ссылаясь на то, что «утомил» и что «дальше уже неинтересно».

Вот снятый с «модели» одного из цихис-дзирских «уникумов» чайный сервиз Тигроватко: «севрский фарфор, леопар-

---

*по желанию (*лат.*). — *Ред.*

довых колеров, — с пепельно-серыми беднями, с золотоватыми блеснями». И другой «уникум» — чайная чашечка: «пепельно-серые, красные пятна» (101).

С наборов отдельных коробочек списаны: «салон» Ташесю: «Мебель — сине-зеленая: оранжеваты — фарфоры; и бирюзоваты едва абажуры... и дымчатый, горный хрусталь» (71), «подносики с чашками бирюзоватыми» (72); платье одной из дам в этом салоне: «зыбь... шелка зеленого... серое кружево» (71); и другой дамы: «кремовый фон; в нем — пляс палевых пятен, прохваченный дикою сизью» (72).

В Баре-Пэаре у дамы «десс — цвет шампанского, с искрой» (109) и шарф мадемуазель Долобобко в Пелль-Мелль отеле — «медоносного цвета» (160).

Все это и еще многое, о чем уже не упомню, — все это отдельные камешки или наборы их. Но особенно дорог был Б. Н. «уникум» с цихис-дзирского пляжа, — камешек, по которому он писал халат Коробкина в «Масках». С того самого «счастливого дня», как «выудил его со дна моря», дрожал над ним, любовался переливами красок и хранил «пуще зеницы ока». При отправке посылкой в Москву коллекций камней из Батума* этот «уникум», в числе немногих других, был отложен отдельно и проехал с нами весь путь до Кучина в наших ручных чемоданах, не сдававшихся в багаж. Сопровождал нас в Тифлис, потом по Военно-Грузинской дороге и по Волге.

Б. Н. еще точно не знал, для чего ему понадобится этот «камнюшка». Но знал твердо одно: он таит в себе «нечто значительное».

Вот как окрасился от этого «уникума» халат профессора: «фон — голубо-серый, с оранжево-карею, с кубовою игрой пятен» (60), «где разбросалося по голубому, пожухлому полю столпление пятен — оранжевых, кубовых, вишневых и терракотовых; пятна, схватясь, уходили в налет бело-серый: в износ» (62).

---

*Как удивлялись на почте чиновники, как недоверчиво раскрывали десятки папиросных коробочек, ища «контрабанды».

Как живо помню теперь еще все эти «уникумы»! И дымчато-золотистый, плоский, неправильный, но изящный по форме и окраске камешек — сервиз мадам Тигроватко. И продолговатый, с горбинкой, овально скошенный на одном конце, с бледно-красными брызгами по голубоватому фону, выступившими точно капли крови от укола иглой, — это чайная чашечка. И «халат» — довольно большой, с мягко очерченным боковым утолщением камень, покрытый сказочно-нежным и чистым по тону «столплением пятен оранжевых, кубовых», уходящих на более тонком конце «в налет бело-серый», покрывший собой всю обратную сторону; там по краям лишь едва проступали слабые отсветы тех же тонов.

Все они — вот! Перед глазами. Будто вчера только видела их. Сколько над ними сидели, вели разговоры, сколько раз перекладывали. Как любовались и «холили». С какой любовью хранили их и берегли. И все они — вместе с другими — потеряны.

При ликвидации Кучина весною 1931 года одна знакомая отвезла их к себе на квартиру, в Москву[66]. А там, в ее отсутствие... не доглядели... И дети, играя, рассыпали все.

Нужно сказать, что свои красочные «макеты» (для «Масок») Б. Н. выбирал не из коктебельских («слишком отшлифованы и зализаны, хотя в своем роде и замечательны...»), а именно из цихис-дзирских коллекций. Последние он предпочитал за «изощренное» благородство «утнченных» матовых колоритов. Рядом с «серебристой воздушной пастелью» цихис-дзирских «градаций» коктебельские «образцы» казались тяжелой олеографией со слишком большим количеством масла. Разумею при этом не «фермампиксы» и не «прозрачные». Но они совсем не подходили для целей Б. Н. Он не отрицал красоты коктебельских камешков, но, в среднем, относил их к тому, что называл в искусстве он «reizend» — прелестное, милое. А цихис-дзирские воспринимал в стиле «hoch» или «erhaben» — возвышенно-строгое.

Наконец, был еще один род «натуры», которою Б. Н. пользовался для «раскраски» комнаты профессора в домике Тителевых: это были уже не листья, не камешки, а куски пестрых тканей, которыми в Кучине были покрыты подушки, постели и

чемоданы. Одна из этих покрышек у меня сохранилась. Другие тогда еще выгорели и потеряли свой вид. В своем описании комнаты Коробкина Б. Н. перемешал все эти куски и добавил еще от себя, так что теперь уже трудно наметить каждый отдельный рисунок. Но общий тон их передан с большой точностью.

Вот эта комната: «линии сине-малиновых ситчиков» (330). «В алых лапах, в лимонных квадратах, усыпанных белой ромашкою, кубовый, темный диван; и такая же ало-лимонная радость на кубовом ситчике кресел, как бы растворяемых в кубово-черных обоях», в которых «едва выступают павлиньи, златисто-вишневые, с искрою, перья далеких кометных хвостов.

Пестроперою тканью покрыта постель; и горит, как фонарики яркие, многоочитая, чистая ткань занавесочек» (326—327).

Как «импрессия», помнится, сюда же вошли еще и «отстои» вишневых и виноградных «уловов». При увядании они на миг разгорались и вспыхивали лучистой прозрачностью радужных «светов». Особенно недолговечны были «ликующе лучезарные» вишневые листья. Легкое, как заря, просияние их, переливавшее из золотисто-розового в пурпурно-лиловое, держалось дня 3—4, не больше; и потом как-то сразу вдруг меркло, переходя в неприятную коричнево-свинцовую «бурь». Оставалось скорее их выбросить, чтобы не видеть «трупных струпьев» их мертвенного разложения, слишком быстро сменившего «ликование радужной песни».

Альбомы осиновых листьев по окончании «Масок» были заложены на дальнюю полку. Перед отъездом из Кучина в Детское весной 1931 года Б. Н. занялся пересмотром своих «инвентарей». Появились на свет и «альбомы». Но, раскрыв их, вместо прежней экспрессии красок мы увидели лишь «убийственно» тусклые, ничего не говорящие пятна каких-то серо-бурых тонов, с проступившими еще вдобавок кое-где меловыми разводами засохшего гуммиарабика.

«Нечего длить этих склепных пожарищ», — возмутился Б. Н., захлопнув листы. И «альбомы» отправились в печку.

«Мозаика»

После опыта многих лет у Б. Н. сложился свой особый прием, или, как он называл, — метод работы над написанием художественного текста. Так были написаны его последние романы: «Московский чудак», «Москва под ударом» (или две части первого тома романа, имевшего общее заглавие «Москва») и особенно «Маски», то есть второй том того же романа. Б. Н. называл этот прием «мозаичною лепкою текста». И ранее никогда им не пользовался. Над «Серебряным голубем», «Петербургом», «Котиком Летаевым», даже над «Записками чудака» и «Крещеным китайцем» он работал иначе, не развертывал такой сложной *лаборатории* или *кухни* — его постоянные выражения, которыми он обозначал свои рабочие материалы.

Отчасти тот же прием он применял при написании «Мастерства Гоголя»[67], хотя здесь все было проще, и самый текст Б. Н. писал как обычно, подряд, лист за листом, чего не было ни в «Масках», ни в обеих частях первого тома «Москвы».

Эта лаборатория-кухня Б. Н. была так многосоставна, так текуча в своих очертаниях, что рассказать о ней не легко. При всякой попытке к такому рассказу подстерегает опасность, говоря языком Б. Н., — «впасть в рациональную ясность», то есть упростить и схематизировать. Поэтому мои слова нужно принимать без тех слишком очерченных контуров, кото-

рые всегда налагает статизация записи на непрерывный живой поток становления. И когда я говорю о том, как работал Б. Н., меня особенно смущают такие слишком определенные выражения, как: всегда, никогда, сперва, затем, первый этап, второй и т. д. Этих выражений нельзя избежать, рассказывая о разных стадиях этой своеобразной работы. Но над ними я ясно слышу порой полный грустной иронии возглас Б. Н.: «Так ли? Подлинно ли первый?» Иногда же в ушах раздается его громкий смех и как бы дразняще-веселое восклицание: «Вот как!.. Первый?!. Ну, поздравляю... Пальцем в небо!..»

В этих словах, с этим смехом и грустью отзывался Б. Н. о многих работах по вопросам художественного творчества. Или же лукаво подсмеивался над бесстрашною точностью иных литературных анкет, которые одно время были в большом ходу.

Вот почему нахожу нужным предупредить, что, рассказывая о рабочих приемах Б. Н., я даю в большинстве случаев только внешнее, почти зрительное описание и ничего не хочу закреплять или устанавливать. Один раз это могло быть так, другой — совершенно иначе. Я слишком много видела Б. Н. за работой, чтобы не знать, что порядок, последовательность и значение отдельных этапов работы могли иметь в его сознании совсем другую оценку и другой счет. Б. Н. не раз говорил, что во внутренней хронологии творчества первым далеко не всегда бывает то, что первым записано.

Только с такой оговоркой решаюсь я рассказать о том, что я видела и, насколько могла, переживала вместе с Б. Н., когда он работал над своей «мозаичною лепкою текста».

Когда наконец, после долгих сборов и приготовлений, Б. Н. приступал вплотную к писанию романа, то он начинал не с замысла. Замысла он никогда не записывал, хотя говорил о нем прежде, иногда гораздо ранее, и развивал его даже довольно подробно, но как-то с периферии, в деталях; и мало касался ядра или зерна самого замысла. Начинал же записывать с плана. Этот план он продумывал и набрасывал сперва в самых общих чертах — по его словам — «в крупном масштабе». Такой план имел

вид, скорей, схемы или программы будущего содержания. В нем устанавливался прежде всего предполагаемый порядок глав, вернее — больших отделов, почти что частей. Эти главы получали какое-нибудь название, хотя бы заведомо временное или даже условное, случайное. Б. Н. знал, что все это будет много раз изменяться, и ничего не закреплял окончательно. Он говорил, что ему важно только представить себе контуры *будущего здания* и установить первую отправную точку, исходя из которой он мог бы расставить дальнейшие, пусть тоже условные, вехи.

Работать *вслепую*, или *нутром*, он не мог и намечал себе всегда определенную, ясно осознанную, хотя бы и отдаленную цель.

«Должен знать, куда чалишь, а не плыть наобум» — это было его требование к себе и в искусстве, и в жизни.

Его не смущало, что на пути к этой цели почти всегда выпадали крупные неожиданности и коренным образом ломали все, что было намечено. Передвигались рельефы, изменялось движение фабулы, открывался новый ряд перспектив. Тогда он терпеливо, по многу раз переделывал то, что уже было написано, и не упорствовал в принятом прежде решении. Нельзя сказать прямо, что он предвидел необходимость таких будущих изменений, но он как-то безмолвно их всегда допускал и потому был готов еще и еще раз перестроить все заново, не жалея труда и затраченных сил.

«Пока все в голове, — говорил он постоянно, — ничего до конца не увидишь. Только когда положил на бумагу, довел до материи, можешь сказать, где, что нужно убрать или прибавить, куда отнести, с чем связать, чтобы впечатление было верным задуманному».

Кроме общего плана «в крупном масштабе» вскоре же появлялись отдельные, более мелкие планы, которые все умножались и детализировались в процессе работы. В них намечались небольшие сценки или набрасывался порядок нескольких, следующих друг за другом отрывков. К этому присоединялись еще схематические разработки той или другой темы сюжета, *компановки сценариев* или *макетов* — как любил это называть

Б. Н., увлекавшийся в то время постановками Мейерхольда и отчасти МХАТа 2[68]. В черновой рукописи «Масок», находящейся теперь в ГЛМ, следы этой работы сохранились на листах 147, 157, 165, 194, 352 (папка № 34/2677).

Но работа над этими разнородными планами представляла собой уже более поздний этап. Сперва же, установив основной большой план, Б. Н. начинал с того, что он сам называл «заполнением рубрик» или «складочных мест». Это были материалы его заготовок, которые предшествовали появлению самого первого черновика и заменяли обычные записные книжки или блокноты, которыми Б. Н. вообще мало пользовался.

«Рубрики» значили вот что.

Б. Н. брал большие листы нелинованной шероховатой бумаги, которую он называл «карандашной» и любил за то, что карандаш на ней удобно ложился и был более отчетливо виден, не требуя особенно большого нажима. Это был важный момент, так как иначе рука и глаза уставали. Эти листы он разделял продольно — и очень редко горизонтально — на два-три столбца. Сверху над каждым столбцом надписывал название рубрики и заносил потом в нее все, что относилось к этому названию. Если предполагалось, что рубрика будет большая, то есть материала к ней будет много, то ей уделялся весь лист, тоже разделенный на два-три столбца. Были рубрики, занимавшие несколько целых листов, — например, в тех же черновиках «Масок» — лист 153 «Москва», лист 154 «Природа» и др.

Названия рубрик давались прежде всего по именам главных героев: Коробкин; Мандро; Никанор; или по большим темам: «Москва»; «Природа»; «Война»; или по специальным заданиям: «Ресторан»; «Комната Тителева»; «Халат профессора»; «Двор»; «Жесты Никанора»; «Жесты»; «Профессор + Киерко»; «Митя с другом»; «Фамилии»; «Словечки» (народные, взятые у Даля или составленные самим Б. Н.).

Но во всем этом не было никакой устойчивости. И через несколько дней картина уже изменялась. Иные из рубрик совсем отпадали, другие меняли названия, третьи осложнялись под-рубриками и под-подрубриками, четвертые переходили в

полурубрики-полу-уже-предчерновики. И, наконец, появлялись еще «вполне новые рубрики». Для постороннего глаза получалось что-то до такой степени запутанное и сложное, что невольно вырывался недоуменный вопрос: «Неужели же это чему-нибудь помогает?» — «Не *помогает*, а совершенно необходимо, — горячо возражал Б. Н., — иначе пришлось бы весь контрапункт держать в голове. Например: сейчас мне никак не по дороге с Пэпэш-Довлиашем, а пришла вдруг великолепная фраза. Куда ее деть? Проще всего: сунуть в рубрику!.. А то: разыгрался профессор. Жарит словами, которые понадобятся, может быть, только где-нибудь в третьей, четвертой главе — еще точно не знаю... Спокойнейше вношу в рубрику. А придет время — они тут как тут. Удобнейшая вещь».

Когда нужные в первую очередь рубрики были намечены, Б. Н. в течение нескольких дней занимался тем, чтобы их *заполнить*. Он вписывал в них без разбора и без всякого порядка решительно все, что тогда пришло в голову, никак еще точно не зная, где, когда и зачем ему это понадобится. Иногда он привлекал на помощь Даля — Словарь и Собрание русских пословиц или загадок. Он перелистывал их и «сбрасывал» в соответствующую рубрику то, что казалось ему пригодным.

Но больше всего он любил обдумывать рубрики не за столом и не в комнате. Главным источником их заполнения были особые, как он называл, — «рабочие прогулки».

Б. Н. вообще любил гулять, и прогулки всегда играли большую роль в его жизни.

О, незабвенные прогулки,
О, незабвенные мечты, —

вспоминает он в «Первом свидании»[69].

Он гулял много, даже в городе. Любил находить интересные уголки, открывать новые виды; и в каждом месте непременно отыскивал *вид на закат*.

Но любил он также и старые «проторенные тракты». Они особенно располагали к раздумью. Внимание не отвлекалось

новизной впечатлений, а над головой все же не было угнетающей крыши, и четыре стены не замыкались душной коробкой. Мыслям Б. Н. всегда было «тесно» в комнате. И сам он нередко от них задыхался: «Такого надумал опять, что хоть шапку в охапку...»

На ходу думалось легче. Мысли не громоздились в «скопления грозных облаков, не развивали опасного электричества». Они протекали свободно, в ритме с движением тела; ширились и разливались в «без-стенном просторе». А иногда и совсем уходили и давали от себя отдохнуть. «Ну, облегчил голову. Надышался озоном... Мысли — хоть шаром покати», — говорил тогда очень довольный Б. Н.

В комнатной обстановке он совсем не умел отдыхать. Если не писал, то читал, делал заметки, вычислял или вычерчивал что-нибудь. Если даже он чувствовал, что устал, то все равно не мог оборвать своих занятий и оказаться в бездействии. Можно было только переключить этот непрерывный поток рабочей энергии, только направить его по другому, более легкому руслу.

Но в комнате трудно было придумать что-нибудь такое, что давало бы отдых, придумать такую *игру*, которая не превращалась бы снова в работу. И когда погода или другие причины не позволяли пойти погулять, то каждая «от нечего делать игра» кончалась совсем не игрою.

Так, для игры, чтобы *время убить*, в дождливые дни в Цихис-Дзири Б. Н. начал вычислять ритмические кривые пушкинских стихотворений. Потом погода исправилась, засияло солнце, а он все вычислял, покрывая листами с цифрами и чертежами стол, кровать, чемоданы и весь пол огромной комнаты. Вычисления кончились ритмической кривой «Медного всадника»[70].

Очень легко, также скорее для шутки, стал он делать зарисовки Коджор: хотел отдохнуть, переключившись на краски. Но вышло другое. Он опять засел на целые дни, отказывался выйти из дома и вместе с тем жаловался, что у него болят глаза, что он смертельно устал от своей *мазни* и что «охота пуще неволи».

Как-то в Кучине, в промежутке между двумя большими работами[71], он решил *поиграть*: составить для себя библиографию по истории античной культуры и философии. И вскоре уже сидел, не разгибаясь, над ворохом книг, выписок, схем. Продумывал строй, соотношение и пути философских систем Древней Греции, средневековья, Востока. Если бы не вывих плеча от удара трамваем, то неизвестно, чем кончилась бы эта игра. Рукопись этой «Библиографии», с цветными схемами и пометками, хранится в ГЛМ[72].

И действительно, Б. Н. мог отдохнуть только в отрыве от комнаты. Поэтому ему казалась такой заманчивой жизнь путешественника. Он говорил: «По природе я странник. Люблю смену мест. Мне бы быть путешественником. Прекрасная жизнь. В оседлом быте есть всегда тяжесть. Ее не знает кочевник: сегодня в одном месте, завтра — в другом... Только и счастлив, когда путешествую...»

Если же приходилось более долгое время жить на одном месте, то у Б. Н. заводились свои «постоянные тракты», на которые он любил возвращаться день изо дня, а то и несколько раз на дню.

В Кучине таким «трактом» был железнодорожный откос вблизи нашей дачи (по направлению к Салтыковке), откуда открывался вид на закат. На этот откос ходил он года: «вынашивать» свои замыслы. Летом для этих же целей служило другое любимое место: широкая просека, почти примыкавшая к задней калитке нашего «дворика». Если, вернувшись после каких-нибудь хозяйственных выходов — за хлебом, в кооператив, в аптеку, я не находила Б. Н. дома, то знала, где его нужно искать. И отправлялась «на просеку».

Но когда осенняя сырость и грязь надолго отрезывали нас от *вылазок* в сторону леса, то Б. Н. и утром, и вечером, и среди дня уходил на свой неизменный *откос*. Откос стал простым продолжением комнаты. Значительная часть «Масок», «На рубеже двух столетий», «Ветра с Кавказа» и других работ была продумана на этом откосе. Здесь же, стоя над полотном и вглядываясь в окна проходящих вагонов, Б. Н. встречал и прово-

жал иной раз гостей. Он весело махал им палкой, приветливо кричал: «Здравствуйте!» или «До свиданья!» — не считаясь с тем, что грохот колес его заглушает. Невольно он ускорял шаг и старался идти вровень с поездом.

Но перехожу опять к рабочим прогулкам и к тому, как Б. Н. собирал материал для заполнения рубрик.

Обыкновенно он выходил на эту «охоту» сразу же после утреннего чая, когда голова была еще совсем свежей.

«Пойду настреляю себе дичи», — говорил он тогда. И отправлялся шагать по дорожке, которая пересекала наш двор от передней калитки, выходившей к полотну железной дороги, до задней, обращенной в сторону леса.

Уходя, он захватывал с собой маленькие тетради в восьмушку листа, которые я нарочно для этого сшила по просьбе Б. Н. из той же любимой его карандашной бумаги. В них он записывал на ходу свои мысли. Прогулка длилась час или два, смотря по настроению и по погоде.

Если Б. Н. не уходил со двора, я часто невольно следила за ним из окна. Сперва он шел медленно, слегка опустив голову и заложив за спину руки, в которых были зажаты карандаш и бумага и неизменная палка, без которой Б. Н. органически не мог обходиться. Потом шаги еще замедлялись; он вешал на руку палку и, не останавливаясь, начинал быстро записывать; при этом как-то особенно распрямлялся и держал тетрадь высоко перед собой, почти на уровне глаз. Голова, слегка откинутая назад, была как-то очень твердо поставлена на крепкой упругой шее. Через несколько шагов, незаметно для себя, он совсем останавливался и продолжал писать, стоя на месте. Окончив, трогался снова, иногда энергично вращал в воздухе палкой, будто в ритм поднявшимся мыслям. Видно было, как он до конца ушел в эти мысли и не замечает ни движенья руки, ни размахавшейся палки, пристально вглядываясь в какой-то видимый им, но не вполне еще ясный предмет, поглотивший собой все его внимание. Некоторое время шаги и вращение палки все ускорялись. Он почти что бежал, точно за

кем-то спешил или догонял, чтобы поймать — скорее, скорее, скорее!

Но вот понемногу походка опять замедлялась, голова опускалась в раздумье, руки и палка были опять за спиной. Проходя мимо бревен, сваленных тут же возле покосившегося, бездействующего колодца*, он машинально присаживался, закидывал ногу на ногу и поспешно строчил, вдруг останавливался, не отрывая карандаша от бумаги, и, немного подумав, продолжал строчить дальше.

Вернувшись с прогулки, Б. Н. торопился поскорее разобраться в *добыче*, то есть присесть к столу и *разнести* записи из тетрадей по рубрикам, — сделать это еще *по горячим следам*, так как через несколько дней вряд ли мог бы и сам разобраться в своих *иероглифах*. Чтобы не спутаться, он перечеркивал в тетради те странички, которые были уже переписаны в рубрики; а когда вся тетрадка кончалась, он отдавал ее мне *на сожжение* или сам бросал в горящую печку, — как раз в эти часы — между пятью и шестью — у нас кончалась топка печей. Таким образом, эта ранняя стадия его работы не оставила за собою никаких внешних следов, кроме случайно сохранившейся у меня записи на обороте листка с зарисовкой Велес-Непешевича. В черновиках «Масок» я не нашла ни одной из этих тетрадей, а во время писания первого тома «Москвы» их вообще еще не было.

Разнося по рубрикам добытые на прогулках *уловы*, Б. Н. иногда отрывался, окликал меня и, не вставая с места, прочитывал что-нибудь особенно интересное, забавное или смешное, причем сам весело смеялся своим выдумкам. А когда оканчивал всю порцию, то выходил в мою комнату, садился в свой уголок у окна и еще раз перечитывал все, что *поймалось*. Это были, большей частью, короткие характеристики лиц, их от-

---

*Этот колодезь попал тоже в «Маски» вместе с другим кучинским инвентарем: «Колодезёк, но без воды, ехал набок год, принижаяся вышкою, как часовой, задремавший с ружьем и обнюханный кошкою» (15). Около этого колодца, на припеке, грелся всегда наш черный кот Мишка.

дельные жесты, мимика, позы, костюмы, привычки, словечки, куски разговоров, зачатки отрывочных сценок, ландшафты природы, картинки городской, уличной и переулочной жизни, домашнего быта и проч.

Выходя на прогулку, Б. Н. ставил себе какое-нибудь задание: «Сегодня буду подстреливать Пшевжепанского». Или: «Должен во что бы то ни стало заполучить Никанора. Вечером предстоит писать сценку с ним в доме у Тителевых, а материала нужного нет».

Писание сценок было вечерней работой. Б. Н. усаживался за нее после послеобеденного отдыха и вечернего чая, часов в 10, а иногда и в 11, так как *чайные* разговоры обыкновенно затягивались. Он оживленно рассказывал что-нибудь или в связи с романом, или о прочитанном, или просто из своих неисчерпаемых воспоминаний.

Иногда эта вечерняя работа останавливалась на неопределенное время из-за отсутствия материала, который не мог быть собран по причинам, не зависевшим от Б. Н.

Например, по плану он должен был писать теперь о метели. Но метели, и притом такой именно, какой хотел здесь Б. Н., — такой чтобы задувала и сыпала *сверху*, а не винтила бы *снизу*, — такой нужной метели все не случалось. Но Б. Н. не отступал; временно переходил на другую работу и упорно ждал появления *необходимой натуры*.

«Из головы так не придумаю, как увижу глазами. Мне без метели зарез!» — возражал он горячо, когда я говорила, что он и так уже хорошо знает метель и столько раз ее описывал. «Знаю-то знаю, — продолжал он настаивать, — но знаю *не так*! *В этом контексте* еще я метели *не знаю*. И пока не увижу, все равно не стану писать... Как ты не понимаешь!.. Вот Петров-Водкин не зря говорил, что видеть нужно умеючи! Смотрю в одном разрезе — и вижу одно. В другом же разрезе увижу я нечто другое. Нет, мне без метели зарез!»

Он подробно рассказывал, что значит в его понимании *увидеть*. И в подтверждение прочитывал отрывки из своих книг, особенно из «На рубеже двух столетий». Он находил необык-

новенно удачным выражение Петрова-Водкина «наука видеть»[73]. И в «На рубеже двух столетий» подробно говорит о том, как бессознательно учился этой *науке* всегда, начиная с самого раннего детства. В первых же играх он уже перекладывал на свой лад — видел по-своему — все окружающее, как бы стилизовал его.

В 15—16 лет эти «стилизационные игры» вышли из детских пределов и приняли уже отчасти философский характер, особенно под влиянием впервые прочитанного тогда Шопенгауэра[74]. Начались своеобразные «практические упражнения» по усвоению этой системы; они заключались в особом созерцании картин природы, предметов быта, людей. «Я учился, — пишет Б. Н., — в природе видеть... *идеи**; я созерцал дома и простые предметы быта, учась *увидеть* их вне воли, незаинтересованно; эти практические упражнения... позднее вылились просто в наблюдательность, и зарисовывание эскизов с натуры, и в подыскивание метафор, схватывающих ту или иную наблюденную особенность: я... вглядывался в закаты: скоро я стал *спецом* оттенков: туч, зорь, неба; я изучал эти оттенки: по часам дня, по временам года; и этим изучением набил себе писательскую руку, что сказалось впоследствии» («На рубеже двух столетий», 352)[75].

В этих упражнениях-играх, целью которых, в сущности, было желание овладеть тем, что Петров-Водкин гораздо позднее назвал «наукою видеть», Б. Н. усматривал также корни своего символизма. Там же, в «На рубеже двух столетий», он писал: «...в годах я непрестанно символизировал и доходил до большего и большего совершенства в умении реализовать мои символы; это сказалось позднее в том, что натуралистические образы в книгах моих выглядят как символы; и обратно: символы мои ищут себе натуралистической подкладки. И когда я через несколько лет задумываюсь о символе, то мне ясно, что символ — триада, где символический образ — конкретный синтез, где теза — предмет натуры, а антитеза — сюжетный смысл: мне нечего сочинять символизм, когда у меня многолетний опыт игры

---

*Курсив Б. Н.

и ряд упражнений в символизации» («На рубеже двух столетий», 228—229).

И вот так упорно ожидаемая метель была для Б. Н. тем необходимым предметом натуры, без которого он не мог теперь двигаться дальше.

Он различал в метели три несходные вида. Если вчитаться в метельные сценки «Масок», то можно заметить эти оттенки. Для наглядности приведу три разные картинки метели, сложенные мною из отдельных строчек романа. Из них видно также, что разумел Б. Н., когда настаивал, что должен увидеть в контексте и увиденное взять как тезу, провести ее через антитезу сюжета и подать затем в конкретном синтезе художественно построенного образа.

Вот эти картинки:

Метель низовая: «и гонит, и воет, обхватом качаясь, чтоб *взвиться** со всем, что ни есть, на земле» (270); «юркий вьюнок, *вознесясь*, разрываясь, — сквозной синусоидой ширится: — синие линии вьются и крутятся!» (203); «за окошком *взвилась* шелестящая мантия нежно серебряным просверком» (210); «визгливые нежити, руки *взвивая*... безглаво неслись» (255).

Метель верховая: «Вьюга *пустилась по кольям* забора, как стая несытых смертей» (195); «и громокатный удар *тарарахнул* по крыше» (210); «И кто-то *ударил из* воздуха — воздухом — в воздух» (216); «И — *растаптывал* ветер железную крышу» (254); «*И — ухнуло с неба. Низринулась* снегом на снег, промелькавши на бледном, оранжевом домике, бледная девочка, ножками дергаясь в черчь размахавшихся веток, чтоб *спинкой разбиться* об острый сугроб; и ее *пропорола* ворона летящая; вслед *прочесала* свистящими космами баба хрипящая: снегом *упала, как скатерть, на снег*» (210). В эту минуту к Тителевым как раз входит мадам Тигроватко, которая по роману кружит над Лизашей, как черная злая ворона. У Б. Н. природа всегда лейтмотив оркестровый, звук которого дополняет то, что происходит *на сцене*. И когда Тигроватко уходит от Тителевых, то

---

*Курсивом даны мною слова, указывающие на направление метели.

в природе дается тема грустящей Лизаши: «Снежиночки, бледные цветики, падали, плача: все — минуло; все — прожитое» (215).

Метель круговая: «*Запырскало*» (248), «Серебре́и *зареяли*: засеребре́ли» (258); «Точно *взапуск пурговичи бесятся*!» (278); «*Кипнем кипит, дрожит, дышит, визжит, извивается... выскочил* карий карниз» (255); «Место, где шли они, — *танцующий снег*» (257); «*Порх, перемельк*: ничего; перепырснулось все» (201).

Если в иных случаях натура заставляла себя ждать, то в других она «не терпела никаких отлагательств». Бывало так, что Б. Н. спешно глотал утренний чай, то и дело срываясь к окну; проливал, обжигался и взволнованно сетовал, что вот, вовремя не разбудили. На самом же деле он встал не позднее обычного, а с вечера совсем не просил себя разбудить. Но теперь, в невероятном волнении и спехе, он ни о чем уже не помнил и все рвался к окну:

— Смотри, смотри — иней!.. И *такой именно*! Розовый!* А я, как нарочно, проспал... Не успею, пожалуй! Погаснет... Все облетит... Вот, вот! Ветер поднялся... Так я и знал. Кончено! Жди теперь месяц... А может, и за всю зиму такого не будет...

И, бросив расплесканный, недопитый стакан, не слушая моих уверений, что никакого ветра нет, что деревья стоят неподвижно, Б. Н. стремительно одевался, хватал, не глядя, шапку, кашне, палку, перчатки и через минуту был уже за дверью.

Стоял сильный мороз, градусов 28—30. Записывать было немыслимо. Б. Н., взмахивая палкой, направился было к калитке. Но вдруг поднял голову и — замер. Потом опрометью кинулся назад к окнам; принялся, что есть силы, стучать и махать мне руками, вызывая к себе: скорее! скорее! скорее!

Я боялась мороза. Но разве могла ему в чем-нибудь отказать? Когда же вышла и мы вместе отправились на откос, о

---

*С этого инея, в этот именно день — он хорошо мне запомнился — списан весь розовый иней для «Масок», и списан также «Снег, как снег миндалей» (279—281).

морозе я больше не думала. Слишком прекрасен был бирюзово-серебряный сон деревьев и неба; слишком нежная ласка в жемчужной, опалово-розовой сказке снегов.

Вот как запечатлелась *натура* этого дня в строчках «Масок»: «Мягкими мётами бледный фонтан, за фонтаном под бледное небо взлетевши, стал инеем; роща березовая появилась из света сапфирового, точно кружево: снилась. И веяли инеи в синие тени» (279). «Показал ей на сон бирюзовый» (281). «...и шарчи́л в черчь ветвей — на прозо́р заревой: через розовый иней. Как шапки миндальных цветов, возникала за дальними купами купа лесная; и лес над лесочком висел, точно в небе — дымеющим облаком!» (283).

От мороза все как-то странно затихло. И свет розоватый разливался от солнца, небольшого и круглого, без лучей, в перламутровой дымке. Затаили дыхание. Шли, как во сне. Но сон был сильнее всякой яви.

Вскоре я ощутила, что не вмещаю, что больше не могу воспринимать. Для меня всегда наступал предел, была какая-то точка вместимости, дальше которой уже я не шла, переставала что-нибудь видеть и должна была прервать поток впечатлений.

У Б. Н. способность воспринимать была безгранична. Она не исчерпывалась, а, напротив, росла. И теперь он увлекал меня дальше и дальше; показывал то одно, то другое; и сам, казалось, смотрел сразу тысячью глаз. Отговорившись морозом — что было верно отчасти, — я вернулась домой. А он еще долго, долго ходил. Свет за окнами начал алеть, когда он наконец появился.

Бывало нередко и так, что Б. Н. приносил *с охоты* не то, что задумывал. Тогда, входя в комнату, он громко оповещал:

— Вот, думал поймать Тигроватко, а выскочили лорд Моббз и Антанта...

Или:

— Рассчитывал, что пойдет Пэпэш-Довлиаш, а свернуло на Тер-Препопанца.

Или:

— Устремил все усилия на Киерко, а наперерез полетел Никанор. Так и не мог отбояриться.

Кроме этих разнообразных, но однородных *уловов*, добываемых на прогулках, был еще один, о котором нужно, но трудно сказать. Он занимал совсем особое место. Б. Н. называл это кратко: *звучания*.

После того, как он несколько раз употребил это слово, я спросила его, что это значит: «звучания»? Он рассказал, но при этом только описывал самое переживание, а *природы* его, то есть сущности, не вскрывал. Он говорил лишь, что переживание это не имеет прямого касания к *мысли*, но все-таки *иррациональным путем*, где-то внутри, на очень большой глубине оно пересекается с тем, что можно назвать творческой, то есть волевой, мыслью. Однако эта связь не прямая, а как бы преломленная в какой-то среде. Переживание это наступает обычно не сразу, а лишь в разгаре работы, когда мысль, или, вернее, — сознание, после долгих усилий в поисках ритма, образа и т. д. вдруг будто срывается с места и мчится расплавленным бурным потоком. Тогда уже не ты владеешь этим потоком, а он мчит тебя, куда и как хочет.

В этом *расплавленном* состоянии открывается многое, неожиданное, недоступное для сознания каждого дня, которое — даже в художнике — *темперировано* всем навыком воспитания, привычек к жизни.

Тогда-то во время своих рабочих прогулок Б. Н. начинал слышать своеобразные, ритмично-напевные звуки, как будто мотивы или музыкальные темы.

Они наплывали из да́ли ритмичными, легкими волнами, неслись, трепеща, близко, близко, как ласточки мимо самых ушей; и уносились вновь вдаль, там растворяясь и как бы угасая.

Содержание этих звучаний было в основе своей музыкально. В момент появленья оно не разрывалось в слова и пролетало лишь в быстрых изменчивых ритмах. Требовалось огромное и мгновенное усилие *воли*, чтобы успеть вслушаться, схватить смысл этих стремительных звуков и каким-то необъяснимым путем тут же перевести их на слова.

Б. Н. говорил: «Стоит выставить ухо, и уже запевает, поет... Звенит и лепечет; журчит и струится... словно сказку нашептывает. А о чем и к чему — не пойму».

И добавлял всегда, что тут нельзя терять ни минуты. Звучания мчатся с такой быстротой, что нужно немедля собраться, сосредоточиться; иначе все улетит и исчезнет бесследно для памяти, не отразившись в словах.

Звучания слышались и не на прогулках. Они настигали порой в момент засыпания; или ночью будили средь сна; или — реже всего — раздавались при пробуждении утром. Для всех этих случаев на ночном столике Б. Н. лежал карандаш и бумага, чтобы в любую минуту он мог записать*.

Повторяю, что Б. Н. лишь отмечал в себе эту способность как факт, как явление, которое он наблюдал, но не давал ему объяснений. Скорее всего, это можно было бы назвать *мышлением в звуках*, так как ткань пролетающих ритмов — по словам Б. Н. — больше всего походила на *музыкально ожившую мысль*** [77].

Когда Б. Н. приносил с собой такие *уловы*, то он записывал их на отдельных листках, не занося сперва ни в какую определенную рубрику. Рубрики: «Звучания» тоже не было.

Это были прекрасные, главным образом грустно-нежные речитативы, напоминающие былинно-песенный сказ. Он и читал их особенно — почти напевая, задушевно и мягко, с какой-то сердечною теплотой. Ритм и мелодия выступали отчетливо, а слова едва намечались, как легкие, не закрепленные формы.

Может быть, так пели когда-то баяны и барды. Может быть, так нужно *пропеть* «Слово о полку Игореве»[78], которое Б. Н. так высоко ценил и которое звучало в нем, как *лейтмотив глубочайший*, когда он писал первую редакцию первой главы «Масок» в 1928 году.

---

*О подобном же переживании рассказывает Гете в «Wahrheit und Dichtung». 4 Theil, 16. Buch. S. 221. Berlin, 1878.[76]

**Для Б. Н. мысль и музыка всегда были внутренне связаны.

Мне лишь смутно запомнилось то, что Б. Н. относил в своих записках к разряду звучаний. Просматривая черновик «Масок», я искала там этих записей. Но находила лишь более поздние переработки, уже измененные включением сюжетного материала. А между тем в первый раз Б. Н. прочитывал их безотносительно к тексту, к сюжету, в том именно виде, как только что сам их услышал и «записал просто на случай: вдруг пригодятся!» И еще потому, что — «Как-никак — любопытно! Откуда такое: ни с того, ни с сего!»

Помню также, что записи эти иногда очень долго не находили себе применения. Они не были прямо связаны с тканью романа, не включались ни в одну из намеченных сценок. Сам Б. Н. не мог в ту минуту сказать, «войдут ли куда-нибудь эти напевы или так и останутся праздно пылеть среди залежей».

Когда я взяла теперь «Маски» и пыталась узнать эти строчки, то увидела, что это непросто. Они рассыпаны по всему тексту и появляются в разных местах, как одно, два-три слова, тесно впаянные в общий план композиции, слитые со звуком и образом, уже подчиненные сюжету.

Сперва мне казалось, будто я узнаю: вот, вот оно! *То* звучание! Но тотчас же убеждалась, что нет, совсем не то. Там не было этой конкретности, этих деталей. Проходила лишь музыкальная тема, ряд ритмично построенных звуков; и даже — почти не было образа. Я различаю их, слышу в иных местах; но они лежат так глубоко, как основа, несущая текст. Указать ее, вынуть обратно слова — невозможно. Это мог бы сделать только сам Б. Н. Я же могу наметить отдельные строчки, в *основе* которых мне слышатся эти звучания*.

Вот иные из них:

*Во всей художественной прозе Б. Н., а иногда и в стихах я слышу теперь следы этих звучаний по какому-то неуловимому признаку. Иногда он их ставит в кавычки, выносит с красной строки, — в стихах и «Симфониях». Иногда дает в тексте — «Петербург», «Серебряный голубь» и другие романы. Но всегда они пересекают словесную ткань, точно опускаясь в нее из какого-то четвертого измерения.

«Ночь исчезает из ночи, в которой сияет звезда...» (132); «Ночь уронивши... две черных руки и звездой переливчатой капнув... сжимала в объятиях [домик], как мать...» (352); «Казалось*: — огромная, черная женщина, павши на землю, сейчас распрямится, — и — перерезая вселенную, руки свои заломивши... чашу с сияющей ценностью, черною орбитою в дали кубовые... перенесет!» (352—353); «Ночь... слепцово безочье, — разорвана в клочья!» (50); «О, переполненное, точно вогнутый невод, звездой, — несвободное, обремененное небо! О, — то же звездение: праздное» (364); «Звезды, — зернистые искры, метаемые, как икра, как-то зря, — этой рыбой — вселенной!» (365).

«Вывизги рыва планеты швыряемой» (353); «Успокойся, душа моя, что тебя нет в том, чего тоже нет... что — с бесполезной жестокостью больно катаемое и усталое сердце — разрывчато бьется. Ты ищешь чего же, душа моя, и ты чего надрываешься?» (354)

«И снежиночки, бледные цветики, падали, плача: все — минуло; все — прожитое» (215).

«...топазовый глаз, налился́, как слезой, своим блеском. Слеза пролилась. И топазовый глаз — [уже розовый, красный, пунцовый — глаз]: гас» (287—288).

Б. Н. не любил в себе этой «текучей, расплавленной стадии»: слишком трудно с ней жить! И когда она наступала, он казался почти больным. Но избежать ее, не допустить в себе — он не мог; для определенного момента работы стадия эта была даже необходима. Все, что написано или сделано до нее, не вполне еще относимо, говорил он, к собственной сфере творчества. Только с нее начинается то погружение в глубину, тот непостижимый процесс, который так широко и неопределенно называ-

---

*Вместо «казалось» звучит в моей памяти другое какое-то слово. Может быть, «ночь», а может быть, еще что-нибудь. В цитатах я опускаю или даю в прямых скобках (чтобы сохранить ритм) иные слова, которые помнятся мне как внесенные после. Расстановку я тоже не соблюдаю.

ется творчеством. Здесь проходит как бы черта разделения между теми, кто так или иначе знает в себе эту текучую стадию, и теми, для кого она внутренне совсем неизвестна.

«Искусство есть жертва в самом прямом и реальнейшем смысле. Без всяких там *так сказать* это — отдача собственной плоти и крови. Путь художника очень суров. Он требует всех соков жизни». Эти слова слышала я много раз, когда после безумных дней фактически непрерывной работы Б. Н. вдруг сваливался. Разбитый жестокой мигренью, он лежал побледневший и тихий, с головой, туго стянутой смоченным в холодной воде полотенцем.

Состояние «расплавленной стадии» он называл еще «субъективно мучительным и объективно опасным» и пояснял как бы в свое оправдание: «Вот если теперь что-нибудь сдернет с работы, то может последовать взрыв. Могу заболеть не на шутку. Теперь уже нельзя тормозить... Нельзя сказать *стоп* на полном ходу... Перекалечит! Напорище эдакий нелегко удержать... Вот почему я иду на художественное раз в пять-семь лет. И то зарекаюсь: впредь не писать».

Но возвращаюсь к работе Б. Н.

Когда в рубриках набиралось достаточно материала, Б. Н. переходил к составлению отрывка или сценки. Для этого он сперва *отрабатывал* рубрики. Отрабатывал — это значит из вороха разноформатных листов и клочков отбирал себе нужные рубрики; просматривал их; делал сбоку цветными карандашами пометки в виде букв, цифр (арабских и римских), звездочек, ромбов, квадратов и других, порою очень своеобразных значков.

Называя свою манеру писать «мозаичной», Б. Н. был прав. Иначе ее и нельзя было назвать. После его *отработки* листы рукописи порою действительно напоминали цветную мозаику, или, скорее, причудливый хаос пестрых осколков, приготовленных для составления мозаичной картины.

Из этих *осколков*, то есть из отчеркнутых и помеченных сбоку цитат, Б. Н. начинал складывать текст. Для этого он перели-

стывал рубрики вперед и назад, отыскивая нужные цитаты по памяти, и выписывал их на отдельном листе, так что они сливались в один общий *контекст*. Для трудных, то есть более сложных по составу, отрывков он набрасывал предварительно еще *контрапункт*, то есть подробный план, в значках или цифрах и буквах, иногда на отдельном листе, например, листы 216—221*, а иногда на заготовленном раньше плане отрывка или сценки, — например, лист 352. В таком случае при написании сценки он отыскивал цитаты не по памяти, а по этому *контрапункту*.

Но переписка цитат из рубрик, разумеется, не была простым механическим списыванием. Многое тут же на ходу изменялось. Иногда бралась только часть фразы — начало, конец, середина; иногда несколько слов, иногда даже только тема или образ. Основная работа заключалась в расположении и во внутренней спайке всех этих мелких штрихов. Ее-то и называл Б. Н. *мозаикой*.

Так возникал предчерновик, или полурубрика, или полурубрика-полу-уже-предчерновик (листы 192, 193). Названия эти я слышала постоянно, но только сам Б. Н. мог бы указать, по каким признакам применяет он их к данному листу.

Лишь после того, как текст был таким образом составлен из мозаичинок-цитат, начиналась дальнейшая работа над стилем в собственном смысле. Новые исправления, новая переписка. Новый ворох листов.

Отработанные, то есть использованные, куски в рубриках Б. Н. зачеркивал одной чертой — например, листы 153, 154.

Когда намеченные сценки были написаны и собранный в рубриках материал «в достаточной мере исчерпан», Б. Н. опять просматривал рубрики. Одни из них он откладывал в сторону, как ненужные вовсе или как ненужные в ближайшие дни; намечал вместо них ряды новых рубрик, необходимых для новых задач. До самого конца работы рубрики все умножались. Передвижение их продолжалось. Осложнялись цветные пометки. *Лаборатория* неудержимо росла. *Кухня* развертывалась.

---

*См. рукопись «Масок» в ГЛМ.

И бесконечное количество раз повторялся один и тот же процесс: сперва набор материала для рубрик, потом отработка, потом написание отрывков и, наконец, неоднократные стилистические исправления. Так на всем протяжении романа: кусок за куском, от порции к порции.

— Упорный и кропотливейший труд! — сетовал на себя же Б. Н.

В редких случаях для написания сценки Б. Н. или совсем не прибегал к рубрикам, или только освежал их содержание в памяти и писал потом *из головы*, очень простым, даже наивным порой языком, — как он называл — «языком Златовратского»[79]. В таких случаях он весело говорил:

— Иду заготавливать тесто.

Через некоторое время появлялся с листами и, улыбаясь, прочитывал вслух. Когда же написанное казалось ему уж слишком «бесстрашно наивным», он хохотал над собою до слез и сквозь смех едва выговаривал:

— Ведь вот, умею же просто писать. *Все понятно*: он сказал, она встала, профессор вошел... Послушали бы, на что Андрей Белый способен!.. Ха-ха-ха!.. Ведь вот же — по-человечески пишет... Молодец!.. Взялся за ум, — и опять, опять заливался.

Вскакивал и с вызовом, подперевшись одною рукой, другою с листом бумаги помахивал в воздухе, будто дразнил «чей-то невидимый нос, который так и не понюхает соблазнительной ясности строчек»*.

Передохнув, он делался сразу серьезным:

— Ну, а теперь пойду раскатывать тесто. Горбатого только могила исправит. Увидишь сама...

Вместо «раскатывать тесто» он говорил иногда: «прошивать звуковые узоры» или «перекраивать цельный отрез». Себя в таких случаях называл то закройщиком, то портным.

---

*Сколько я ни искала, до сих пор не могла еще найти в черновиках «Масок» этих кусков, написанных «языком Златовратского». Вероятно, они сожжены вместе с заготовками для рубрик. Мне кажется вообще, что черновик этот неполный. Б. Н. не только не хранил, но иногда сознательно уничтожал следы своей работы, например, черновые варианты стихов. Об этом я пишу в главе «Стихи».

Эта вторая редакция, в которую проплеталось теперь содержание рубрик и производились всевозможные перестановки, была уже неузнаваема. «Златовратский» исчезал без следа. Из «благодушного теста» вытарчивал будто иглистый ежик, а над ним перепрыгивал солнечный зайчик. Такое впечатление было у меня, когда я слушала теперь чтение Б. Н.; ежик и зайчик сливались в одно в ткани ритмической прозы «неисправимого Белого».

Но для Б. Н. все было мало; для него только после третьей редакции начинало проступать «первое очертание» того, что он находил «мало-мальски пригодным» и что после четвертой, а иногда и пятой, и шестой переписки признавал наконец «готовым к печати».

Легко представить себе, во что превращались листы загрунтовочных рубрик после того, как было написано несколько сценок. Каждый просмотр оставлял за собою следы. Кроме разноцветных пометок прибавлялись еще надставки и вставки, приписки сбоку и поперек, переносы, дополнительные заметки на отдельных клочках, подчёрки, отчёрки и вычерки. Я уже говорила, что отработанные места Б. Н. перечеркивал, чтобы в будущем они не мешали. Но второпях то недочеркивал, то захватывал по еще не отработанному; впрочем, последнее редко случалось: Б. Н. был здесь как-то инстинктивно внимателен и почти всегда вычеркивал точно. Неправильный вычерк вел к слишком серьезным последствиям и означал почти верную гибель цитаты. При дальнейших просмотрах он очень редко читал содержание и ограничивался лишь беглым оглядом быстро мелькавших листов, которые он переворачивал почти не глядя и тотчас же отбрасывал в сторону, приговаривая полушепотом: «Не тот, не тот, не тот... Ах, вот он...»

От многократных просмотров и перекладываний тонкая бумага мялась, рвалась, карандашная запись стиралась (рубрики Б. Н. почти всегда писал карандашом); страницы слипались в неразличимую «тусклую серь». Б. Н. жаловался, что слепнет над своими черновиками.

По окончании каждой большой главы (верней, части) он устраивал еще «генеральный смотр своим командным частям», то есть делал разбор накопившихся материалов и распределял их по-новому для будущих целей. На перераскладку и сортировку уходил целый день.

Вначале, когда я еще не до конца знала рабочие навыки Б. Н., я по неопытности надеялась, что после такого просмотра количество бумаг уменьшится. Меньше бумаг — меньше потерь, — была моя тайная мысль. Но в первый же раз я поняла, что жестоко ошибаюсь. *Хозяйство* не только не убывало, но еще увеличивалось. Правда, две-три до конца исчерпанных рубрики убирались в далекую папку, но зато вместо них, и в гораздо большем числе, появлялись новые и вместе с остатками прежних наборов вводились в работу, или — по словам Б. Н. — «поступали на текущий счет».

Во время этих обзоров Б. Н. еще раз все продумывал, учитывал — что уже сделано, что еще остается доделать, на что обратить внимание в первую очередь, с чем можно повременить. Он действительно напоминал тогда полководца, который после уже проведенных боев готовится к новому бою.

Разворошенные папки, тетради, листы были разбросаны в комнатах, занимали столы, кушетки, постели; заполняли каждый свободный вершок, сползали и на пол. Б. Н. шагал через них — от кушетки к столу, от стола к чемоданам, от чемоданов к круглому столику, к стульям, снова к столу. Наклонялся, ворошил, что-то разглядывал, делал отметку и отходил: ворошить и разглядывать в другом месте. Или же застывал на мгновение, выпрямившись, среди этого хаоса; обводил его зорким, на что-то нацеленным взглядом. Постояв, неожиданно быстро протягивал руку; уверенным, легким движением вынимал будто первый попавшийся лист и, почти не взглянув на него, относил в один из далеких портфелей с определенным набором.

После такого просмотра в «лаборатории» Б. Н. на время водворялся идеальный порядок. Обтертые от пыли, связанные папки аккуратно лежали одна на другой, бумаги не сыпались веером из вздутых обложек. Карандаши и ручки вставлялись в

предназначенный для них деревянный бокал. Под чернильницу была положена *подстилка*, чтобы предохранить скатерть от клякс. Резинка, перочинный нож, разрезалка чинно лежали между чернильницей и бокалом.

Все это Б. Н. делал сам и теперь был очень доволен. Он чувствовал всегда *тяготение* к порядку, не любил пылéй и пыльных завалей, говоря, что они «одним своим видом ввергают его в неврастению».

В главе «Контрапункт» я уже рассказала, что жить в пыльной, неприбранной комнате Б. Н. считал вредным не только физически, но и морально. Упоминания о паутине, грязи и затхлых запахах в книгах его не случайны.

Первые дни он заботливо помнил еще о порядке и старался его поддержать. Кончая дневную работу, старательно вкладывал рукопись в определенные папки, аккуратно сносил в специальную коробку *привходящие документы* — полученные письма, повестки и пр.; убирал со стола на книжную полку лишние тетради и книги. Говорил, что это тяготенье к размеренности и системе он унаследовал от отца, что и сам он «по природе педант и в глубине души любит, чтобы все шло раз заведенным порядком».

Беспорядок и беспорядочность вообще он допускал лишь как «неизбежное в рабочей сумятице зло». И «в меру сил» с этим злом он боролся.

Но отвлекала работа. Такую *роскошь*, как ежедневная уборка наваленных на столе материалов, он мог позволить себе только в начале работы, пока еще не дошло до *раскала*. Но начинался раскал, и кончалось с порядком. Б. Н. жил тогда как во сне в отношении всего, что извне окружало, — и людей, и вещей.

Кроме очередных по работе разборов были еще так называемые им праздничные перерывы, которые он объявлял, не всегда связывая их с внешним праздником, чтобы дать себе отдых.

Отдых начинался с того, что Б. Н. посвящал несколько часов или с утра до обеда, или после вечернего чая до ужина уже не просто уборке, но *убранству* стола. Стерев пыль и отряхнув скатерть, он покрывал стол цветной бумагой; обер-

тывал в ту же бумагу настольные книги и папки. Сочетание цветов было строго продумано. Получались гаммы оттенков: фиолетово-синее с темно-вишневым; или коричнево-золотое с оранжевым и терракотовым; или бирюзовое с серебряным; красное; алое с белым и с кремовым.

После многодневных сидений над чернильными и карандашными строчками он чувствовал потребность в контрасте — необходимость отдохнуть на цветном: «омыть струями красок карандашную грязь, которая слепит глаза и засоряет сознание».

М. А. Чехов[80], который посетил однажды Б. Н. в Кучине, обратил внимание на «изощренное цветовое убранство стола». Б. Н. рассказал, в чем дело. Михаил Александрович был сочувственно заинтересован. И вскоре же в Кучине появились *роскошные свитки* блестящей картонной бумаги — золотой, серебряной, бронзовой, зеленоватой; это были остатки от картонажных макетов «Гамлета», который как раз тогда готовился к постановке во МХАТе[81].

Все это мелочи; и может быть, о них не стоило бы говорить так подробно. Но я вспоминаю, как горячо Б. Н. переживал эти мелочи, как он страдал от *пылей*, с какой тщательностью производил «очищение своих авгиевых конюшен», как радовался, когда, разукрасивши стол, иногда даже стены, усталый, запыхавшийся, но очень довольный, он усаживался в свое кресло и, улыбаясь, оглядывал комнату. Любовался тем, как сразу вдруг все посветлело и *помилело* и «как уютно стало водиться в такой веселой, ласковой комнате».

Но проходил *праздник*, раскладывалась опять рукопись, появлялись на свет из-под пестрых покрышек черновики. И *убранство* слетало, как пыльца с крыльев бабочки. После слабых попыток все еще удержать хотя бы *призрак порядка* Б. Н., «махнувши рукой, отдавался течению».

Тогда наступало еще особого рода *страдание* от нескончаемых поисков, неустранимых потерь и катастрофической путаницы. При таком методе работы, какой изобрел для себя Б. Н., поиски, потери и путаница были почти неизбежны. На *текущем счету* его находилось шесть-семь переполненных черновика-

ми и беловыми переписками папок, а рубрик не менее пятнадцати—двадцати. Под конец же их просто нельзя было бы сосчитать, так как они теряли уже всякие очертания. К ним присоединялись еще сводные, перекрестные, дополнительные, промежуточные, смежные, предположительные и т. д. Все эти названия постоянно звучали в устах Б. Н., но мне в голову не приходило спросить, какие именно записи он разумеет в том или ином случае. Это была такая мелочь по сравнению с тем живым и огромным, что шло от него.

Напомню еще раз, как протекал у Б. Н. процесс его «мозаичного» построения текста.

Он задумывал, например, писать отрывок десятый для сценки второй. Говорю это условно. Может быть, для себя он называл наоборот: сценка десятая для отрывка второго. Тогда он просматривал рубрики и искал в них пометку 10(2). К этой пометке присоединялось иногда еще буквенное обозначение лица, темы или порядка включения, например — Н 10(2), что означало: «Никанор», отрывок 10, сценка 2. Или: В 10(2), то есть «Война», отрывок 10, сценка 2. Или: А 10(2), Б 10(2); это значило, что цитаты, помеченные буквой А, составляют особую группу, которую нужно собрать и выделить в первую очередь для отрывка десятого сценки второй. Если А было уже занято, то такую первую группу могли составлять и цитаты под буквами Д или Z и т. д., так что алфавитный порядок не имел здесь значения. Но благодаря тому, что в сценке действовало несколько лиц и сплеталось, по большей части, несколько тем, то и обозначений, то есть букв, цифр и других значков, было много, и располагались они самым различным образом. Могло быть и так, например, что цифра оказывалась наверху, а буква уходила в скобки под строчку. Тогда Б. Н. отмечал: 10 (в), 10 (с), или 10 (а), или еще как-нибудь. Что это значит — я по памяти и по догадке не всегда могу сказать.

Понятно, что при такой сложной системе и при манере Б. Н., производя набор цитат, не прочитывать, а только бегло оглядывать листы, для потерь и путаниц открывалось широкое

поле возможностей. Случайного движения руки было достаточно, чтобы «навеки угробить нужную до зарезу цитату»: отбросил налево, куда летело ненужное, вместо того чтобы положить направо, или перегнул не так лист, закрывши условный значок, — и кончено! Шли долгие поиски. Неслись вскрики отчаянья. Взлетал вихрь бумаг и бумажек. Мы оба изнемогали.

Б. Н. бросался туда и сюда:

— Что же мне делать! Иначе я не умею работать. Ведь не для забавы же выдумал я себе на голову этот мозаичный прием... При такой системе мне нужно по крайней мере четыре стола... А в эдакой тесноте... — И он с негодованием выбрасывал руки, чтобы *демонстрировать* тесноту. Ударялся с размаха одною рукою о спинку кровати, другою о стол. Груда папок с грохотом рушилась на пол. Он лихорадочно кидался ее подбирать и, присев на полу, ожесточенно боролся с россыпью бумажных обрывков и расхлопнутых папок. — Вот, вот, исчез!.. Пиши пропало... Не тот... Я же вижу — не тот!.. — Он вскакивал и потрясал передо мною измятым листом: — Видишь сама: тот был с оторванным боком и в левом углу зеленым карандашом было помечено: вставка икс прим...

Или:

— Не тот! Там посередине было пятно от стакана...

Из аккуратности Б. Н. никогда не ставил стакан прямо на скатерть; а так как, прихлебывая чай во время работы, он не всегда мог найти блюдце, часто тонувшее в груде бумаг, то предпочитал подкладывать под стакан первый попавшийся лист. В его материалах осталось не одно такое пятно.

Сперва я думала, что Б. Н. запоминает только некоторые, чем-нибудь замечательные листы. Но потом убедилась, что это не так. Зрительная память его была феноменальна. Он действительно помнил по внешнему виду чуть ли не каждый невзрачный клочок; помнил форму, формат, цветные разметки и пр.; помнил даже направление строк: прямо, наискось, «перебойными вставками» или столбцами. Все называлось безошибочно. А между тем черновики «Масок» — это рукопись не меньше чем в полторы тысячи страниц.

Чаще всего исчезнувшая цитата находилась где-нибудь в неожиданном, «незаконном» месте, куда была сунута им второпях и забыта: в словаре Даля, в чистовых листах рукописи, или в виде закладки в книге для чтения, или еще на столе в моей комнате. Но это открывалось не сразу. А тем временем Б. Н., решивший, что «пропажа бесследна», писал заново и — «конечно же, хуже, чем было задумано», как он с досадою уверял.

Роковым для всякого рода потерь были внезапные посещения, *налеты* из города людей, не предупредивших о своем приезде. Когда в неожиданный час, в разгаре работы, в дверь просовывалась голова нашей хозяйки Елизаветы Трофимовны и раздавалось произносимое ее хриповатым баском злосчастное: «Б. Н., вас спрашивают», — он испуганно вскрикивал: «Ай!..» И в те две-три минуты, пока гость раздевался, спешил поскорее убрать со стола свои папки. Он не мог вести разговоров над рукописью, в которой «чернила еще не успели просохнуть». Рукопись была для него не механической строчкой черным по белому, а чем-то реально живым, куском его плоти и крови.

Другая причина, по которой Б. Н. избегал оставлять рукопись разложенной на столе, было — вполне основательное — опасение, что «все утечет в неизвестность, смахнется» им же самим, когда он переключится на гостя и забудет о рукописи.

Тревожно повернув голову в сторону двери, прислушиваясь к шагам и голосам в коридоре, Б. Н. поспешно рассовывал бумаги, захлопывал и убирал в сторону папки. Тут-то и «совершалось непоправимое». И постоянно бывало, что, едва проводив посетителя, который уходил в полном восторге от «яркого разговора», Б. Н. бросался к столу и лихорадочно торопился «уточнить, пока не поздно», что и куда он засунул. Убедившись, что: «Так и есть... Угробил опять!» — Б. Н. в изнеможении бросался к постели и устало выкрикивал:

— Добились-таки! Сорвали с работы. А как было пошло́!.. Ведь прошу, умоляю: предупреждайте, давайте условимтесь. Я подготовлюсь. Разложу все спокойно... Нельзя так... с налету: я к вам!.. Эдак не выдержишь. Два раза сдернут — и кончено. Главка погибла. Тщательнейше продуманного отрывка не будет. Те-

перь уже не напишу, как хотел... Сколько перекалечено книг из-за людской безответственности... Почему я ни к кому не влетал? Не бежал же к Толстому! Понимал, что не врываются с улицы.

В его голосе слышалось отчаянье. Он действительно страдал оттого, что не умеет «толково сказать» о том, как мучительно прерывать живое движение мыслей и образов, когда они *тронулись*, не умеет оградить себя от таких перерывов. Многие так до конца и не поняли, что просьба Б. Н.: «Предупреждайте» — не была причудой или капризом «избалованного Белого», что она вызывалась самой горькой необходимостью, так как на опыте слишком хорошо были известны все «*бедственные последствия*» таких срывов с работы.

И странно как-то: что́ не берегли в Б. Н. часто культурные люди, даже близкие знакомые и друзья, горячо чувствовала и охраняла Елизавета Трофимовна, наша кучинская хозяйка. Это была простая, едва грамотная женщина, лет пятидесяти. Когда мы переезжали к ним[82], меня беспокоило, как наладятся отношения. Я вспоминала трудности, которые возникали у Б. Н. с иными из интеллигентных хозяек и соквартирантов[83].

Стараюсь не думать об этом, забыть: косые взгляды, злой шепот, хлопанье двери... Сколько раз заставала я Б. Н. в неприбранной комнате, над огромной, черной от сажи посудиной, на дне которой бурели застывшие, скользкие комья «чего-то». Б. Н. беспомощно трогал ложкой этот «осклизнувший ужас» и отставлял посудину, не прикоснувшись.

Понятно теперь, чего я боялась, когда мы переезжали к новым хозяевам. И тем более удивляюсь я отношению Елизаветы Трофимовны: ее чуткости и доброте. И чувствую к ней нежную благодарность. Правда, к концу нашей кучинской жизни не все было гладко. Но причины недоразумений были ясны: нервное состояние и болезнь Елизаветы Трофимовны, особенно после смерти ее мужа[84]. Все же в памяти отложилось только хорошее. Мы прожили с нею шесть лет. И за все шесть лет — никогда никакой воркотни, ни одной жалобы на капризы, на неудобства, причиняемые ей Б. Н. Она чему-то однажды пове-

рила в Б. Н., что-то в нем разглядела и потом на все уже откликалась с готовностью.

Елизавета Трофимовна принадлежала к числу тех людей, простых, неученых, но с тонкой душой и отзывчивым сердцем, которые воспринимали Б. Н. не головой, не сознанием, а непосредственно, человечески просто, и говорили о нем: «*Он* — особенный! Не как другие!», хотя не могли бы, пожалуй, сказать, в чем эта особенность.

В Елизавете Трофимовне, кроме того, был какой-то своеобразный размах. Она относилась к Б. Н. как к родному, а одно время, со свойственной ей способностью горячо увлекаться, просто обожала его и с ласковой шуткой, за глаза, в разговорах со мной называла его «наше светило». Кто-то сказал ей, что у нее живет «светило», и это слово ей очень понравилось, хотя она понимала его как-то по-своему, вроде того, как сам Б. Н. понимал в детстве слово «маститость».

— Как узнала Б. Н., мне жить стало не страшно... Почему это, Клавдия Николаевна, — шептала она мне, прикрывая рот рукой, чтобы Б. Н. не слышал. — Всю жизнь все боялась чего-то. А как стали вы у нас жить — не боюсь. Посмотрю на него, и светло, светло в комнате станет. Отчего это? А?.. Вот и дедушка мой (муж Елизаветы Трофимовны) его любит. Так и твердит: Б. Н. да Б. Н.! А он у меня, сами знаете, с норовом. Другому разве позволил бы снег к карнизу наваливать... А тут ничего: ходит, косится, — молчит...

Это был жгучий вопрос кучинских дней. Б. Н. для утепления делал высокие снежные насыпи по фундаменту до самых окон. А «старик» Николай Емельянович переживал трагедию, что под снегом фундамент в оттепель отсыревает и деревянные стены гниют. И со стороны своих комнат демонстративно отгребал снег от дома; но насыпей Б. Н. не трогал, хотя, действительно, проходя мимо них из калитки, каждый раз неодобрительно и косо поглядывал.

Когда мы сжились, Елизавета Трофимовна доверила нам свою невеселую повесть о том, сколько ей пришлось испытать из-за того, что «старик», который был неверующим, ни за что не

хотел венчаться, и она, любя его, пошла на то, чтобы жить необвенчанной. Это был подвиг тогда, в дореволюционное время и в их мещанской среде. Кроме того, она рассказывала о некоторых своих восприятиях, странно не отвечавших ее культурному уровню: она удивительно тонко ощущала цвета, ритмы и образы. Тогда мы больше поняли, почему она так привязалась к нам, особенно к Б. Н.

Он отвечал ей также полным доверием и открытостью. Вел с нею долгие разговоры, показывал и объяснял свои рисунки и схемы, призывал любоваться на коктебельские и цихис-дзирские камешки, на альбомы с осенними листьями. Она как-то по своему все это понимала. Слушала с жаром, с волнением и восклицала баском: «А-а... хо-рошо-о... А мы-то... Ничего мы не видим...»

У Б. Н. была удивительная способность делать понятным для людей то, что было выше их понимания. Так, моя мама, знавшая Канта только по «Кругу чтения», не пропускала ни одной лекции из трудного курса Б. Н. по истории философии[85] и говорила, что, пока он читает, она — в это время — очень хорошо понимает Канта.

Так и Елизавета Трофимовна. Весь стиль нашей жизни, которая протекала у нее на глазах, наши разговоры и интересы, — все это было так далеко от того, к чему она привыкла, что знала и видела до сих пор. И у нее могли бы быть подчас поводы к неудовольствию. В периоды напряженной работы Б. Н., например, дни и ночи у нас смещались. А от «стариков» (как мы их называли) нас отделяла только тонкая дощатая перегородка, не доходившая до потолка. Слышно было каждое слово, сказанное даже шепотом, каждый шорох и шаг. Мы же часто — правда, с их разрешения — вели себя ночью как днем: говорили, смеялись, Б. Н. читал вслух или рассказывал. Часа в два я подогревала для него ужин, ходила то в кухню, то из кухни, за одним, за другим. Никогда никаких замечаний.

Иной раз после работы Б. Н. так и не засыпал. Он раздевался, ложился в постель. Тушил даже свет. Но сна не было. Я слышала, как он в темноте беспрестанно ворочается, нащу-

пывает коробочку со спичками, зажигает папироску. Надеясь, что он все же уснет, я молчала. Но часов в шесть, когда Елизавета Трофимовна начинала вставать и за стеной раздавался ее топот и неистовые утренние зевки, я окликала Б. Н. Мне отвечал измученный голос:

— Да, не сплю. Нельзя ли чайку? Глаз не сомкнул...

Я шла в кухню:

— Елизавета Трофимовна, можно самовар? Б. Н. не спал. Просит чайку.

В ответ раздавалось с сочувствием несколько хриплое:

— Ааа! Не спал! Сичас вздую. Мигом поспеет. Как же без чаю, не спавши-то.

Но бывало и по-другому: утренний чай отодвигался часов до двух дня. Это значило, что Б. Н. часов в 6—7 заснул. Часам к 10-ти Елизавета Трофимовна, как обычно, приносила мне самовар и отправлялась в утренние походы: за молоком, керосином, хлебом и просто за разговорами и новостями. Часам к двум возвращалась. Я опять шла к ней.

— Елизавета Трофимовна, Б. Н. еще спит. Очень поздно заснул. Думаю, что скоро проснется. Самовар надо бы подогреть.

— Што ж, подогрею, — миролюбиво соглашалась Елизавета Трофимовна. — Долго ли мне. Нагребу жару из печки... В момент зашумит. Вы только скажите... Что ж это он? Голова, штоль? Али работал опять?..

Первое время, еще не зная Елизавету Трофимовну, я говорила ей, что у Б. Н. часто болит голова и что от этого он просыпает. Но когда мы привыкли друг к другу, я ей прямо сказала, что у Б. Н. такая работа, при которой никак нельзя вставать всегда в одно время и в одно время ложиться. Она поняла. В этом отношении мы, действительно, жили текуче. И при другом характере хозяйки с нею могли бы быть постоянные осложнения.

Впрочем, такие полные перекувырки, как чай в 7—8 утра или в 2 часа дня, случались нечасто. Б. Н. все же стремился «удержать себя в берегах». Он рассчитывал дневную рабочую порцию и распределял ее так, чтобы окончить к двум, самое

позднее к трем часам ночи. Потом ужинал и выходил «на простор: угомонить свою голову».

Сколько разных ночных часов провели мы на кучинском дворике (он же был сад): туманною осенью, душистой весной, в зимних снегах и метелях и в мягкой влажности подмосковного лета. Сколько тихих незабываемых разговоров. Нет... мне не под силу еще говорить об этих навсегда отлетевших часах. Я все еще слышу рядом с собою легкую поступь. Рука моя лежит в милой горячей руке. Из-под полей шляпы четко рисуется профиль. И, не видя, я вижу сияние глаз, свет улыбки, озарившей лицо.

Тихий дворик, березы, ели, рябины. Свет из маленьких окон соседнего домика, где болен ребенок (об этом рассказала Елизавета Трофимовна, когда мы удивлялись, кто это так долго не спит), темные дачки, где все уже спят, сараи, заборики, погребок, бочка, лопата, топор, кладка дров, куча сваленных бревен. И небо и ночь — надо всем.

Нет... Возьму лучше «Маски». И словами Б. Н. попробую рассказать об одной такой ночи.

Иногда за дверями встречала метель: прядали «белые ворохи... двери шарахая» (193); «Винт снеговой, развизжась, полетел из-под ног...» (201); моргала «метель теневыми, домовыми окнами» (259); «И — ...никого; только на леднике... на целый аршин — снеговина, как белая митра, надета. И кто-то — встает от нее и рукой снеговою и строгою в снег — подымит!» (195); «Ясная пляска алмазных стрекоз и серебряных листьев... пырснула в веко: кипела под веком» (234); «Снежные гущи посыпались пуще...» (236); «В белом кружении светы прорезались...» (276—277); «На стеклах алмазится молния» (278); «Серебéрни струят по стене... кисея с кисеи под ногами снимается... веер открылся из кружев над домиком. Нет его. Нет и метели; и месяц упал: синероды открытые...» (278).

Иногда синероды открытые сразу являлись за дверью: «Вогнутая глубина кособоко спускалась над крышами; синяя вся, — издрожалась она самоцветными звездами...» (310); шел «мимо дров, вдоль забора гвоздистого... инеями обвисали деревья» (310); «Сугроб за сугробом с соседних пустующих двориков

встал за забором...» (195); «...влеплена бочка в сугроб» (277); «...вон — колун стоит в снеге; песок для усыпа (дорожки. — *К. Н.*) в ведре; и лопата... в снег воткнута, перекрестяся с метлой...» (203).

Выходил за калитку: «Сплошным самоцветом дышала вселенная» (310); «пал Млечный Путь» (310); «крупные звезды... в черных пустотах, как в бархатах...» (311); «от мрака и выблесков в ухе как взвизгнет: стрижи над крестом колоколенным так пролетают, как над головой эти дико визжащие звезды; — казалось ему, что за звезды пророс головой. И глаза опустил...» (312)*.

Отдаваясь ночной тишине и «головой прорастая за звезды», Б. Н. отдыхал. Кипение мысли, перебой расстучавшихся

---

*Один из читателей «Масок» отметил эту «неправдоподобную» фразу: «Где ж это видано, чтобы звезды визжали!.. Хоть и художник, а правды все-таки должен держаться». Для таких любителей правды убедительны факты. Вот один такой факт. В «Известиях» 1 марта 1934 появилась заметка: «Поющие звезды». В ней говорится: «Сегодня, в 18 часов 25 минут, через станцию РЦЗ редакция „Последних известий по радио" проводит передачу из Пулковской обсерватории. Будут включены залы обсерватории, чтобы произвести опыт превращения световой энергии небесных светил в звуковую. Если будет хорошая погода и опыт удастся, радиолюбители услышат так называемый *голос* луны и звезд». Дальше рассказывается о самой технике производства таких опытов и в заключение говорится: «Опыты трансформации световой энергии небесных тел уже производились. Во второй половине прошлого года Пражская обсерватория провела специальную передачу под названием „Поющие звезды"»[86].

А вот и другой факт. В статье «Типы высшей нервной деятельности» («Известия», 1935. 30 июля, № 177) И. П. Павлов писал: «Две тысячи лет тому назад величайший — именно художественный, а, конечно, не научный — гений древней Греции среди необъятного разнообразия вариаций человеческого поведения мог уловить его основные черты в виде четырех темпераментов. И только теперь изучение высшей нервной деятельности... в состоянии подвести под эту систематизацию физиологический фундамент».

Таким образом, Павлов утверждает, что художественное восприятие может опережать научное объяснение. И при современных ускоренных темпах жизни, вероятно, не придется ждать «две тысячи лет», пока наука подведет свой «фундамент» под то, что — говоря словами Павлова — могло уже уловить ухо художника.

ритмов стихали. Он с наслаждением ходил вперед и назад по дорожке. И все никак не мог оторваться от благодатной прохлады.

Возвращался домой освеженный. Делал еще легкую гимнастику, чтобы окончательно разогнать застой крови и ослабить напряжение мышц в груди, в позвонках шеи, в пальцах, в кистях. Особенно любил то движение, которое называл «стряхиванием», и весело уверял, что этим он сбрасывает с себя последние сгустки усилий рабочего дня.

На ночь в постели читал что-нибудь легкое: путешествия, мемуары, роман с занимательной фабулой. Изредка брал с собой рукопись: посмотреть и подумать. И тогда неизбежно кончалось бессонницей. Но бывало и так, что после прогулки он уже ничего не читал и тушил свет, не желая спугнуть *многодумной* ночной тишины и ночной красоты, переполнившей сердце.

За эту возможность в любую минуту «шагнуть за порог и прикоснуться к природе» Б. Н. так любил и ценил свой «кучинский угол». Для него «мечтою всей жизни было забраться куда-нибудь в глушь и оказаться поближе к природе, к нормальным условиям жизни». Городские условия были трудны для него. Город его разбивал. Своей *аритмией*, своей неугомонной толчеей возбуждал и утомлял его нервы. Б. Н. слишком горячо на все откликался, не умел отказывать, не умел изолировать себя от городских злободневностей и постоянно вовлекался «в рой забот и хлопот». Эти рои прежде всего прямо мешали работать; а неуверенность, что рабочий день пройдет без зацепок, держала в постоянном напряжении и мешала свободно отдаться настроению работы.

С другой стороны, те развлечения, которые мог бы дать город, тоже не снимали усталости. При темпераменте Б. Н. встречи с людьми, театры, музеи, даже концерты не были отдыхом. От всего этого он только больше еще уставал, и каждое восприятие этого рода вело к новому напряжению, тем более сильному, чем ярче было полученное впечатление.

— Никто не знает, — роптал Б. Н., — какой я тихий, размеренный человек, как для меня важен ритм. Не могу я по щучье-

му зову лететь и метаться туда и сюда, от одного важного дела к другому, не менее важному. Эдак ноги протянешь. Все важно... Везде поспевай. А твое кровное дело стоит. Рукопись праздно пылится. Вот уже два дня не притронулся к ней: работать нельзя, — и кончал постоянным припевом: — Нет, надо в деревню бежать.

Когда в конце лета в 25-м году решилось, что на зиму удастся-таки устроиться в Кучине и что этот приют может быть долговременным, Б. Н. был счастлив[87]. Он почти не верил, что это действительность, а не простые предположения и разговоры, которые и прежде не раз у нас с ним поднимались, но из которых до сих пор ничего не выходило.

В Кучино влекло Б. Н. вовсе не желание одиночества. Он любил людей и в общении с ними нуждался. Но ему было дорого здесь, что он может в любой момент «окунуться в природу»: встать от рукописи и с расстучавшейся головой выйти прямо под небо, под звезды, под солнышко, в шепот берез, в ароматные травы; присесть на пенек и задуматься «так себе»: ни о чем; или вовсе бездумно понаблюдать на лужке, как уставились лбами друг в друга две молодые козы, как скачет теленок, как носится среди кустов, закрутив хвост кольцом, разыгравшийся песик. Во всем этом был отдых, успокоительное отвлечение, живое переключение внимания.

— Больная собака ищет травы, которая ее исцеляет, — говорил Б. Н., будто оправдываясь. — Во время работы я — такая больная собака. И я знаю, что может меня исцелить.

СТИХИ

Есть бытие... Но именем каким
Его назвать...[1]

По счастливой случайности у меня сохранилась одна любительская карточка Б. Н. Он сидит за столом в домашней любимой суконной толстовке и в бархатной шапочке. Глаза опущены в рукопись, над которою он наклонился. В руке, положенной на листы, папироска. Плечи устало опущены. Но лицо спокойное, сосредоточенно строгое. А в сдвинутых крепко бровях и в морщинке, прорезавшей лоб, проступает что-то незримое, что превращает видимый, внешний покой в углубленную напряженность работы.

Мне особенно дорога эта карточка. В ней для меня запечатлено очень многое... Привычный, знакомый образ. Как часто видела я его таким именно. Затихший, весь ушедший в себя, далекий, далекий от всего, что его окружает. И очень спокойный.

Он любил говорить, что во время писания стихов «приборматывает». Вероятно, так это и было внутри. Вероятно, так явственно слышал он то, что тогда в нем звучало. Может быть, про себя он что-нибудь и произносил. Но внешне это не проявлялось. Напротив, он сидел совершенно спокойно, почти неподвижно. По временам только что-нибудь быстро записывал и опять застывал. Я ни разу не видела, чтобы он откинулся в кресле, ища нужное слово, или отбивал ритм ногой, отстукивал карандашом или пальцами или раскачивался в такт слагавшимся строчкам.

Никаких посторонних движений. Побледневший, весь стянутый в точку внимания, он, казалось, о теле забыл.

И только особенная, нараставшая вокруг тишина показывала, что он далеко, далеко от нашего домика. И там, в каких-то ему лишь открытых мирах, развивает теперь энергию своих действий, от которых тишина углубляется и непрерывно и странно растет.

Да, тишина... Но какая? Как передать ее качество? То необычное, что ее насыщает, что разливается в комнатах и вызывает в душе волненье до трепета, а сердце заставляет ускоренно и напряженно стучать. Так бывает во время горной грозы, где стихии подходят вплотную, где заряженный электричеством воздух отнимает дыхание.

Безмолвие комнаты колебалось гулом взволнованных ритмов. В сквозной немоте звучно гремели раскаты каких-то нездешних орга́нов. Разгорались и гасли вспышки нездешних зарниц.

А Б. Н. становился все тише. Сидел, как изваянный. Но казалось, что он теперь центр огромной сверлящей воронки, втянувшей в себя весь огонь его жизни, весь жар его слов и бросающей от себя вихревые спирали.

Он затихал. А спирали летели все шире, все выше. Неслись, и неслись, и неслись. Уносились к пределам вселенной, к «стародавним огням Зодиака»[2]. Там, в безмерной дали, все кружилось, роилось и реяло. Заплеталось в певучие хороводы анапестов, ямбов, хореев. Шло в торжественном строе молоссов[3]. Ассонансы сверкали причудливой нитью, как сквозящий узор драгоценной парчи, и нежно горели жемчужные отсветы «светов» — бирюзовых, сиреневых, розовых, — будто далекое солнце играло на снежных, далеких венцах.

Все это готовилось хлынуть, залить своим звоном и радугой белый бумажный листок.

Мне не хватало дыхания.

А Б. Н. был все так же спокоен и сосредоточенно строг. Только тени вкруг глаз углубились, и еще побледнело лицо.

Я не могла ни читать, ни даже думать. Садилась с ногами на постель против двери в комнату Б. Н., откуда видела его склонившийся над столом профиль.

Не хотелось ни шевелиться, ни двигаться. Самой замереть и притихнуть, чтобы не помешать, не спугнуть.

Смотрела и слушала. Что?

Припоминались слова: «Ток высокого напряжения. Не подходите. Смертельно».

Эти слова Б. Н. прочел на одной из дверей в помещении ЗаГЭСа, где вдоль стен залегали, как молчаливые змеи, огромные сероватые кабели[4].

Б. Н. был поражен «адекватностью» этого выражения: он знал, что ток высокого напряжения существует не только в машине. Он действует и в человеке.

И я видела его в человеке. Во мне твердилось невольно: «Не подходите... Смертельно...» Но почему?

Ведь перед глазами был тот же склоненный, задумчивый профиль, отсвет лампы на бархате шапочки, легкий очерк плеча и руки с папироской.

Изредка он вдруг вставал, точно поднятый внутренним вихрем. Делал из кресла крутой поворот и шел по комнате волевым, решительным шагом, глядя прямо перед собой, но не видя. Шел с непередаваемым выражением лица, весь натянутый, как стрела, распрямившись и крепко сжав крест-накрест ладони несколько выдвинутых вперед рук, точно в них поставил упор против охватившей его внутренней бури.

Делал два-три шага и, так же непроизвольно рванувшись на повороте, под острым углом бросался к столу. Еще на ходу наклонялся к бумаге, пристально вглядывался и так застывал, не разжимая рук. Потом, все еще стоя, начинал торопливо записывать. И только через некоторое время автоматически, как сквозь сон, опускался на кресло.

Иногда я спрашивала его после — зачем он вставал и куда так решительно шел? Он удивлялся: «Разве вставал? Да нет же! Совершенно не помню».

Черновые наброски стихов начинались очень часто на полях или между строк книги и шли вкривь и вкось[5]; а если на отдельном листе, то — все равно — как попало, случайно, как

ляжет бумага. Лишь бы скорее, лишь бы не упустить. Не буквы, а какие-то неопределенные знаки, петли, крючки. Слова не кончались, строки тем более. Если под лист попадала резинка или коробка со спичками и бумага вздувалась горбом, то так и писал, ломая карандаши, разбрызгивая чернила. Догадаться, в чем дело, — не было времени. Только сердился на «досаднейший горб». При новой кляксе громко вскрикивал: «Ай!» и продолжал спешно записывать в самой неудобной позе, отчаянно вывернув руку. То же было, если книга попала под локоть или папка закрыла угол листа. Писал на весу, кое-как приткнувшись, весь поглощенный процессом сложения строк.

Я подходила, чтобы убрать помешавший предмет. Тихонько расправляла бумагу. Обычно он этого не замечал, даже не поднимал головы, лишь машинально передвигал поудобнее руку. Иногда произносил рассеянно, точно издали: «Спасибо». Иногда даже этого не было*.

По временам он отрывался от листа, схватывал первый попавшийся клочок, конверт, повестку, даже папиросную коробку, спешно набрасывал несколько строк и возвращался к листу.

Черновики представляли собой переплетение тонких линий и стрелок, на которых, как крупные виноградины, повисали островки словесного текста. Островки были разбросаны вправо и влево, шли наискось восходящею лесенкой и кривыми уступами вниз из угла в угол, заполняя все свободные места. Расшифровать такую страничку действительно мог только тот, кто ее записал.

Он показывал мне перечерченный листик:

---

*Я была очень удивлена, когда в «Wahrheit und Dichtung» прочла почти то же самое. Гете рассказывает о себе: иной раз ночью, чтобы успеть записать зазвучавшее вдруг стихотворение, «я бежал к пульту и не давал себе времени поправить криво лежащий лист, а так и писал, не трогаясь с места, все стихотворение с начала до конца наискось, по диагонали. По той же причине я охотнее схватывал карандаш, который мягче ложился на бумагу. Я уже знал по опыту, что царапанье и брызги пера могли разбудить меня от моего поэтического сна, рассеять, и маленькое произведение оказывалось тогда убитым при самом своем зарождении»[6].

— Взгляни! Видишь, почему я утверждаю, что мои черновики бесполезны... Я ставлю лишь вехи... Они условны. И внятны лишь мне. Другой не распознает, что здесь к чему, как он ни ломай головы. Вот почему беру их и уничтожаю со спокойной совестью...

Он улыбался лукаво, чуть-чуть задорно. Приносил пачку листиков и сам бросал в горящую печку.

— Вот, — концы в воду...

Смеялись глаза. А облачко грусти вдруг набегало на лоб, и легкая горечь сквозила в улыбке.

Он опускался на корточки — его любимая «уютная» поза, и молча следил, как задрожавшие листики, ярко вспыхнув, рассыпались ворохом черной золы, а золотисто-красная змейка, капризно извиваясь, перебегала по загибавшимся уголкам.

Когда все сгорало, он поднимался и легким движением головы, как бы отогнав от себя невеселые мысли*, возвращался к столу.

Когда стихотворение было окончено, он прочитывал его мне, выходя в мою комнату. Он не любил читать что-нибудь новое сразу же там, где оно написалось.

Этот облик Б. Н. я потом хорошо уже знала, но *привыкнуть* к нему не могла. Каждый раз он поражал меня заново. Это был Б. Н., и — я *не узнавала* его. Словно в нем проступал какой-то другой его облик, в обычной жизни не видимый. А может быть, это во мне на миг открывались другие глаза.

Вот фигура его появляется нá освещенном квадрате дверей. Он стал точно выше, шире в плечах. И мягкие складки толстовки напоминают другое какое-то одеяние. В руках он держит листы... Но нет, не листы. Он несет дар, который хочет отдать. В лице его строгость, сила и тишина. Он весь еще точно за гранью обычного мира.

«Есть бытие, но именем каким его назвать?»

Это длится мгновение. Вот он уже сел и читает. Такой же открытый, простой, как всегда. А я все еще сижу потрясенная, хотя вижу: теперь он вернулся. Он здесь.

---

*О «никчемности» большинства литературных работ.

В своих воспоминаниях Б. Н. сказал о Гершензоне: «одарял своей мудростью»[7].

О Б. Н. мне хочется сказать: одарял своим светом и жизнью.

В 1936 году при обработке архива Б. Н. в ГЛМ мне пришлось ближе прикоснуться к «Зовам времен» и я попыталась установить связь между отдельными стихотворениями этого его последнего сборника и их первоначальной редакцией в «Золоте в лазури»[8].

Работа Б. Н. проходила у меня на глазах. И я попробую о ней рассказать.

Прежде всего: отыскивая «золотолазурную» первооснову «Зовов времен», я не противоречу ему, а, напротив, хочу подтвердить и показать на примерах то, на чем он так настаивал: «Зовы времен» — это не новая книга, созданная в 1929—1931 гг., а то же «Золото в лазури», но претворенное, переплавленное *все целиком, начиная с заглавия*. Изменялись и исправлялись не отдельные погрешности, не слова или рифмы. Переплавлялась вся ткань, все построение книги. И сохранялась лишь тема, которая возникала в своем первоначальном звучании очищенной после «искоренения ужасов первой редакции» («Зовы времен». Предисловие)[9].

Отдельные, печатно закрепленные строчки «Золота в лазури» были только предлогом, отправною точкой. Работа же шла целиком, над всем поэтическим материалом, как бы растворенным и заново оживающим в памяти.

В этом «моральном усилии» воскрешения прошлого и была, по словам Б. Н., главная трудность задуманной им работы[10]. Нужно было переключиться, закрыть в себе настоящее и, опустив занавес, не примешать ничего от «сегодня» в то, далеко отошедшее. Нужно было войти в атмосферу 1900-х годов, в переживания двадцатилетнего юноши и только выявить «набившею опыт рукой» мир тех звуков и образов, которыми юноша был переполнен, но по неопытности и слишком большой непосредственности не сумел тогда их отразить и сказать о них внятно.

Это возвращение в минувшее было возможно лишь при той особой культуре памяти, которой Б. Н. так необыкновенно владел. Он пишет об этом: «...допускаю: не всякому присуща способность живо нырять в прошлое с тем, чтобы приобщать его к настоящему; мне — присуща» («Зовы времен». Предисловие)[11].

Я видела его в такие минуты. Он, действительно, жил тогда не в одном настоящем. От него веяло эпохой Зари. Прошлое словно вернулось и зазвучало опять. И я видела, как редакции 1929—1931 гг. и даже новые, написанные в это время стихи органически вырастали из общего фона ожившего времени, из которого впервые, почти 30 лет тому назад, рождалось «Золото в лазури».

И было бы совершенно неправильно, было бы, по словам Б. Н., «грубейшей ошибкой» понимать иначе то, что им сделано в «Зовах времен».

«...если бы он (автор. — *К. Б.*) писал, исходя из современности, он не вписал бы ни одной строчки, подобной вписанным в новой редакции» («Зовы времен». Предисловие)[12].

Этим словам нужно поверить. Нужно в них вслушаться. *С ними считаться.*

Б. Н. писал о том же и еще раньше — в 1920—1921 гг. — в плане издания своих сочинений. Тогда он тоже начинал переделывать «Золото в лазури»; и эта работа окончилась тем, что из нее вылилась поэма «Первое свидание»[13].

Так же почти было теперь: потому что «Зовы времен» это, в сущности, тоже поэма или «единый цикл», как и определил его сам же Б. Н. Иначе он называл еще «Зовы времен» биографией лирического поэта.

День за днем совершался у меня на глазах удивительный процесс претворения одной книги в другую. Происходило то, что я про себя называла «золотой перелив», «золотой перезвон». Потому что в те дни вокруг Б. Н. все действительно переливалось, лучилось, звенело и пело.

Над расплавленным морем музыкально ожившей стихии возникали десятки мгновенных редакций, как всплёски, как гре-

бешки разбегавшихся волн, и тут же опять распадались, чтобы тотчас же снова сложиться в узоры чудесных, неузнаваемых форм, как бесконечная цепь исчезновений, рождений и смен.

То, что казалось уже успокоенным в книге, застывшим в формах отдельных стихов, теперь вновь закипело, задвигалось, будучи брошено в творческий горн его памяти.

Не только Б. Н., но и я будто видела это движение, слышала звон золотых волн в лазури, шум светом бьющей стремнины, гуденье далеких рогов.

Я будто слышала, как в его мысли неразделимо и цельно, всей своей массой, всей силой своего мятежа, своей молодо закипающей бурей «Золото в лазури» с пением, звоном и блеском перетекало в прозрачные, легкие и строго-скорбные формы «Зовов времен».

«Золото в лазури» — это хаос непосредственно брошенных на читателя переживаний, в которых сам автор никак еще не разобрался.

«Зовы времен» — продуманный и углубленный *показ* содержания и смысла этих переживаний.

И я видела, как эмоциональный душевный надрыв углублялся в трагически грозную тему страдания, как случайно разбросанные и хаотично мутнящие светлую ткань лазури и золота клочья туманов и темные пятна сомнений и сумраков стягивались и отводились в отделы: «Трепетень», «Белые стихи», «Черч теней», после чего светотень распределялась закономерно и стройно и лишь подчеркивала воздушную легкость «Летних блесков», и вспышки летучих лучей, и снопы света, высекаемого над «Молниями лет» (первый и седьмой отделы).

Или еще мне казалось, что он разбирает перепутанные цветные шелка и сплетает из них по теням и оттенкам новую ткань, где в живых сочетаниях и переходах тонов выступает неуловимый прежде рисунок.

«Зовы времен» — это только «высвобождение потенции», только раскрытие того, что было вложено уже в «Золото в лазури». Но там, по наивной неумелости юного лирика, было тогда или *недосказано* или *пересказано*.

И Б. Н. беспокоили и требовали исправления не отдельные строфы или слова, а вся композиция — звучание, тон, краски целого. Для него «Золото в лазури» было безнадежно испорчено не в частях, не в деталях, а в своем основном, в своей теме. Ему «было мучительно несоответствие между ритмами в становлении и ставшими строками» («Зовы времен». Предисловие)[14].

Вот почему он не ограничился тем, чтобы изменить или убрать ряд мелких штрихов, а заново, *композиционно* перестроил всю книгу. И насколько мог, «освободил бабочку» от скрывавшего ее тяжеловатого кокона[15].

Чтобы это было яснее я перечислю порядок отделов обеих книг:

«*Золото в лазури*»: 1. Золото в лазури. 2. Прежде и теперь. 3. Образы. 4. Лирические отрывки в прозе. 5. Багряница в терниях.

«*Зовы времен*»: 1. Летние блески. 2. Трепетень. 3. Возврат. 4. Белые стихи. 5. Черчь теней. 6. Исход. 7. Молнии лет. 8. Христос Воскресе.

Сам Б. Н. так раскрывает содержание «Зовов времен»:

«В этом издании я особенно продумал отделы, понятые как единый цикл; стихотворение вытекает из стихотворения; выхваченное из цикла, оно теряет; отдел — этап настроения в целом книги; это целое — лирически переживаемый некий строй отношения к жизни юного лирика 1903 года; более поздние стихи лишь дописывают то, что было вписано некогда в (этого. — Ред.) лирика; „Христос воскресе" коренилось в Белом еще в 1903 году; оно лишь — из 1918 года — подчеркивает отдел „Молнии лет".

„*Летние блески*" — еще не омраченная ничем легкость, юность в восприятии природы и жизни; „*Трепетень*" вносит первые тени разъеда, разочарования и бегство к иллюзиям вымысла; „*Возврат*" — вымысел, которым, как плащом, закрывается уязвленный жизнью; „*Белые стихи*" — разъед самого вымысла; жизнь — носорог, втыкающий рог в мудреца; „*Черч теней*" —

страх, упадок, разочарование, тема смерти; „*Исход*" — из смертного к природе как зову духа; „Молнии лет" — осознание зова, ведущее к теме „Христос воскресе".

Это — лейтмотив, звучавший и в „Золоте в лазури", но там он заляпан кляксами технической беспомощности, задымлен туманом неосознанности; в 1931 году старик интерпретирует юношу, как бы говоря: „Вот в чем было дело в 1903 году"»[16].

Дальше он темпераментно заявляет, что его приводит «в бешенство» безвкусица иных рифм и образов, раздражает «чахоточное хныканье сутулого интеллигента» с его золотою бородкою[17], — все эти больные души и думы, смертельные муки и скуки, долины скорби, потоки слез и рыданий, плюс инвентарь ненужных и к тому же еще неумело расставленных пышностей, вроде: скипетры, тоги, миро-винные зелья, волшебно-пламенные вина, роскошные приюты, обители волшебств, пенно-золотые каскады, изысканные ткани, ярко-огненные банты, и пр. и пр.

Список грехов «Золота в лазури» удлинялся. Б. Н. не знал к себе жалости.

После этих слов ясно, в каком направлении, в общем, шла работа. Но передвижение разволнованных строчек и ритмов закреплялось в новые формы стихотворных единств самым сложным и трудно уловимым путем. Вернее здесь будет говорить не о «переработках», а только о *связях*, о *напоминаниях* и *намеках*, которые позволяют в «Зовах времен» расслышать звучания, угадать образы «былого» «Золота в лазури».

Итак: только намек, только напоминание.

Не говоря уже о том, что почти невскрываемы корни* стихотворений, помеченных датой 1929 или 1931, но даже и те, что подписаны двойной датой, означающей год написания и год переработки, трудно сводимы к своим первоистокам. От каждого почти простираются нити к ряду страниц «Золота в лазури» — к двум, трем, пяти и скольким еще разным стихотворениям. И наоборот: настроение, образы, рифмы какого-нибудь одного отрывка «Золота в лазури» проплетают и входят в об-

---

*Эти «корни» — вся в целом эпоха зари, 1900-е годы, начало века.

разование двух, трех и скольких еще новых стихотворений или даже отделов и циклов в «Зовах времен».

И чем более вглядываешься в состав этой книги, тем яснее становится, почему под «Золотом в лазури» Б. Н. понимал не этот, вышедший в 1904 году сборник, а *тему* — круг тем, лейтмотивов, взятых в определенной тональности, которую он называл «золото-лазурной», в отличие от другой, тоже большой, но позднее раскрывшейся темы «Звезда над Урной», в которой объединилась главная масса стихотворений из «Пепла», «Урны», «Звезды», часть «После разлуки», отдел «Прежде и теперь» (из «Золота в лазури») и поэма «Первое свидание». «Звезда над Урной» стало названием предполагаемого II тома стихов, которого Б. Н. не успел переработать[18].

Вот почему в «Зовы времен» — I том — он включил ряд стихотворений, написанных после 1904 года и помещенных в других сборниках, но внутренне относимых им к кругу тем «Золота в лазури».

Самое название «Зовы времен» приобретает особый смысл и значение, если вспомнить, что заглавие первого цикла стихов, с которым Б. Н. выступил как поэт в 1903 г. в альманахе «Северные цветы», было «Призывы»[19].

В этом названии — «Зовы времен» — уже можно расслышать развернутое повторение, своего рода конкретизацию или осознание того, что было услышано в 1903 году как «Призывы».

Я не буду здесь останавливаться на этом подробнее и только скажу, что *голос, звук, зов, призыв* пронизывает собой не только поэзию, но и прозу Б. Н. и появляется в особенно важных и глубоких местах.

Мне кажется, что это и было «лица необщим выраженьем» музы Андрея Белого, — жестом ее индивидуального стиля[20].

Перехожу к характеристике отдельных приемов и способов работы, произведенной Б. Н. при образовании текстов «Зовов времен».

Чтобы избежать слишком сухих и жестких формулировок и слишком узкой определенности, которая заключается в слове

«переработка», я чаще всего пользуюсь музыкальным термином «вариация на тему». Оно больше передаст ту неуловимо легкую и вместе с тем из глубины идущую связь, которая здесь проступает.

В тех случаях, когда эта связь, так сказать, более «очевидна», где она ближе к поверхности, так что ее можно проследить в заглавии, в строчках, в размере, — там я беру пока временно, за неимением лучшего: «переработано из...». Но понимаю это выражение опять-таки лишь как намек, как направление в поисках или, как любил говорить Б. Н., — «протягиваю указательный палец»: вот откуда можно начать поиски. И только. Ссылка на связь с данным стихотворением не должна ограничивать и исключать другие возможные и несомненно существующие в его замысле связи. Например: «Овес»; «Грозовое облако»; «Старое вино»; «Ананас»[21].

В тех же случаях, где «концы глубоко спрятаны в воду» — по выражению Б. Н., — то есть в некоторых стихотворениях с двойной датой, а иногда и в тех, где поставлен поздний год написания (1929 или 1931), — я все-таки порой указываю на первоисточник и отмечаю тогда: «развито из строк» или «развито из строфы» и привожу эту строфу или строки. Например: «Над рекою» («Золото в лазури», 171. «Осень», IV). Брюсов. 5. («Золото в лазури», 26, 39)[22].

Делаю это *чаще всего* на основании черновых записей, набросков вариантов, сохранившихся на полях и между строчками в личных экземплярах Б. Н. или на вложенных в эти книги и случайно уцелевших листках; иногда же просто по памяти.

Когда я вскрываю текстовую переплетенность «Золота в лазури» и «Зовов времен», то делаю это не как литературную работу, а как *воспоминание*, — прежде всего для себя и для любивших Б. Н. друзей. Я знаю, что им, как и мне, будет дорого *узнавать* в новом облике хорошо знакомые «угловатые строчки»*, припоминать наивность и даже гротескность иных выражений, и снова встречать «грустно-задумчивый зов» его нежности.

---

*Брюсов.

В свое время я ничего не записывала. Этого не вернешь. Но, очевидно, многое помимо воли запомнилось, отложилось во мне бессознательно. И хотя сперва я не всегда могу ясно сказать, почему ставлю в связь два какие-нибудь стихотворения, но внутренно знаю, что это именно так.

Я долго вчитываюсь в строчки «Зовов времен» и вдруг начинаю — за ними или как бы сквозь них — слышать встающие строчки «Золота в лазури». Нахожу их и проверяю себя: «Да, то!» Или: «Нет, не то!» И продолжаю читать, еще вслушиваться.

Может быть, это действует глухое воспоминание, отзвук того, что я когда-то слышала от Б. Н. и о чем позабыла в своей сознательной памяти. И вот теперь оно возникает.

Ведь так часто бывало: прочитав мне последнюю и окончательную редакцию, Б. Н. приносил «старое» «Золото в лазури» и, прочитывая оттуда параллельные отрывки, со смехом демонстрировал особенно «чудовищные гротески».

— Видишь сама, до чего доходило... Так и рубил наотмашь, сплеча... Простая душа... Каков вид, такова суть... Брюсов недаром в ужас пришел. Я и сам всю жизнь ужасаюсь и ахаю: вот так «Золото в лазури»!.. Нет, пока оно оставалось нетронутым, я не мог быть спокоен, нет, нет!..

Его слова глубоко запали мне в душу. Я их запомнила. Но еще глубже, вероятно, запали «демонстрируемые» им мне цитаты и помогли мне теперь отыскать верный след на слух. Там, где у меня нет этой внутренней уверенности, где память моя молчит, я не даю никаких указаний. Например, первое стихотворение «Зовов времен»: «Сердце». О нем до сих пор ничего не умею сказать[23].

Отношение Б. Н. к «Золоту в лазури» было таким острым и непримиримым, что он не удовольствовался самым резким его отрицанием в конце предисловия к «Зовам времен», где он пишет: «Со всею силой убеждения прошу не перепечатывать дрянь первой редакции <...> отбросам из утиль-сырья место — помойка, а не печатный лист»[24]. Даже этих уничтожающих слов ему было мало, и в экземпляре, который давала ему для рабо-

ты Е. В. Невейнова (своего тогда не было!), яростно крест-накрест перечеркнул заглавие книги, а внизу написал: «Сожжено!»[25].

Да, в трудное положение поставил Б. Н. нас и его будущих далеких издателей.

Б. Н. никогда не читал мне неоконченных черновиков, проектов намечаемой переработки. Он ждал, пока стихотворение сложится в целое и определится хотя бы вчерне. Но после этого чтения начиналась усиленная правка и переписка. Я не могу даже сказать, сколько раз Б. Н. переделывал и переписывал одно и то же: пять, восемь, десять. Я не преувеличиваю. Он был очень требователен к себе. И не жалел отбросить «пуды словесной руды»*[26], чтобы добыть одно *нужное* слово.

При переписке одно стихотворение неожиданно развивалось в два или — напротив — сжималось в строфу, чуть ли не в строчку, причем эту строчку он помещал в самом неожиданном месте, и она вспыхивала новым значением. Я удивлялась, что раньше этого не замечала. А он только смеялся:

— То ли еще тут запечатано... Да всего не раскроешь...

Иногда же из двух или трех стихотворений появлялось четвертое, неузнаваемо новое. Когда я протестовала: что же тут общего — и слова, и образы, и даже ритм — все другое, он казался довольным:

— Это-то мне и нужно. А то какая же переработка... Так только — легкая ретушь!.. А ты *послушай* — тогда найдешь, что общее — *очень* есть... — и перечитывал мне еще и еще раз.

Но бывало, я все-таки ужасалась, видя, как он безжалостно разрушает совершенно готовое прекрасное стихотворение, умоляла не трогать, оставить как есть и уверяла, что новыми перестановками можно только испортить[27]. Но он или молчал, как будто не слышал, или с неохотою коротко отговаривался: «Разве не видишь: не включается в целое. Ведет не туда!»

---

*Так Б. Н. перефразировал Маяковского.

Иногда добавлял так же коротко: «Подожди! Что забегаешь вперед... Я же знаю, что делаю...»

Брал рассеянно листик и уходил за свой стол.

Я не помню случая, чтобы он уступил, хотя уверял, что принимает в расчет мои замечания. Признаться, я этого не видела.

Но вот наконец он прочитывает мне окончательную редакцию. И я должна согласиться: да, *целое* выиграло. Б. Н. искренно радуется и торжествует; и только теперь, смягчившись, признает: «Правда, вылетели недурные куски»*.

Сличая варианты, введенные в «Зовы времен», можно заметить, как тщательно и продуманно Б. Н. производил эту работу.

Например, в стихотворении «*Пророк*» (взятом из «После разлуки»), которое состоит из девяти строф, изменена, кроме заглавия, всего *одна* строчка, заключающая в себе грамматическую неточность, что сказывается и на образе. Вместо:

И волоса, *как василиски,*
Взовьет горящая глава

в «Зовах времен» стоит:

И волоса — как василиски;
Как куст горящий — голова[29].

Самое заглавие «*Месяц*» вместо бывшего «*Пророк*» делает образ легче, чище и тоньше тем, что снимает с него внешнюю, подсказанную автором символику и дает его как непосредственное переживание природы.

Так же дорисованы образы в стихотворении «*Кроткий отдых*» («Пепел», 209) — в «Зовах времен» — «*Солнечный дождь*»[30]. Например, вместо:

---

*Особенно запомнились мне наши «бои» из-за сюиты «Брюсов»[28]. Над нею Б. Н. работал бесконечно много.

Только лен
Провевает атласом

в «Зовах времен»:

Только лен —
У ног провевает
Атласом.

Вместо:

Только бледно сияющий *круг*
В безответности синей

в «Зовах времен»:

Да *месяц,* — белеющий
Друг, —
Опалом очерчен
Из сини.

То же в стихотворении «*Поединок*» («Золото в лазури», 115), сохранившем свое заглавие, вместо:

Трубит печально *над провалами*
Загнутым рогом

в «Зовах времен»:

Трубит печально над провалами
Он длинным рогом[31].

Других вариантов нет, кроме того, что выброшены две строфы с ненавистными для Б. Н. рифмами: *гири я — валькирия*[32].

Ряд стихотворений дан в облегченном ритме более коротких строк. Например: «Кентавр», «Старинный друг», «Возврат» и др.

«Кентавр» («Золото в лазури», 124):

Был страшен и холоден сумрак ночной,
Когда тебя встретил я, брат дорогой.

в «Зовах времен»:

Серебряно плещет
Струя ручейка,
Два розовых блещут
Над ней мотылька[33]

«Старинный друг» («Золото в лазури», 138):

Старинный друг, к тебе я возвращался,
Весь поседев от вековых скитаний.

в «Зовах времен»:

И прах, и тлен...
Ощерились пещеры —
В гребнистый рой
Пустых великолепий...

И — сырость стен;
И — полусумрак серый;
И — та же вязь
На выщербленном склепе[34].

«Возврат» («Золото в лазури», 145):

Я вознесен, судьбе своей покорный.
Над головой полет столетий быстрый.
Привольно мне в моей пещере горной.
Лазурь, темнея, рассыпает искры.

в «Зовах времен»:

Над головой — огромные высоты.
И там внизу — окаменели скаты;
Мерцают вспыхом каменные гроты;
Играют светлой пеной водопады[35].

В последние годы Б. Н. особенно интересовал вопрос интонации и, в частности, вопрос интонационной архитектоники в лирике. Он много работал и думал над этим и искал *способов* музыкально, песенно динамизировать стих, снять с него каркас метрики и «провоздушнить» строку. Перед ним вставали задачи интонационной мелодики взамен правил канонического сложения стиха из его элементов: стоп, строк и строф.

Он подолгу взволнованно рассказывал мне, что нужно сделать для того, чтобы немое, печатное слово *звучало*, чтобы в нем отразился хотя бы намек на выразительность и живое движение песенной речи. Ведь лирическое стихотворение — это песня. И мелодия в нем важнее образа. «Все-таки стихотворение поется поэту всегда», — писал он в предисловии к «После разлуки»[36].

Но, отводя «казенный порядок» метрического канона, Б. Н. хотел не хаотического беспорядка произвольно разорванных строчек и строф, а закономерного распределения стиховых элементов, исходя из соотношения их со звучащей основой целого; другими словами — исходя из пересечения ритма со смыслом[37]. Это пересечение — инстинктивное или полуинстинктивное в самом процессе работы и только потом раскрываемое для сознания — он и называл интонационным, или ритмическим, жестом.

О своих исканиях он говорил: «Все, что я делаю, — только проба пера... Здесь я — Тредьяковский. Но я знаю, что время движется к снятию антитезы: поэзия — проза[38]. Снятие это — в интонации, в ритме. Но я не говорю, что нашел. *Я ищу*».

В думах о том, как донести до читателя то, что так явственно слышится внутренним ухом, он говорил, что поэт лишен тех выразительных знаков, которыми так богато снабжен композитор. Поэт — хотя и слышит — не может поставить: «аллегро», «crescendo», «фермата» или указать: «педаль», «трель» и т. д. Ему остаются знаки препинания. Но эти знаки, действительно, лишь не многим больше[39]. Они бледны и немы. С ними много не сделаешь. Ведь восклицание восклицанию рознь. И многоточие его не спасает. Лучше других *тире*[40], оно — взрез глубины, и все же шаг на пути к интонации; оно — знак: обратите внимание, остановитесь: что-то здесь происходит. Зато точка вполне *инкогнито*, нераскрытое *икс*. Как показать, что она четверть, восьмая или целая нота, и притом не одна, а, может быть, несколько. Автор все это слышит и внутренне знает. А читатель?

Передавать интонацию знаками препинания — это все равно что килограммами взвешивать на аптечных весах или метрами мерить камею.

В классических строфах, как их ни изощряй, тоже не отразишь волну голоса. Их монотонность сковывает глаз и звуковое дыхание. В них мало движения и совсем нет пространства. Глаз равномерно скользит по строчкам и передает уху однообразие своего движения «направо-налево, направо-налево». (Физиология знает, что слух и зрение в нас органически связаны.) И уснувшее ухо перестает слышать биение пульса в стихе; перестает отмечать взлет и падение голоса, «взмах размаха интонационной волны», обрыв в разъятие паузы или в бисер речитатива. Не различает острых изломов мелодической линии, напора ее восхождения, когда, нарастая, она поднимается к своей кульминанте, и ее разнапряжения, когда, спадая, она начинает затем медленно или «немедленно» угасать.

Несущественно, что одаренный чтец-исполнитель в лучшем случае кое-что угадает из намерений автора. Но читатель, — но все, все, все читатели, — как до них донести и как им всем передать эти живые оттенки?

Пока что только путем расстановки строк — *строчным расставом.*

Когда-то ровный строфический расстав был достижением; над ним много работали; он отвечал еще ритму недавнего времени. Оно текло медленно и спокойно, большими объемами.

Теперь пульс его бешено бьется, дыхание прерывисто. Об этом говорит Маяковский[41]. Явление его не случайно. Попробуйте уложить его в прежние строфы. Он прав. Он хочет свободно дышать, живо двигаться. Это возможно лишь во внутренне найденном — «индивидуальном» — строчном рисунке.

Что же — это не стих? Не поэзия? Нет, это стих и это поэзия. Строчный расстав Маяковского — не каприз, не выверт, не произвол. Это необходимость живого стиха, идущего вровень с ускоренным временем и стремящегося отразить свою *интонацию.*

В поисках интонационной расстановки, выявляющей ритмически смысловой акцент, Б. Н. исписывал не один лист. Он говорил, что, пока стихотворение не записано и глаз не пройдет по строчкам, как по своего рода нотным знакам, ничего еще нельзя сказать. Сперва их нужно *увидеть* и потом уже проверить по слуху, как в них уляжется голос. Он терпеливо записывал разными строчками одно и то же стихотворение, приносил *показать;* и сперва не читал, а раскладывал передо мной на столе и говорил: «*Взгляни!* Какое лучше *звучит?..*»

Он молча ждал, пока я все просмотрю. И только тогда брал тот лист, где ему самому расположение строк казалось наиболее удачным. После этого он прочитывал также и другие строчные редакции, соответственно изменявшие интонацию. Он хотел еще раз удостовериться в правильности своего выбора и уже «со спокойной совестью» отложить то, что не так прозвучало.

Бывали очень редкие случаи, когда в «Зовах времен» он не рассыпал, а собирал строки или писал простыми строфами. Например, стихотворение «Шут», имеющее подзаголовок «бал-

лада», он свел к ровным четверостишиям, в чем и заключалась вся переработка[42]. Правильное строфическое строение встречается в ряде стихотворений, датированных «1931». Например, восьмистишиями написаны «Старый бард», «Пародия»; пятистишиями — «Лес», «Рождество»; четырехстишиями — «День», «Андрон»[43] и т. д.

Чтобы показать значение расстановки строк для интонации, Б. Н. приводит в предисловии к «Зовам времен» две расстановки стихотворения «Жизнь» и подробно мотивирует, что побудило его изменить первоначальную форму ткани. В заключение он пишет: «В таночном расставе смысловая интонация смазана; в ней подчеркнута порхающая легкость; во втором расставе сорван покров с этой легкости; в первом расставе зрю быстрый порх мотылька, во втором зрю философическую углубленность порха; первый расстав — „allegretto", второй — „andante". Перед расставом я задумался над тем, что́ мне важнее подчеркнуть, и увидел — важнее подчеркнуть мысль, а не образ (иногда — обратно — важнее мысль утопить в образе); в расстановке слов поэт — композитор ритма; он сочиняет мелодию, вернее, ищет внешним ухом отразить свой внутренний слух»[44].

Вот эти две расстановки:

«Жизнь» (в сборнике «Звезда»)

Над травой мотылек —
Самолетный цветок...
Так и я: в ветер — смерть —
Над собой, стебельком,
Пролечу мотыльком.

«Мотылек» («Зовы времен»)

Над травой
Мотылек —

Самолетный
Цветок... —

— Так
И я: —

В ветер —
Смерть —

Над собой
Стебельком —

Пролечу
Мотыльком[45].

Б. Н. В ЖИЗНИ

Когда я перебирала ряд маленьких сценок из жизни Б. Н. и задумалась над тем общим, что их объединяет, во мне вдруг неожиданно вспыхнуло — *ренессанс*. Сперва это большое слово очень удивило, почти смутило меня, и я хотела тут же отбросить его, как случайно набежавшую мысль.

Но потом, вглядевшись поближе, я дала себе более ясный отчет в том, что мне невольно бросалось в глаза и останавливало мое внимание в ряде проявлений Б. Н.; я увидела, что это слово прозвучало во мне не случайно. В нем как бы оформилось и всплыло в сознании то, что давно уже жило во мне бессознательно и действовало как отбор впечатлений, отлагавшихся на протяжении лет.

При жизни Б. Н. этому, конечно, не было места в душе.

Но теперь, когда его нет, память выносит пережитое и невольно сопоставляет все мелочи; подводя итоги и делая выводы, я вижу то, чего не видела прежде, что отступало перед богатством его живого воздействия. Вижу шире и больше — и глубже. Мне открывается новый и неожиданный смысл многих его слов, поступков и действий, пусть самых маленьких и как будто случайных.

Я начинаю понимать, например, что мое внимание привлекала не только простота в обращении Б. Н. со всеми, не его особая деликатность и мягкость по

отношению к так называемым простым людям и даже не его человечность, а какой-то неуловимый оттенок, сквозивший во всем этом.

И теперь, в воспоминании, за всем этим встает для меня живой и единый, прежде несознаваемый фон, или звук, или веянье, — все равно как это назвать.

Мне ясно теперь, что меня поражало в Б. Н. не что его действий, а *как*. В этом *как* и слышу я явственно непосредственное, непроизвольное веянье той великой эпохи, которая утверждала достоинство человека и боролась за его освобождение.

Живое дыхание этой эпохи и волновало меня. Я чувствовала и воспринимала ее в Б. Н. всегда, а в иные минуты — с потрясающей силой.

Это и был тот высокий фон, который сквозил за всеми движениями его души, обращенной к людям.

В каждом он прежде всего предполагал и уважал — *человека.*

В этом не было ничего преднамеренного или надуманного. Это было так же естественно, как все в Б. Н. В «уважении к человеку» его природная мягкость сочеталась с основами его мировоззрения, где гуманизм, в самом широком значении, был решающей доминантой.

Начать с того, что Б. Н. ко всем решительно обращался на «вы» и нисколько не считался с тем, что порой это «вы» звучит очень странно и, может быть, даже не нужно. Но в этом отношении ему было решительно все равно, кто перед ним: деревенская женщина, принесшая молоко, сезонник, коловший дрова, мальчик-разносчик с корзиною «выборгских хлёбов», сторож, извозчик, наконец — даже нищий.

Я ни разу не слышала, чтобы Б. Н. сказал «ты» незнакомому — как он говорил — человеку. Тем более не было у него никаких «братец», «любезный» и других выражений в том же снисходительно-небрежном тоне.

Напротив — он становился каким-то особенно мягко вежливым, когда имел дело с теми, «чье человеческое достоинство не ограждено никакими внешними знаками» и где обществен-

ное положение дает одним видимое преимущество перед другими.

«Я еще должен посмотреть, кто заслуживает большего уважения: этот профессор или этот извозчик», — говорил он убежденно, иногда почти с вызовом.

Он старался быть «бережным» к людям. Конечно, при его темпераменте, при постоянной занятости своими мыслями, которые отвлекали его и делали непроизвольно рассеянным, при переполнявшем его и требовавшем себе исхода душевном богатстве это далеко не всегда удавалось.

С другой стороны, он порой пересаливал в своем обращении, предполагавшем ту степень сознательности, которой тут быть не могло. Но часто ему было не до того, чтобы различать и вдумываться. Он знал об этом и поэтому раз навсегда усвоил себе такую манеру, при которой «было бы возможно меньше шансов ушибить или обидеть другого». И он ко всем подходил одинаково. В этом сказывался еще его глубокий непосредственный демократизм. Для него, действительно, самое главное был *человек*, независимо от всех условностей и форм нашей жизни.

Помню, как в клинике, где Б. Н. провел свой последний месяц, он глубоко поразил приглашенного к нему парикмахера. В это время он был уже настолько слаб, что сам не мог бриться, а отраставшие волосы сильно его беспокоили, и он с нетерпением ожидал «избавителя».

Когда тот вошел и, поклонившись издали, хотел раскрывать свой чемоданчик, Б. Н. вдруг с ласковой улыбкой протянул ему руку и едва слышно сказал:

— Здравствуйте... спасибо сердечное... что пришли... — (он с трудом говорил).

Лицо парикмахера, молодого еще человека, покраснело и дрогнуло; он почти растерялся.

Эти слова, улыбка, жест руки, исхудавшей и слабой, едва отделившейся от одеяла, взгляд синих внимательных глаз, серьезно и прямо к нему обращенных, — все это было так неожиданно, так непривычно.

Когда процедура бритья окончилась и молодой человек вышел, порывисто и как-то бурно пожав снова поднявшуюся к нему руку, Б. Н. взглянул на меня и, как бы извиняясь, — врачи запретили ему все лишние движения, — тихо, но твердо сказал:

— Нельзя... Ведь — *человек*...

В ответ я могла только припасть к этой милой руке и заплакать, и невольно в душе прошла сценка из «Масок». Видный политический деятель, «князь», приезжает в лечебницу навестить больного профессора Коробкина, открытием которого он заинтересовался. При входе он «спотыкается», как об стул, о стоящую тут же сестру милосердия, «снисходительно» приветствует ее «самопроизвольно зажившею кистью руки», а «головой, улыбкой, склонением корпуса в это же время» с преувеличенной почтительностью устремляется к профессору.

Для «князя» «стулоподобные люди — как-то — фельдшерицы, — вполне не предмет демонстрации; они — претык... — Хладно потыкавши пальцем претык, — князь с порывом: к профессору!» («Маски», 171)[1].

Как-то осенью в Кучине пришел к нам маляр замазывать окна. Мы с Б. Н. как раз собирались гулять. Хозяйка ввела в наши комнаты тихого, очень бедно одетого человека. Он тут же завозился у подоконника со своей замазкою.

Я быстро оделась и вышла, а Б. Н. задержался, разыскивая, по обыкновению, затерявшиеся шапку, перчатки, кашне. Через несколько минут он появился, и мы отправились. Прогулка длилась часа два; о маляре как-то не было речи. Когда вернулись домой, он уже ушел, окончив работу. Хозяйка остановила меня в кухне и спросила таинственным шепотом:

— О чем это *он* говорил с мужиком? Как вы ушли, мужик-то ведь плакал. Сам мажет, а слезы-то: во... в кулак... И приговаривает: «Ну и человек... Это вот человек...» Я его: «Чего ты?..» А он замолчал... Головой только крутит...

Не передавая слов хозяйки, я спросила Б. Н., о чем у него был разговор с маляром.

— Да ни о чем. Я поздоровался. Предложил папирос, — (в это время с табаком было трудно), — и спросил, где он работает... Больше, кажется, ничего... А зачем тебе это?

И когда я рассказала, он сперва удивился; потом задумался и тихо, почти с болью, сказал:

— Как же мы слепы, рассеянны, замкнуты глухо в себе и небрежно небережны.

В «Масках» Б. Н. рассказывает, как Никанор, брат Коробкина, приласкал ненавидимого матерью полуторагодовалого «шиша» — Владиславика. Угрюмый, заброшенный «шишонок, свой носик задрав, кулаченочком трясся доверчиво под животом Никанора: — и зверь любит ласку!»[2]

«И зверь любит ласку» — в эти слова Б. Н. вложил очень многое. Он был глубоко убежден, что при нормальных условиях не только ласка, но простая приветливость имеют большое значение для совместной жизни людей и представляют собой уже мощный социальный рычаг, а не одно выявление личного прекраснодушия, не заслуживающее особого внимания.

Но он был очень вспыльчив и мог взорваться в любую минуту. Особенно же не выносил он несправедливости. И тогда вступался, несмотря ни на что.

Делаю выписку из воспоминаний Г. А. Назаревской[3].

«Помню: ночь в Коктебеле. (1924 г. — *К. Н.*) У Макса на вышке чтение стихов. Поэт Шенгели[4] читает стихотворение, незаслуженно оскорбляющее Горького. Кончил. Все молчат. Молчит и Макс — все принимающий. Взвивается Б. Н.:

— Макс, я уйду... У меня лампа, наверное, коптит...

— Что ты, Боря, она и не горит вовсе.

— Ну, я уйду все равно. Я не могу здесь оставаться. Я не позволю оскорблять русских писателей...

— Ну, Боря...

— Нет, я не могу... Это нельзя...»

Я не присутствовала при чтении и сидела у себя в комнате, когда бурей влетел Б. Н., за ним Марья Степановна, за ней, кажется, Шкапская[5] и кто-то еще.

Назаревская продолжает: «Б. Н. всегда выражал свое негодование прямо, но всегда старался не говорить лишних обидных слов тому, кто их заслуживал. Всегда протестовал горячо и в настоящем смысле — по существу.

И я знала: если Б. Н. сердится, значит, стоит сердиться, значит — кого-то или что-то важное принизили, незаслуженно оскорбили. И если внешнего ответа сразу не имела, не понимала сама, в чем именно суть, то ждала — и ответ приходил. Со временем всегда понимала подлинную причину его протеста».

Другой подобный же случай произошел опять в Коктебеле, но через девять лет, в 1933 г. Мы жили тогда в доме отдыха Ленинградского Литфонда[6].

Как-то вывесили стенгазету, где в очень резкой форме задели администрацию и некоторых из отдыхающих. Газета вызвала общее неудовольствие. Читали, качали головой, ахали. Но говорить окрыто не хотели: еще попадешь в историю. Статья была неприятная.

Б. Н. прочел ее, когда мы возвращались домой после завтрака, и тут же взорвался. Случайно кругом никого не было. Весь день я уговаривала его не вмешиваться. Я очень боялась за него, так как знала, чем кончаются подобные вспышки. Просила его беречь себя и подумать о своем здоровье. Он мрачно молчал. За обедом едва прикасался к еде и быстро ушел.

Я видела, что его не удержишь. И все-таки умоляла: «Обещай, что не будешь... Обещай...» Это было незадолго до 15 июля, когда с ним случится удар, и я пугалась его день ото дня растущей нервности и учащавшейся головной боли[7]. «Да, да», — отвечал он рассеянно. Но я видела, что он думает о своем и поступит по-своему, потому что иначе не может.

За ужином, когда все собрались, он громко выразил свое возмущение по поводу «недостойной статьи». Сперва соседи старались замять, перевести на шутку. Тогда он стал возвышать голос. И кончил громовыми раскатами, которых укрыть уже было нельзя. Около собралась кучка, ему жали руки, сочув-

ствовали. Кто-то захотел успокоить: «Чего вы волнуетесь, ведь вас-то не тронули...»

В ответ грянула просто гроза: «Вот именно потому, что меня не задели, я и могу говорить. И *должен* говорить... А вы этого не понимаете? Обидели людей, которые для нас трудятся, обидели Н. Н., которую мы все *знаем*... Но *меня* не задели. И я благополучно молчу... Так, что ли?» И долго еще негодовал.

Вернулся домой измученный, с головной болью, но удовлетворенный. Дело было сделано. Второго номера стенгазеты не появилось.

Но с такою же силой он мог вспыхнуть и из-за пустяков, когда сталкивался с тем, что он называл бесцеремонностью, праздным любопытством или навязчивыми приставаниями.

Тут он мог яростно раскричаться на незнакомую даму, *если она «бесцеремонно согнала»* его с любимого места на пляже. Мог стремительно выгнать от себя самоуверенного молодого поэта; с раздражением отмахнуться от приставаний неугомонной поклонницы.

Привожу запись Н. В. Богословского[8]:

«20-е годы... Политехнический Музей... Лекция Андрея Белого об Александре Блоке[9].

Движимый мальчишеским любопытством, я проник „за кулисы" еще задолго до начала лекции. Сквозь занавес сюда смутно доносятся голоса слушателей, заполняющих постепенно огромную аудиторию. Андрей Белый возбужденно прохаживается по коридору, готовясь к выступлению... То небрежно и рассеянно, то с преувеличенно радостной улыбкой он здоровается со знакомыми, тотчас же отходит от них, старается уединиться, шепчет что-то про себя, жестикулирует, не замечая окружающих, временами останавливается, припоминает что-то, снова принимается ходить...

Мимо него снуют устроители вечера... Раздаются звонки, предвещающие скорое начало лекции...

Поглощенный своими мыслями, А. Белый садится на стул у стены, близко к выходу на сцену. Тотчас рядом с ним усаживается пышная женщина с яркими губами. Это — жена поэта

И. С. Рукавишникова[10]. Сначала она силится молча обратить на себя внимание Белого. Она глядит на него восторженно, пьяно, влюбленно... Он не видит или, может быть, старается не видеть ее. Тогда она неожиданно обращается к нему почти с мольбой:

— Борис Николаевич, позвольте мне только посмотреть в ваши *лунно-лепестковые* глаза...

Лицо Белого искажается вдруг страдальческой гримасой...

— Ах, оставьте меня, — отстраняясь, громко и раздраженно говорит он ей, — оставьте меня, дайте мне приготовиться, уйдите от меня!*

На лице его — неподдельная ярость на пошлость поклонницы. Она обижена и смущена... Последние звонки... Белого зовут на сцену. Не обращая больше никакого внимания на Рукавишникову, он устремляется к выходу на сцену...»

Так безжалостно и бурно, не думая о последствиях, реагировал Б. Н. на то, что он называл несправедливым, бесцеремонным и праздным.

И совсем по-другому относился он к простым, непритязательным людям, особенно же к тем, кто работает — *трудится,* как он говорил. Он уважал и ценил *труд* в любой форме и области. И даже чем скромней была область труда, — тем «бережней» он подходил к *человеку,* его исполнявшему. В этом смысле он не делал различия между женщиной-рассыльной, принесшей ему из издательства корректурные гранки, и знаменитым врачом, приглашенным к нему во время болезни.

В зиму 1931 г. мы жили в Детском Селе, а по продовольственным карточкам получали для нас в Ленинграде. Обычно продукты нам привозил Д. М. Пинес[11], который регулярно бывал в Детском для работы над Блоком с Р. В. Ивановым[12], иногда жена Д. М. Пинеса[13], изредка — Спасские[14]. На этот раз все они были заняты, и с мешками появилась домашняя работница Пинесов, молодая девушка Лида. Б. Н. встретил ее, как

---

*Кажется, он сказал: «Уйдите от меня к черту...» — во всяком случае, именно это слышалось в тоне его голоса.

обычно встречал он людей, которые оказывали ему какую-нибудь жизненную услугу. Приветливо улыбаясь, он пожал Лиде руку, пригласил сесть, отдохнуть хорошенько и «выпить чайку». Благодарил, что она «утруждает себя» и извинялся, что сам не приехал, занятый спешной работой (сидел в это время над Гоголем, и Лида застала нас как раз за диктовкой)[15]. Стал показывать свои рукописи и объяснять, что он пишет, сколько еще ему нужно прочесть, о чем написать.

Нам говорили, что это посещение произвело неизгладимое впечатление на Лиду. Ее мечтой сделалось жить у нас и помогать по хозяйству. Когда мы уехали в Москву[16], она очень жалела, что не будет видеть Б. Н., и просила передать: «Если им будет нужна домработница, пусть только напишут. Я непременно приеду».

О Б. Н. она отзывалась: «При нем чувствуешь себя лучше. При нем хочется быть лучше. Он какой-то особенный человек. Хорошо бы пожить с ним. От него можно многому научиться».

Лида была независимая, очень неглупая и по-своему тонкая девушка. Работу свою она считала временной и стремилась учиться.

Когда Б. Н. непременно хотел чем-нибудь отблагодарить ее за услугу и спрашивал через Дмитрия Михайловича, чего бы она хотела, она сперва решительно и даже резко отказывалась. И наконец согласилась: «Если уж хочет, пусть даст какую-нибудь свою книгу».

Б. Н. подарил ей с надписью никитинское издание «Петербурга»[17].

В Кучине не только хозяева, но и соседи любили Б. Н., и когда привыкли, то обращались с ним запросто, как со своим. Он, в свою очередь, интересовался их жизнью, при встречах охотно беседовал и был в курсе всех дел.

Главным докладчиком, так сказать — «премьер-министром», была наша хозяйка, женщина с фантазией и пылким воображением. На протяжении шести кучинских лет она была для Б. Н. своего рода нянюшкой «Ариной Родионовной» и очень развлекала его своими яркими рассказами.

От нее-то и узнавал Б. Н. все последние новости, которыми «переполненная» Елизавета Трофимовна не могла не поделиться, внося самовар или подавая обед. Отойдя к двери, она сообщала взволнованно: «Левандовский нынче надстройку сделал *шикарную* (любимый эпитет Елизаветы Трофимовны, выражавший предельный восторг), а сад весь засадил кустами смородины. И зачем ему эта смородина?» Или: «Косая Дарьюшка добыла-таки себе печку железную, а то прошлую зиму мерзла старуха, как в проруби»; «У Лазаревых этим летом цветник будет не то что в прошлом году: снег чуть сошел, а уж копают; навозу понавезли, песку понасыпали: мешают с землей. Продавать, видно, будут — цветы-то»; «А Шилкин опять в Турцию укатил за хлопком. То-то Любовь Васильевне шелковых чулков понавезет», — добавлялось с восторженным и добродушно завистливым вздохом, хотя Елизавете Трофимовне шелковые чулки были так же нужны, как и Б. Н.

Эта Любовь Васильевна, немолодая уже маленькая женщина, с умильно-пронырливым видом и тихим голосом, временами появлялась у Елизавета Трофимовна по несколько раз в день и кружила ей голову баснословными экспромптами о «турецких шелках», которыми заваливал ее муж. Рассказ о нарядах Любови Васильевны и о том, какой она живет барыней, длился годами.

Б. Н., смеясь, называл ее «Стирфорсом»[18] Елизаветы Трофимовны. Он уверял, что у каждого человека есть и непременно должен быть свой «Стирфорс». Если же видеть, каков тут был «Давид Копперфильд», то картина получалась яркая.

Впрочем, при широкой натуре Елизаветы Трофимовны, у нее был еще один «Стирфорс», как Б. Н. говорил — «по части съедобной», — «Елизаветушка», ее дальняя родственница. О гомерических аппетитах Елизаветушки рассказывалось с таким же упоением, как о шелках Шилкиной, но без зависти, скорее в тонах почтительного удивления и ужаса: «И куда это она столько ест... В момент батон белый глотает...»

Перед рабочим столом Б. Н. было окно, выходившее на калитку. Иногда он влетал с пером в руке в мою комнату и

шептал, задыхаясь от смеха: «Елизаветушка! Стирфорс съедобный...» Я взглядывала в окно и видела, как мимо величественно плыла на крыльцо необъятных размеров фигура, обмахивающаяся от жары белым платочком. Нужно сказать, что обоим «Стирфорсам» Б. Н. при встречах целовал руку. Те невероятно конфузились и рдели как розы, но принимали этот почтительный привет с каким-то невыразимым достоинством и, видимо, вырастали в своих собственных глазах.

В разговорах наших хозяев между собой большую роль играли еще какие-то таинственные «Епишка» и «Ксенофонтов». Их мы в глаза не видали. Но перегородка в нашем домике не доходила до потолка, и мы постоянно слышали: «Епишка опять к поезду опоздал, так и остался дураком на платформе». Или: «Ксенофонтов-то нынче, видно, не служит... С поезда все уж прошли, а его не видать...»

«Епишка» и «Ксенофонтов» возбуждали фантазию Б. Н. Он строил из них целые мифы, описывал их предполагаемую наружность, нравы, быт жизни. Вместе со «Стирфорсами», косой Дарьюшкой, вечно пьяным Никандрычем, Антонихой, Журавлихой и другими кучинскими обитателями, в переплетении со словарем Даля, они были вдохновителями многих «переулочных» сценок из романа «Москва».

Кроме Елизаветы Трофимовны, чаще других Б. Н. разговаривал с Борей. Это был сын соседей, мальчик лет 12—14, которого Елизавета Трофимовна приговорила носить нам воду. Когда Боря появлялся с ведрами, Б. Н. часто бывал на дворе: возился со снегом, разметал дорожки, сгребал в кучи осенние листья. Он неизменно приветливо окликал: «Здравствуйте, Боря». И тогда сам собой возникал разговор — о школе, товарищах, о событиях дня: у Поповых украли корову, на шоссе дача сгорела, «мы с братом» провели радио.

Бывало, Боря поставит ведра на землю и, забыв о них, оживленно болтает. А Б. Н. стоит, опершись на лопату или грабли, и ласково смотрит.

Если Елизавета Трофимовна начинала ворчать или жаловаться:

— Опять воды не принес... Ветер у него в голове, — то Б. Н. заступался:

— Нет, Боря славный: очень живой и смышленый. Что же, что он легкомысленный... В его годы это понятно.

Боря помогал нам и «выручал» в разных случаях. Он исполнял иногда поручения Б. Н. в городе; при отъезде завязывал и нес чемоданы до станции. Делал все как-то легко, охотно и весело.

Когда осенью мы возвращались из поездки на юг, то на столе Б. Н. ждал огромный букет.

— Это Борька принес, — поясняла Елизавета Трофимовна,— забегал спрашивать, когда вы приедете.

В Москве, на Плющихе, председатель домкома рабочий Аксенов, который хорошо знал всех обитателей нашей квартиры, скоро отметил Б. Н. и удивил кого-то из наших домашних, спросив неожиданно и очень серьезно: «Что это *он* — от напряжения мысли *такой?*» *Какой* — этого Аксенов не пояснил, но при встречах как-то особенно внимательно раскланивался с Б. Н.

Вскоре случилось, что вместе с Б. Н. в контору за какими-то справками зашел один из наших друзей. Чтобы поднять в глазах Аксенова престиж Б. Н., N начал говорить о значении Андрея Белого как писателя, которого знают не только у нас, но и за рубежом.

Б. Н. рассказывал, что Аксенов все это сдержанно выслушал, опустив глаза, а потом твердо взглянул и ответил с достоинством: «*Я тоже знаю его три года*». В интонации прозвучало: «Нечего объяснять. Сам понимаю».

— Мне стало неловко, — добавлял Б. Н., — и я постарался увлечь N. из конторы.

Летом 1932 года мы с Б. Н. гостили у моей сестры в Лебедяни[19]. В одном домике с нами, в самом тесном соседстве — смежные комнаты и общая кухня, — жила семья молодых татар: Миша, рабочий с кирпичного завода, сестра его Рая, тоже работница, и ее муж Сергей, демобилизованный красноармеец.

Сначала они очень дичились: «робели», по их выражению. Но скоро Б. Н. покорил их сердца. Им нравилось, что он такой простой и всегда «веселый». «Не гордый и все смеется», — отзывались они одобрительно.

Как-то вечером он с увлечением рассказывал вышедшим посидеть на закате обитателям домика, — кроме татар, еще две старушки, хозяйка и дачница с сыном, — о Москве, о строительстве (интересовавшая его тогда тема)[20], о своих путешествиях.

Сестра спросила потом у татарки:

— Что же, Рая, понравилось тебе, что говорил Б. Н.?

— Очень понравилось, хорошо говорит: точно песни поет.

— А что говорит, ты поняла?

— Нет... Ничего не поняла. Только — хорошо говорил... Еще бы послушала... — И Рая перешла на татарский язык, так как русских слов для выражения своих чувств ей не хватало.

Когда мы уехали, то долгое время воспоминания о Б. Н. были предметом всех разговоров. А в письмах сестры передавались приветы и приглашения снова приехать.

Б. Н. никогда не подделывался под слушателей или собеседников. Он говорил со всеми почти своим обычным языком, который менялся только от темы, характера затронутых вопросов и встречных реплик.

Он был очень общителен, и самые оживленные разговоры возникали у него на каждом шагу. Своим конкретным вниманием, интересом и неподдельною искренностью он заставлял разговориться даже молчаливых людей.

Сам же он особенно любил расспрашивать всяких специалистов, профессионалов и мастеров своего дела. И после говорил с удовольствием: «Узнал много нового, такого, о чем только специалист может поведать. Вот: век живи, век учись». Познавательный момент всегда в нем присутствовал.

Выходило как-то само собой, что даже случайный разговор приобретал в конце концов определенное содержание. В таких случаях просто болтать Б. Н. не умел и вообще не любил пустословия.

Сколько разнообразных бесед завязывалось у него, например, на Девичьем Поле, где одно время мы постоянно гуляли. То присядет рядом возвращающийся домой рабочий-литейщик. И через две минуты уже Б. Н. с интересом погружается в тонкости литейного дела. То монтер объясняет детали различных проводок. То колхозник обстоятельно и неторопливо повествует о своих урожаях.

Еще больше в вагоне, при дальних поездках. Тут он часами мог слушать о производстве боржомских бутылок и задавать свои «углубляющие тему» вопросы. Или так же внимательно прослеживал все стадии процесса шлифовки зеркал или задачи преподавания химии в авиатехникуме, с ужасами ипритов; или вдохновлялся яркими картинами рыбных промыслов на Севане, сообщениями о том, как нужно рыть артезианский колодец и что значит — хорошо сшить и почистить ботинки.

С чистильщиком сапог у нас на углу на Плющихе он был в оживленных сношениях, что, конечно, обязывало к покупке совершенно ненужных шнурков, стелек, набоек; узнал его имя, всю биографию — кажется, бывший огнепоклонник из-под Баку, и, проходя, неизменно раскланивался: «Здравствуйте... Ассур» (теперь уже имени точно не помню), на что тот отвечал с широчайшей улыбкой: «Здравствуй, здравствуй... давай сапога чистить...» И призывно взмахивал щеткой.

Я не стала бы перечислять эти мелочи, если бы они не были связаны с тем, что в ином преломлении окрашивало собой творчество Б. Н. и сделало его реалистом в символизме. Это было стремление к познаванию жизни из уст живых людей, непроизвольное наблюдение, собирание материалов для возможных будущих работ. Так, в 1905—1906 гг. разговоры в городских и деревенских трактирах и чайных составили фольклорную основу романа «Серебряный Голубь», написанного только в 1910 г.[21] Очень часто именно эти люди, не подозревавшие о существовании «Андрея Белого», говорили с ним очень открыто, сразу тянулись к нему и проникались безотчетной симпатией. Иные из них отзывались: «Осо-

бенный... Не такой, как другие...» А если спросить — чем «не такой» и почему им нравится, что не такой, объяснить не могли.

Но в силу диалектики жизни то, что необъяснимо привлекало одних, так же необъяснимо, стихийно и непреодолимо отталкивало, раздражало или просто пугало других.

И возникали, тоже на каждом шагу, конфликты, которых он сам не умел разрешить.

В 1919 г. мы проводили часть лета в Карачеве — маленький городок близь Орла[22]. Вышло так, что мы разместились в разных квартирах. Б. Н. прислуживала работница, крестьянская девушка, Аннушка, существо на редкость примитивное и дикое. Они никак не могли договориться. Приходя к Б. Н., я постоянно наталкивалась на сцену.

Начиналось с того, что Аннушку нужно было «выстукивать» снизу, то есть стучать ей в пол, чтобы она поднялась из кухни. Б. Н. не решался постучать достаточно сильно, боясь помешать хозяевам. А между тем у них за стеной был всегда такой шум, смех, громкие разговоры, даже ссоры и чуть ли не драки. Но Б. Н. все равно нельзя было уговорить, и он еле прикасался к полу ногой. Аннушка, конечно, не шла. Тогда он начинал выходить из себя и сердиться:

— Вот, не идет! Всегда так! Стучу ей, стучу!..

Я брала палку и выстукивала. Аннушка появлялась. Сперва я, в качестве гостьи, не решалась сразу же вмешиваться. И начиналось второе мучение. Подыскивая слова, с длинными, напряженными паузами, робко, будто в чем-то виноватый, Б. Н. рвался к ней издали:

— Аннушка... если вы можете... если не заняты... нельзя ли... пожалуйста...

Аннушка шарахалась, таращила дико глаза и в смертельном испуге пятились к двери. Видно было, что она ничего не понимает и хочет лишь одного: поскорее уйти.

Приходилось улаживать:

— Аннушка, поставь самовар.

Лицо ее прояснялось. На нем выступало отчетливо: «Только-то! Самовар! А как напугал... Даже дух захватило». И, вздохнув облегченно и громко, она удалялась.

Я спрашивала Б. Н., зачем он так все усложняет, зачем столько «пожалуйста». Разве он не видит, что Аннушке надо просто сказать: «Поставь самовар». Или: «Принеси молоко».

Вместо ответа, махнув рукой, Б. Н. бросался на постель, лицом в подушки, — его жест в минуты душевных расстройств и всяческих огорчений, — и, приподымая голову, искоса жалобно поглядывая, вскрикивал:

— Не могу, не умею. Не знаю, *как* говорить...

А через полчаса, прихлебывая крепкий чай, прочитывал мне блестящие страницы из «Путевых заметок», которые он тогда переделывал[23]: о ярко «поющих витражах» готики, об «искролётах» итальянской мозаики, преобразующей камешки в «бурю света»; о странно двоящейся «усмешке» в действиях Фридриха II Гогенштауфена, об «изразцовом смехе» Туниса, об арабах и берберах; о туарегах, «как ливень заливших черный пламень» древней негрской культуры с ее центрами: Диэннееюo, и особенно Тимбукту, где «ключом били» науки, искусства, где процветал университет и собирались ценнейшие библиотеки.

Понятно, что Аннушка была от него больше чем за тысячу верст. Теоретически он допускал и соглашался, что излишняя деликатность в жизни только мешает, но практически все оставалось по-прежнему.

Сколько раз бывало: подъезжаем к гостинице, Б. Н. идет справиться, есть ли свободные номера. Через минуту бежит негодующий, возмущенный:

— Нет, нет, едем скорей отсюда...

— Да почему? Разве все занято?

— Нет, нет. Я не хочу... Грубияны... Невежи... Едем, едем скорей...

Потом выясняется: не сумел договориться, не поняли, стали грубить и смеяться.

Этому трудно поверить. Ведь Б. Н. мог в любую минуту сделать доклад, прочесть лекцию, написать статью. Но ска-

зать в двух словах, что ему нужен номер в гостинице, он не умел.

Роковым образом он вызывал глухой отпор или явную злобу во всех окошечках касс, за всеми конторскими столами или магазинными прилавками. Он раздражал, его не понимали. В его непривычной вежливости начинали видеть скрытый подвох и старались сделать какую-нибудь неприятность. Тогда от «пожалуйста» и «извините» он стремительно переходил в нападающий тон. И — готово! Никто не хотел исполнять его просьбы.

Странно, что в такие минуты он казался мне иногда красным платком, которым машут перед начинающими приходить в ярость животными. Тут сталкивались два слишком разные мира, не имевшие общих точек соприкосновения, две действительности, одинаково правомерные, но взаимно исключавшие друг друга.

Он не сливался с толпой, как-то сразу бросался в глаза и вызывал внимание и интерес. За ним начинали следить, оглядываться — далеко не всегда дружелюбно. Точно своим появлением он колебал привычные нормы, нарушал равновесие жизни. Точно он не укладывался в рамки общего быта, который неизбежно и жестоко мстил за себя.

С этим он ничего не мог сделать: начиная от мелочей до самого крупного.

Вопреки всем усилиям, всем принятым решениям «не зацепиться», пройти незамеченным, он как раз «зацеплялся», и — разражался «скандал», поднималась ожесточенная перепалка, где пострадавшим оказывался обычно Б. Н.

Хуже всего в этом отношении было в поездках. Попробую рассказать один характерный эпизод из нашего кавказского путешествия. Мне трудно об этом писать, как трудно было переживать это вместе с ним.

Мы подъезжали к Риону. Предстояла пересадка на Кутаис. За окнами — черная ночь и гроза, которая началась еще с вечера, едва мы отъехали от Батума[24]. Было страшно взглянуть в этот мрак. Зеленоватые молнии вздрагивали поминутно и при-

зрачным, мертвенным светом озаряли сплошную завесу дождя. Казалось, что мы пересекаем не лесистую местность Мингрелии, а дно какого-то гигантского древнего моря, тяжелые воды которого поглотили и навсегда отрезали нас своею зеленовато-свинцовою массой от света и солнца. На остановках тишина за окном разрывалась, и в уши бросался свист ураганного ветра. Он дико бил в стекла и в стенки вагона, а над головой рушились молоты гулких раскатов.

Б. Н. всегда очень нервно реагировал на грозу, с трудом переносил «скопление электричества в воздухе». Теперь же он был утомлен двухдневным уже переездом из Красной Поляны, простужен и сильно кашлял. Его ужасало, как мы высадимся в этот «бред разъяренных стихий». И он ежеминутно вскакивал, бросался к окнам.

— Потоп! Настоящий потоп... Как мы выйдем в Рионе? Как отыщем носильщика?..

Тщетно старалась я его успокоить, так как видела, что он уже раздражает наших спутников по купе. Это были здоровые, рослые люди, чисто выбритые, в длинных белоснежных рубашках, перехваченных узкими поясами; бесцеремонно вытянув ноги, они развалились на мягких диванах, побросав на верхнюю полку свои щегольские портфели. Из их громкого разговора можно было понять, что они направляются куда-то на съезд. Своим волнением и вскриками Б. Н. им явно мешал; они косились в его сторону, вздергивали брови и, пожимая плечами, насмешливо улыбались. Всем своим видом они говорили: «Есть из-за чего волноваться? Подумаешь: пересадка, носильщик! У нас вот дела... А тут: пересадка...»

Наконец-то Рион! Остановка. Наш вагон в конце поезда. Платформа где-то очень вдали намечалась огнями. Выглянули в окно: темнота, пустота, лужи внизу, ливень сверху. Стали вытаскиваться прямо в грязь. Б. Н. был в полном смятении. Где же носильщик?

Соседи прервали свой разговор и с веселым любопытством следили, что будет дальше.

— Носильщик! — крикнул Б. Н.

Носильщика не было. Только сверху, из ярко освещенного окна вагона — взрыв хохота. Люди в белых рубашках, засунув руки в карманы, веселились над нами.

Б. Н. разрывался, как лучше сделать: бросить меня в темноте и самому пойти за носильщиком? Или остаться с вещами и отпустить меня «в неизвестность» далеких платформ? Наконец он решился и, не оглядываясь, кинулся к станции. Некоторое время я видела, как он метался там, точно большая черная бабочка, то попадая в свет фонаря, то исчезая. И, наконец, скрылся совсем. Я продолжала стоять в растущей тревоге: где он? Вот и поезд ушел. Стало еще темней и пустынней. Время тянулось томительно. Я не знала, что предпринять.

Вдруг издали возглас:

— Где же она? — И уже совсем отчаянное: — Нет, да где же она?

Я откликнулась. Откуда-то сбоку вынырнули две фигуры: Б. Н. с носильщиком.

— Вот и хорошо! — вырвалось у меня. Но тут голос мой оборвался. Б. Н. схватил меня за руку. Он был как в лихорадке: дрожал, точно в сильном ознобе и задыхался:

— Сейчас... Расскажу... Увидишь сама... Они все хохотали... Устроили зрелище...

Я повернулась к носильщику. Он был мрачен и тупился. Нехотя взял вещи и, не глядя на нас, пошел на огни. Мы за ним. Б. Н. крепче сжал мою руку. Вот и платформа. Нас ждала уже кучка народа и, окружив, двинулась вместе в вокзальную комнату. Взгляды всех приковались к Б. Н. с тупым любопытством.

Зал был переполнен, скамейки все заняты. Кое-как примостились на чемоданах. Поезд на Кутаис отходил через час. Толпа продолжала стоять и разглядывать, переговариваясь на незнакомом для нас языке.

— Видишь, видишь, — зашептал Б. Н., — так они встретили меня с самого же начала. Я искал носильщика, спрашивал. Никто не хотел ничего объяснить. Только смеялись. Тогда я стал кричать, что по Кавказу нельзя путешествовать, везде беспорядок, о пассажирах никто не заботится и нет элементарных

удобств. Тут уж понесся не смех, а ропот, угрозы... Я вызвал зверя... И он зарычал...

Не помню уж, как рядом с нами возникла фигура. Какой-то человек в форменной фуражке обратился к нам по-русски и стал успокаивать Б. Н. Начался разговор. Оказалось, что нам по дороге, что и он в Кутаис. Мы проболтали до самого поезда, вместе уселись в вагон и всю дорогу слушали интересные рассказы о природе и нравах Кавказа. Б. Н. совсем отошел, почти развеселился, по обыкновению стал расспрашивать, развивать свои мысли.

В Кутаисе наш добрый гений тоже нас выручил. Когда мы вышли на перрон, извозчиков уже не было. И мы в недоумении стояли одни на площадке перед вокзалом, опять в темноте, под тем же все ливнем. Компаньон наш куда-то исчез.

Через несколько минут он вдруг появился в сопровождении маленького, невероятно худого и слабого старичка-еврея.

— Что это?... — удивился Б. Н.

— А вот он понесет вещи... А мы пойдем за ним. Больше ведь нечего делать...

— Как *он* понесет, — ужаснулся Б. Н., — его самого надо нести... Я не могу допустить... Не могу... Так же нельзя...

Старичок-еврей, не понимая настоящей причины взволнованных криков Б. Н., испугался, что его отвергают за малосилие. Кое-как, коверкая слова, он стал уверять, что донесет, что он привык носить очень большие тяжести, а наши чемоданы совсем легкие и что, главное: «Хлеба... хлеба кушать надо...»

Вместе со спутником мы с трудом уговорили Б. Н. согласиться. Но он отвернулся, нервно постукивая палкой по ступеням, когда старик взваливал на спину наш чемодан и брал в руки портплед. Когда же тронулись и впереди нас, прихрамывая, заковыляла хилая фигурка носильщика, Б. Н. снова заволновался. Пришлось обогнать и пойти впереди, чтобы он успокоился и не рвался *помочь*.

Не изгладился из памяти этот путь от кутаисского вокзала до гостиницы. Черное небо, вспышки молний, гром, гул лив-

ня, клокотанье где-то рядом вздутых потоков, неровная дорога, едва освещаемая тусклыми пятнами редко мерцающих фонарей, лабиринт незнакомых садов, переулков и улиц. И — ни души.

На одном из перекрестков наш добрый помощник простился:

— Мне сюда. А вы тоже скоро дойдете. Гостиница рядом...

Минут через десять дошли. Оказались свободные номера. Поднялись среди пальм и зеркал, по коврам белой лестницы. Все это как-то особенно бросилось в глаза после нашего странствия. Прошли по пустынному, очень светлому коридору в высокую, тихую комнату. Старичок поставил вещи на пол и присел тут же на корточки, тяжело дыша.

— Сколько вам за вашу помощь? — обратился к нему Б. Н.

— Рубель... — раздалось нерешительно.

— Как рубль?.. За такую дорогу?.. За такой труд... Это же невозможно... Что он говорит... — бросался Б. Н. то ко мне, то к старику. Голос его обрывался. На глазах были слезы. Старичок, опять не понявший криков Б. Н., испуганно залепетал:

— Сколько дашь, сколько дашь... — И окончательно растерялся, когда Б. Н., не глядя, захватил пачку бумажек, поймал его руку и крепко пожал, едва выговаривая:

— Спасибо, спасибо сердечное... Идите скорей. Отдохните... Сырость такая. Вы промокли насквозь.

Я видела, что теперь старик плакал, прислонившись к стене, и своими бездонными, древними глазами глядел то на зажатые в его руке бумажки, то на Б. Н., который все еще продолжал что-то взволнованно и горячо говорить.

— Идите, идите, — вмешалась я, чтобы прервать эту сцену, — нам тоже нужно отдохнуть.

В 1920—1921 гг. Б. Н. писал в своих афоризмах о «Правде»: «*Жалость*. Слово то для меня есть слияние, символ: Любви, Света, Истины; в „*жалости*" — корень конкретной, доступной нам правды.

...Начало любви к человечеству в любви-жалости к имярек, к одному, к единственному, к обывателю, к малому. Без этого начала любви все — сон пустой.

Недаром народ называет одним общим словом: со-страдание и любовь: „я жалею" — вот главное. „Я люблю несказанно" без жалости — сон: сон пустой!

Жалею есть: одновременно и плачу, и смеюсь от... любви.

Оправдываю тебя, ближний мой, малый, как я, — в твоем *малом, которое больше великого;* и обнимаю тебя целиком: ты — страдаешь. Примем вести друг друга — друг в друге; и „совесть" меж нами возникает» («Записки мечтателя». № 5. 125)[25].

Здесь корень повышенной и, как может иным показаться, чрезмерной впечатлительности Б. Н. Конечно, он был впечатлителен. Но кроме того, за каждым почти непосредственным впечатлением в нем поднимался мгновенно вихрь обобщающих мыслей и вызывал удесятеренной силы реакцию, не всегда понятную для других. Он переживал *симптоматически* и — во многих случаях — не отдельный пустяк, на который не стоит обращать внимания, а *симптом*, показатель, признак чего-то, что требует к себе другого уже отношения.

«Рубль» старичка-еврея так особенно поразил его еще и потому, что как раз перед тем, утром в Батуме, произошла совсем обратная сцена.

Б. Н. был готов щедро вознаградить за самую небольшую услугу, которую, кстати сказать, он неизменно называл *помощью*. Но зато он приходил в невероятный гнев и проявлял страстное возмущение, когда замечал желание «урвать», «запросить» больше, чем следует.

Мы подъезжали к Батуму. Едва пароход успел причалить и были спущены сходни, как «орава» галдящих носильщиков кинулась на палубу. Переругиваясь между собой, здоровенные парни стали нагло рвать наши вещи, требуя по пяти рублей, чтобы донести до извозчика. Возмущенный этим грубым натиском, Б. Н. в одну минуту растолкал их всех и с восклицанием, заглушившим сразу же все голоса:

— Бездельники... Грабители... Вам бы на больших дорогах грабить... — бросился к пристани, захватив наши ручные вещи. Через мгновенье несется обратно сияющий и без вещей: — Скорее... портплед... подушки... Ждет извозчик...

— Где?

— Там, — довольный кивок головы куда-то вниз и в сторону.

— А номерок?

— Какой номерок?

— Да извозчик-то как же? Как мы его найдем?..

Не отвечая, Б. Н. уже мчался обратно. Номерок, разумеется, не был взят. Но все обошлось благополучно. Извозчик нас ждал.

А едва мы доехали до гостиницы, как Б. Н. свалился в припадке тяжелого гриппа, который он схватил еще на пароходе. Пролежал весь день и вечером едва имел силы чтобы доехать до вокзала и сесть в вагон.

Да, Б. Н. был очень горяч, очень страстен. Но в крупном он умел сдержать свой порыв и довести до конца задуманное.

Помню такой случай. С каким волнением, тоскуя по родине, он рассказал мне об этом в Берлине.

В 21-м году, провожая его за границу, Александра Дмитриевна[26] сунула ему на дорогу небольшой сверток. Он положил его в свой ручной чемодан и забыл. Уже в Ковно, где он задержался в ожидании визы и где «все ломилось едой», этот сверток попал ему в руки. Он раскрыл. Выпали черные, сухие кусочки чего-то. Пригляделся, и — сердце сжалось, к горлу поднялся комок: «Ведь это лепешки! Мама дала как гостинец в дорогу... Милая... *Это* — гостинец... И все они *там* — так... У них это — лакомство... Здесь же...». И рванулось: «Куда же я еду от них... Мое место с ними, — делить этот черный кусочек...»

Только усилием воли порыв поборол: все бросить, вернуться обратно. Стиснул зубы. И стал дальше ждать визу в Германию[27].

У Б. Н. был жизненный идеал человека, заветный и тайно хранимый. Он открыл его мне не сразу, а только после нескольких лет близости, в одну из тихих интимных минут; и назвал его греческим словом kalos k'agathos (kalos kai agathos) — прекрасный и добрый или kalokagathos — прекрасно-добрый (благой), в одно слово, как оно звучало для греков[28].

Этот утерянный ныне эпитет показывает, что они умели еще не отделять красоту от добра и воспринимать их синтетически, одновременно, как внешнюю и внутреннюю сторону явлений.

В нашем сознании эти понятия разделились. И разделение произошло так давно и утвердилось так прочно, что теперь уже трудно представить себе их конкретную связанность. Их синтез утрачен. И как бы нет уже органа для восприятия того невыразимого *качества*, которое возникает от живого, жизненного соединения этих двух принципов. Прекрасное стало самодовлеющим. И никому не придет в голову примешивать к нему мысль о добре. Слишком хорошо известно, что одно относится к области эстетики, другое же — к области этики.

А что общего между эстетикой и этикой?

Для нас — ничего, кроме непрекращающихся споров о значении содержания и формы в искусстве.

А между тем в греческом языке прилагательные kalos и agathos* не только сливались, но и мыслились как единство, образуя существительное: kalokagathia, означавшее совершенство — в словарях прибавлено: нравственное.

Но Б. Н. слышал в нем большее. Споры филологов и эстетов показали ему, что подлинный смысл kalokagathos утерян именно потому, что оно стало разломанным на две половины. И эти половины воспринимаются как простая и даже случайная сумма двух разных качеств. На самом же деле это не сумма, а произведение, предполагающее действие бессознательного умножения. Это подобие умножения происходит в нашей душе, когда в ней пересекаются два рода воздействий, скрыто присутствующих в каждом восприятии: воздействие внешнего и внутреннего. На пересечении их и возникает kalokagathos, в котором прекрасное и доброе взаимно проникают, как бы химически окрашивают друг друга и являют собой совсем *новое качество*: прекрасно-доброго.

Это значение скрыто звучит в настойчивых утверждениях Б. Н. принципа единства формы и содержания (как неразло-

---

*Буквально: изумительный. Но с изумления, с удивления — для греков — начиналась философия.

жимого формосодержания), — принципа, который лежит в основе его понимания символизма.

Еще в 1906 г. он писал: «Когда мы говорим о формах в искусстве, мы не разумеем чего-то, отличного от содержания». («Символизм», 135)[29].

А в 1932 г., уже подводя итоги прошлого, он пишет, что символизм есть «самосознание творчества, как критицизм», он противопоставляет себя *школам* там, где эти школы нарушают основной лозунг единства формы и содержания» («Между двух революций», 216).

И в «Symballo», и в kalokagathia, и в учении о ритме в Б. Н. совершенно неожиданно и не узнанная никем проговорила Греция.

В искусстве слова к безусловно прекрасно-доброму он относил прежде всего: Пушкина, Толстого, Диккенса (особенно «Давид Копперфильд»), Шекспира — творца «Гамлета» и «Короля Лира».

В жизни он с глубокой благодарностью пронес через все свои годы память о тех, кто прозвучал для него в ноте kalokagathos: Л. И. Поливанов[30], Жорес[31], М. С. Соловьев[32], В. А. Серов[33]. А ряд его жизненных драм происходил оттого, что эта нота раздваивалась и из прекрасного выходило *не* доброе.

Я закончу эту главу отрывком из статьи-некролога, посвященного Б. Н. памяти художника В. А. Серова, чтобы показать, как понимал он kalokagathos в конкретном его проявлении.

«В комнату он входил как-то тихо, неловко, угрюмо и... крадучись; в комнату с ним входила невидимо атмосфера любви и суда над всем ложным, фальшивым... Он присутствовал среди нас, как учитель, как *мастер* искусства, — искусства быть честным; к разговору, к событию, к человеку относился он с той же серьезною строгостью, как к картинам своим.

...Я Серова не видел бичующим: не был он *моралистом* в провозглашенье абстракций морали и добродетели... Его мнение лишь художественно рисовало карикатуры и подлинные красоты; тем сильнее одушевлялось сознание наше красотой и добром — ...при

созерцании этих жестов Серова. Красота и добро сочетались в единство им: он имел скрытый *пафос морального творчества, моральной фантазии*: был прекраснейшим человеком... в себе сочетающим гармонически красоту и добро; точно был он весь создан осуществлять Платоново выражение *„Kalokagathos“*, о котором написано множество абстрактнейших комментарий... Его творчество было скромным весенним дыханием *новых форм* или печалью о недостигнутых формах правдивой гармонии.

Это-то создавало вокруг личности В. А. атмосферу ответственной строгости, силы, людей не давящей; *сила Серова* не угнетала и не ломала его окружение, потому что была она *силой любви* к зерну света, произрастающему в каждом из нас.

То же все зарисовано на холстах, им завещанных нам... Разоблачая все ложное, эта серовская линия обличала прекрасное; и оттого-то портреты Серова всегда — Страшный Суд, выполненный с огромной любовью и силой; личность, стоявшая перед Серовым, преображалась двояко: становилось многое в ней карикатурно, убого; но сквозь ветхое одеяние кажущейся былой пышности выступал подлинный человеческий лик, облеченный божественной жизнью.

...В. А. Серов эстетически бичевал: и бичующе выявлял красоту души человеческой.

...Почему же этот огромный художник мог казаться иным, *скуповатым* в своем выявлении? Потому, что мы чувствовали, что его прекрасная личность затаила в себе — о, насколько большее, нежели все им написанное!

В. А. не досказался пред нами, потому что имел он сказать некую великую правду о *жизни* и *творчестве*, потому что жизнь и творчество гармонически сочетались в исканиях им *пути жизни*.

...В нем жил эпохальный художник, не смогший сказаться во всем своем блеске и молчаливо унесший от нас свое высшее устремление, присущее гениям лишь: сочетать искусство и жизнь, красоту и добро, высоту эстетики с этикой.

...И ему, отошедшему, можем мы, поклонившись, сказать, — все, все, все...: *„Ты — нам подлинно мастер!“*» («Русские ведомости». 1916. 24 ноября, № 271).

МЫСЛЬ

Но зелены в отечестве Омира
Холмы, леса, брега лазурных рек...[1]

Такой рисовалась Б. Н. страна живой мысли, ее далекое отечество... Забытый, утраченный мир, где познание еще было «музыкой», науки — прекрасными «музами», а философия — Любимой-Мудростью. И Б. Н. отдал жизнь исканию путей к этой «дальней отчизне» (Баратынский)[2] давно уже скрытой от нас непроницаемостью философских систем, научных теорий и пустотою философских абстракций.

То, что я хочу рассказать, будет совсем неожиданно. Совсем непохоже на мысль или на то, что и как говорится о мысли, что привыкли представлять себе и понимать как мысль.

И все-таки... это будет о мысли. О том, что я видела и воспринимала как мысль в Б. Н., что будил он во мне, чем питал и дарил мою душу. Через него я узнала о высоком трагизме познания, о том, какие грозные силы стерегут доступ к разгадке основ бытия. И какою борьбой достигается здесь каждый шаг. В нем я видела мысль во всей ее созидающей власти и во всей ее разрушающей беспощадности.

Это был Прометеев огонь. И он опалил похитителя.

Золотому блеску верил.
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил...[3]

Да, «измерил века» и вобрал в себя все, чем они наделяли сознание.

Он мыслил стихийно, как мудрецы Древней Греции, парадоксально, как Ницше[4], интуитивно, как Гете. Но жест его мысли был отработан на Канте. Аристотель, Сократ, Вл. Соловьев, Лев Толстой вошли в нее как фермент.

Вот он начинал говорить. Лились волны света[5]. И казалось, гигантское солнце всходило, озаряя ландшафты времен: «декалионы» мировых километров — *народы, культуры, века* и вселенные — вплоть до начала начал, или *атома*, где предел снова стал беспредельностью и где — так учит химия — солнце протона с электронами лунных планет открылось в несуществующе-малой, глазу невидимой точке.

Он говорил. И вставали картины эпох. Оживали фигуры борцов и строителей знания. Звучали их голоса: «Сделано то-то, тогда-то». Раскрывали, несли свои «вклады». И вновь отступали, скрывались в тенях убегавшего времени. А на смену им уже выходили другие: еще и еще — от Гераклита, Фалеса[6], Рожера Бэкона[7], Абеляра и далее, далее, к нам приближаясь.

Вот уже Возрождение. Вот 17 век... 19-й. Все ясней и отчетливей виделся мир человеку; все больше рассеивались «поэзии ребяческие сны»[8]; все трезвей становилось сознание, высвобождаясь из облачной яркости мифов, где «мир размышлял и *мирилось* знание» («Кризис мысли», 25)[9]; отрываясь от утонченной клавиатуры средневековых споров о nominalia и realia, переходя к опытной точной науке, чтобы... в результате всех опытов атом невидимый был научно объявлен центром солнечной новой вселенной, смыкая конец с началом или размыкая его в бесконечность: «*Материя — глубочайшая суть бытия...*» («Жезл Аарона»[10], 176).

Б. Н. продумывал становление культуры. Единой и цельной рождалась она из веков в огне этой мысли; и слагалась в живой биографии растущего человечества как своеобразный «ритмический жест», неповторимый на каждом отдельном отрезке, но повторявшийся в новом обличии на огромных — многовековых — размахах исторического процесса, который Б. Н. называл «спиралью истории»[11].

Над «спиралью истории» Б. Н. особенно много думал в последние годы и противополагал в ней органическую связь и динамическую преемственность отдельных культур и эпох биологически замкнутым кругам или «кольцам» культур у Шпенглера[12].

Б. Н. не был и не хотел быть профессиональным философом. Он был и в мысли художник. «...у поэзии с философией — одна общая муза: премудрость, София» («Жезл Аарона», 162), — писал он, как бы невольно видя перед собой образ Вл. Соловьева[13].

Но он был художник, который стремился к точному знанию, и всегда с удовлетворением отмечал, что он «естественник»[14]. В «Первом свидании» он горячо вспоминает:

... И строгой физикой мой ум
Переполнял профессор Умов.
Над мглой космической он пел,
Развив власы и выгнув выю,
Что парадоксами Максвелл
Уничтожает энтропию,
Что взрывы, полные игры,
Таят томсоновые вихри,
И что огромные миры
В атомных силах не утихли[15].

Б. Н. не боялся, что *холод* точного знания ослабит в нем силу образа. Он слишком хорошо знал, что этот холод — не в знании, а в рассудочной голове познающего, что по природе своей «всякое знание непосредственно; оно — факт...» («О смысле познания»[16], 15). Кроме того, в своей глубине или на своих вершинах само точное знание не отделимо от образов «точной фантазии» (Гете)[17], и «быстрый холод вдохновенья» (Пушкин)[18] есть дар высоких и чистых минут для художника. Этот «быстрый холод» свидетельствует о той собранности и особой сознательной трезвости, которая свойственна и вдохновению, так же как мысли. И не бояться должен мысли художник, а ею владеть. И, овладевши, вырвать ее из оков пусто-

чистых понятий. В эти понятия замкнута мысль — а с ней и познание — усилиями всех очищавших, то есть опустошавших ее философов, — главным же образом — Канта.

Отстаивая живую природу познания и мысли, Б. Н. писал, что «подобие жизни его (познания. — *К. Б.*) внутри нас — *органический, растительный мир*» («*О смысле познания*», 26), что «познание есть культура воистину прорастающей жизни из мертвых кристаллов рассудочных форм» («О смысле познания», 27) и что «метаморфозы идей уподобляемы метаморфозе растительной жизни» («Кризис жизни»[19], 21).

Процесс мысли начался в Б. Н. очень рано и страстно. Он был тогда почти еще мальчик, и это была его настоящая первая страсть.

С пламенной яростью, не жалея себя, он отдавал лучшие летние месяцы на изучение философии, с конспектами, схемами и своими ответными размышлениями.

Точно дело шло о спасении *любимой*, он бросался на сухие каркасы философских систем, «стараясь осилить железный узор, переплет из понятий» («Начало века», 256). Он и тогда уже бессознательно знал, что мысль — живая, Прекрасная Дама[20]. И хотел овладеть тем оружием, которое так отточили противники, *взять у них логику, пройти через стальной ход их гносеологии*.

И все лишь для того, чтобы узнать врага, развить в себе силу и иметь право на ответный удар, — иметь право позднее со всей определенностью парадоксально сказать: «...гносеология есть особое искусство изламывать живой смысл» («Жезл Аарона», 165).

Никакие трудности здесь не могли удержать; и чем «круче была суть системы», тем упорнее он на нее наступал.

Главным врагом его всегда был Кант.

Но это был враг, достойный борьбы. Совершенной законченностью этой мертвой системы Б. Н., страстно ее ненавидя впоследствии, эстетически любовался[21].

Кроме того, он уважал в Канте творца теории знания и критической философии и одно время был под сильным влиянием

этого познавательного критицизма, что отразилось, между прочим, на некоторых стихотворениях «Урны»[22].

В «Начале века» Б. Н. указывает 1913—15 гг. как время своего окончательного освобождения, когда он мог «уже спокойно увидеть, в чем Кантова сила и слабость» (284).

За 18 веков философии никто не поставил вопроса, выдвинутого Кантом: «Как возможно...»

Как возможны a priori? Как возможно образование научных законов — то есть естествознание? Как возможны открытия — Ньютоны и Кеплеры[23]? И вся математика и вся метафизика?

Кант поставил этот вопрос, дал свои объяснения; выдвинул «трансцендентальную логику»*, чем перевернул вверх ногами прочие логики («История становления самосознания») и стал Коперником в мысли.

Но тут произошла неожиданность: объяснив, как все это возможно, Кант «наповал убил все возможности» тем, что представил нам познавательный акт лишь как «приложение категорий к материалу чувств» («О смысле познания», 20) и утвердил границу познания в виде непререкаемой «вещи в себе», навсегда запечатанной для познающего.

А между тем: «познание — беспредельно; границ не имеет» («О смысле познания», 25). Оно: «1) текучее, 2) беспредельное, и 3) имманентное правде. Подобие жизни его внутри нас — органический, растительный мир» («О смысле познания», 26).

Сам — «симптом смерти мысли» («О смысле познания», 15), «гениальный мертвец» («Арабески», 47)[24], «немота в маске из слов» («Арабески», 216), «восьмой шкаф» среди прочих семи шкафов своей библиотеки («Арабески», 216)[25], — Кант умертвил все живое в познании и все живое в сознании: «ограбил нам мир; и похитил нам мысль... Яркий мир заменен отвратительным миром» («О смысле познания», 21).

---

*Формальная, математическая, индуктивная, метафизическая или трансцендентальная.

Совершив такой *подвиг*, Кант воссел в этом, им обессмысленном мире повелителем дум и... сердец, являя собой парадокс самый жуткий и грозный: Кащея, или «бессмертного мертвеца»*.

Кант был еще и «Пиковой Дамой» для Б. Н., — предметом жгучей ненависти и странного восхищения. Какое-то «поперечивающее себе чувство» (Вий)[26] звучало в словах его, когда на лекциях он говорил: «В Канта нужно влюбиться... Нужно увидеть дикую красоту его мира идей...»

И он отдал Канту едва ли не свои лучшие годы. И не отступал до тех пор, пока напряженным усилием своего добела раскаленного интеллекта не заставил-таки «мертвеца» выговаривать свои тайны. Когда же это случилось, когда «тайна» Канта открылась ему, перестала быть тайной, тогда Б. Н. заговорил о Канте так, как никто до него не говорил. Необычайное — я могу это сказать, — потрясающее впечатление производили его лекции о Канте. Казалось, что здесь идет бой не на жизнь, а на смерть за «творящее истину знание» («О смысле познания», 11).

В нападающем огне слов Б. Н. «Кащей» оживал, скелет зажигался смутно мерцающей жизнью. Волна неслышных движений пробегала над чудовищным миром порождений «этого костяного уродства» («История становления самосознания», 70)[27]. Они шевелились, они точно пробуждались от долгого сна. Сказочными существами, какими-то Ягами и лешими протягивались и вставали: синтетические a priori, трансцендентальное единство апперцепции, двенадцатизубие категорий, формы, нормы, ноумен, феномен, объект и субъект, пространство и время, и, наконец, выплывала «нé прекрасная дама» — сама вещь в себе.

Это был рой фантастических, призрачных, но по-своему ярких созданий. Словно срывались печати с тяжелых дверей

---

*Здесь и дальше я передаю то, что слышала на лекциях Б. Н., прочла в его книгах и запомнила из его разговоров. Это записи как бы «на слух». *Сама я философии Канта не знаю настолько, чтобы говорить о ней самостоятельно.*

и фосфорический свет проливался на замок уснувшей красавицы.

Б. Н. входил в этот замок, поднимая свой факел. Он шел разбудить «философию». Он знал, что есть сила, которая может вернуть ее к жизни. Эта сила в вопросе, которого не поставил и Кант: что́ есть мысль? что́ есть мышление? и возможны ли сами a priori?

На этот вопрос необходимо ответить прежде, чем начать мыслить. Философу нужно знать свое орудие, которым он оперирует, которое он применяет для своих размышлений, — его специальное орудие, его микроскоп, телескоп, его колбы, реторты, плавильная печь и т. д.

Об этом Б. Н. твердил настойчиво. Примеров можно было бы привести сколько угодно. Беру лишь случайно отметившиеся в памяти строчки.

«Мы мысли не знаем. Что́ делаем мы, когда мыслим? Смутнейший процесс, возникающий в нас, не есть мысль: чувство мысли; но мысль не есть чувство» («Кризис мысли», 5). Или: «Неосознанность процесса становления мысли есть дефект всей философии» («Мысль и мышление». Лекции 1920 г. Беседа 2)[28]. Или: «Мы не мыслим: мы — помним; и мы — называем какой-нибудь термин; за термином — мрак, пустота, Ding an sich, или res (всё почтенности онтологии, о которой мы путного слова сказать не умеем). Так вспомним же? И память о памяти спит; память у нас коротка: вспомним термин; и — только» («Глоссолалия», 128)[29].

И, подводя слушателей к пробуждению памяти, к восприятию «процесса становления» в нас мысли, Б. Н. начинал рассказывать ее «биографию»: как впервые рождалась она в стихии расплавленной мифов, как стверждалась и крепла, овладевая проблемой познания, и как созрела в конце концов для того, чтобы познать — осознать — и себя самое. И Б. Н. хотел самосознания мысли. Он говорил, что это самосознание стоит теперь как задача перед мыслящим.

Но разрешить эту задачу при помощи философских абстракций, хотя бы и утонченных до последних пределов, нельзя.

Абстрактная мысль анемична, бессильна. Здесь нужны мускулы волевой мысли, или мыслящей воли. И Б. Н. звал к «волемыслию», которое он понимал как присущее мысли, но не раскрытое в ней волевое начало. «Мысль — стихия активности, динамизма, усилий» («Кризис мысли», 49). И осознавшая в себе волю, она есть уже интеллект, то есть действенная, разумно-конкретная сила мышления. Об этом, может быть, говорил Гете, когда указывал: «Я могу мыслить, только действуя»[30]. Эта мысль способна организовать действительность и ее перестраивать, а не отвлекаться, не уходить от нее в сферу чистых, но «отвлеченных» понятий.

Повторяю, что я не могу говорить языком философии. Но я люблю мысль как свободную силу сознания. И она захватила меня в Б. Н. Часто она была трудна своей глубиной, своей специальной терминологией, афористически сжатой насыщенностью огромного и необычного знания. Но вместе с тем в ней было столько наглядности, живости, силы и блеска! Того, что Пушкин назвал «восторгом пламенным и ясным»[31]. И о чем, вероятно, писал Вольтер: «Восторг ума (L'enthousiasme raisonnable) дан в удел только великим поэтам» (Остолопов Н. «Словарь...». СПб., 1821. Ч. I. С. 384)[32]. И неповторимою, яркой романтикой звучали слова Б. Н., когда, например, он говорил о своих философских исканиях. В юности, под влиянием музыки Вагнера, одно время Брунгильда стала для Б. Н. образом жизни и мысли. Ее сон на скале в огнях Локи, под охраной дракона, злобные хитрости Миме, подвиги Зигфрида[33], — все это он воспринимал (в одном разрезе) как в сказочной форме рассказ о путях к овладению мыслью — молодой, живой и прекрасной, но спящей. И бесстрашно заносил он свой меч — свою мысль — над кольчатым телом дракона абстракций.

Та же тема проходит в поэме «Руслан и Людмила», если представить себе — как, например, это было сделано в постановке Большого театра в 1930—1931 гг.[34], — что Черномор есть владыка далекого Севера, или — что то же — Кант, «вещь в себе», пребывающая в своем замороженном царстве; а го-

лова великана — философия Канта, под громадой которой он упрятал меч мысли.

В борьбе за свое освобождение мысль Б. Н. не знала отдыха. К тому же он не мог мыслить, спокойно сплетая тонкие сети понятий. Его понятие всегда разрывалось в образ. Образы закипали. Их уже нельзя было остановить. В процесс мышления он вносил живую яркость метафор. Делал это сперва потому, что иначе не мог. Делал это позднее — сознательно.

«Понятие неотделимо от ореола из образов», — писал он в «Глоссолалии» (26); или там же: «Зависимость мысли понятий от образов речи есть факт жизни мысли» (31). Или: «Абстракция — злая мысль: ее порожденье — злой мир: мир абстракций; он сперва нам является как эмблема; *вибрация, атом, молекула* суть эмблемы научных понятий; но эмблемы суть призраки; мир абстрактный есть призрак» («О смысле познания», 7).

В мысли Б. Н. образность художественной мысли сочеталась с конкретностью мысли научной и с точностью мысли исследовательской. Он любил факты, опыт и точное знание. Физика, химия, их достижения интересовали его до конца. Он говорил о Боре и Резерфорде, когда о них знали еще только узкие специалисты. И упоминал об атомной энергии уже в «Первом свидании»:

Мир рвался в опытах Кюри
Ато́мной, лопнувшею бомбой...[35]

«Я естественник», — подчеркивал он постоянно и стремился к конкретности, к содержательности всех представлений. «Понятие непонятно в понятии», — писал он в «Глоссолалии». И утверждал, что необходимо брать его не отдельно, а в пересечении с другими, — «в круге понятий», чтобы вернуть ему *жизнь* — его содержание, от которого так усиленно очищали понятие философы. Для Б. Н. чистое понятие равносильно было: *пустое*.

В многочисленных схемах наглядно показывал он на лекциях этот процесс опустошения понятий и одновременного роста абстракции философской терминологии. «Пересыпать песок» этих терминов в наше время, когда перед мыслью стоят другие,

Абстрактная мысль анемична, бессильна. Здесь нужны мускулы волевой мысли, или мыслящей воли. И Б. Н. звал к «волемыслию», которое он понимал как присущее мысли, но не раскрытое в ней волевое начало. «Мысль — стихия активности, динамизма, усилий» («Кризис мысли», 49). И осознавшая в себе волю, она есть уже интеллект, то есть действенная, разумно-конкретная сила мышления. Об этом, может быть, говорил Гете, когда указывал: «Я могу мыслить, только действуя»[30]. Эта мысль способна организовать действительность и ее перестраивать, а не отвлекаться, не уходить от нее в сферу чистых, но «отвлеченных» понятий.

Повторяю, что я не могу говорить языком философии. Но я люблю мысль как свободную силу сознания. И она захватила меня в Б. Н. Часто она была трудна своей глубиной, своей специальной терминологией, афористически сжатой насыщенностью огромного и необычного знания. Но вместе с тем в ней было столько наглядности, живости, силы и блеска! Того, что Пушкин назвал «восторгом пламенным и ясным»[31]. И о чем, вероятно, писал Вольтер: «Восторг ума (L'enthousiasme raisonnable) дан в удел только великим поэтам» (Остолопов Н. «Словарь...». СПб., 1821. Ч. I. С. 384)[32]. И неповторимою, яркой романтикой звучали слова Б. Н., когда, например, он говорил о своих философских исканиях. В юности, под влиянием музыки Вагнера, одно время Брунгильда стала для Б. Н. образом жизни и мысли. Ее сон на скале в огнях Локи, под охраной дракона, злобные хитрости Миме, подвиги Зигфрида[33], — все это он воспринимал (в одном разрезе) как в сказочной форме рассказ о путях к овладению мыслью — молодой, живой и прекрасной, но спящей. И бесстрашно заносил он свой меч — свою мысль — над кольчатым телом дракона абстракций.

Та же тема проходит в поэме «Руслан и Людмила», если представить себе — как, например, это было сделано в постановке Большого театра в 1930—1931 гг.[34], — что Черномор есть владыка далекого Севера, или — что то же — Кант, «вещь в себе», пребывающая в своем замороженном царстве; а го-

лова великана — философия Канта, под громадой которой он упрятал меч мысли.

В борьбе за свое освобождение мысль Б. Н. не знала отдыха. К тому же он не мог мыслить, спокойно сплетая тонкие сети понятий. Его понятие всегда разрывалось в образ. Образы закипали. Их уже нельзя было остановить. В процесс мышления он вносил живую яркость метафор. Делал это сперва потому, что иначе не мог. Делал это позднее — сознательно.

«Понятие неотделимо от ореола из образов», — писал он в «Глоссолалии» (26); или там же: «Зависимость мысли понятий от образов речи есть факт жизни мысли» (31). Или: «Абстракция — злая мысль: ее порожденье — злой мир: мир абстракций; он сперва нам является как эмблема; *вибрация, атом, молекула* суть эмблемы научных понятий; но эмблемы суть призраки; мир абстрактный есть призрак» («О смысле познания», 7).

В мысли Б. Н. образность художественной мысли сочеталась с конкретностью мысли научной и с точностью мысли исследовательской. Он любил факты, опыт и точное знание. Физика, химия, их достижения интересовали его до конца. Он говорил о Боре и Резерфорде, когда о них знали еще только узкие специалисты. И упоминал об атомной энергии уже в «Первом свидании»:

Мир рвался в опытах Кюри
Атóмной, лопнувшею бомбой...[35]

«Я естественник», — подчеркивал он постоянно и стремился к конкретности, к содержательности всех представлений. «Понятие непонятно в понятии», — писал он в «Глоссолалии». И утверждал, что необходимо брать его не отдельно, а в пересечении с другими, — «в круге понятий», чтобы вернуть ему жизнь — его содержание, от которого так усиленно очищали понятие философы. Для Б. Н. чистое понятие равносильно было: *пустое*.

В многочисленных схемах наглядно показывал он на лекциях этот процесс опустошения понятий и одновременного роста абстракции философской терминологии. «Пересыпать песок» этих терминов в наше время, когда перед мыслью стоят другие,

насущные задачи, он называл «бесполезнейшим делом», «раздражением мозговой периферии». «Философия есть живая страна, преисполненная невыразимых ландшафтов», — писал он в «Кризисе культуры» (15)[36].

Вступая в область философии науки, он также не оставался пассивным. Его не удовлетворяла картина наглухо разделенных научных методов, дробящих единую сферу познавания на замкнутые ряды дисциплин, в результате чего возникает «раскромсанный мир» мертво лежащих деталей. Исходя из принципов гносеологии, он продумывал методики отдельных наук и — в культуре мысли — искал пересечения методов, «градации, конфигурации, ритма» в развитии точных наук. В своей незаконченной работе по философии истории и культуры («История становления самосознания») он дал захватывающий обзор достижений последних столетий, взяв эти достижения как единое в основе своей устремление научных и философских дисциплин в их взаимной обусловленности и связи на общем фоне культуры.

Кратко скажу, что он проводил резкую грань между понятием культуры и цивилизации как понятием становления и ставшего, органического и механического. Кроме «Кризисов», прямо на эту тему написана статья 1932 г. «Культура краеведческого очерка»[37].

И, наконец, свою «профессиональную»* область — искусство слова — он также хотел связать со сферой научного познания и опыта, углубленного в той же теме культуры мысли.

Этим вопросам посвящен ряд книг и статей: «Символизм», «Жезл Аарона», «Поэзия слова», «Диалектика ритма», «Мастерство Гоголя» и др.**

---

*Б. Н. никогда не считал себя «профессионалом» писателем, не раз заявлял об этом в печати[38]. Поэтому я беру это слово в кавычки.

**Вот выдержка из ранней статьи в «Символизме», где Б. Н. устанавливает возможный параллелизм между принципами эстетики и энергетики, — в законе эквивалентов. Рассматривая отношение между *напряжением* (числитель) и *количеством* (знаменатель) энергии творчества, он пишет: «Увеличивая в символе $\frac{8}{4}$ числитель последовательно на единицу, имеем:

Интересно созвучное с этим стремлением Б. Н заявление Флобера, *попавшее мне под* руку, *как раз когда я писала эти* строки: «Чем дальше, тем искусство становится более научным, а наука — более художественной; расставшись у основания, они встретятся когда-нибудь на вершине» (Флобер Г. Письма: 1831—1854. М.; Л., 1933. С. 241).

$$\frac{8+1}{4}, \frac{8+1+1}{4}, \frac{8+1+1+1}{4} \text{ и т. д.}$$

Так увеличивает *напряжение* энергии творчества.

Повторяя самый символ $\frac{8}{4}$, увеличиваем *количество* энергии творчества:

$$\frac{8}{4} + \frac{8}{4} + \frac{8}{4} + \frac{8}{4} = \frac{32}{4} \quad \text{<...>}$$

Создавая крупные по размерам произведения искусства, Ибсен стремился сперва затратить известное количество энергии $\left[\frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} = \frac{4a}{b}\right]$, а затем повышал *выправлением* рукописи напряжение затраченных усилий

$$\left[\frac{4a}{b}, \frac{4a+a_1}{b}, \frac{4a+a_1+a_2}{b}, \frac{4a+a_1+a_2+a_3}{b} \text{ и т. д.}\right]$$

Гете так писал Фаусту».

И дальше:

«Художественный образ вызывает в нас определенное настроение. ... *Количество* и *напряжение* настроения находятся в обратном отношении. При Q, Q_1, Q_2 (количестве) и T, T_1, T_2 (напряжении) имеем:

$$\frac{Q}{Q_1} = \frac{T_1}{T} \quad \text{т. е. } QT = Q_1T_1=Q_2T_2=Q_3T_3=Const.$$

Это взаимоотношение между *количеством* и *напряжением* настроения рисует полную аналогию газовому закону Бойля и Мариотта, в физике и теоретической химии:

$$p.v=p_1v_1=p_2v_2=Const.$$

Обратная пропорциональность между объемом газа и давлением является удобной моделью для характеристики закономерности, существующей в отношении *количества* настроения к его *напряжению* при одинаковых творческих усилиях, приложенных к одинаковому материалу для творчества» («Символизм», 188—189)[39].

Подробно развивает и обосновывает эту мысль философия цельного знания Вл. Соловьева, оказавшего в свое время влияние на Б. Н.[40]

Говорил ли Б. Н. о философии, или о науке, или об искусстве — всегда казалось, что сам он и есть «живой процесс их становления», и прежде всего — процесс становления мысли. Казалось, что он и есть «автобиография» мысли, ее рассказ о себе, о пройденных ею путях, о ее «страданиях и действиях»*. В необыкновенной способности дать конкретно и жизненно-драматично самые отвлеченные вещи Б. Н., действительно, представлял собой редкое явление философской культуры.

От его слов становилась понятной по-новому вся жизнь, а в ней — мысль и познание. Становилось ясно, что уметь мыслить нужно затем, чтобы уметь жить, что начало к творчеству жизни в умении творчески мыслить.

Философия в нем как бы вставала, принимала характер художественно-научного построения. Она точно снималась с плоскости двухмерной написанной строчки и росла в высоту, в глубину, вширь. Она как бы переходила в трехмерность фигурной формы и ритмически двигалась в четвертом измерении музыкально-живых композиций, строящих свою изменчивую форму во времени. Живое подвижное здание переливалось воздушной радугой красочных смыслов, выбрасывало все новые и новые формы, звучало модуляцией строгих ходов и аккордов.

Это была — иначе не скажешь — своеобразная, фигурно-пространственная варьяционность организующейся во времени мысли, — подлинная стереохимия, стереометрия мысли.

В последние годы, наряду с аритмологией** и с постояной физикой и химией, — эти науки особенно интересовали Б. Н. как имеющие, по его словам, основное и решающее значение в области современных мировоззрений, и еще шире: в буду-

---

*Думаю, что могу здесь употребить эти слова, которые Гете сказал о свете[41].

**Аритмология (от *греч.* arythmos) — учение о числе. — *Ред.*

щих судьбах всего человечества. Эти судьбы будут в дальнейшем определяться не философией, а развитием науки, — тем, к чему придут и что скажут эти и другие точные знания.

Б. Н. читал все, что удавалось достать по данным вопросам, вглядывался в фигурные формы приложенных чертежей и рисунков, сам очень много чертил, устроил целую чертежную лабораторию: делал всевозможные построения, вращал, складывал, пересекал фигуры, «вынимал» их одну из другой, «обходил» их по граням, по внутренним путям, ставил то в один, то в другой фокус зрения, отчего смысл всей фигуры менялся. Часами не мог оторваться от строго закономерной и в то же время свободной игры бесконечных «переложений и сочетаний». Его мысль была здесь точно в своей природной стихии, в «perpetuum mobile» его излюбленных «abc, cab, bca». Этими «abc» полны его книги. Он прибегал к ним в самых разных случаях как к единственному способу передать свою мысль, в которой логика стала музыкой, движением и сочетанием смыслов по законам числа. Эти «abc» можно встретить не только в теоретических и философских статьях, но и в «Воспоминаниях» и даже в романах.

Он наполнял их стремительным смыслом и различал оттенки непрерывно меняющихся содержаний, за которыми было почти невозможно следить. Он же играл с ними, как виртуоз играет со звуками. Для него «abcd» так же явственно отличалось от «cabd», как аккорды, вернее — арпеджии разных тональностей, различаются для музыкального слуха или как смешения тончайших красочных тонов отмечаются изощренным глазом мастера живописи.

Для примера приведу страничку из статьи «О смысле познания» (27—28), где Б. Н. говорит об «органике мышления».

«В современном научном воззрении вместо истины „A" мы имеем круг истин, круг методов; если их двенадцать (по количеству Кантовых категорий), то истина „A" разрядится по кругу 12 истин 1) *a* 2) *b* 3) *c* 4) *d* 5) *e* 6) *f* 7) *g* 8) *h* 9) *i* 10) *k* 11) *l* 12) *m*. Вместо истины „A" — много истин. Или истины нет, или истина истин — в сложении ее методических смыслов:

...„A" на в „a", ни в „b", ни в „c". „A" есть сумма: $A=a+b+c+d+e+f+g+h+i+k+l+m$. Смыслы истины „a" в круге „b" преломляются, потому что круг „b", отмечая иные черты общей истины, видоизменяет оттенок ее; так что „a", расширяяся в „b", в „c", в „d" постепенно становится истинной $a_{b+c+d+\dots}$, т. е. истиной преломленной всем кругом истин; „b" становится $b_{a+c+d+\dots}$; „c" становится в свою очередь $c_{a+b+d+\dots}$, словом: истина „A" определима:

$$A=(a+b+c+d+e+f+g+h+i+k+l+m) + (a_{b+c+d+\dots} + b_{a+c+d+\dots} + c_{a+b+d+\dots} + \dots)\dots$$

Этот процесс может дальше продоложаться:

$$A=(a+b+c+\dots) + (a_{b+c+d+\dots} + b_{a+c+d+\dots}) + \left({}^{a}a_{b+c+d+\dots} + {}^{b}a_{b+c+d+\dots} + \dots \right) + \dots$$

Вместо абстрактного определения истины мы имеем конкретное определение текучести изменения ее; смысл ее динамичен: беспрерывно растет... Или истины — нет, или истина — жестикуляция смыслов».

И дальше на стр. 31:

«Схема суждения a priori такова:

$$A+B=C$$

Но под „A" разумеем: $(a+b+c+\dots)+(a_{b+c+\dots} + b_{a+c+\dots} + \dots)+\dots$; „B" разумеем: $(m+n+\dots)+(m_{n+p+\dots} + n_{m+p+\dots})+\dots$; под „C" разумеем: $[(a+b+\dots)+(a_{b+c+\dots} + b_{a+c+\dots})+\dots]+[(m+n+\dots)+(m_{n+p+\dots} + n_{m+p+\dots})+\dots]$».

Когда Б. Н. оживленно произносил все эти головоломные формулы, то было видно, как мысль его наслаждалась быстротой смысловых переливов. Он будто купался в солнечных светлых струях, и из уст его неслись неудержимым потоком: плюсы, минусы, скобки круглые, квадратные, ломаные, знаки умножения, деления, извлечение корней, возведения в степень, в которых вращались каскадом, переливаясь, как капли в радуге: abcd, cdba, dbac...

«Довольно, довольно», — затыкала я уши, совсем оглушенная и перестающая что-нибудь понимать в этой алгебраической фуге.

Он же беспечно смеялся и, наклоняясь, мне в уши продолжал в возрастающем темпе выкрикивать: bacd..., dcab..., пока я, вско-

чив, не бросалась закрыть ему рот рукой. Но и тогда, из-под руки, хохоча и вырываясь, он бросал торопливо: bcda... acdb...

Да, мысль не знала усталости. Но мозг уставал. Не выдерживал бури метаморфоз этого всеохватного синтеза, в котором Б. Н. стремился вновь сочетать, реконструировать и осмыслить в архитектонике целого далеко разошедшиеся сферы культуры: философию, науку, искусство, найти и *показать* текучую пересеченность всего и во всем.

И тогда утомленный мозг жестоко мстил за себя. Начинался «пожар головы»: приливы, бессонницы, многодневная боль «винтящей» мигрени. «Стучали» виски, «стучало» в затылке. А мозг продолжал раскаленно и сухо работать, как крутящийся в воздухе бешеный винт, — против желания, против воли самого Б. Н. Он терял сон, аппетит, но, как в лихорадке, то читал, глотал книгу за книгой, то исписывал десятки страниц. Ничто уже теперь не могло погасить этот страшный огонь познаванья. Пожар разгорался, требуя новых жертв: новых книг, новых страниц рукописи, а главное: новых дум. Обычно так шло, нарастая, пока не обрывалось какой-нибудь внешней причиной; чаще всего — поездкой.

Очутившись на батумском побережье после напряженной кучинской зимы, в первый же день приезда, Б. Н. начинает свои кавказские впечатления словами:

«Нет, — каков перескок: в красках, в жизни сознания, во всех устремлениях. Передо мной еще — кучинский стол; на нем горка из книг: вот и лекции Иоффе, Томсон, мир корпускул, система атомных весов Менделеева и ряд попыток увидеть таблицу его по спирали; *мысль старая** (в бытность студентом — тому назад 25 лет — передумывал я) получила-таки подтверждение: в теориях Бора; передо мной спираль Бора и ряд моих собственных схем: — ряд спиралей; весь март ломал голову над

*В рукописных материалах Б. Н., хранящихся в Библиотеке им. Ленина, есть афористические записи этих мыслей о спирали 1901 г. (Папка I. № 2. Л. 66—69).

примиреньем меж *„экстра"* и *„интра"* атомною схемой механик*; согласовать мир Лоренца, Максвелла с моделью, показанной Бором. Мне кажется — что-то нащупал я тут (для себя — разумеется); странно: в Батуме — остатки еще моих кучинских студий; прыжки электронов от орбиты (номер такой-то) на орбиту (номер такой-то) в сознанье живут вспышкой спектров.

Кругом: какой спектр!..

Свет слишком ярок; его выносить трудновато, глаза утрудивши над рябями формулок... Переутомляюсь я в год раза три» («Ветер с Кавказа», 9—11)[42].

Во время этих переутомлений особенно страшны были бессонницы. В тишине ночных комнат, лишенное отвлекающих впечатлений, сознание болезненно обострялось. И начиналось его «зимнее странствие». Вставала одинокая, бледная тень «Агасфера»[43] и беззвучно скользила в неозаренной дали пустынных веков, над бездонными провалами времени, где все было мертво и где призрачно оживали лишь, взвиваясь холодным винтом, вихри вдруг закрутившейся мировой пыли.

Таким «Агасфером», бесприютным, гонимым без срока, без отдыха, — ощущало себя в эти минуты сознание Б. Н. «Агасфер» — называл он свое состояние в часы этих страшных бессонниц. И как я боялась его «Агасфера».

Бессонница длилась. Ночь проходила. А мозг все стучал.

«Стучит... Стучит в висках... в затылке», — остро вздрагивал он, морщась от боли.

И не было средств успокоить, — прервать эту боль.

Впрочем — было одно. Он просил положить свою голову мне на плечо.

«Дай унять стукотню», — доносился ко мне его шепот. Я подходила. Голова его бессильно склонялась ко мне. И — обжигала. Делалось жутко. Я касалась рукой его лба. Прижимала к себе его голову. Тысячи мелких биений мне отвечали. Пульсировала вся голова... Будто кипящее море сухих колющих искр.

---

*Подробные записи этих мыслей и часть чертежей находятся в кучинских дневниках Б. Н.

Начинался необъяснимый процесс... Постепенно биения пульсов стихали, напряжение ослабевало. Жар уходил. Минут через сорок, глубоко, облегченно вздохнув, он засыпал у меня на плече, как ребенок, — с детской, счастливой улыбкой.

Да, он платил дорогою ценой.

И те, что удивлялись и радовались, говоря: «От ваших слов все оживает, Б. Н.», — не знали, чего это стоило; не знали, что ценой жизни было заплачено за те «воды живые», которые черпали от него.

Так и было: что внутри горело «пожаром» — то проливалось вовне цветущею радугой жизни. Как живоносный источник, его мысль вызывала цветенье и рост во всем, к чему он прикасался. Груды разрозненных фактов, несводимые параллели научных методик, сушь философских абстракций — все озарялось прежде невидимым смыслом. Это был редкий дар воссоздания органически цельной картины из деталей, осколков, штрихов, мелочей, неожиданно столкнутых, «со-отнесенных и со-осознанных».

И тогда говорили: «Б. Н. все оживляет». Он точно вводил в новый мир. И то был мир интеллектуальной свободы, где все законы иные, где параллели могут встречаться, где *3 + 4* может быть равно 5 (в фигурах ⌂ = ⌂), а сумма углов в треугольнике может быть больше или меньше двух d.

Ветром свободы были охвачены все построения. И до реальности ощутимо освобождал он дыхание слушавших. Вот почему так стремились на его доклады, лекции; вот почему его зал был всегда переполнен.

Он учил быть свободным. Прежде всего свободным в мысли. Он говорил о том, как снимать с нее вековые «каркасы» не замечаемых нами предвзятостей, которыми переполнено наше сознание, а вместе с ним и познание, как работать над мыслью, как ее оживить.

Но он не хотел в слушателях нарушать их свободы. И никогда не доказывал.

«Доказательство принуждает. Слабые подчиняются. Сильные протестуют. Атмосфера познания нарушена», — слышала

я не раз. Или: «Доказать — стало значить: кромсать на мельчайшие части» («О смысле познания», 17).

Он — не кромсал!

Его доказательством была сила *показа*. Он просто вел за собой и *показывал* — рассказывал: что́ видит, ка́к видит; и объяснял, почему именно видит так, а не иначе. Кто не хотел видеть с ним вместе, тот и не видел.

В беседах, на лекциях он не давал формулировок, почти не делал выводов. Их заменяли подробные характеристики, живые примеры, иногда стихотворные строчки, показыванье множества красочных схем. Все это и, кроме того, еще постоянные отступления, расширения темы, дополнительные экскурсы в попутную область делали то, что за ним было трудно, почти невозможно записывать.

Стенограммы его выступлений — это почти всегда бессмысленное нагромождение слов. Стенографист не справлялся: терял или вовсе не схватывал нить его мысли (а она шла непрерывно в нужном ей направлении) и закреплял механически лишь какие-то бессвязные клочки с огромным количеством вводных слов, неизвестно к чему относящихся.

Только путем основательной правки можно было восстановить иные из таких записей. Обыкновенно Б. Н. просто заново писал весь текст, с раздражением отбрасывая перечеркнутую стенограмму с начатыми исправлениями.

Если кто-либо из слушателей ставил ему вопрос, то Б. Н. не давал прямого утвердительного или отрицательного ответа. Он развивал длинный мыслительный ход, развертывал целую перспективу; иногда казалось даже, что он уводит далеко в сторону. Но на самом деле этим именно он пробуждал активность, заставлял вместе с собой проделать работу искания ответа. И слушатель должен был сам вывести заключение, — *найти* этот ответ, а не получить его в готовом разжеванном виде.

Это был обычный метод Б. Н.: щедро давать материалы (иногда, может быть, слишком щедро и полно) и выводы предоставлять на свободу.

Он часто говорил о себе: «Опять я показывал и рассказывал». Или: «Хлебом меня не корми, а дай показать» — то есть объяснить, довести до понимания.

Сам он в обиходе почти никогда не говорил: «не понимаю», «не представляю себе», а чаще всего заменял это словами: «не вижу, зачем это...» Или: «Должен еще увидеть... до-разглядеть...»

В 20-х годах Б. Н. ближе познакомился с художником К. С. Петровым-Водкиным и очень любил беседовать с ним и слушать его всегда интересные доклады. От Петрова-Водкина он и взял то выражение, которое с тех пор прочно вошло в его обиход: «наука видеть».

Он пользовался этим выражением постоянно: на лекциях, в разговорах, в письмах; развивал и углублял его в книгах: в «На рубеже», в «Мастерстве Гоголя» и др.[44]

Он говорил, как необходимо отчетливо осознать, до какой степени эта «наука» нужна каждому человеку, а не только профессионалу-художнику. Дело в том, что *видеть*, или *увидеть*, вовсе не просто, а нужно *уметь* видеть. Пусть каждый проверит себя, ка́к он смотрит, что́ видит и всегда ли в своей жизни он видел или смотрел одинаково. Тогда, может быть, станет ясно, что это — «наука», которая требует умения, и что этому умению нужно сперва обучиться, причем обучение может длиться всю жизнь, так как поле для наблюдений и опыта здесь необозримо. А от умения или неумения *увидеть* зависит больше, чем думают.

Еще раньше, в 1914—1915 гг., в связи с лекциями и указаниями доктора Р. Штейнера, Б. Н. много занимался естественно-научными произведениями Гете, особенно его цветовой теорией[45].

Весь склад мышления Гете — наглядность его представлений, значение, которое Гете придавал чувству зрения как самому «умному» из чувств, наконец, его общеизвестное заявление: «Мне может быть только приятно, что свои идеи я

вижу глазами», — или: «Я хотел бы иметь больше глаз, чтобы все вбирать в себя»*, или: «Мое мышление есть созерцание»[46], — все это было близко Б. Н. и он всячески развивал эти темы.

Нужно вспомнить, что чувство зрения дано нам не сразу. Появляясь на свет, человек только постепенно учится видеть; прежде всего: строить вокруг себя «ландшафт расстояний». Младенец тянется ручкой, чтобы схватить звезду или огонь фонаря за окном. Для него еще нет расстояний; мир является «плоским».

Так же учится *видеть* и человечество. Целая эпоха ушла на то, чтобы создать классическую перспективу в живописи. Это способность текучая, постоянно меняющаяся и разная в разных возрастах, у разных людей и народов.

Касаясь вопросов рельефа и перспективы, Б. Н. говорит в «Мастерстве Гоголя», что чувство пространства есть «итог гимнастики глазных мускулов (иначе видели б *плоскости*); условность пересечения глазных осей в детском возрасте — факт; и дети умеют изменять зрительные рельефы**; классическая перспектива построена на одном пересечении осей; японская перспектива построена на ином принципе; Петров-Водкин многообразие перспектив сводит к учению о сферической перспективе; и дает в принципах ее ряд шедевров» («Мастерство Гоголя», 116—117).

Но умение видеть нужно не для одних только внешних вещей и явлений. Оно необходимо также и в области познания и мысли, где есть свои перспективы.

И здесь дело обстоит еще сложнее. Об этом свидетельствует язык, в котором нас встречают такие слова, как «умозрение», «умозрительный», «мировоззрение» и т. д., — то, что рас-

---

*Б. Н. восклицал: «Почему наш глаз не может вращаться и охватывать весь круг горизонта, и высоту и глубину». Об этом он говорит в «Мастерстве Гоголя» в главке «Звуковая метафора и цвет», особенно на стр. 118—119.

**Об этом в «Котике Летаеве»: «Я умею скашивать глазки» и т. д.[47]

сматривается теперь лишь как языковой пережиток, мимо которого мы автоматически скользим сознанием, не зацепляясь.

А между тем, если остановиться, задуматься и попробовать их сознать, то прежде всего поражает, что в этих словах язык связал в одно силу ума с силой зрения (умозрение — зрение ума) и назвал связь *суждений* о мире мировоззрением — иначе: мировидением.

Случайность ли это? Возможны ли такие случайности? И о чем они говорят?

Отвечая на эти вопросы, Б. Н. приходил к временам зарождения мысли, к истокам самой философии — к родине мировоззрений. И вставали картины «живомыслия» в Греции. Там еще не было мировоззрения в нашем понятийном смысле и не было наших отвлеченных теорий. Там человек видел то, что он познавал; и это ви́дение он называл «феорией». Слово «феория» Б. Н. производил парадоксально для нас от «theos» (бог) и «orao» (вижу)*, что означало тогда живую способность лицезрения богов. Богов, а не мира, потому именно, что самый мир отражался сперва в сознании человека как деянья богов, полубогов и, наконец, — героев. Это «вижу» угасало в столетиях, вместе с ростом отвлеченных понятий и философской терминологии. В 19 веке оно стало забытой сказкой, о которой философ вспоминает только затем, чтобы с удовлетворением отметить, как далеко он ее перерос. «Феория» как старомодное, манерно звучащее слово — отброшено. Вместо него утвердился незаметный, не вызывающий никаких сомнений успокоительный термин: теория. И теоретическим — отвлеченным — стало отношение мысли к жизни и к миру.

А между тем: «философия есть живая страна, преисполненная невыразимых ландшафтов» («Кризис культуры», 15).

Но Б. Н. вовсе не звал к возрождению греческой мысли, не предлагал «по прямому проводу» сделаться греками и увидеть

---

*«...в нас теория (соединение theos и orao) — не видение божества, а лишь нить непроявленных мыслей, туманных и бледных» («Жезл Аарона», 164).

мир таким, как они его видели. Простое возвращение на этот пройденный путь невозможно как историческая бессмыслица. А реставрация и стилизация (Вяч. Иванов — отчасти[48]) дали бы лишь нежизнеспособный гротеск. В наши дни нельзя мыслить, как мыслили в Греции. Нельзя отбросить весь опыт истории, все достижения естествознания, техники, все богатство расцветших за это время искусств, все наше сознание, над которым работало больше двадцати столетий, включая сюда ту же Грецию. Но можно и должно покончить с автоматизмом абстракций; можно сбросить «каркасы» теоретических предпосылок. Овладев ясным мышлением, снять «катаракты» рассудочности, делающие мысль близорукой, едва ли не слепой. Огнем волевой мысли растопить наконец ледяную черту «границы познания», проведенную в нас тем же Кантом.

Обо всем этом забыли философы, гордые безжизненной пустотой своих чистых понятий.

Но и в поэзии сохранился еще след живой мысли. У Баратынского, например, мы находим чудесный образ мысли-цветка. Он цветет и привлекает к себе все живое. Когда же отцвел и кажется больше ненужным, то зерно его падает в землю. И начинается новая жизнь.

Вот это стихотворение, последние строчки которого отчеркнуты в экземпляре Б. Н.:

О мысль! тебе удел цветка:
Он, свежий, манит мотылька,
Прельщает пчелку золотую,
К нему с любовью мошка льнет,
И стрекоза его поет;
Утратил прелесть молодую
И чередой своей поблек, —
Где пчелка, мошка, мотылек?
Забыт он роем их летучим,
И никому в нем нужды нет;
А тут зерном своим падучим
Он зарождает новый цвет[49].

Светлая, элегическая тональность этого стихотворения может быть переведена в мажорную. Для этого достаточно сделать акцент на «А тут...», с которого начинается решающий перелом в настроении поэта. Б. Н. выделял его в своем чтении резкою сменой интонации и едва заметной паузой. В его устах конец звучал торжествующим мажором. Он как бы говорил: «Да, „рой летучий" жизни оставил увядший цветок — мысль. Но она возродится, она воспрянет вновь, когда коснется „своей земли", вберет в себя ее силу — силу образа».

Об этом говорит Баратынский в других сильных строчках:

Блестит зима дряхлеющего мира,
Блестит! Суров и бледен человек;
Но зелены в отечестве Омира
Холмы, леса, брега лазурных рек...[50]

Этот брошенный Баратынским призыв, его напоминающее «А тут...», «Но зелены...» — поднял Б. Н. Остановился на них. Прислушался. И не случайно.

Как тоже поэт, он хорошо знал полные жизни «падучие зерна», был своим среди «холмов, лесов» и на «брегах лазурных рек» поэзии.

А проследив до конца пути философии, он знал, что там же, в той же стране, было и отечество мысли, когда она еще не увядала под дыханием «дряхлой зимы» человечества.

И он стал говорить о том, как отогреть мысль, замороженную в страшной формуле Кантова тождества: А = А*. С этой формулой жить и двигаться в мысли — нельзя. И призыв Б. Н. — с формулой этой покончить, — после его многолетнего «скрупулезного», как он говорил, изучения Канта, — это не только лирический пафос, не «поэзии ребяческие сны». В свою борьбу с Кантом он внес уверенное, прошедшее через опыт и критику знание. Но он умел облечь это знание в живое, горячее

---

*Неизменность понятий в процессе мышления. Единственная достоверность в акте суждений.

слово поэта. Его философские лекции, в высоком «тонусе» своего напряжения, — это запевшие красотой и музыкой дифирамбы. Из самых глубин философии, в недра которой Б. Н. с такой силой проник, он призывал к возрождению мысли, к ее новому цветению, к ее возможной весне. Звал к тому, чтобы мысль вспомнила свою родину, вернулась к «лазурным берегам» живомыслия; соединилась с поэзией — в живом «образе мысли». И тогда, в самом процессе воспоминания, который требует большой воли и упорных усилий, она разовьет в себе крепкие мускулы, станет воистину действенной, волевой и свободной.

Неустанно, из лекции в лекцию, в книгах, статьях, всю свою жизнь Б. Н. напоминал о том, что мысль родилась в одном мире с поэзией, — в мире образов, звуков и мифов; что было время, когда светлой дриадой цвела она в сказке юной природы, Афиной Палладой, возносящей свое золотое копье, вставала в раскатах жизненных Зевсовых гроз и музой, любимой, — склонялась к философам.

Может быть, Баратынский слышал уже этот зов, когда писал:

> Нежданный сын последних сил природы —
> Возник Поэт: идет он и поет[51].

Он шел и пел. Его философия была этой песней. Вдохновенно взволнованный, он рассказывал нам про «немеркнущий свет *Эмпирея*» («О смысле познания», 72) — эмпирики новой, где вскрывается «световая природа — природа природы, нам данной» («О смысле познания», 68), и мысли, нам данной: в природе познания нового.

«Философия есть живая страна, преисполненная невыразимых ландшафтов».

А он сам — во мне и в тех, кто услышал его:

> ...извечно блещущая высь!
> ...извечно блещущие песни![52]

Приложение I

Дополнение к главе «Природа»

В заключение приведу несколько примеров того, как природа раскрывала и договаривала происходившее в душах, встававшее в жизни. Мой выбор совершенно случаен. Я брала только то, что запомнилось когда-то непроизвольно при чтении, — то, что особенно поразило, остановило внимание. «Симфонии» и «Котика Летаева» я совсем не включила: там местами нужно было бы просто выписывать весь текст подряд. С этим вообще мне пришлось достаточно побороться, особенно в «Масках», где природное и человеческое почти уже не отделимы одно от другого.

«Петербург»

Примирение Лихутиных после кошмарной ночи бала, куда Софья Петровна ушла против воли мужа и вызвала тем его попытку повеситься.

> Вдруг все просветилось; вошла розоватая рябь облачков, будто семь перламутринок; голубело чуть-чуть; все наполнилось робостью, удивленным вопросом: «Да как же? А как же?» На окнах, на шпицах наметился трепет; на шпицах рубинился блеск. Над душою прошлись голоса: просветилось; упал из окна бледно-розовый, бледно-ковровый косяк от луча (188)*.

* Здесь и далее в круглых скобках приводится номер страницы по изданию: Белый А. Петербург. М., 1935. — *Ред.*

Это — Софья Петровна поняла вину свою перед мужем. И в сердце ее, как заря, восходят раскаянье, нежность, любовь:

> — Бедный: любимый мой!..

Самое примирение дано потом в одной только строчке:

> Что́ они меж собою шептали, бог ведает: это — осталось меж ними.

И — заключение, говорящее о том, что буря прошла и «волнение вод успокоилось»:

> Розоватое, клочковатое облачко от трубы пробежавшего пароходика протянулось по Мойке; от пароходной кормы проблистала зеленая полоса, ударяясь о берег и отливая янтарным; она, отлетая от берега, разбивалась о полосу, бьющую ей навстречу; и полосы начинали блистать роем кольчатых змей; в рой — въехала лодка; все змеи разре́зались на алмазные струнки; путались в серебряную канитель, чтоб в поверхности водной качнуться звездами; *волнение вод* успокоилось; и погасли все звезды. От берега встало зеленое, белоколонное здание: кусок Ренессанса (188).

Так стихия жизни и страсти — вода — отразила их прошлое и показала, что́ их ждет впереди: «куском Ренессанса» с окрепшего берега наметилась их «возрожденная» жизнь.

Николай Аполлонович в Летнем Саду, за несколько сценок до бала, где Софья Петровна передает ему письмо, окончательно запутавшее его в роковую «сеть», которою давно уже оплетали его Липпанченко и Морковин.

> ...озирался направо, налево... Как-то матово там протянулася, вставши в стальной горизонт, темноватая сеть перекрещенных сучьев; иногда темноватая

сеть начинала гудеть; иногда темноватая сеть начи*нала качаться* (136).

Листья трогались с места; сухими кругами кружились вокруг полы шинели; круги суживались и беспокойней завивались винтами; живей танцевал золотой, что-то шепчущий винт. Кру́тень листьев стремительно завивался, перематывался, бежал, не крутясь — как-то в бок, как-то в бок; красный лапчатый лист подлетел и простерся (домино?! — *К. Н.*). Протянулась в стальной горизонт темноватая сеть перекрещенных сучьев; в *ту сеть он прошел*; и когда он *прошел*, то ворон оголтелая стая вспорхнула и стала кружиться над крышей Петровского домика; а *сеть* начинала качаться, гудеть; и слетали какие-то робко-унылые звуки; сливалися — в звук органного гласа. Вечерняя атмосфера густела... (137).

Александр Иванович понял, что Липпанченко предатель, и переживает неизбежность близящейся катастрофы.

Ветер взморья рванулся: посыпалися последние листья; и Александр Иванович все знал наизусть: будут, будут кровавые, полные ужаса дни; и потом — все провалится; о, кружитесь, о вейтесь последние, дни!

О, кружитесь, о, вейтесь по воздуху вы, — последние листья! (243).

Аполлон Аполлонович, тронутый порывом сына к матери, становится детски доверчив; тихо беседуя, они ходят вдоль неосвещенного зала. Но взрыв бомбы неотвратимо приближается. И мирная картина скоро станет картиной кровавого ужаса. Тени еще не рассеялись.

— Так-то, Коленька, мой дружок: будем с тобой откровеннее... — Что такое? Не слышу...

Мимо окон пронзительно пролетел сумасшедший свисток пароходика; *пламенный*, кормовой фонарёк,

как-то наискось, *уносился* в туман; и —*ширились рубинные кольца.* Так с доверчивой мягкостью, наклонив низко голову, Аполлон Аполлонович говорил: не то сыну, не то – сам себе. Переступали: из тени — в кружево фонарного света; переступали: из светлого этого кружева – в тень (382).

«Серебряный голубь»

Решающее свидание Кати с Дарьяльским.

Дарьяльский проснулся... Гуголево (имение, где жила Катя. — *К. Н.*) снова предстало пред ним, развернулось, в цветущие свои оно его заключило объятия... ах: из-за его спины на поверхность пруда упал иван-чай. Петр обернулся.

Катя стояла перед ним: она клонила бледное свое личико в розовых иван-чаях... будто она невзначай здесь, у воды, накрыла Петра; и она молчала (123)*.

У, как шумят деревья, треплется Катина синяя юбка, разлетелись волосы; у, как посвистывает, как ходит сырая вокруг трава; закачались ветви, прутья, вершины, и ярко-розовые иван-чаи расходились, что Катин души молодой размах: песнь пелась и проповедь начиналась — и везде шум... ветра вдали свистели волынки и древесные разбивались тимпаны, а столетний с бугра дуб, как пророк, лесному народу протягивал руки.

Вот он, цвет души ее молодой; ах... обвить бы его руками и заснуть бы на груди, но *крапива бьется на этой груди;* пусть же ей обожжет щечку крапива; пусть же ее разобьет он жизнь.

...и кудри ее с его кудрями слились — кудри слились в один прядающий в ветре дым, что отлетает с

---

* Здесь и далее в круглых скобках приводится номер страницы по изданию: Белый А. Серебряный голубь. М., 1910. — *Ред.*

красного пламени: какой костер зажгли в том месте? ...вот уж с устами уста ее слились в длительном и тягучем, и влажном дыханье; синее ее платье, что синее ее небо, в красном, что заря, пламени его одежд. И над этой зарей двух жизней... *пепел* воздушный (воло́с. — *К. Н.*), разуверений облако; растанцевались вокруг иван-чаев розовые кисти (124).

Стыдливо она от него отодвинулась; выглянуло солнце и ударило ей в лицо; в глазах у нее павлиньи перья, а на ней забегала сетка ясненьких зайчиков...

— Значит, я — первая в твоей жизни?

...Петр... запнулся... и пальцы ее невольно сломали ярко-розовый цветка султан... поняла: ...он такой же, как все...

А кругом — шум: кучки деревьев — осин, дубо́в, вязов — закипают попеременно; и стоит вдалеке беспеременный шум, прошлому говорящий «прости». Точно шла проповедь красных апостолов о том, чего нет, но что вскоре случится; а вблизи дерева́ замирали, поджидая к ним летевшую, непетую песнь: песнь души ее пелась и страшная проповедь начиналась, чтобы далече, далече по селам, лачугам и звериным тропам разнести Катин души размах; и зверье откликалось; может быть, там — на звериной тропе одичавшая выползала собака, чтобы, поджав уши, уткнуть морду вверх и вторить порыву; и, может быть, — человечьи у ней были глаза; а она, собака, человечьими своими глазами глядела теперь на прохожего; он же крестился и пуще нахлестывал трусившую по грязи лошаденку, и за ним среди бела дня гнался оборотень; что же страшного тут, коли оборотнем оказался и ее Петр!

...Катя перемогла себя... пережила все и все простила.

— Принимаю тебя...

Он опустился на колени в сырую траву, в *крапиву*, а она горестно поцеловала его в *пламенный лоб* (125—127).

Дарьяльский решил порвать со столяром и Матреной.

> Вечер осенний!
>
> Хорошо ли ты помнишь, как он бывает тих: как все, что ни есть в душе горестного, безропотно примиряется с невзгодой в тихий осенний вечер, когда поля из пепельной полумглы видятся поднебесными, кажут свою кроткую пустоту... когда смотрят поля на тебя огнями селений, будто полными слез глазами, негромко беседуют издалека песнями без слов, когда многие дни душу душивший страх улыбнется безобидно тебе последней зарею: «Да меня и нет вовсе...»... Но пустоте ты не веришь; вон там недожатая полоса никлым колосом протянулась к полыни; ты глядишь в пустоту, ей не веря, потому что здесь, там, и стоят, и машут руками — оттуда, отсюда: тебя зовут; все они там уставились на тебя, кивают, бормочут; и пустоте ты не веришь. Но пойди ты на зов, откликнись на голос; только седую метелку полыни разотрешь на ладонях... да оттуда, где ночь темный цвет по земле расстилает, *лес* пробормочет старую свою сказку все о том, об одном: как пора ему осыпаться; вдалеке осыпается лес, будто падают воды, будто ночь, наступая на землю, бьет в нее грустным рокотом снов (295).

Дарьяльский уходит от столяра и Матрены, чтобы вернуться к прежней жизни и Кате; а на самом деле — чтобы встретить смерть.

> ...нужно плакать в такие ночи... это слезы святые, в них смывается преступленье, в них душа беспокровно предстает пред собой.
>
> И душа Петра омывалась в слезах: он шел за зарей... на его груди были перстов незримых касанья, на устах: целованья нежно-трепетных уст... лишь звучали ему негромко бессловесные песни, да все тот же голос, — искон знакомый, давно забытый, опять зазвучавший голос: «Приди ко мне — приди, приди».

И он шел:

— Я слышу, я возвращаюсь... а искони знакомый, давно забытый, и опять прозвучавший голос безответно рассыпался негромкой песнью без слов: нет — были и слова у той песни; вот они — далеко по росе убегающие слова:

— Уунее-сии тыы маа-ее гоо-рее-ее быы-страа реечуушкаа... с собой — отзывалось на перекрестке и замерло: слышалось громыханье телеги, виделся огонек папироски и... больше ничего.

Тревожный набат гулко бросился за Петром по пустым полям; Петр обернулся: над Целебеевым стоял огненный столб (296).

«Московский чудак»

Первое появленье *Мандро*. Тема тления и холода.

И вот заводни́ли дожди.

И спесивистый высвист деревьев не слышался; лист пообвеялся; черные россыпи тлелости — тлели мокре́нями; и коротели деньки, протлевая в сплошную чернь те́меней; ветер стал ле́дничать; засевери́л подморозками; мокрые дни закрепились уже в холоде́ль; ...Эдуард Эдуардович стал замечать: между всеми предметами в комнатах происходили какие-то — даже — охладненья; натянутости отношений сказались во всем; воду пробуешь, — нет, холожавая; ручку от двери, и та: вызывает озноб (71).

«Москва под ударом»

Дочь Коробкина, Надя, и японский математик Исси-Нисси гуляют в садике Коробкиных. *Японский, прозрачный пейзаж.*

Колебались причудливым вы́чертнем тени от сучьев; и первая, желто-зеленая бабочка перемелькнулась с другою — под солнцем... пошли перемельками; быстрым винтом опустились, листом свои крылья сложили.

И листьями стали средь листьев (32).

Щебетливые скворчики вдруг обозначились: в кустиках: а сквозь орнамент суков прогрустило апрельское небо: в распёрушках белых (33).

Тоже японские пейзаж: концовка прогулки Коробкина с Исси-Нисси.

Вечер стекли́л.

И по небу неслися ветрянки; разорвинки облак; и — чуть прокололись звездинки... был на реке — светоход; воды — дернулись ветром; на них испорхалося вдруг отражение месяца; после мелькач иссиявшихся бабочек ясно сбежался.

И вот: отражением месяца сделался вновь (37).

Заключительный абзац отрывка перед юбилеем Коробкина. Впервые появляется тема страшного столкновенья с Мандро, и скользит уже его жуткое очертание: «челюсть на шее», т. е. переодетый Мандро, или «старчище», в желто-черно-зеленых лохмотьях.

А уж па́рит!

И — загрозарело; деревья склонились друг к другу бессмыслицей, шепотный смысл в них явивши; и пагубородное что-то закрыло луну, перед нею пропятяся лапой — когтистою, черной — подкравшейся тучи; уж лапа разорвана в желто-зеленые и желто-черные клочья (цвета́ лохмотьев на старчище. — *К. Н.*); над ней, за трубой дымовой — черно-желто-зеленая пасть: уже жу́тя, в пустом переулке дряхлец тащит челюсть на шее; фасад за фасадом — ад адом.

> И двери, как трещины.
>
> Загрозарело: ругается где-то прохожая туча; темнеет; за крышею семиэтажного кубища небо — вздуй: сухоплясами в окна; и — молньями в окна; дом, каменный ком, вспыхнув в выжелчень пламени, смерк; и на нем кто-то, дряхлый, на белой стене в переулочке, вспыхнувши шеей и челюстью, — смерк (60).

Затем юбилей: суета, поздравления, речи, и, наконец, качание юбиляра, которое, однако, «походило на бред в стиле Брегеля, нарисовавший скорей бичевание, чем прославленье, в мистерии *«Страсти Коробкина»*... (73).

И последние слова, которыми заканчивается этот «юбилейный» отрывок:

> ...и — лопнул стеклянный колпак небосвода разблéсканным залпом лучей; и полезло надутое солнце: кричащими жáрами; день утомительно вспыхивал: пламенем!
>
> Улица бросилась в вы́желтень пламени (75).

Пламя свечи выжжет Коробкину глаз.

Лизаша, после трагедии с отцом, увезена на дачу, где к ней возвращается жизнь.

> По песочной дорожке бегает «пеночка, малая пташечка; первое, что поразило: по прóясню мчится стрелой прямолётная птица в вольготные воздухи.
>
> Все-таки — как хорошо!
>
> Тут по лобику журкнул прощёлком светящийся в воздухе жук.
>
> В желтый, мёдистый вечер под запахом липовым всё-то звенело... (186).
>
> ...вот на лазоревом — состренный черч изрыжевшего резко трижердья; меж двух безизлистных жер-

динок — серебряный и́зблеск живой паутиночки; выше — два листика: передрожали как в воздухе:

— Как хорошо! (187).

...и заря загоралася; перелило́вилась пашня... виднелась вдали редкосевная рожь, синевой васильков.

И уж перепели́лось над нивами.

...в Лизаше проснулся — жизнёныш... (188).

Профессор Коробкин охвачен тревогой. Он решает с дачи поехать в Москву — уничтожить открытие.

Бежала дорога на станцию — в же́лтень и в муть; горизонт был исчерчен тончайшей игрой черкушко́в, как из туши.

Жо́ги носилися в небе; дичели окрестности выжарью злаков медяных; из далей мутнело сжелтенье: Москва семихолмною там растаращей сидела на корточках, точно паук семиногий, готовый подпрыгнуть под облако.

Бля́кали в пыль колокольца (193).

В Москве. Коробкин едет на извозчике с переодетым Мандро к себе на квартиру. Все призрачно, мрачно и грозно.

...люди вдали проступали из пыли: сложением пыли; весь город стоял пылевой.

Надо всем нависала безгласая, страшная туча. Засели в пролетку, подпрыгивать стали... (206).

Ветер пустился вдогонку забо́ями пыли, врываясь в гадкую, затхлую улицу, крытую ржой...

Душненье, гременье, жарня, гоготня, злопыханье асфальтовой каши... рыже-зеленое небо, где крыша уж грохнула в ветер, а тучи пошли вверх тормашками, где растаращился дом дикодырым окном, из которого глянуло серое, мертвое тело... (207).

Навстречу — процессия Армии Спасения:

...шествие; бред попросился быть в былы (208).

От тучи всё серое зазеленилось мертвеющим отсветом в лицах; и в лиц выраженье стоял мертвый страх...

Небо — надвое треснуло красным зигзагом; и тотчас, как пушечный выстрел, гром, молния — вместе! (212).

Приехали. Дальше — страшная для Коробкина ночь.

«Маски»

Лирические отрывки. Проходит один из лейтмотивов романа: бесприютность, томление души в бессмыслице быта, который, однако, жутко коснеет в своем «плевельном тлении».

В переулках:

По вечерам здесь под лепет деревьев какое-то «пл-пл-пл» — влеплено в ухо, как тление — как оплевание, как оскорбление, — и как удары дубины по пыли!

И ветер, — как вы́рыв песков сизо-сивых.

Какое здесь всё — деревянное, дрянное, пересерелое и перепрелое: перераздряпано и расшарапано; серые сме́си навесов всех колеров, — перепелиных и пепельных, — пялятся в пы́ли и валятся в плевелы, как перепойцы, — сизые, сивые, вшивые, — валятся — в дизентерии и тифы! (15—16).

Это место — лысастое!

Осенью не городской, не людской — деревенский здесь шум от деревьев, чуть тронутых, или — еще от чего? И уже — вырывается: и выше выспри глаголет, как... шамканье страшных старух.

Это — шаркает шаг с бесполезным бесстрашием сердцебиенья, — шаг — смерти, — в давно не сметённые листья, в давно безглагольное сердце: под вы́визги ры́ва планеты швыряемой. И, — с бесполез-

ной жестокостью больно катаемое и усталое сердце, — разрывчато бьется.

Ты ищешь чего же душа моя? И ты чего надрываешься, под колесом Зодиака песком засыпаемая?

Здесь всё то, чего ищешь, — коснеет.

Здесь — домовладелица, — Психопержицкая — и Непососько —отслюнивают ассигнации. Шелест их слушаешь ты.

Успокойся, душа моя, что тебя нет в том, чего тоже нет, что в деревьях, чуть тронутых, шаркает шаг пешехода... что ветер с возвышенной лыси отчесывает взвивы пыли, охлестывает пустоплясом песков, вырываемых из буераков — плешивую площадь — с заржавшим трамваем! (38).

Сестра Серафима в саду — с душевнобольными.

Лучезарно встал сад пурпуреющими, просвещенными клёнами: в неизъяснимое небо; боярышник яростный — рой леопардовых пятен; лилово-вишневый — вишневый лист до... золотистого воздуха: яснился, слётом ложась под зеленое золото бледных берез, где оттенками медными ясени нежили глаз цветом спелого персика, перерождаясь в карь гари.

Присев к Пантукану с охапкою листьев сухих Серафима Сергевна учила разглядывать колеры... улыбалась; и — сравнивала (62—63).

Война. Фронт. Москва. Россия.

Как тощая стая собак, хвост поджавших, вдали — пулеметы оттявкали; воздух высвистывал тихою пулею; не то — зефиры, не то — визг разбитых дивизий... (83).

Молкнет речь; молкнет Русь: молкнет ночь — в шелестениях поля несжатого... там поезд, из морока черного ясными окнами мокрых вагонов сверкнув, в

черный морок летел, к царской Ставке — за ставку; туда, где блистали, трясясь световыми лучами прожекторы, пересекаясь, взлетев и пав ниц, чтобы вылизать светом полоску травинок... Перст световой показал на поля; поле — затарарыкало, плюнув свинцом: пулеметы! (84).

В полосах желтоватых жнивья — полоса серовато прошла из частей войсковых руконогов, безглавых, бессильно шагающих в бой по бессочью безродного поля: призыв девятьсотого года...

Народная голь! (108).

Рассвет: под бережистой речкой, — костер; выше — тра́вы ходили, гоня от фронтов свои ды́мы, как полк за полком, на Москву — в безысходном позорище, а не в России, которая выплакала на юрах безысходное горе в бездомное поле (87).

Так и ломит заборами ветер, летя на Москву... (89).

...переворо́х на дворах; разворо́хи в квартирах; и — ворох сознаний, сметаемый в кучи, как листья бульвара, стальным дуновеньем оторванные с пригнетенных друг к другу вершин, угоняемых в площадь Сенную... (93).

Зима. Призрачность, смятенность событий.

Москва, —

как на крыльях, без стен, перегрохами в воздухе виснущих крыш — улетает (202).

Странно моргает метель теневыми, домо́выми окнами; и овнорогая морда бросается в бурю — с оливково-темного фриза (259).

Белоснежный гигантский клубок зараспутничал (тема Распутина. — *К. Н.*) от горбосвёрта, рукав за-

неся над давимою крышей; воро́ны летели сквозь белую руку его; и прохожий согнулся под ней в три погибели; голову пряча под руки.

И — ррр: — батареями грохнуло в рожу распутинцу!

И сквозь летящую бороду, рот разорвавшую, желтым и жестким закатом оскалилась даль.

Передергиваясь над забором, качаются призраки розово-рыжими космами; снег, как стекло, дребезжит, разбиваяся свистом, как взвизги разбитых дивизий под Минском и Пинском.

И красною гривою врезалось небо в серо-лиловые линии поля и в синие пунцовые линии леса — под ясною тучею — над — странно безглавой — Россией! (259—260).

Страх и растерянность Никанора перед сложностью жизни.

...Никанор пригорюнился... он — только ветром ломимый заборик сквозной, под которым присел брат, Иван (194).

Встали ворохи — мороком, рокотом; и из пустого простора шарахнул, зау́хавши страх, как косматый монах: на оранжевый домик; пригорбился брат Никонор, чтобы стужей стальной не зашибло. ...жестяная флюгарка, вертяся, визжала с соседнего домика... Вьюга пустилась по кольям забора, как стая несытых смертей. (Сложность человеческих отношений. — *К. Н.*) (195).

...душа перере́залась; странно дрезжали разъятые части: в метель из метели.

Да, да, — угоняется смысл, угоняется смысл отношений; и смыслы истории рушатся.

Ветер в трубе, точно мучаясь, плачет о том, что уже ничего нет святого: последняя ставка!

«Хлоп» — крышка железная; с нею история — «тарарах!» (221).

Профессор в лечебнице — первое появление.

Дым из-за труб; разъясненье, растменье редеющее, сине-сизое, голубо-сизое; встали малиновые и оранжево-карие пятна деревьев, не свеявших листья; дом розовый белоколонным подъездом и белою лепкой гирлянд поднимал расширения окон, как очи, вперенные в голубоватый прозор.

Распахнулся оконный квадрат: чье жилье? Штора, ве́ко, — открылась; но — мгла из-за шторы глядела; и кто-то к окну подошел, как зрачок, появившийся в глазе; старик коренастый — в халате: фон — голубо-серый, с оранжево-карею, с кубовою игрой пятен... а на глазе — квадратец заплаты безглазился.

Каждое утро — окно открывалось; и в нем появлялся старик этот пестрый: на черной заплате вселенной стоять (60).

В саду:

Свет — ясно желт: канареечен; серая, каре-кофейная — тень; только дальних домов ярко желтые призраки нежно чистеют медовыми окнами; встал из-за рденья деревьев профессор Иван, жмуря глаз, как от солнца (134).

Прошлое — больное — опадает. Будущее — здоровое — встает.

Кроваво листва довисала: кленовые лапы, крутясь, опадали в лучах; из расхлестанных веток являлись: дорожка, ворота, заборы и кубы огромных домов; в си́ни, солнечно злые, омолнились желтые стекла. (Настроение «юбилея». — *К. Н.*).

И крест колоколенки — белый; и — блещущий блик. И профессор себе, точно в отклике.

— «Я есмь во веки веков; и — со всем, что ни есть!»

Видел — дерево, вон заревое, румяное, издали виснет: из морока ясного (169).

...оранжевыми, сизо-синими, голубоватыми пятнами складок халата из ультралиловой шел в инфракрасную полосу — по семицветию спектра — листов облетающих, — вид же имея тибетца, скрепяся до каменного, землей сжатого угля (вполне адамантовый!), и разрешая вопрос овладения междуатóмным телом, своим собственным, внутренною теплотою своею!

...Óбоды облак окрасились странным оранжевым жаром. И в сквозном, в леопардовом всём из заката — изогнута: ясного глаза там ясная бровь. Воздух — красная свежесть: в нем зов (191—192).

Серафима принимает решение, изменяющее ее жизнь.

...в куралесицу быстро неслась...

Громкорогий позвал за забором.

И — рот суров; и ...на лбу яркий блеск волосят пырснул бурей: —

как лебеди, переливаясь в темнóты, алмазно взвились из темноты завывающих; точно несется на встречу до ужаса узнанный; и — решено, суждено!

— «Что?»

...побежала в танцующий блеск ...в кружевные винты... в непереносное счастье и — в космосы света.

И грозные космы всклокочились.

...Он — мудрый, а все же больной (232—234).

Лизаша охвачена воспоминаниями.

...неописуемый ужас прошелся меж ней и отцом...

И... в подушку зеленую коврика карего... грохнулась.

Из-за окна бирюзовый прорыв, скалясь желтою тенью и черною тенью, — сквозь серые, бледные,

бирюзоватые и серебристые прурвины фосфорами улепетывал... И вдруг: — как рукой теневой, по головке погладило облако черное — скрылась луна.

Ей казалось, что это погладила черная тень деревянного негра, — того, под которым валялась на шкуре малайского тигра она (в доме отца. — *К. Н.*).

Ночь смыкала свои негритянские полчища (251).

Тителев — после того как профессор уничтожил на его глазах открытие, нужное Тителеву для его «дела».

О, переполненное, точно вогнутый невод, звездой, — несвободное, обремененное небо!

О, — то же звездение: праздное!

Тителев мерз на дворе, больше часу разглядывая, как ничто закачалось дрожащими и драгоценными стаями.

Звезды, — зернистые искры, метаемые как икра, как-то зря, — этой рыбой — вселенной!

Глаза прозвездúло до... мозга.

И он полетел через двор, наклоняясь с напором, со стрóпотством (364—365).

Леоночка смотрит сквозь окно в комнату профессора, не решаясь войти.

Ночь, уронивши на дворик две черных руки и звездой перелúвною капнув над крышей, сжимала в объятиях домик, как мать колыбель, и глазами, алмазно и влажно сиявшими, жадно глядела из синих морозов в цветистую комнату.

...Казалось: — огромная, черная женщина, павши на землю, сейчас распрямится, — и — перерезая вселенную, руки свои заломивши и бережно сняв этот домик со снега, как чашу с сияющей ценностью, черное орбитою в дали кубовые, руки кубовые окуная в созвездия, — Льва, Леонид, Лиры, Лебедя — перенесет!

Но не Лебедь, не Лира, не Дева, не ночь припадала к окошку — Леоночка!

В черном окне плавя льдинки, она прилипала... к ясным лилиям стекол.

Этот ребенок седой — ей давно дорогой... зá-руку взяв старика одноглазого, в вывизги рыва планеты швыряемой, под колесом Зодиака по жизни вести, чтоб вину дорогого, родного, другого, как долг, — пронести! (352—353).

Профессор окончательно уходит от прошлого в новую жизнь.

Вогнутая глубина кособоко спускалась над крышами; синяя вся, — издрожалась она самоцветными звездами...

Сплошным самоцветом дышала вселенная (310).

Звездоглядное небо! (311).

...казалось ему, что за звезды пророс: головой.

И глаза опустил...

А летучие ужасы мира стремительно вниз головою низринулись — над головою не нашей планетной системы, — чтобы зодиак был возложен венком седмица цветных лучей!

И вселенная звездная стала по грудь: человек — выше звезд!

То *снежиночки* из набежавшего облака: падали, видел: *под* ботиком ползают, как бриллиантовые насекомые (312).

Профессор входит на дворик своей новой квартиры. Начало новой жизни.

А профессор на взгорбок взошел — разглядеть под собою: домки́ и дворки́ белогорбые.

Точно дворцы — мелкогранные серьги с заборов слезятся:

дрожат сребро-ро́зово. Животечные, непереносные космосы!

Прорубь; река; лед ломают: паро́к.

Профессор, коленки расставив вперед, кучей меха — назад, спрятав руки свои в рукава меховые и их поджимая к микитке, *серебряною бородой рисовался отчетливо в зеленоватом небесном сиянии*, точно взметаясь в пространстве: под вспыхнувшее краснохохлое облако, павшее боком лиловым; и дышет в него дымогаром вишнёвым печная труба; кровля, с искрой, коньком стала в вогнутый купол, где в небе разъятое небо, за прзорочив из-за неба, — и третье, далекое, небо являя, — брызгуньей звездою качается: ну́дится синеньким усиком капнуть — *в сожжённое блеском* и *болями око*.

— «Свет — светит!»

Как звезды — в ушах; и как чуткие уши откроет свои звездовёрты глазастым согласием — небо: ужо́!

Он ей даль показал:

— «В свете — свет!»

И усами вздохнул, точно ветер деревьями:

— «Как светоносна: материя!»

Оранжевый флигель, от синего холоду *серо-сиреневый*, вы́близил легкие, синие линии *легком, сквозном, фиолетовом свете*.

Вошли. (В новую комнату профессора. — *К. Н.*).
(324—326).

<Дополнение к главе «Работа над „Масками"»>

В заключение хочу дать несколько ландшафтных картинок Кучина, составленных мной по тексту «Москвы под ударом» и «Масок». В них часто звучит нота самого Б. Н. Но, разумеется, эта личная нота дана в преломлении.

Так, в «Москве под ударом» Кучино взято, главным образом, как фон для неясной тревоги профессора, который уже чувствует на себе чей-то невидимый «дозирающий» глаз, и как фон для ужасного «старчищи», который «гиеною тихою по дороге с полей к гуще сада за ним волочился» (116)*.

Местами кучинский пейзаж воспроизведен с фотографической точностью. Его сразу можно узнать, хотя он взят синтетически, в освещении и красках романа, и органически слит с содержанием, так что фотографизм в прямом смысле, конечно, стирается.

Кроме того, Б. Н. использовал здесь отчасти свои, заготовленные им еще в Берлине, по словарю Даля, «загрунтовочные этюды», переделав их «касьяновско-клинский» ландшафт в кучинский и переулочно-московский. Автографы этих «этюдов» сохранились в бумагах Б. Н.

Точно так же преломлено Кучино в «Масках», где элементы его налицо, но где они взяты опять-таки в измененной тональности, отвечающей настроению романа. Кроме того, в «Москве под ударом» отражены первые восприятия Кучина летом 1925 года, когда мы жили на даче у Левандовских. В «Масках» же выступил ряд более мелких деталей и бытовых черто-

---

*Здесь и далее в круглых скобках приводится номер страницы по изданию: Белый А. Москва под ударом. М., 1927. — *Ред.*

чек, открывшихся лишь после двух-трех лет жизни на даче Шиповых. Так, сюда вошел весь инвентарь нашего «дворика», ежедневные наблюдения Б. Н. на прогулках, его разговоры и встречи с соседями, с нашими «стариками» и т. д. Для меня эти картины звучат почти как дневник.

Вот как выглядит летнее Кучино на страницах «Москвы под ударом»:

> Жоги носилися в небе; дичели окрестности... (186).
>
> Хмарило: жар — размарной; солнце — с пóдтуском... (115).
>
> ...синестволыми соснами бор засмолел и нахмурился: ...и лиловая баба с белясым оплечьем в передник сушняк набирала* (91).
>
> ...сжелтилися пятна осолнечных трав; белел дом с того берега... куском колоннады** (97).
>
> Берег же был вертипи́жистый; здесь коловертными быстрями... неслось протеченье — внизу, сквозь ольшину, где волны темнели и в прочернь и в празелень... шли далее — каменоломни (на той стороне), поливные и белые мели; и — пойма... (103).
>
> Деревья шли — впорядь; вон там — глинокопня; вон там — глиновальня: заводец гончарный***; и пылом повеяло... Сухим, серо-синим туманом подернулись сосенки (188).
>
> Подсосенки, сосенки, малый сосняк; серо-розовый зяблик упархивал в иглы... (90).
>
> И свистун, полевой куличек, подавал тихий голос откуда-то издали (116).
>
> Ящерка зелено-желтая ёрзнула прочь, прошипевши сухою травой (99).
>
> *Зонтом белоглавый грибок он расшлепнул* (110).

---

*В лесу мы часто встречали женщин, собиравших хворост.

**Бывший дом Рябушинского.

***Кирпичный завод в Кучине.

...сел... перед кочкой и... кочку разрыл: стала кочка — живой; муравьями покрылась она (113).

...нагибала к лиловым, к еловым, к уже набухающим шишкам... В шишку он внюхался: шишка — смолистая, шишка — душистая... (91).

Хлюпали ноги мохнаем; пошел — мокрозем; места — топкие... синертутной водицей болотце блеснуло из рясок... парок: подтуманило... неискосный лопух расширялся в полроста (93).

И заря загоралася; перелиловилась пашня; на ней бурячок-мужичонок зубрил плугом лиловые земли; виднелась вдали редкосевная рожь, синевой васильков. И уже перепели́лось над нивами (181).

Открывалася им синемилая даль; открывалася дачами дачная местность, откуда вечернее облако, темный моргач, повисало, на молоньях, по́д-вечер яснолиловою глыбой себя выявляя; для уха открылся дударь: провещался рожком; и — закрылся для глаза — протменьем; протменье — шло облаком пыли, из центра которого слышались щелки бича, густой мык... из полей возвращалося стадо (91—92). Веяло летними цве́тнями: дул тепелок... жара оседала мутнеющим сгаром; пожухли окрестности: стены и крыши... (84—85).

...заволновалися в ночь черноверхие купы деревьев... (107).

А глыбли́вая синяя туча, взметнув верхостаи под небо, бежала сама под собой завитком белым, быстрым и нервным; под нею же — почвы свинцовая сушь... (118).

...завеса — летела; пахнуло в лицо листвяным пересвистом... (120).

Подбросились ветки, подбросились листья (85).

Застучали нечастые капли: валили тьмосиние тучи в тьмосинюю ночь... В одном месте замолклого поля вставало пятно световое: ...Москва... (121).

Вот другая картинка: Кучино в серые осенние дни по роману «Маски»*.

> Репейник, да куст, да лысастое место — большой буерачащий двор, обнесенный заборами (13).
>
> ...и ломаной жестью, и дребезгом скляшек осыпалось место, где строился дом... (26).
>
> ...воронье улетает над сиплой осиной сквозь синюю просинь: неясною чернью — в неясные черни (44).
>
> ...гнется береза в окрапе коричнево-сером (58).
>
> ...а синь дымная гонит свое перегонное облако... под ропотень капелек. ...крытый дерном ледник — при сарае для дряни с приваленной тачкой, гнильцом, с корневищем** (14).
>
> ...заборик, себя повторяющий желтым столбом (через десять жердей) (15).
>
> ...недавно еще доцветали подсолнухи желтые там с георгиною синею***.
>
> ...крылечко — с пошатом, в репьях, выходящее в дворик... плеснéет фундамент; с протрухой стена... и — веревка: на ней платье репсовое...
>
> И ветер, — как вырыв песков сизо-сивых (15).
>
> ...заборик второй, третий, пятый... (28).
>
> ...смеси навесов всех колеров — перепелиных и пепельных (15—16).
>
> ...олово в небе ползет (148).
>
> ...меленький сеянец сереньким крапом косит... над листвою садов придорожных (113).

Кучино — позднею осенью:

> ...шоколадные домики — синие (148).

---

*Здесь и далее в круглых скобках приводится номер страницы по изданию: Белый А. Маски. М., 1932. — *Ред.*

**Ледник, сарай, тачка, сорная куча и «корневище» — все это «натюрморт» с нашего двора.

***Посинела после ночного мороза.

Надломилась известка... села наискось крыша (26).

...льет молоко, а не дым, дымовая труба (27).

Небо — сермяжина; середозимок — не осень... (26).

...сини сиверкие; туч оплывы — свечные, серявые, — в голубоватом нахмуре; туда — сукодрал, листочес перевéртнем уносится (26).

Первые дни октября; мукомолит, винтит; буераки обметаны инеем; странно торчат в свинцоватую серь (36).

...выкрупил первый снежишко (28).

Кучино — в яркие осенние дни:

...влеплено облако в кубовой глуби небес (167).

Дым из-за труб... разъясненье, растменье редеющее... встали малиновые и оранжево-карие пятна деревьев (60). ...в неизъяснимое небо (63). Кроваво листва довисала: кленовые лапы, крутясь, опадали в лучах (169).

...боярышник яростный — рой леопардовых пятен; лилово-вишневый — вишневый лист до... золотистого воздуха: я́снился, слетом ложась под зеленое золото бледных берез, где оттенками медными ясени нежили глаз цветом спелого персика, перерождаясь в карь гáри (62—63).

...заборчик глухой осклаблялся ржавыми зубьями; сурики, листья сметает (14).

...кладка березовых и бело-розовых дров, где молочного цвета коза забодалась с щенятами (15).

...крыши кривые крыжовниковых, красно-ржавых цветов (14).

...домики... каре-оранжевые (148).

...протек на кофейном оржáвленной крыше; рудеет под нею земля (15). И — дом: цвета перца; и — дом: цвета персика (16). Флигель оранжевый (14).

Клейкого берега красные глины; заречные песни; и встречные встрепеты ветра (16).

Свет — ясно желт: канареечен; серая, каре-кофейная — тень; только дальних домов ярко-желтые призраки нежно чистеют: медовыми окнами (134).

...дерево, вон, заревое, румяное, издали виснет: из мóрока ясного (169).

Ободы облак окрасились странным оранжевым жаром (191).

Воздух — красная свежесть: в нем зов.

И светорукое солнце лучилось невидимо из красноглавого облака: и синерукий восток поднимал свою тускль (192).

...в бело-сером и бело-серебряном небе: день делался вечером; листьев набухшая пуча: в набухнувших кучах; вон — дерево темно-зеленое... бросило желто-оливковый плащ своей тени на выступ деревьев, ярчеющий, солнечно-желтый; за ним — уже розово-ржавое дерево: в сером тумане вставало; оно стало розовым, как запарéло от пруда: едва (63—64).

В облаке у горизонта — расщепина; ясность — предельная; даль — беспредельная (27).

Метель

Лизала метель через колья забора: сквозной порошицей: замах за замахом хлестал (193).

И — высвистывало (199).

...еле тусклило лиловым забором (198).

Жались голуби; слышался звук ударяемых дров (195).

...прытко белье перемерзлое, с мерзлой веревки срываяся, прыгало (224).

...вьюрчивый юркий вьюнок — подлизнул (202).

...промаячил домочек резной, деревянный, коричнево-розовых колеров, с легкой, резной, полукруглой надстройкой (200).

...дым из трубы, выгибаясь как черт голенастый, в минуты затишья, выскакивал рывами в белые рывы; — в разрыв белых вей; — двор, забор (209). ...трое идут — в армяке, в зипуне, в полушубке (276).

Сутулая шуба, без ног, пронеслась (202). ...белая ведьмочка, вылетев из-за трубы... развизжалась икливыми криками в воздухе (203).

...чернокрылый каркун машет крыльями; и — треугольником врезался угол трезвонящей крыши с обрывистым жолобом (259). ...свора бо́рзая храпами бьется о красный забор... очерком темно-суконных домов мрачновато тусклит надзаборье (277).

...серые тени прохожих из белого дыма, — как издали! (202).

И пуще, и пуще отгрохало крышами (205).

...взлизнули вьюнки; завизжав, как стрижи, затрещав, как чижи... улепетнули под небо (200). ...отцокала свора морозная — гривистых, нежных, серебряных, снежных коней — сквозь забор, переулок, ковровый платок, полушубок, тулуп и сквозь стену, с которой, как рапортом, отбарабанила крыша (202).

...дерево бросилось сучьями (277). ...кисейно летали снега (244). И — ночь.

Луна рвала тучи, как фосфором; в голубоватых сугробах... оранжевый вспых бросил луч; и его перерезала тень; фонаришка маячил далекою звездочкой: знать у заборика* (245).

«Синина белоперая»

...защититься от блесков: и лед — сверкунец; и жестянка — звездянка: и — ах! — «Бриллиантистей всех бриллиантов!» ...блестинки снежинок (279).

...несся по снегу, блаженным пространством дыша (282).

---

*С ночного поезда кто-то возвращался домой.

И — там: — синева... голубая; как в паре опаловом (282).

...показал ей, как при́зорочит — там — цветами из света: сквозными и розовыми, как миндаль! (281). ...розово-желтыми персиками пронежнел — красный дом; тот, вишневый, — вино, а этот, беленький, — розовый воздух невидимый.

...вершина сосны, схватясь ветками в облако, розово вспухшее, свесилась с каре-янтарного, ставшего ясным ствола; ствол сосновый, вот этот, как смолотый кофе; и карий, и красный; березовый ствол, как коралл; — дом, — лимон, — апельсиновый (282).

...гелио-город... дом угловой бело-кремовых колеров... на нем солнечный луч, точно взрез ананаса... не крыша, а — пырснь (287).

Синина белоперая; воздух, живой солнописец, сияющий окнами; наст — золотая блесна... Желтизна световая бросала отчетливый отсвет (286).

...солнотечные синие тени резки; как, сметаясь, густели они в углублениях стен, становясь чернотой. Свёрт, — синие сумерки! Вечер: Тихо слетало большое старинное солнце. ...и луч, звездохват, облеснул переулочек (287). И конек дальней кровли, — топазовый глаз, налился, как слезой, своим блеском. Слеза пролилась. И топазовый глаз — уже розовый, красный, пунцовый — глаз: гас! (288).

«Светозарный мороз»

День:

...опаловый пар (321). ...синие воздухи (320). ...хрусталь голубых леденцов...

Медленно шел под деревьями — в черные бездны, сиявшие светами... Вышел туда, — где — все дернулось: белым сияющим бешенством (321).

...лопалось солнце, — стеклянное солнце, слезящееся белым блеском (318). О, какой светозарный

мороз! (319). Животечные, непереносные космосы (324). Око выпило солнце, как чарку вина; запылало, как пламенем, небо (320).

...громко, блистательно брякая, ерзали ярко морозные раковины*; серебрянцем заляпало солнце на блещенский снег; и — черней темноты: тени синие (320—321). ...о, как прекрасна вселенная, как темен свет! Поглядел в мир ветвей, белых инеев, ставших сквозным одуванчиком, — сквозь одуванное, в синие воздухи, через вселенную (320).

Вечер:

Солнце, — метающий синие** выпыхи, воздух взрезающий ободом — диск — красно-розово выпуклилось.

...солносяды открылись... с пожаром заречных земель (322).

...краснохохлое облако, павшее боком лиловым; и дышит в него дымогаром... печная труба; кровля, с искрой, коньком стала в вогнутый купол, где в небе разъятое небо, запри́зорочив из-за неба, — и третье, далекое, небо являя, — брызгуньей звездою качается. Оранжевый флигель, от синего холоду серосиреневый, выблизил легкие синие линии в легком, сквозном, фиолетовом свете (326). ...взгорбок... домки и дворки... мелкогранные серьги с заборов... дрожат сребророзово (324). Полулунок несется. И звездочка — первая, — нудится — лучиком синим: скатиться над домиком (322).

---

*Блеск солнца на снеге.

**На станции Казбек Военно-Грузинской дороги Б. Н. пробовал смотреть прямо на солнце. В глазах вспыхнуло *синее* пламя. И несколько дней после этого в них чувствовалась сильная режущая боль.

Приложение II

Е. Н. Кезельман

ЖИЗНЬ В ЛЕБЕДЯНИ ЛЕТОМ 32-го ГОДА

«Klares Denken[1] — в голове, келейка св. Серафима[2] — в сердце», — так ответил однажды Б. Н. на вопрос: что самое важное для современного человека.

Как «klares Denken», так и «келейка св. Серафима» моему складу мышления, развитию, темпераменту — чужды. Но их соединение, живым носителем которого был сам Б. Н., влекли меня безотчетно с момента начала внутренней сознательной жизни.

Все лекции Б. Н., все слова его в интимном кругу на темы познания и сознания, все это — линии «klares Denken». И эту линию его выявления знают многие. Другая же, скрытая очень, очень глубоко — линия «келейки св. Серафима», или «тихого сердца» («О, сердце тихое мое...» — «Урна»[3]) известна немногим. Б. Н. был целомудренен в выявлении ее. И о ней-то, собственно, мне и хотелось вспомнить.

Зная Б. Н. как писателя и будучи знакома лично с ним с 1913 года, я лишь в 1932 году столкнулась с этой стороной жизни его «тихого сердца», когда он с моей сестрой проводил конец лета у меня в Лебедяни[4].

Должна сказать, что «приняла» я Б. Н., или он «завоевал» меня, так сказать (вовсе не думая об этом), очень, очень нескоро.

Я принадлежала к числу тех людей, которым книги Б. Н. казались малопонятными, странными, чуждыми. Выявления его на эстраде, в интимном кругу — также не вызывали во мне особого отклика. Кроме того, мне казалось, что он *разделил* меня с сестрой, и я просто устраивала ей откровенные сцены ревности, когда в 21-м году мне стало ясно, что они любят друг друга.

И действительно, по линии родственной, кровной, привычной близости он как бы разделил нас. Мы реже видались, мало говорили, а один — очень тяжелый — период жили каждая в своем и молчали друг с другом, даже внешне общаясь. Постепенно все же под этим разделением начинало брезжить новое, уже не только родственное соединение. И лето 1932 года окончательно вернуло мне не сестру только по родству и привычке, но *сестру-друга*. И это — дело Б. Н.

Я сильно волновалась, ожидая Клодю с Б. Н. к себе в Лебедянь. Поводов к волнению было много: трудности с керосином, едой, водой; более чем примитивная квартира, а главное — боязнь, что Б. Н. затомится здесь без людей и прогулок в лес, которые он так любил в Кучине. В ближайших окрестностях Лебедяни леса не было. Но сам городок расположен прекрасно: на высоком берегу верховья Дона, и весь во фруктовых садах.

Кроме всего — я никогда не жила долгое время вплотную, так сказать, с Б. Н. В Кучине проводила у них по нескольку дней летом 25-го и 27-го годов, но там всегда были еще люди[5]. Все это волновало — и очень — меня.

Приехали они утром 10 августа, с нашим всегдашним извозчиком Никитой Никифоровичем Додерко, который по моим описаниям узнал их на станции, и всю дорогу до города — около трех верст — у него с Б. Н. шел самый оживленный разговор*.

Клодя, уставши с дороги, скоро уснула. Мы же с Б. Н., покуривая привезенные из Москвы папиросы «Дели», «заливались как чижи», по выражению проснувшейся под это «заливанье» сестры.

Я вспомнила, что мне надо сходить на почту за посылкой, и Б. Н. тотчас вызвался сопровождать.

---

*С этим самым Додерко я ехала в 1934 году, в январе, на захоронение урны Б. Н. Никита Никифорович говорил, что прочел некролог в «Известиях» и дивился, что «человек 41 том написал (так он воспринял перечень книг в некрологе[6]), а такой простой в обращенье, несмелый такой, что всякий обидеть, как ребенка, может». И все повторял, что вот и я «руку большому русскому писателю жал».

Был жаркий день, с сильным юго-восточным ветром, вздымавшим клубы пыли, и я уговаривала Б. Н. не ходить, но он рвался поскорее увидеть Лебедянь.

Идти было недалеко, почти все время по широкой улице с большими фруктовыми садами с двух сторон. Я негодовала на ветер, а Б. Н. купался в нем, как птица, выбросив поднятые вверх руки, и с восторгом говорил, что это его «родной» воздух, что «под старость — так странно — судьба привела его в родные края», что Лебедянь — недалеко от Ефремова, вблизи от которого находилось когда-то именьице его матери «Серебряный Колодезь», где и писалось «Золото в лазури» — его первый сборник стихов[7]. Мои опасения начинали рассеиваться: отсутствие леса его не смущало. «Лебедянь приходилась сродни».

Одним из волнений моих было и то, что ограниченное количество отпускаемого керосина заставит Б. Н. перестроить привычный ритм работы: работать днем, а не ночью. Вставать приходилось в 6 часов, а укладываться спать — часов в 9—9½.

Квартира моя состояла из двух небольших комнат. В большой поселились они, в маленькой, проходной, — я. Обстановка «от хозяйки» была очень ограничена: топчаны с сенниками, четыре мягких кресла, стулья, шкаф и прочая мелочь. Но гордостью моей и хозяйкиной был действительно прекрасный, большой раздвижной стол. На одном конце его — у стены — расположился Б. Н. со своими бумагами, чернилами, книгами. Другой — был предоставлен в мое полное распоряжение для «приятия пищи», как комически-серьезно заявлял Б. Н.

Б. Н. был неприхотлив в жизни, но одного не любил: чтобы еда и работа были в одной комнате. В лебедянских условиях он был рад уже и тому, что можно было «поставить хотя бы условный барьер» на пространстве стола. И Б. Н. строго следил за тем, чтобы границы не нарушались ни одной из сторон.

Вставали мы почти одновременно, я немного лишь раньше. Пока шло умыванье, одеванье, бритье в соседней комнате — я ставила самовар. Эти моменты — пока у меня не поспевал са-

мовар, ставившийся прямо в печку и плохими угольями, а Б. Н. брился, торопясь, чтобы не остыла вода, жалуясь, что «мыло не мылится и бритва дерет, а не бреет», — были довольно напряженны, и мы оба являли собой — я у печки, а Б. Н. у зеркала — заряженные лейденские банки, между которыми умело лавировала «Малютка», иль «Невеличка», как называл Клодю Б. Н.

Наконец — самовар готов, бритье кончено и мы все мирно за столом. После кофе и чая, если день был базарный, Клодя с Б. Н. шли на базар, где покупался всегда «творожок», который Б. Н. кушал каждый день все полтора месяца жизни в Лебедяни и каждый день с одинаковой радостью. В еде был так же неприхотлив, как и в жизни. Каждый день был неизменный «супец» с помидорами и «творожок» со сметаной. Иногда мы с Клодей соблазняли Б. Н. нашими блюдами (мы ели другое), но он равнодушно отворачивался от наших «яств», оставаясь верным своему «пиршеству»[8].

Характерный штрих: во время еды Б. Н. не любил и не умел «вести умные разговоры». Когда у нас два дня прожил мой бывший муж[9] и во время обедов «интервьюировал» Б. Н. на разные темы, сам поедая и похваливая в это же время все кушанья, Б. Н. выглядел растерянным, ел, не замечая, что и как, и встал из-за стола так, что «впору опять пообедать». Обычно во время еды велись простые, легкие разговоры.

По возвращении с базара Б. Н. садился за работу до обеда, то есть до часу половины второго дня. Потом мы с Клодей пили кофе, а он полулежал на своем топчане с папиросой, и мы предавались всевозможным воспоминаниям, говорили о прочитанном или читали газету, письма, которые в эти часы приходили с почты. Иногда, если день был очень жарким, — все мы спали, закрыв от жары и мух окна. Или Б. Н. шел в мою комнатку, где в это время не было солнца, и, сидя на низеньком креслице у окна, исправлял написанное утром.

Часов в пять был чай, после которого отправлялись гулять. Вернувшись с прогулки, закусывали чем-нибудь, зажигали потом «драгоценную» семилинейную лампу и мирно заканчивали вечер. Б. Н. полулежал, тихо покуривая, Клодя читала вслух воен-

но-исторические рассказы Эркмана-Шатриана (Б. Н. *его любил*)[10] или Диккенса, а я работала крючком или иглой. Около десяти часов расходились по своим комнатам и мирно отходили ко сну.

И этот непривычный для Б. Н. ритм дня и работы не вызвал с его стороны за все время жизни в Лебедяни ни одного слова ропота. Работать, собственно, то есть писать третий том воспоминаний («Между двух революций»), — он начал только с 1 сентября[11]. Первые недели «дал себе отдых»[12], во время которого написал для «Нового мира» статью о поэме Г. А. Санникова «В гостях у египтян»[13]. Отдых — в понимании Б. Н. — был очень своеобразен. Он «отдыхал», например, за составлением словаря рифм (сделано только начало, рифмы на *ар*), к которому привлек и меня, и даже моих соседей татар, с которыми вместе я, коротая длинные зимние вечера, выискивала слова на *ар*[14].

Эти татары — Сергей и Рая — молодая, очень примитивная пара — были моими друзьями. С ними делилась, в меру их понимания, всем. И они, особенно Сергей, высказывали интерес к той жизни и людям, которых раньше не знали. Так, когда вышли в 1933 году «Маски» Б. Н., я понесла книгу им, показывала рисунки[15] и вкратце рассказала содержание. Сергей очень правильно разбирался в рисунках, сказав, например, о Лизаше (где она «с крокусом в ручке»): «Ух! прямо змея...»[16] Удивлялся и долго не понимал, как это Б. Н. пишет: «У него в голове по-другому все лежит и сготовлено. Мы так не умеем, хоть учен, хоть не учен». И, жалостно качая головой и прищелкивая языком (то же повторяла и Рая), заявлял: «Худой, очень, очень худой. Кумыс, кумыс больше надо пить...»

Когда я ждала приезда сестры с Б. Н., татары мои побаивались: «москвичи» приедут, «гордые», да еще писатель, книжки пишет, а кухня проходная, уборная общая, ходить нам надо в нее через кухню татар, — как бы чего не вышло, каких-нибудь неприятностей. Но первые же дни совместной жизни с моими гостями успокоили их. И относились они к Б. Н. отчасти как к существу высшему («вроде муллы», как выразилась однажды Рая), считая, что «хоть умен, ох, как умен», а в жизни проще ребенка: обмануть и обидеть всякий может.

Началось с того, что Б. Н., проходя через кухню в уборную и заставая в кухне Раю, — останавливался, здоровался, пожимая руку, расспрашивал о здоровье, о муже, о курах, о котенке. Не дойдя до цели, возвращался обратно и взывал к Клоде, чтобы она «спасала его из такого нелепейшего положения». Клодя — спасала. Наконец мы догадались сказать Рае, чтобы она, как только услышит, что к нам открывается дверь, исчезала бы к себе. И она это строго выполняла, тем более что «сама знаю, куда ему надо идти, а он со мной по три раза в день здоровается да разговаривает. Уж очень несмелый». Сама же догадаться никак не могла — как избежать таких встреч.

Вероятно, ее впечатление «муллы» возникло вот по какому поводу. Как-то мы, возвращаясь с прогулки, застали во дворе большое общество, наслаждавшееся прекрасным вечером: хозяйка, ее дачники со своими гостями, квартирантки из отдельной кухонки, *татары* — все сидели на лавочке, беседуя на свои темы. Б. Н. был уже с дачниками знаком. Клодя же — нет. И здесь я увидела, как дорого было ему то, что Клодя была его *женой* и *Бугаевой*. Знакомя ее с дачниками, он (отступая от обычных правил) представлял ее мужчинам, заявляя с сияющим лицом: «Моя жена, Бугаева». (Ася, его первая жена, носила в замужестве свою девичью фамилию[17].) Дачники тотчас же впились в Б. Н. с расспросами (они знали его как автора «Петербурга»), а он, остановясь среди них, заораторствовал. Я пошла к себе готовить ужин и не слышала, о чем он говорил. Говорил он долго, как всегда не умел сам прекратить такие импровизированные выступления, так что я уже «извлекала» их к ужину. Вместе с ними вернулась и Рая. На мой вопрос — понравилось ли ей то, что говорил Б. Н., она ответила, что очень. На вопрос же — о чем он говорил, отвечала, что «ни-и-и-чего не поняла», но что «о-о-ох, хорошо говорил, будто песни пел и — как мулла, как мулла в мечети».

Сергей же удивил меня как-то вопросом: разве у Б. Н. два имени, как у татар? На мое недоумение, почему он так думает (об А. Белом он не знал), получила ответ: «А ты его то Борисом Николаевичем, то Мишенькой кличешь». Разъяснила ему, что это «имя» шутливо-ласкательное, что взрослые люди, и даже пи-

сатели, любят шутки, прозвища всякие, чтобы отдохнуть от серьезной работы, от мыслей, от напряжения во время писания.

У Б. Н. было много таких шутливых «имен». В пору «лебедянской» жизни он назывался, главным образом, «Мишенькой», — от «Мишка» — медведь, повадкам которого так прекрасно подражал, умудряясь передать своими глазами «медвежьи глазки», а рукой — «крохотный хвостик». В изображении зверей и животных Б. Н. был совершенно неподражаем, хотя сам считал, что не может в этом сравниться с «гениальностью» Эллиса[18], «номера» которого иногда тоже разыгрывал перед нами. Об этом вспоминает сестра в своих записях, говоря о «кучинских играх»[19]. Я же хочу здесь рассказать только об одном его «номере» — гримаса мартышки, которою он часто удостаивал специально меня, когда скрыто сердился на какое-нибудь мое хозяйственное приставание, а говорить было «некогда». Тогда он на одно мгновение поворачивал в мою сторону голову, что-то делая с нижней частью лица такое, что оно превращалось в совершенное подобие мартышки, — и злобно помаргивал глазками. Я понимала эту сигнализацию и с хохотом оставляла его в покое. Мы с сестрой неоднократно просили «сделать мартышку», чтобы разглядеть — в чем же дело? С двух сторон неотрывно смотрели на его лицо, но так и не уловили «тайну» мартышки.

Для Клоди у Б. Н. имелся также целый ряд «имен». «Невеличка» — от небольшого роста и тихой уютности. «Больших» женщин Б. Н., по его собственному признанию, «побаивался». С моим ростом его примиряло то, что я — «карамора преуютнейшая». С этой «караморой» чуть было не вышло обиды с моей стороны. Как-то я возилась у окна (мыла его), он же писал письма. Вдруг поднимает голову и ласково, ласково улыбаясь, говорит: «Наконец-то я понял, кого мне напоминает Елена Николаевна, — карамору!» Я, также улыбаясь, но довольно натянуто, спросила: «Почему же кикимору?» (мне так послышалось, так как слово карамора было незнакомо). Про себя же подумала: ведь вот — в глаза называет кикиморой, да еще радуется, будто это очень приятное наименование. В ответ раздалось: «Какая

кикимора? Голубушка, что вы?! Карамора, а не кикимора! Карамора — такой огромный комар, с длинными, длинными ногами, бьется всегда у стекла. Преую-ю-ютнейшая». И долго потом развивал тему — *какая* карамора и все ее прекрасные повадки. Вот это-то «преуютнейшая» и примирила Б. Н. с моим ростом.

Кроме «Невелички», Клодя звалась еще «Любочкой» — от «Люба моя», то есть «милая сердцу». Звалась еще «Маша, Машенька» — как что-то истинно русское. Причем Б. Н. произносил эту «Машу» совершенно особенно, «будто манную кашку уписывал», — как он говорит в «Масках» о профессоре Коробкине, разговаривающем с Лизашей[20].

В обычной жизни чаще всего являлась на сцену «Невеличка». «Любочка» же и «Мащенька» — только в экстренных случаях.

Кроме имен был еще у них бесконечный ряд «игр» — в бобров, котов, «зверку» (даже рисунки Б. Н. на эти темы сохранились в архиве сестры и в ГЛМ).

Была и «пляска». «Пляска» являлась очень редко, как показатель «ликующего» настроения. Видела ее и знала о ней только я одна. И то только в Лебедяни была введена в эту тайную радость. Клодя часто мне повторяла в Лебедяни, чтобы я была осторожна и не спугнула бы Б. Н. в его открытой доверчивости. Он в интимном с трудом открывался, касалось ли это «игр» или более глубоких вещей. «Пляска» по технике была очень проста и длилась минуты 2—3, не более. Но излучалась от них обоих, особенно от Б. Н., такая действительно лучезарная радость, что и у меня, глядя на них, рот до ушей улыбался.

Становились они, положив руки на плечи друг другу, откидывались корпусом и головой назад и начинали медленно, но легко переступать ногами, наподобие нарочито неуклюжего вальса. Лицо Б. Н. буквально сияло блаженством, которое излучалось из улыбки, из глаз, даже — *казалось* — из волос, выбивавшихся как-то весело-лихо из-под его всегдашней шапочки. Какая-то совершенная, бездумная, чистая радость делала это смешное потаптывание действительно ярким показателем того, что настроение было «ликующим». Эти «пляски» даже в Лебедяни бывали не очень-то часто.

Погода со времени приезда моих гостей стояла очень хорошая, теплая, и дни, положенные Б. Н. «отдыхать», он проводил в знакомстве с Лебедянью. Кроме наших общих вечерних прогулок и путешествий по утрам на базар, он — иногда в самую жару — после обеда отправлялся один «побродить». И возвращался всегда какой-то тихо задумчивый, молчаливый, сосредоточенный, будто принесший что-то и боящийся это принесенное спугнуть. Это неуловимое «что-то» была подготавливающаяся внутри работа к писанию «Между двух революций». К этой-то работе наконец в начале сентября он и приступил.

С утра, часов в десять, я удалялась к себе и занималась готовкой обеда, а Б. Н. диктовал Клоде воспоминания.

Он тихо ходил по комнате, потирая руки, то опускал голову, то внезапно поднимал ее вверх и очень сдержанным, но взволнованным голосом, стараясь не спешить, ронял как-то фразу за фразой. Но очень скоро забывал о намерении не торопиться и, увлекаясь, говорил быстрее, чем можно было записывать, так что Клодя прерывала его мольбами: «Я же не успеваю, помедленней». Вначале он слушал ее просьбу, снова начинал диктовать медленно, но, по мере разгорания внутреннего процесса работы, говорил все быстрее, быстрее. Мольбы, а под конец довольно сердитые реплики сестры (уставала рука и она сама от напряжения) вызывали с его стороны тоже не тихие ответы. Все чаще и чаще раздавались возгласы Б. Н.: «Сейчас, сейчас, сейчас кончу». И наконец, после неоднократных «сейчас», наступал настоящий конец. Клодя издавала сердито-облегченное «у-у-фф», а Б. Н., мгновенно преображаясь в «провинившегося пса», подходил к ней, легко опускался на корточки, клал одну руку — «лапу» — на ее колено, другой «навиливал», как хвостом, «извинения», что замучил свою «Невеличку». Клодя, махая затекшей правой рукой, левой гладила «провинившегося и принесшего извинения пса», и все становилось опять на свои места.

Диктовка длилась обычно часа полтора, два. При «извинениях» присутствовала и я, а потом Б. Н. прочитывал нам обеим написанное, нанося «легкую ретушь».

После обеда и отдыха снова диктовалась такая же порция.

Прогулки

Лебедянские прогулки встают в моей памяти «как тихие сны золотые»... Во время них я училась у Б. Н. «науке видеть» (термин Петрова-Водкина, очень нравившийся Б. Н.)[21] и Aufmerksamkeit*, училась слушать — что и как говорит расстилающийся перед глазами пейзаж. Он не поучал во время прогулок, он — больше молчал. Но то, как он молчал, говорило громче и явственней слов.

Лебедянские пейзажи не богаты разнообразием. Нет там ни ручейков, ни полянок, ни перелесков, ни лугов заливных. Но чем-то древнерусским, строгим, вольным и очень насыщенным веет от дальних холмов, от ветвистых оврагов, от плоскостей сжатых полей, ярких озимей, черных полос вспаханной зяби и редких куп одевшихся в осеннее яркое убранство деревьев. С высокого берега Дона горизонт вольно широк, прекрасен и пронизан весь какой-то песней без слов. Здесь звучало мне и «Слово о полку Игореве», и «Битва на поле Куликовом». Таких нот от природы в других русских пейзажах я не слышала. Может быть, здесь бессознательно сказалось посещение местного краеведческого музея, где я узнала, что Лебедянь была крепостью, защищавшей Москву от татар. В поле — на запад от Дона — сохранились кое-где и курганы, и остатки поросших травой валов.

Сам городок очень невелик: шесть улиц вдоль и шесть — поперек. Каждая из них из конца в конец — от десяти до двадцати минут ходьбы. Но со всех сторон к городу подступают вплотную слободы. На востоке к городу — Казаки и Пушкари (там вокзал); на юге — Покровская — излюбленная дачниками за прекрасный пляж для купания, на западе — Кузнецы, на севере — Монастырская — с довольно древним монастырем и огромной ярмарочной площадью. В свое время Лебедянь славилась конскими и хлебными ярмарками, что и описано Тургеневым в его рассказе «Лебедянь»[22]. На северо-востоке лежит очень живописная слобода Стрельцы.

---

*внимательность (*нем.*). — *Ред.*

Эти-то Стрельцы мы и избрали вначале местом своих прогулок. Слобода начиналась в десяти минутах ходьбы от нашего домика и с высокого берега Дона живописно сползала вниз, вплотную к реке. Домики — все в садах, а по самому берегу — широкая полоса молодого ивняка, которую Б. Н. прозвал «бамбуковой рощей».

Обычно мы начинали прогулку с того, что окидывали взглядом «необозримые равнины» («Пепел»)[23] задонской стороны, еще светлевшие в блеске дня, потом спускались по тропинке вниз, проходили «бамбуковой рощей», задами усадеб и по проселочной узкой дороге, заросшей травой, донником, тмином, — выходили на низкий берег Дона, где вода плескалась у ног, пахло мокрым песком, ракушками, чаканом. Тишина обступала кругом. Но здесь не было дали и солнца, хотелось поскорее наверх. Взобравшись снова на гору, садились «курнуть» и молча смотрели, как весь восток вспыхивал отблеском заходящего солнца. Этот «Abgluhn»* над широкими далями, веющими вольною волею, расстилавшимися перед глазами, расцвеченными и красками осени, и вспышками заходящего солнца, — вливал в душу все ту же ноту строгости, чуть-чуть грусти и полноты завершенной гармонической красоты осенней природы. Это было прекрасно. Но Б. Н. все рвался пройти на закат[24].

Как-то мы пытались пройти по дороге на запад, но вела она вдоль пыльной улицы, каким-то полуразрушенным мостом, через мрачный овраг, мимо пустынного кладбища и выходила, правда, в поле, но это было не поле, а вытоптанный скотом выгон. Кроме неуютности самой дороги, нам постоянно угрожала встреча с возвращающимся как раз в это время стадом, от которого надо было спасаться, чтобы не наглотаться пыли и не подвергнуться нападению какой-нибудь резвой коровы.

Однажды Б. Н. вернулся из своих одиночных «пробежек» взволнованный, сияющий, с возгласом: «После чая идем новой дорожкой. Нашел! Есть такая! Близехонько, прямо на закат, и очень уютно».

---

*закат (*нем.*). — *Ред.*

Торопясь, пили чай. Б. Н. не обратил даже внимания на свое любимое яство — оладьи с яблочной «тюрькой», — весь охваченный нетерпением: не пропустить бы заката и одобрим ли мы им выисканную новую дорожку.

Дорожка оказалась поистине самой удачной и живописной. Шла она сплошными садами крохотного переулка и околицы Лебедяни, сбегала в веселый овражек и зигзагами, среди осенних ярких яблонь, выползала на противоположную сторону. Здесь, усевшись на упавшее старое дерево, мы с сестрой вполне оценили открытую Б. Н. дорожку, которая с той поры и стала называться «Мишенькиной дорожкой».

Перед глазами, уходя в необъятную даль и как бы смыкаясь с шатром небосвода, — простирались пространства, кое-где розовевшие еще не сжатой гречей, переливавшие серебристо-золотыми овсами, темным золотом сжатых полей, черными жирными пашнями и ярко-зелеными бархатами озимых. Поле лежало на высоком плато, шедшем от Дона на запад, и в обе стороны открывались широкие равнины с синею лентой Дона, с темными сгущеньями далеких деревенек, с бронзовым золотом дубовых рощ, золотисто-розовых кленов и струистых, легких плакучих берез, начинавших едва-едва золотеть.

Часть этого поля — по квадрату — мы и обходили, иногда присаживаясь на один из уцелевших валов, иногда доходя до «нашего дерева», с которого начиналась дорожка к закату. Там садились и ждали когда угаснут все краски. В задумчивой тишине сходящего на землю осеннего вечера — возвращались домой.

Во время прогулки Б. Н. шел обычно несколько впереди нас. Привычка, оставшаяся с детства: «убегать вперед от матери и гувернантки». Вижу ясно его легкую, стремительную фигуру в черном широком пальто, черной же шляпе, с выбивающимися из-под полей легкими вьющимися волосами. Шел легко, но не быстро, весь погруженный в созерцание расстилавшейся вокруг красоты. Казалось — будто они говорили друг с другом; и небо, и дали рассказывали ему свои «тайны».

Я понять тебя хочу:
Темный твой язык учу[25].

Эти пушкинские, любимые Б. Н. строки как бы веяли вокруг него.

И — странно — во время этих прогулок я как-то вдруг поймала в Б. Н. сходство с Пушкиным: легкая стремительность всей фигуры, вьющиеся из-под шляпы волосы, черное пальто и шляпа, казавшиеся старинными, и эта наполненность немым разговором с природой. Даже во взгляде было что-то общее: какая-то светлая зоркость (Пушкин у моря на картине Айвазовского[26]).

Когда солнце начинало садиться и по небу струями, вспышками света играли закатные краски, Б. Н. как-то больше еще затихал, наполняясь этим немым разговором с природой. Что-то тихое, строгое, очень, очень сосредоточенное и глубокое шло от него в такие минуты.

Сознанье —
Все строже, все то же —
Все то же — сознанье мое.

«Самосознание» («Зовы времен»)[27]

Часто, когда я видела эту одинокую, легкую фигуру среди широких просторов земли, под куполом неба, певшего переливами красок, — вставали в памяти его же слова из «Глоссолалии»: «Аэрия, страна моя» (эр — воздух на старорусском языке)[28].

Эта страна воздуха, страна световых переливов казалась его отчизной, откуда он пришел и в которой продолжал жить, черпая из нее свои творческие силы. Во время этих прогулок мне уяснились постепенно многие, многие его стихотворные строчки, становилась близкой его (непонятная мне раньше) ритмическая проза и то, как он неразрывно связан с русским пейзажем.

Страна моя, страна моя родная!
Я — твой, я — твой.

(«Пепел»)[29]

Порою он останавливался и голосом, полным глубокой благодарности, любви и строгого благоговения, произносил — как бы обращаясь к кому-то живому: «Природушка! Природушка-матушка!».

«Посиды» у окна

В те дни, когда из-за сырости нельзя было идти в поле, мы заменяли прогулки «посидами» у окна[30]. Клодя с Б. Н. усаживались на низких креслицах у одного окна, я — у другого. Вели, покуривая, разговоры, больше предаваясь воспоминаниям далекого детства, путешествий, пережитого опыта жизни. Б. Н. почти каждый раз касался Блока и говорил о нем в эти тихие минуты всегда с огромной любовью и горечью, что не вышли отношения такими, какими могли бы и должны были быть. Любовь к Блоку, несмотря ни на что, Б. Н. пронес через всю свою жизнь.

Касался и блоковской темы «Радость-Страданье — одно» («Роза и Крест»)[31], но углублял ее и переводил в другой план: самосознания, а не романтики только.

Страдание для Б. Н. являлось одной из движущих сил внутренней жизни, роста ее.

Перегорающим страданием века
Омолнится голова каждого человека.

(«Христос Воскрес»)[32]

В этом «перегорающем страдании» Б. Н. находил творческий импульс, а не меланхолическое пассивное уныние. И в тяжелые полосы своей жизни Б. Н. всегда особенно интенсивно работал.

Между тем жизнь за окном замирала. В комнатах становилось все тише и тише. Разговоры наши также постепенно затихали, и мы погружались в целящую тишину жизни «светозарной материи», совершавшейся за окном. Как лейтмотив этих вечерних настроений, когда вспыхивали, струились и искрились первые краски заката, — мне звучали строчки:

Эфир!..
В эфир —
— Эфирная
Дорога...
Гори,
Зари —
— Порфирная
Стезя!

«Пустыня» («Зовы времен»)[33]

«Порфирная стезя» уводила каждого из нас, в соответствии с его внутренней жизнью, в чудесное царство полугрез, полуснов, в царство таинственной смены дня ночью.

Над полосой неубранного
Хлеба —
— Стоит
Звезда.
И как слезой алмазной плачет
Небо —
— Идем —
Туда!
Дохнет в лицо волною пряной
Мяты,
И
Ковылей.

Спорхнет забота, как покров
Измятый —
— Как пыль
Полей.

«Туда» («Зовы времен»)[34]

«Туда» звучало все громче и громче. Разговоры наши совсем прекращались. Б. Н. бросал папироску, обеими руками обвивал шею сестры и — с чисто детской лаской и недетской

Порою он останавливался и голосом, полным глубокой благодарности, любви и строгого благоговения, произносил — как бы обращаясь к кому-то живому: «Природушка! Природушка-матушка!».

«Посиды» у окна

В те дни, когда из-за сырости нельзя было идти в поле, мы заменяли прогулки «посидами» у окна[30]. Клодя с Б. Н. усаживались на низких креслицах у одного окна, я — у другого. Вели, покуривая, разговоры, больше предаваясь воспоминаниям далекого детства, путешествий, пережитого опыта жизни. Б. Н. почти каждый раз касался Блока и говорил о нем в эти тихие минуты всегда с огромной любовью и горечью, что не вышли отношения такими, какими могли бы и должны были быть. Любовь к Блоку, несмотря ни на что, Б. Н. пронес через всю свою жизнь.

Касался и блоковской темы «Радость-Страданье — одно» («Роза и Крест»)[31], но углублял ее и переводил в другой план: самосознания, а не романтики только.

Страдание для Б. Н. являлось одной из движущих сил внутренней жизни, роста ее.

Перегорающим страданием века
Омолнится голова каждого человека.

(«Христос Воскрес»)[32]

В этом «перегорающем страдании» Б. Н. находил творческий импульс, а не меланхолическое пассивное уныние. И в тяжелые полосы своей жизни Б. Н. всегда особенно интенсивно работал.

Между тем жизнь за окном замирала. В комнатах становилось все тише и тише. Разговоры наши также постепенно затихали, и мы погружались в целящую тишину жизни «светозарной материи», совершавшейся за окном. Как лейтмотив этих вечерних настроений, когда вспыхивали, струились и искрились первые краски заката, — мне звучали строчки:

Эфир!..
В эфир —
    — Эфирная
    Дорога...
Гори,
Зари —
    — Порфирная
    Стезя!

«Пустыня» («Зовы времен»)[33]

«Порфирная стезя» уводила каждого из нас, в соответствии с его внутренней жизнью, в чудесное царство полугрез, полуснов, в царство таинственной смены дня ночью.

Над полосой неубранного
Хлеба —
    — Стоит
    Звезда.
И как слезой алмазной плачет
Небо —
    — Идем —
    Туда!
Дохнет в лицо волною пряной
Мяты,
    И
    Ковылей.

Спорхнет забота, как покров
Измятый —
    — Как пыль
    Полей.

«Туда» («Зовы времен»)[34]

«Туда» звучало все громче и громче. Разговоры наши совсем прекращались. Б. Н. бросал папироску, обеими руками обвивал шею сестры и — с чисто детской лаской и недетской

грустью — прижимался к плечу ее головой. Глаза неотрывно глядели на закат, где уже подготовлялась послезакатная многоголосая фуга. И когда небо запевало свою световую песню — «горний зов заката» («Пепел»)[35], — у нас в комнате начиналась своя песня, песня светлой тишины и глубокой сосредоточенности.

Этой песней было лицо Б. Н.

И эта песня — его «Зовы времен» как они мне звучат теперь, раскрывая все новые и новые смыслы и красоту почти в каждой строчке. В эти минуты мне и приоткрывалась жизнь его «тихого сердца», его «святая святых» — его глубокий, светлый, полный примиренности, строго-скорбный покой.

Он — молчал. «Но тем громче говорило его лицо» (Пастернак. «Охранная грамота»)[36].

И лицо его, и глаза («как волна», — по выражению нянюшки Соловьевых) говорили то, что теперь — когда его нет с нами — говорит мне из «Зовов времен».

Бесконечно невыразимая печаль наполняла выражение глаз и лица, будто звучало в них:

Из светочей, блесков и молний
Сотканная плачет душа.

«Архангел» («Зовы времен»)[37]

Слышались мне в нем и ноты жизни, «которая могла бы быть, да не вышла» («Маски»)[38], и скорбные ноты о «так беспроко прожитой жизни» (из письма ко мне в августе 1933 года)[39].

Тихая, тихая скорбь чисто лирической ноты лилася из глаз:

Душа о желанном просила,
Но сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило. Но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно.

(Бальмонт)[40]

Постепенно это выражение сменялось другим: отрешенностью внеличной скорби и ожидания:

Жду:
В ослепленный мир
Христос —
Откроет огненные
Двери.

(«Зовы времен»)[41]

Исчезало и это выражение, сменяясь тихой, ясной просветленностью, любовью и утверждающей силой:

Мы — вот:
Мы — верим вере.
Пути —
Неисповедимы.

Иди:
Открыты двери!
Зовет —
Эфир родимый[42].

Когда на небе гасли последние отсветы и загорался

...со светлого
Темени звездочки
Летней —
— Алмаз, —[43]

Борис Николаевич окидывал невыразимо наполненным, благодарным светлым взглядом и небо, и отходящую на покой землю — тихо, тихо вздыхал и, еще неся только что увиденное и пережитое, ходил по наполнявшимся вечерним сумраком комнаткам.

В такие дни, когда зажигалась лампа, мы не читали Диккенса, а Б. Н. брал машинопись еще неизвестного мне «Мастерства Гоголя» и читал главки оттуда[44].

Вечера эти оставляли в душе чувство глубокой уверенности в победе «прекрасно-доброго — kalokagathos» — одна из тем, которые любил развивать Б. Н. «Kalokagathos», которое знала

далекая Греция и которое утеряно современным человеком, разорванным между абстрактным и чувственным восприятием красоты и добра[45].

Для Б. Н. они сливались в живое единство, возрождения которого он ждал и в победу которого он твердо верил.

* * *

В заключение этих воспоминаний хотелось бы мне прибавить хотя бы вкратце о том, чем был для меня Б. Н.

Я писала уже, что мое первоначальное отношение к нему было на грани почти полного неприятия: слишком он *беспокоил*. И как писатель, и как человек. Я часто повторяла сестре: «Нет, нет, я бы не могла! Все время ощущение, что из-под тебя выдергивают стул и ты повисаешь в пространстве. А я хочу сидеть на своем стуле, он прочен, привычен, удобен, и я не хочу беспокойства».

Однако, несмотря на мое нехотенье, стул был выдернут из-под меня самой жизнью, и выдернут довольно жестоко: крах в семейной жизни, внезапный отъезд в провинцию, оторвавший от всего привычного, близкого, родного[46]. Эти жизненные перипетии раздавили и исковеркали бы меня, если бы не помощь, явившаяся неожиданно в лице Б. Н.

Еще в Москве, оставшись без мужа, я черпала силы в общении с сестрой, Б. Н. и его книгами. Когда же судьба закинула меня в Лебедянь, в полное одиночество, я неоднократно стала возвращаться к его строчкам:

Перегорающим страданием века
Омолнится голова каждого человека.

Пыталась понять смысл «перегорающего страдания». Как, перегорая, не потухнуть, а излучать что-то живое? Как, потеряв, — обрести? И здесь прежде всего уяснилось: прочность стула — тормоз для движения. В беспокойстве, в повисании в пространстве без всякой внешней опоры — толчок к внутренней жизни, к расширению «границ познания и сознания» (Б. Н.). Нельзя «кабыкать» (Б. Н.), а надо жить. Теряя в одном, обре-

тать в другом. Не сваливать все жизненные крахи, тупики, сложности на судьбу, обстоятельства, людей. Во всем — две стороны: ты — и обстоятельства, ты — и люди. Стечение обстоятельств, поступки людей часто ты изменить не можешь, но твое отношение к ним — в *твоей доброй воле*. Воли терять нельзя. «Перегорая» в страданье — сохранить волю, волю к жизни. А воля к жизни — всегда и творчество жизни. Если и разрушаются порой все привычные формы твоей жизни — не теряйся: посмотри глубже вокруг и внутрь себя и найдешь возможность творчества жизни там, где виделась лишь смерть, пустота...

Приблизительно такие мысли проплывали в моем сознанье 29 сентября 1932 года, когда я сидела у окна своей лебедянской комнатки, проводив накануне сестру с Б. Н. в Москву. Полтора месяца совместной жизни с ними были так полны, что одиночество мое в этот вечер ощущалось неизмеримо острее, чем до их приезда.

«Опять у разбитого корыта!.. А золотая рыбка — в море синем...»[47] И вдруг — из этого синего моря-неба, затрепетавшего переливами закатного света, которыми мы втроем любовались третьего дня лишь, — как бы зазвучало настойчиво: «Попробуй, нарисуй — ведь Б. Н. так любил закаты. В городе он таких не увидит, а ты отвлекись от себя, лови эти говорящие краски. Лови на бумагу с любовью и благодарностью всю полноту и богатство окружающей жизни. *Переключись* (Б. Н.), выйди из своей эгоистической коробочки, заживи в этих переливных, говорящих красках, посмотри, что из этого выйдет». «Золотая рыбка» затрепетала в груди, тоска одиночества разорвалась — в сияющее, греющее солнце, солнце любви.

Тоска моя, восторгом разорвись!..
Освободи.

(«Зовы времен»)[48]

И — как Grundton* звучали строчки:

---

*основной тон (*нем.*). — *Ред.*

Ihr, die hellen Aetherweltenwesen[49]...

Наши тихие «посиды» (Б. Н.) у окна, наши беседы — зажили с наполненной силой. Сверкающий свиток воспоминаний о брошенных Б. Н. мыслях, указания — развернулись веером многогранных и углубленных значений. Тоска «перегорела» и дала искру для творчества, независимого от внешних обстоятельств. Неожиданное желание — рисовать — было так настойчиво, что я схватила маленький клочочек бумаги, цветные карандаши и быстро, быстро набросала на нем и брызги, и стрелы, и волны заката.

Раньше я не рисовала с натуры, и рисунок мой был более чем примитивен. Но — он не был единственным: в течение года я рисовала закаты и почти в каждом письме посылала их в Москву. Постепенно осмелела до того, что рисовала не только кусочек неба из окна, но целые улицы, а под конец — даже виды Лебедяни с Доном, поле, где мы гуляли, «Мишенькину дорожку». Рисовала и карандашом и акварелью. Б. Н. радовался на эти «видики», как мы их называли, и говорил что они дали ему целую «гамму закатов», так что казалось, будто «и не уезжал из Лебедяни»[50].

Последний рисунок был сделан в декабре 1933 года, а в январе 1934 года — я ездила в Москву на захоронение урны Б. Н. Проститься с ним не пришлось.

Дни, проведенные в Москве, прожила в каком-то тумане. Уход Б. Н. реально еще не воспринимался; сознанье еще не охватило всей тяжести утраты. Казалось, что он «вот-вот войдет». Входил не он, а строчки его стихов, за которые мы с сестрой и А. С. Петровским засели для предполагавшегося однотомника стихов в издательстве «Academia»[51]. Работа была спешная и занимала все время.

Когда я вернулась в Лебедянь, утрата Б. Н. встала во всей своей силе. Тосковала я без меры. Рисовать не могла: казалось, что не для кого теперь. Помню, как ходила постоянно в закатные часы в снеговые просторы наших летних прогулок, и там живо вставало в памяти все богатство прожитой вместе с ним жизни. «Видики» мои ушли, не могла сделать ни одного мазка. Но пришли неожиданно сначала стихи, которое краткое время писала,

толкаемая настойчивыми ритмами, а потом появился подбор слов для словаря рифм. Еще при жизни Б. Н. меня, кроме рисования, наполнила и подборка слов для задуманного им в то время «Словаря рифм». Он попросил «понабрать» ему слов, оканчивающихся на *-ов* и *-овь*. Эта работа втянула меня так, что ни одно, самое беглое, чтение не обходилось без листика, унизанного словами. А рифма на *-овь* доводила до какого-то ожесточения: хотелось найти еще что-нибудь, кроме убогих — кровь, любовь, свекровь, морковь, бровь, новь, уготовь. Такая, казалось бы, чисто механическая и пустяковая работа дала в результате особый слух к слову. Постепенно начала понимать красоту отдельных звукосочетаний, из которых слагались слова. Такая подготовка уха помогла мне впоследствии, когда сестра привлекла меня к ее работе над «Материалами к поэтическому словарю Андрея Белого»[52], который она начала уже после смерти Б. Н., в 1935 году. Но эта работа началась только в Москве, а в Лебедяни последнее время было занято — по просьбе сестры же — выпиской неологизмов А. Белого, в обилии которых многие так убеждены. Эта черновая работа (сейчас, в 1943 году, сестра начала словарь прозы А. Белого, и неологизмы пройдут строгий отсев) дала познавательно неожиданно много[53]. Не говоря уже о том, что когда строка за строкой, «с карандашиком в руках» (Б. Н.), идешь по страницам, то страницы эти, как цветы, расцветают разнообразием и богатством языковых особенностей. Кроме того, даже при таком дилетантском просмотре оказалось: 1) Неологизмов как таковых не так уж много, и часто кажущиеся неологизмами слова оказывались или в словаре Даля, или в старых молитвах, или у других писателей (слово «брызнь» вместо «жизнь» — у Льва Толстого в статье «О жизни», например); 2) Странность и особенность письма Б. Н., помимо ритмичности прозы, — в столкновении слов, обычно несоединимых. Например: «Электричество бесится». — «Усы у профессора сделали: ась»[54]. Всего этого утверждать не берусь, так как и не специалист я, да и работа была сделана только над «Масками».

Работа сестры над «Материалами к поэтическому словарю А. Белого» началась в 1935 году. В эту работу была вклю-

чена и я — сначала на выписки, подсчеты, даже просто графленье бумаги, и лишь после этого «стажа на вниманье» — по выражению сестры — мне даны были «Королевна и рыцари», «Звезда», «После разлуки» и «Зовы времен».

Пришлось вспомнить и грамматику, и синтаксис, всегда ненавистные раньше, чтобы разобраться в разнообразии управления слов, употребления предлогов и проч. И ненавистные, абстрактные «части речи», «части предложения» получили живую осмысленность, наполнились переливами значений, будто раньше сложенный веер вдруг развернулся и заиграл богатейшими переливами скрытых в нем красок.

Вначале меня так захватывала вскрывавшаяся жизнь стиха, что волнение это сильно отражалось на плохом качестве сделанного: пропускала слова, путала счет строчек и строф, нумерацию страниц и проч. Но постепенно мешавшие эмоции улеглись, и мне удавалось, наслаждаясь красотой лежавших передо мной строчек, технически точно делать подсчеты, сводки, алфавитные указатели и даже разбираться в вариантах.

Работа над «Словарем» продолжается и сейчас, несмотря на трудности грозного военного времени, и дает большое удовлетворение тем, что хоть пассивно и минимально делаешь свой скромный вклад в сокровищницу русского языка и культуры, которые так любил и за которые боролся Б. Н.

Так разворачивался во мне в ряде лет смысл призыва Б. Н. к «науке видеть», к «Aufmerksamkeit», к «расширению границ познания и сознания».

Заканчивая эти краткие записи, должна сказать: зерно, брошенное Б. Н. в весьма бесплодную почву, все же проросло. Он обогатил мои только родственные отношения с сестрой, и он же раскрыл мне меня самое, раскрыл неожиданные возможности — пусть весьма робкие и скромные, но дающие силы жить, любить жизнь, веря твердо в осуществление того «прекрасно-доброго», «kalokagathos», — к которому звал и в торжество которого верил Б. Н., а с ним вместе верю и я.

Комментарии

В 1967 году я получил машинописную копию воспоминаний К. Н. Бугаевой и воспоминаний ее сестры, Е. Н. Кезельман, от автора. Она дала мне право цитировать их, но, надеясь на их опубликование в СССР, разрешила мне напечатать их полностью — в случае если они не будут изданы — только через 10 лет после ее смерти. «Воспоминания об А. Белом» с моим предисловием и комментариями вышли в 1981 году в серии «Modern Russian Literature and Culture. Studies and Texts» (Berkeley Slavic Specialties. Vol. 2). Это издание давно распродано. Воспоминания К. Н. Бугаевой впервые издаются в России полностью.

Беловой автограф воспоминаний находится в Отделе рукописных фондов ГЛМ (Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 51), черновой автограф — в РНБ (Ф. 60. Ед. хр. 105), там же (ед. хр. 106) находится и одна из авторизованных машинописных копий.

Начало работы над воспоминаниями датировано 21 августа 1934 года, к началу 1936-го воспоминания в целом были закончены. Дополнения к главе «Стихи» сделаны в феврале 1945-го, небольшие исправления К. Н. Бугаева вносила уже в машинописные копии в 1960-е годы. Сверка текстов авторизованной машинописи и беловою автографа, любезно проведенная сотрудником Отдела рукописных фондов ГЛМ Евгенией Михайловной Варенцовой и редактором настоящей книги, выявила большое количество не

исправленных в машинописных экземплярах ошибок, а также неточности в сложной и продуманной системе авторских выделений (кавычки, курсив) отдельных слов и выражений, направленную на воспроизведение не только речевых особенностей, но самой интонации А. Белого. Проделанная работа побудила нас считать беловой автограф воспоминаний К. Н. Бугаевой основным источником текста при подготовке настоящей книги.

Все цитаты из произведений Андрея Белого проверены по опубликованным текстам и поправлены, где нужно. К. Н. Бугаева, разумеется, цитировала три тома воспоминаний А. Белого («На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций») по изданиям, вышедшим в 1930-е годы, и указала соответствующие страницы; для этого издания я привожу страницы по новым изданиям — 1989—1990 годов. Орфография приведена к современной норме, но сохранены некоторые особенности авторской пунктуации. К современной норме приведены также библиографические ссылки в тексте воспоминания. Авторские сокращения раскрыты без оговорок.

Я хочу поблагодарить своих коллег Питера Бургарда и Владимира Гитина, а также Александра Лаврова и Майкеля Вактеля за ценные указания и разнообразное содействие в подготовке книги. Моя искренняя признательность — Людвигу Александровичу Новикову, сообщившему ценные сведения об окружении К. Н. Бугаевой.

Джон Малмстад

Список сокращений

Андрей Белый: Проблемы творчества — Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации / Сост. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов. М., 1988.

Арабески — Белый А. Арабески: Книга статей. М., 1911.

Армения — Белый А. Армения // Красная новь. 1928.

БП — Белый А. Стихотворения и поэмы / Вступит. статья и сост. Т. Ю. Хмельницкой. М.; Л., 1966 (Б-ка поэта. Большая серия).

Ветер с Кавказа — Белый А. Ветер с Кавказа: Впечатления. М., 1928.

Звезда — Белый А. Звезда: Новые стихи. Пб., 1922.

ЗЛ — Белый А. Золото в лазури. М., 1904.

Летопись — Бугаева К. Н. Летопись жизни и творчества Андрея Белого с указанием использованных для нее источников. 1930-е. Авториз. машинопись // *РНБ*. Ф. 60. Ед. хр. 107.

ЛН — Литературное наследство.

Лица — Бугаева (Васильева) К. Н. Дневник: 1927—1928 / Предисл., публ. и примеч. Н. С. Малинина // Лица: Биографический альманах. М.; СПб. 1996. Вып. 7. С. 191—316.

Луг зеленый — Белый А. Луг зеленый: Книга статей. М., 1910.

Маски — Белый А. Маски. М., 1932.

МБ — Белый А. Материал к биографии (интимный), предназначеный для изучения только после смерти автора. 1923 // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3.

МДР — Белый А. Между двух революций / Подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М., 1990.

Минувшее 13, 14, 15 — Андрей Белый и П. Н. Зайцев: Переписка / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 13. М.; СПб., 1993. С. 215—292; Вып. 14. М.; СПб., 1993. С. 439—498; Вып. 15. М.; СПб., 1994. С. 283—368.

Минувшее 23 — Андрей Белый: Посмертная диагностика гениальности, или Штрихи к портрету творческой личности / Публ. М. Л. Спивак // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 23. СПб., С. 448—529.

МПУ — Белый А. Москва под ударом. Вторая часть романа «Москва». М., 1926.

МЧ — Белый А. Московский чудак. Первая часть романа «Москва». М., 1926.

НВ — Белый А. Начало века / Подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М., 1990.

НР — Белый А. На рубеже двух столетий / Подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М., 1989.

Пепел — Белый А. Пепел. СПб., 1909.

Переписка — Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступит. статья и коммент. А. В. Лаврова и Джона Мальмстада. СПб., 1998.

Петербург — Белый А. Петербург: Роман в восьми главах с прологом и эпилогом / Изд. подгот. Л. К. Долгополов. Л., 1981 (Лит. памятники. Большая серия).

ПР — Белый А. После разлуки: Берлинский песенник. Пб.; Берлин. 1922.

Почему я стал символистом — Белый А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития / Сост., вступит. статья и примеч. Л. А. Сугай // Белый А. Символизм как миропонимание М., 1994.

РД — Белый А. Ракурс к дневнику: Материал к биографии за 1899—1930 г. Составлен для личного пользования. <1930>. Автограф // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100.

Символизм — Белый А.Символизм: Книга статей. М., 1910.

Стихотворения I, II, III — Белый А. Стихотворения. Т. I—III / Hg., eingel. und komm. von J. E. Malmstad. München, 1982—1984 («Centrifuga. Russian Reprintings and Printings». Vol. 49).

ГЛМ — Государственный Литературный музей (Москва).

ГосТИМ — Государственный театр им. Мейерхольда.

ГИХЛ — Государственное издательство художественной литературы.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, Рукописный отдел.

МГУ — Московский Государственный университет.

РГБ — Российская государственная библиотека, Отдел рукописей (Москва).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РНБ — Российская национальная бибилотека, Отдел рукописей и редких книг (Санкт-Петербург).

«Вступление» и глава «Контрапункт» впервые опубликованы, без комментариев и со множеством опечаток, в журнале «Cahiers du Monde russe et soviétique» (1974. Vol. 15. № 1—2. С. 105—146). Перепечатаны из моего издания в 1981 г. в кн.: Воспоминания об Андрее Белом / Сост. и вступит. статья В. М. Пискунова. М., 1995. С. 389—434.

1. Неточная цитата из ст-ния «Die Gebüsche» («Кусты») Фридриха Шлегеля (1772—1829). См.: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Bd. 5 (Dichtungen). Paderborn; Zürich, 1962. S. 191. Перевод: «Сквозь все другие звуки / В пестром сне земли / Доносится один тихий звук / Для тех, кто тайно внемлет» (*нем.*).
2. Искаж. от греч.: kalokagathia — благолепие.
3. Ср. у Белого: «Если жизнь наша есть культурная смерть, то в удалении от жизни — жизнь творчества. Человечество рождает форму искусства, в которой мир расплавлен в ритме, так что уже нет ни земли, ни неба, а только — мелодия мироздания: эта форма — музыкальная симфония. Извне — она наисовершеннейшая форма удаления от жизни, изнутри — она соприкасается с сущностью жизни — ритмом. Поэтому-то называем мы ритм жизни духом музыки <...>. Здесь художник — дух, парящий над хаосом звуков, чтобы создать новый мир творчества...» (Песнь жизни // *Арабески*. С. 47). Словоупотребление К. Н. отражает идеи Белого о симфонизме и симфоническом в мироощущении художника, воплотившиеся, в частности, в его поэтических произведениях, см.: Белый А. Симфония. Л., 1991.
4. Начальная строка ст-ния «Антропософии» (1918) (*Звезда*. С. 68—69).

КОНТРАПУНКТ

1. Ср.: «...самое мое мировоззрение — проблема контрапункта, <...> догмата у меня не было, ибо я символист, а не догматик, то есть учив-

шийся у музыки ритмическим жестам пляски мысли, а не склеротическому пыхтению под бременем несения скрижалей» (*НР*. С. 196—197).

2. Стихотворный цикл «**Призывы**» впервые был опубликован в третьем альманахе книгоиздательства «Скорпион» «Северные цветы» (М., 1903. С. 26—38). О составе цикла см.: *Стихотворения III*. С. 510—511. Белый работал над сборником сти-ний «**Зовы времен**» в 1929—1931 гг. Он впервые полностью опубликован в кн.: *Стихотворения II*. С. 143—351, с посвящением: «С любовью и с благодарностью посвящаю этот том стихов — жене моей Клавдии Николаевне Бугаевой, — без которой не осуществилась бы никогда эта редакция текстов. Андрей Белый. 25 февраля 1931 г. Кучино».

3. «**Excelsior!**» (*лат.*) — «Выше!» «**Amans amare**» (*лат.*) — «Любя любовь», см. далее примеч. 97.

4. Ср. в «Дневнике писателя» Белого: «...отныне нет „я" и нет „мира", есть „Я" с большой буквы; оно — Чело Века; оно — строит купол огромного храма: действительности, сотворяемой заново, где одною опорной стеною является „я" в прежнем смысле, другою же „мир" в прежнем смысле; пересечение, перекрещивание „мира" и „я" в *Челе Века* свершается. То — *Человек*. <...> Перекрестить в себе две перспективы и в точке пересечения стать — значит стать в Челе Века; подняться до „Я"» (Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 130—131). См. позднее: «Выявляется тема двух „я": личного и индивидуального; второе — „*Чело Века*"; эта попытка приподнять тему большого „*Я*" особенно отчетлива теоретически в „*Кризисе Сознания*" (4-ый, наиболее зрелый „*Кризис*")...» (*Переписка*. С. 505); а также: «...увидел я мое „я" — высоко над собой; оттого-то я взял фонарь и несколько лет говорил о человеке, как *Челе Века*. Знак этого Чела на мгновения вспыхивал и над моим челом... в Дорнахе, когда это чело венчали терньи» (*Почему я стал символистом*. С. 466).

5. Неточная цитата из ст-ния Владимира Соловьева «В тумане утреннем неверными шагами...» (1884).

6. **Киреевская** Галина Сергеевна (1897—1989) — актриса Камерного театра, антропософка. См.: *Лица*. С. 246—249.

7. Белый и К. Н. в первый раз приехали в Коктебель, в дом поэта и художника Максимилиана Александровича **Волошина** (1877—1932), 1 июня 1924 г. и оставались там до сентября. На прощание Волошин подарил Белому и К. Н. «две акварели с видами Коктебеля. На одной и них, выполненной 16 июля 1924 г., он написал: „Дорогая Клодя, мне бы хотелось, чтобы это небо, запечатленное на коктебельском камне, вновь привело вас сюда. Макс. Коктебель. 10.IX.1924"; на

другой: „Милый Боря, мне бы хотелось, чтобы эта моя земля стала и твоей землей. Вернись в Коктебель. Макс. 11.IX.1924. Коктебель"» (Цит. по: Гречишкин С. С., Лавров А. В. Максимилиан Волошин и Андрей Белый // *Волошинские чтения*. М., 1981. С. 87—88). В очерке «Дом-музей М. А. Волошина» Белый писал: «...увидел его в диапазоне всех даров лишь в Коктебеле, в 24-ом году, где я прожил у него три с половиной месяца» (Воспоминания о Максимилиане Волошине. М., 1990. С. 509). О пребывании Белого и К. Н. в Коктебеле см. также письмо Белого к П. Н. Зайцеву от 7 июля 1924 г. (*Минувшее 13*. С. 243—244); письмо к Иванову-Разумнику от 8 декабря 1924 г. (*Переписка*. С. 303—304); Гюнтер И. В. Коктебель... Дом Волошина... 1924 год! / Публ. Е. С. Федоровой // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 118—120.

8. Ср. слова Аполлона Аполлоновича Аблеухова в романе «Петербург»: «Пыль, знаете, содержит микроорганизмы болезней... Так я ее — тряпкой...» (*Петербург*. С. 350).

9. Образ из гл. XI 1-го тома «Мертвых душ» символизировал для Белого увлечение «умозрительными», псевдофилософическими рассуждениями. Ср. упоминания Белого об «упражнениях Кифы Мокиевича» в «Воспоминаниях о Блоке» (Эпопея (Москва—Берлин) 1922. № 2. С. 194).

10. См. фрагмент 93 (по классификации Marcovich; 52 — по классификации Diels-Kranz) философа Гераклита из Эфеса (ок. 540 — ок. 480 до н. э): «Вечность есть дитя, играющее костями, — царство дитяти» (Гераклит Эфесский. Фрагменты / Пер. В. Нилендера. М.: Мусагет, 1910. С. 21). Служит заглавием двенадцатой главки четвертой главы «Масок»: «Вечность — младенец играющий» (*Маски*. С. 174).

11. Белый провел май—август 1905 г. и май—июль 1906 г. преимущественно в Дедово, подмосковном имении А. Г. Коваленской, бабушки поэта и прозаика Сергея Михайловича **Соловьева** (1885—1942), ближайшего своего «друга-брата» с отроческих лет (*НР*. С. 361). См. также: *МДР*. С. 13—34 (особенно главки «Дедово», «Александра Григорьевна Коваленская»), 77—82. Летом 1906 г. Соловьев «Грецией бредил; и бредил народом; соединял миф Эллады с творимой легендой о русском крестьянине; видел в цветных сарафанах, в присядке под звуки гармоники — пляс на полях Елисейских...» (*МДР*. С. 80).

12. **Сизов** Михаил Иванович (1884—1956) — физиолог, педагог, критик и переводчик (псевдонимы: М. Седлов, Мих. Горский и др.); сотрудник издательства «Мусагет», антропософ, участник строительства Гетеанума в Дорнахе (Швейцария). По-видимому, его **сестра** — Магдалина Ивановна Сизова (1899—1969), писательница, теат-

ральный педагог, режиссер, антропософка — передала К. Н. рассказ со слов брата: в это время ей было 6—7 лет.

13. **Великанов** Михаил Андреевич (1879—1964) — старший гидролог Гос. гидрологического института и заведующий Кучинской гидрологической станцией. См. запись за март 1925 г.: «А. А. Великанова, которой муж профессор, гидролог, работает в кучинской гидростанции, приглашает нас в имеющиеся у них в Кучине 2 комнатки в научной колонии (бывшее имение Рябушинского). Едем. Кучино — Здесь — отдых и тихое задумье...» (*РД*).

14. С середины сентября 1925 г. Белый окончательно поселился «под Москвой, по Нижегор<одской> жел<езной> дороге на станции „Кучино", в 17 верстах от Москвы (дача Шипова № 7)» (*Переписка.* С. 331). В августе 1925 г. Белый записал: «Левандовский указывает нам на домик Шиповых. Мы с К. Н. снимаем в нем две комнатки на зиму; так начинается мне мой *„таинственный остров"* Кучино, откуда я изредка, с опаской, ныряю в столь опостылевшую мне Москву» (*РД*). «Снятая дача была зимней, — пишет в воспоминаниях о Белом П. Н. Зайцев. — Две комнаты Бориса Николаевича были отделены перегородкой от комнат хозяев. В первой устроилась Клавдия Николаевна, там же была и столовая. За ней — кабинет Белого. Хозяева (Шиповы) — пожилые доброжелательные люди. Сам Шипов работал в Москве бухгалтером, жена его, домашняя хозяйка, взяла на себя заботы по обслуживанию жильцов» (*Андрей Белый*: *Проблемы творчества.* С. 567). Дом Шиповых сохранился до настоящего времени (Пушкинская ул., 48а) вблизи платформы Кучино; 12 января 1994 г. на нем была установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1925 по 1931 год жил и работал русский писатель Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) 1880—1934 г.». См.: Модестов Н. В Кучино, к Белому... // Ленинское знамя. 1988. 24 июня, № 142; Слепнева А. Н. Ему здесь было хорошо // Городской вестник (г. Железнодорожный, Московской обл.). 1994. 15 сентября, № 1; Слепнева А. Н. И в Кучине жил и писал... // Там же. 1994. 2 декабря, № 11.

15. **Анисимов** Сергей Сергеевич (1876—1948) — автор более 30 путеводителей по Кавказу и Закавказью. Белый пользовался изданием: Анисимов С. Путеводитель по Кавказу. Кавказский край: Книга для туристов, курортных больных и торгово-промышленных деятелей. М., 1924.

16. Ср. запись Белого за 3 июня 1930 г.: «Решение ехать в Судак: наметили — 12-го июня» (*РД*). Первые впечатления от пребывания в Судаке Белый изложил в письме к П. Н. Зайцеву от 18 июня 1930 г. (*Минувшее 14.* С. 485—487). 22 июня Белый писал Иванову-Разумнику: «Мы

здесь с 14-го; <...> и надо сказать: насколько Крым — легче, проще, благостнее, безобиднее Кавказа; а для меня, очевидно, целительнее» (*Переписка.* С. 660—661). Однако 25 августа он писал ему же: «...стоит 2 месяца такая жара, стены так раскалены, что зажигать свет, закрывая окна и дверь, — нельзя: задохнешься; <...> был роздых лишь в июне, недели 1½; с 24-го июня и по сию пору (25 августа) — два жарких, скупеньких дождичка с грозой; и — жар...» (Там же. С. 662).

17. 16 марта, 13 апреля и 10 мая 1930 г. Белый отмечает в «Ракурсе к дневнику», что получил письмо от грузинского поэта, одного из организаторов символистской группы «Голубые роги» Тициана Табидзе. 30 июня 1930 г. Белый писал ему из Судака: «...думали лично Вас поблагодарить за доброе приглашение приехать, за предложение пожить в Коджорах» (Magarotto Luigi. Andrey Bely in Georgia: Seven Letters from A. Bely to T. Tabidze // The Slavonic and East European Review. 1985. Vol. 63. №. 3. P. 405—406). Предложение посетить Кахетию Белый также получил от него, см. ответ Белого ему от 31 июля 1930 г. (Ibid. P. 407—410).

18. 30 июня 1930 Белый писал П. Н. Зайцеву: «Думаю скоро приступить к „Началу Века". Писать буду полегоньку; здесь, в Судаке, было бы так удобно и отдыхать, и тихо работать» (*Минувшее 14.* С. 489), а 11 июля сообщил ему: «...начал полегоньку „Начало Века"» (Там же. С. 493). 25 августа Белый сообщил Иванову-Разумнику, что «уже наработал 350 страниц „*Начала Века*"» (*Переписка.* С. 662). Белый заключил договор на второй том своих мемуаров с издательством «Земля и Фабрика» 14 апреля 1930 г., см.: *РНБ.* Ф. 60. Ед. хр. 3.

19. 26 апреля 1929 г. Белый и К. Н. выехали из Москвы в Тифлис и оттуда в Эривань — 29-го. 21 мая они уехали обратно в Тифлис. За время, проведенное в армянской столице, они совершили всего четыре поездки: 2 мая — «в село Канакер (вверх над Эриванью): картина Алагеза и Арарата»; 7-го — «Поездка в Аштарак и Иоганнован»; 10-го — «Молниеносно понеслись в Дарачичаг (120 килом<етров> в час!)»; 15-го — «Поездка в Гехарт через Норк-Джерваж-Вахчаберт-Гарни...» (РД). Однако, в подтверждение слов К. Н., см. запись 6-го: «Чуть не уехали в Джульфу: наткнулись на препятствия. Набрал из библиотеки книжищ...» (*РД*). Ср. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 30 августа 1929 г.: «Абсолютный *претык* с передвижениями. В этом году 16 человек из наших друзей беспрепятственно бродили по Кавказу; а мы лишь отсиживались; как усядемся прочно, — прекрасно; как сдвинемся с места, — беда» (*Переписка.* С. 647).

20. «...вернувшись и окинув ретроспективно истекшие 4 месяца, я понял, что в этом году наиболее сильные впечатления дала Армения; хотя мы просидели три с лишком недели в Эривани, однако и Эривань, и

3 поездки в окрестности (особенно в Аштарак и в ущелья Гарни и Гехарт) глубочайше задели; задели — памятники древности; <...> нас с К. Н. в этом году взволновала *старина* Армении, особенно зодчество ее: и зрительно, и познавательно; все время пребывания в Эривани были завалены литературой из Публ<ичной> Библиотеки; читали, читали, читали...» (*Переписка*. С. 647).

21. Цитата из ст-ния А. С. Пушкина «Поэт» (1827).
22. Неточно цитируется ст-ние Е. А. Баратынского «Последняя смерть» (1827).
23. 8 января 1934 г. в 12 час. 30 мин. Белый скончался от паралича дыхательных путей (сердце еще работало) в присутствии К. Н. и врачей. 9-го, после гражданской панихиды в помещении Оргкомитета Союза советских писателей (ул. Вронского, 50), профессор Алексей Иванович **Абрикосов** (1875—1955), знаменитый патологоанатом, произвел вскрытие. В письме к Лидии Васильевне Калинкиной от 11 января П. Н. Зайцев сооообщил, что в Анатомическом зале клиники около Новодевичьего Абрикосов «подошел к нам с Т. П. и рассказал нам, что они нашли в момент вскрытия. Большая часть сосудов мозга была захвачена склерозом. Был ряд кровоизлияний — первое в Коктебеле и последнее 8 января. Положение было непоправимое. <...> Мозг тотчас же после вскрытия поступил на исследование в Институт Мозга» (*Минувшее 23*. С. 450). 10 января тело писателя кремировали и 18-го урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище.
24. *БП*. С. 405.
25. См. записи за 1923 г.: май: «Под конец, самый, месяца едем с К. Н. в Гарцбург»; июнь: «Гарцбург — Холод, уныние, неуют; беседы с К. Н. о Москве; я кладу решение: какою угодно ценою вернуться в Россию» (*РД*). В «автобиографическом» письме от 1—3 марта 1927 г. Белый рассказывал Иванову-Разумнику: «Линия пересечения тем совпадает мне с июнем 23<-го> года, или с эпохой нашей жизни с К. Н. в Гарцбурге. <...> в нашем общении с К. Н. (январь — до июля 23-го) вызревает во мне жажда 1) вернуться в Россию (оживает тема „*Москвы*"); <...> Июнь проводим с К. Н. в Гарцбурге; здесь пишу этюд „*Москва*" (часть 3-го тома „*Начала Века*") и твердо решаю вслед за уезжающей К. Н. вернуться в Россию» (*Переписка*. С. 507).
26. Цитата из ст-ния А. С. Пушкина «Поэт».
27. Ответы А. Белого на анкету К. Чуковского о Некрасове опубл. с неточностями: Дружба народов. 1972. № 6. С. 286. Автограф анкеты, заполненной Белым 12 августа 1919 г., сохранился в архиве В. Я. Брюсова (РГБ. Ф. 386. К. 55. Ед. хр. 14).

28. См.: Белый А. Воспоминания о Л. Н. Толстом / Предисл. и публ. Л. Озерова // *Андрей Белый: Проблемы творчества.* С. 638—655.

29. См. выше, примеч. 26.

30. «Я был почти уверен, что можно что-нибудь значительное создать лишь в уединении. Все мои вещи, снискавшие такое одобрение, были плодами одиночества» (*нем.*). Неточная цитата из воспоминаний Гете «Dichtung und Wahrheit» («Поэзия и правда»; 1811—1831): должно быть: «Bedeutendes» вместо: «Bedeutsames» (Goethe J. W. von. Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Bd. 10. Autobiographische Schriften II. Hamburg, 1960. S. 48).

31. Начало статьи «Искусство» (1908), впервые опубл. в отделе «Символизм и современность» в кн.: *Арабески.* С. 211.

32. Неточная цитата из статьи «Будущее искусство» (1907): «Художник прежде всего человек...» (*Символизм.* С. 450).

33. См. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 7 февраля 1928 г., содержащее раздумья о смерти Федора **Сологуба** (1863—1927; наст. имя Федор Кузьмич Тетерников) и, отчасти, о Валерии Яковлевиче **Брюсове** (1873—1924): «...тут — 65 лет жизни перманентного острого бреда, переживаемого хронически, ставшего *„Хроникой сологубовского быта"*, перед которой все заострения острейших страниц его книг — ничто; и как итог этого 65-летнего тихого, вынужденного сумасшествия (ибо — *навязанного* с младенчества) — не вскрик безумия, как у Коробкина, а — *„мудрость"* с пролетом в просветление, а может, и по-своему просветленная; перед фактом *такого* бытия стоишь с растаращенными глазами и не находишь рубрики...» (*Переписка.* С. 561—562); «Меня охватывает трепет, дорогой друг: жизнь Блока, жизнь Брюсова (узнались некоторые штрихи, о которых когда-нибудь скажу, <...> заставляющие меня *заново* осериознить мои *„странные"* отношения с Брюсовым в эпоху 1904—1905 годов), жизнь Добролюбова, жизнь Сологуба: *„страшно, страшно быть символистом, коснуться этого"*, — так пародировал бы Гоголя, если бы у меня не было уверенности, что *„Бог — не выдаст, свинья — не съест"*; и уповаю, почти уверен, что *„мировая свинья"* не съела *„Я"* мудрого Сологуба...» (Там же. С. 564); «...в этом смраде и ужасе не было *„хулы на Духа"*, было жалобное вопияние из смрада и ужаса к... Духу же. А вот неизмеримо более *„приличная"* во внешнем жизнь Валерия Яковлевича (не сужу его) заставляет более опасаться; там жили микробы более страшных болезней, задавленные, но не побежденные, жили как... потенции; и оттого немо поднимались испарения под небо если не хулы, то... „хульчишки";

Брюсов *виновнее* в каком-то смысле (разумею традиционное понимание вины и не вины)» (*Там же.* С. 566).

34. «Русский синтаксис в научном освещении» Александра Матвеевича Пешковского (1878—1933) впервые был опубл. в 1914 г., в 1934 г. вышло 4-е издание.

35. Название девятой главки третьей главы («Король Лир») романа «Маски».

36, Цитата из ст-ния Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?» (нач. 1830-х гг.).

37. Заключительные строки «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» (1830) А. С. Пушкина в редакции В. А. Жуковского (1841); в автографах Пушкина заключительная строка: «Смысла я в тебе ищу». Ср. у Белого в статье «Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы» (1916): «...темные языки природы не изучены Тютчевым; и когда они бегают произвольно по образам поэзии Тютчева, то — эти образы рвутся, а Тютчев — пугается там („страшных песен... не пой"), где учится Пушкин: „Я понять тебя хочу / Темный твой язык учу"» (Белый А. Поэзия слова. Пб., 1922. С. 15—16). Ср. запись за 23 июня 1927 г. в дневнике К. Н.: «Задумался. И не успокоился до тех пор, пока не нашел для себя „рационального" (теоретического) объяснения. Сам смеялся, называл себя педантом и рационалистом. Но: „Я понять тебя хочу" — это его одиннадцатая заповедь, кажется» (*Лица.* С. 219).

38. О датском физике Нильсе **Боре** (1885—1962) см. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 6 апреля 1927 г. (*Переписка.* С. 514—515) и *Ветер с Кавказа* (С. 9). **Резерфорд** Эрнест (1871—1937) — английский физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома; лауреат Нобелевской премии (1908). Ср. у Белого: «Согласитесь, папашин сынок, оклеветавший меня в годах, что вам же хуже будет, если я согласно диалектическому принципу моего символизма, вооружившись своими естественно-научными познаниями в ответ на ваши инкриминации в трансцендентизме, возьму да и переведу свои „трансцендентные" эмблемы на язык материи; и ухну вам в спину: Бором, Резерфордом, Томсоном, которых вы не изучали и которых изучал я» (*НР.* С. 199).

39. Ср. рассуждения Белого о «спинном человеке» (*Ветер с Кавказа.* С. 30—31).

40. Этот случай «подгляда», как и другие, о которых К. Н. пишет здесь, фигурировали в ее беседе с сотрудником Института мозга, известным психологом проф. Г. И. Поляковым. См.: *Минувшее 23.* С. 499.

41. С февраля 1914 г. до середины августа 1916 г. Белый жил в Швейцарии, преимущественно в Дорнахе (близ Базеля), центре антропософского движения. В сентябре 1915 г. он переживал кризис в своих отношениях с женой, А. А. Тургеневой, и ее сестрой: «Ссора с Наташей. Тяжелые объяснения с Асей. Денежный кризис. Моральный кризис. Эпоха скандалов. <...> Не могу оставаться в атмосфере Дорнаха. Уезжал во Флюэлен. *Флюэлен* — Десять дней бегаю в горах (по озеру и около С. Готарда). <...> вернулся (в Дорнах. — *Дж. М.*) 10-го сентября из Флюэленда...» (*РД*).

42. Ср. запись за 28 мая 1927 г. в дневнике К. Н.: «Что море? Вот горы... Правда, это больше Б. Н. Потому что я гор совсем не знаю. Он же только о горах и мечтает. <...> „Хлебом меня не корми, а дай попутешествовать — побродить по горам"» (*Лица*. С. 214). Ср.: «...в горах легче художественно мыслить...» (Белый А. Как мы пишем. Цит. по: *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 11.).

43. В предисловии к роману «Котик Летаев» фраза читается: «Я стою здесь, в горах: так же я стоял, среди гор, убежав от людей; от далеких, от близких; и оставил в долине — себя самого, протянувшего руки... к далеким вершинам...» (Белый А. Котик Летаев. Пб., 1922. С. 10). Все цитаты из «Котика Летаева» приводятся К. Н. по этому изданию.

44. **Петровский** Алексей Сергеевич (1881—1958) — ближайший друг и духовный спутник Белого со студенческих лет — «мой *вечный спутник* по жизни» (*Переписка*. С. 499), участник кружка «аргонавтов», сотрудник издательства «Мусагет». Около 1910—1911 гг. он стал антропософом, в 1914—1915 гг. участвовал в постройке Гетеанума в Дорнахе, вернулся в Москву в июне 1915 г. (см. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 7/20 ноября 1915 г.: *Переписка*. С. 59). Организовал библиотеку московского отделения Русского Антропософского общества. Многолетний сотрудник Библиотеки Румянцевского музея (затем — Библиотеки им. Ленина, ныне — *РГБ*). Знаток истории гравюры и коллекционер (см.: Гравюры из коллекции А. С. Петровского: Каталог / Сост. Е. И. Кузищина. М., 1980). В 1930—1933 гг. был в заключении. См.: Письма Андрея Белого к А. С. Петровскому и Е. Н. Кезельман / Публ. Р. Кийза // Новый журнал. Нью-Йорк, 1976. № 122. С. 151—165). Вместе с К. Н. и Д. М. Пинесом составил подробный обзор «Литературное наследство Андрея Белого» (*ЛН*. М., 1937. Т. 27/28. С. 575—638).

45. Ср. письмо Белого из Каира к А. С. Петровскому от 2 марта (ст. ст.) 1911 г. о первой поездке к пирамидам: «...мы пошли к пирамидам; *„безумие и ужас"*... Туристы все убрались. Мы стали карабкаться по ступе-

ням и сели у входа вовнутрь — черного жерла, убегающего вниз под углом в 60° к горизонту; вход вовнутрь пирамиды Хеопса у самого подножия; между тем нам казалось, что под нами пропасть. Над головой же — убегающее в небо море ступеней; и все же вершины не могли мы видеть; она скрадывалась; кругом мертвенное белое море песку, сбоку над гигантским черным ребром пирамиды ослепительная луна на голубом небе; тени ступеней, пустыня — и никого; <...> вся окрестность являла собой сплошное закрытое, слепое око; откройся оно, подними оно веки — весь Каир, вся история рассеялась бы песчинками вдаль; у меня осталось впечатление невыносимое, значительное до омертвения...» (Путешествие на Восток. Письма Андрея Белого / Вступит. статья, публ. и коммент. Н. В. Котрелева // Восток—Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988. С. 162). См. также: Белый А. Воспоминания, том III, часть II (1910—1912) // *ЛН*. Т. 27/28. С. 433—434.

46. «13 августа <1926 г.> на меня наехал трамвай» (*РД*).

47. Московское издательство артели писателей «Круг» выпустило первую часть романа «Москва» — «Московский чудак» — в середине июня 1926 г., вторую часть — «Москва под ударом» — в конце августа.

48. «В октябре 1890 года я заболел легкою формою дифтерита (не дизентерии. — *Дж. М.*)» (*НР*. С. 229). Любопытно, что К. Н. делает обратную ошибку позднее в воспоминаниях: в цитате из «Масок» у нее «дифтерит», тогда как в романе «дизентерия».

49. **Отец** А. Белого, Бугаев Николай Васильевич (1837—1903), — математик, профессор и декан физико-математического факультета Московского университета. О нем см. первую главу («Математик») в «На рубеже двух столетий».

50. Речь идет о сестре К. Н. — Елене Николаевне Кезельман (урожд. Алексеева, 1889—1945; год рождения указан М. Л. Спивак) — деятельнице антропософского движения; авторе воспоминаний о Белом: «Жизнь в Лебедяни летом 32-го года», см. с. 329—352 наст. изд. Она была выслана в Лебедянь после ареста в 1931 г. по «антропософскому делу».

51. Квартира К. Н., в которой она жила с мужем и матерью, находилась на Плющихе (д. 53, кв. 1). В 1932—1933 гг. Белый и К. Н. жили с ее родными в этом подвальном помещении. «В восемнадцатиметровой комнате стояли: рояль Клавдии Николаевны, его письменный стол, за шкафами — кровати. Окна были — у самого потолка» (Гаген-Торн Н. И. Воспоминания об Андрее Белом. Рукопись, собр. Дж. Малмстада). О трудностях жизни там см. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 5 июля 1932 г.: «Горько: жить в подвале, драться с толпой оголтелых спекулянтов по утрам. Вот жизнь писателя» (*Переписка*. С. 703).

52. **Петя** — Петр Николаевич Васильев (1885—1976), первый муж К. Н.; врач, антропософ. Иван Гурьевич **Руфанов** (1884—?) — врач-хирург, работавший в Хирургической клинике 1-го МГУ. Ср. запись Белого от августа 1926 г.: «Лечусь у Руфанова; рентгенологическое исследование» (*РД*).

53. Речь идет о матери К. Н. — Анне Алексеевне Алексеевой (1860—1942).

54. «...чуть и я не отправился на тот свет: трамваем сшибло; чудо, что цел остался; весь трамвай меня настиг, когда я шел посереди рельс: настиг сзади; он быстро несся; вероятно, кондуктор думал, что я перебегаю дорогу, а я в думах ушел куда-то и не ведал, что трамвай мчится на всем скаку на меня; вдруг страшный шум, вид трамвая в 2-х шагах от меня, сознание (молниеносное), что предпринять ничего уж нельзя; и — бац: ослепительный удар, *чудом выкинувший меня с рельс*, как футбольный мяч; я кубарем завертелся и свалился; первые полчаса думал, что умираю: вышибло дух; совсем не понимаю, как это меня таскали по приемным покоям с милиционером; едва попал на Плющиху; в итоге обнаружилось — вывих, трещина на лопатке, немая рука и отшиб мускулов спины, руки, плеча, частью груди; две недели страданий; и вот, как будто, налаживается; опять овладеваю рукой (делает милая Кл<авдия> Н<иколаевна> массаж мне)...» (*Переписка*. С. 357). См. также стихотворение Елены Шварц «Как Андрей Белый чуть под трамвай не попал» (Шварц Е. Стихи. Л., 1990. С. 88—89).

55. *Ветер с Кавказа*. С. 210—212. Описываемый далее случай произошел 3 июля 1927 г.: «3-ье. Тифл<ис>—Владикавказ. Переезд. С поэтами через хребет (Военно-Груз<инская> дорога)» (*РД*).

56. См.: *НР*. С. 55—56; *Ветер с Кавказа*. С. 203—205.

57. В переезде из Тифлиса во Владикавказ Белого и К. Н. сопровождали Т. Табидзе, Паоло Яшвили, Георгий Леонидзе, Колау Надирадзе, Павле Ингоровка, Алексей Арсенишвили, Валериан Гаприндашвили и др. См. публикации материалов, освещающих историю взаимоотношений Белого с грузинскими писателями: Magarotto Luigi. Andrey Bely in Georgia... P. 388—416; Андрей Белый и поэты группы «Голубые роги» (Новые материалы) / Публ. и примеч. П. Нерлера // Вопросы литературы. 1988. № 4. С. 276—282. См. также: Цурикова Г. Тициан Табидзе. Жизнь и поэзия. Л., 1971. С. 181—194. В письме от 19 августа 1927 г. Белый писал Иванову-Разумнику: «В Тифлисе сошелся с группой грузинских поэтов: люди милые, интересные, культурные; меня они тронули 1) жаркой любовью к Пушкину, Лермонтову и др. нашим классикам, 2) ощущением своей преемственности и связью с символизмом, в частности с русским символизмом; Брюсова, Блока, меня здесь зна-

ют, часто трогательно любят; словом: в Тифлисе мы с К. Н. неожиданно попали совсем в *свою среду*, — в ту среду, которой не встретишь в литер<атурных> центрах Москвы; в частности, я говорю о кружке поэтов, писателей и критиков, имеющем девиз *„Голубые Роги“*; <...> *„голуборогизм“*, насколько я понял, есть то, что мы когда-то называли *„аргонавтизмом“*, с тою разницей, что *„аргонавты“* возникли в 1903 году, а *„голубые роги“* — в 1915—16—17 годах. Все это люди, приемлющие 1) *символизм*, 2) *проблему культуры*, 3) *социальную революцию*; но все это — *„беспартийные“*» (*Переписка*. С. 529).

58. **Табидзе** Нина Александровна (урожд. княжна Макашвили; 1900—1965) — жена поэта Тициана Табидзе.

59. Ср. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 6 июля 1927 г.: «...в Пассанауре меня едва не задрал медведь, сидящий на цепи без ограды; я пошел ласкать милого и *„ручного“* Мишку, а он, оказавшись не ручным, облапил мою ногу, тащил за ногу к другому Мишке и пытался всадить зубы в ногу (вообразите мое положение!); отцепиться от *„милого Мишки“* я не мог, и мы боролись, кто у кого перетянет ногу: я или он, пока ударом палки, подсунутой мне, я не оглушил зверя» (*Переписка*. С. 522). См. также: *Лица*. С. 223—224.

60. **Елизавета Трофимовна** Шипова — кучинская домохозяйка Белого.

61. **Белла Радэн** была гувернанткой А. Белого с весны 1889 г. по осень 1892 г. См. главку «Избавительница» (*НР*. С. 219—221).

62. Белый провел май—июнь 1895 г. с матерью в Кисловодске. См. также: Зайцев П. Н. Воспоминания об А. Белом / Публ., вступит. статья и примеч. В. П. Абрамова // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 97.

63. Семья художника Василия Васильевича **Владимирова** (1880—1931), близкого друга Белого в 1890—1900-е гг. См. также: Минувшее. Вып. 23. С. 483.

64. Белый находился на морском курорте Альбек («Ostseebad Ahlbeck») 14—17 июля 1923 г., и после проводов К. Н. в Штеттин 23 июля он туда вернулся: «Альбек — Грустная, пустая жизнь: сижу у моря и жду погоды, т. е. разрешения вернуться в Россию» (*РД*). Он преимущественно жил там и в августе. См. два письма Андрея Белого к А. В. Бахраху в составе моей публикации: Andrej Belyj at Home and Abroad (1917—1923): Materials for a Biography // Europa Orientals. 1989. № 8. С. 471—476. См. также: *Минувшее 23*. С. 483—484.

65. Ср. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 26 ноября 1926 г.: «...я Вам предложил игру в мячик (достойное занятие для 45-летних му-

жей!); шепну Вам: по правде сказать, я возобновил для себя игру в мячик с 24-го года, подав руку как бы *6-летнему „пупсу"* (не помню, играл ли я в мячик после 6<-ти> лет) — из своего 44-летнего возраста (в 24<-м> году мне было 44 года)...» (*Переписка.* С. 423).

66. В Доме-музее М. А. Волошина в Коктебеле сохранился набросок художника и искусствоведа Александра Григорьевича Габричевского (1891—1968), на котором шаржированно изображены Белый и М. А. Волошин, играющие в мяч.

67. *Ср. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 8 декабря 1924 г.:* «В Коктебеле, у Макса, было густо и людно <...>; за лето промелькнуло до 200 и более лиц: все больше литераторов, художников, музыкантов <...>. В общем жизнь была — напряженная, хоть и было нечто, на чем все отдыхали: купанье, игра в мяч и всякие дурачества (танцевали фокстрот, устраивали джазбанд) — вплоть... до...: коллективного кинематографа...» (*Переписка.* С. 304). См. также: Андрей Белый-«террорист»: Из воспоминаний Н. А. Северцевой-Габричевской / Публ., вступит. статья и примеч. Ф. О. Погодина и О. С. Северцевой // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 114—117.

68. Белый в последний раз виделся с Волошиным в Коктебеле 9—11 сентября 1930 г. Волошин умер там 11 августа 1932 г. В Коктебеле Белый и К. Н. жили со второй половины мая 1933 г. 14 июля в 6 часов вечера у Белого случился обморок с последовавшими сильными головными болями (врачебный диагноз: солнечное перегревание, сильный склероз). Последние две недели в Коктебеле, со времени начала болезни, он прожил в так называемой «музыкальной комнате» на первом этаже дома Волошина. О состоянии здоровья Белого по пути обратно в Москву см. письма К. Н. к Б. В. и И. Н. Томашевским от 31 июля и к М. С. Волошиной того же дня, цитированные в примечании А. В. Лаврова к его публикации переписки Белого и Томашевского (Пушкинский Дом: Статьи. Документы. Библиография. Л., 1982. С. 225).

69. 6 сентября 1922 г. Белый вернулся из Свинемюнде в Берлин: «Едва отыскиваю себе помещение (в пансионе Крампе. — *Дж. М.*) на Victoria Luisen Platz» (*РД*). О жизни в пансионе «на четвертом и пятом этажах огромного дома с мраморной лестницей, канделябрами, голой фигурой, держащей электрический факел», в котором в это же время жили В. Ф. Ходасевич, М. О. Гершензон, Н. Н. Никитин и другие русские, см.: Берберова Н. Курсив мой. М., 1996. С. 185—195; Бахрах А. «По памяти, по записям». Андрей Белый // Континент. 1975. № 3. С. 301—302.

71. Цитата из статьи Белого «Песнь жизни» (*Арабески*. С. 49). В «Арабесках» опечатка в дате написания статьи: «1908» вместо: «1907».

72. Цитата из ст-ния Ф. И. Тютчева «Святая ночь на небосклон взошла...» (между 1848 и мартом 1850): «Как золотой покров, она свила / Покров, накинутый над бездной». И Белый, и К. Н. цитируют ст-ние по старым изданиям, где «ковер» вместо: «покров».

73. «<Коктебель>. *Июля 15* <1933 г.>. Все последние дни находился в состоянии крайней возбудимости и нервного напряжения. Очень много говорил, двигался. 15-го в 6 часов вечера — внезапное ощущение жара в затылке, обморок, сильнейшая головная боль (К. Н.). *Июля 16*. Консилиум трех врачей: солнечное перегревание, сильный склероз (К. Н.) <...> *Июля 20*. Д-р Славолюбов подтвердил результат консилиума и нашел еще крайнее нервное истощение: „Ваша болезнь в том, что вы слишком молоды для своих лет" (К. Н.)» (*Летопись*).

74. К. Н. перефразирует (не цитирует): «...я всегда озабочен сочинением фабулы происшествий в „американских лесах" (нашей квартиры) <...>. Взобравшись на дверь, я часами задумчиво выглубляю фабулу своей игры...» (*НР*. С. 222).

75. Белый всего один раз использовал псевдоним **Alter ego**: так он подписал неоконченный этюд «Утопия» (Записки мечтателей. 1921. № 2/3. С. 139—144). Помимо основного — «Андрей Белый» — Б. Н. Бугаев использовал многие другие псевдонимы, в том числе: А.; Альфа; Быков, В.; Гамма; Дельта; Зигмунд; Яновский; 2 Б.; Spiritus; Taciturno (все — в «Весах»); студент-естественник; Cunctator и др.

76. Неточная цитата из первой главы поэмы «Первое свидание» (1921): «В мои строфические дни / И в симфонические игры...» (БП. С. 412; *Стихотворения* II. С. 29).

77. См. записи за 1922 г.: июль: «Свинемюнде — Усиленно занимаюсь физкультурой: прогулки, 2 раза в день купанье, гребля; начинаю ради физкультуры учиться фокстроту, джимми, бостону, уан-степу; ничего путного; с бешенством много часов в день зажариваю фокстрот. Еду в Берлин»; август: «Свинемюнде — та же непутевая жизнь; <...> фокстрот, купанье. Пью» (*РД*). Ср.: «Вскоре я стал плясать фокстрот: невропатолог мне прописал максимум движений, а учительниц... эвритмии... при мне не было <...> движения рук и ног помогли. Невропатолог был прав» (*Почему я стал символистом*. С. 487); «Да еще можно назвать этот грустный путь: от *„эвритмии"* к *„глоссолалии"*; от *„глоссолалии"* к лекционной *„пляске слов"* и от нее к... *„фокстроту"*! От медитаций 1916 года к вину и пиву (1922 год)» (*Переписка*. С. 507). В письме к Иванову-Разумнику от 18 ноября

1923 г. Белый вспоминал: «24 месяца жизни в Германии стоит за плечами, как тяжелый кошмар; Берлин — место, где я получил так много ушибов (скорее — ударов), место, где месяцами у меня опускались руки <...>. *Встреча с Асей отозвалась рядом тяжелых ударов и потрясений;* 24 месяца моей жизни в Европе были жизнью без Аси <...> она умерла в моей душе; и этот процесс ее умирания во мне переполнял более года мой организм такими душевными ядами, что я прибегал к вину, чтобы погасить остроту самосознания» (Там же. С. 253—254).

78. Имеются в виду картины Константина Андреевича **Сомова** (1869—1939) — художника, члена «Мира искусства». См., например: Лапшина Н. «Мир искусства»: Очерки истории и творческой практики. *М., 1977. С. 103, 105.*

79. **Владимир Оттонович Нилендер** (1883—1965) — филолог-классик, переводчик, один из «аргонавтов», активный участник «Мусагета»; состоял в дружеских отношениях с Белым с середины 1900-х гг. По приезде в Москву из Германии 26 октября 1923 г. Белый остановился у него на несколько дней. Приезжая в центр Москвы по делам, Белый иногда ночевал у Нилендера (Ваганьковский пер., д. 6, кв. 12). Возможно, что упомянутая лекция — «Памяти Блока», прочитанная Белым в клубе железнодорожников 15 марта 1924 г.

80. Белый провел вторую половину сентября 1912 г. в Базеле, куда он приехал слушать курс лекций Рудольфа Штейнера «Евангелие от Марка» (15—24 сентября н. ст.). «Кризис культуры» (Пб., 1920), третий в цикле «Кризисов» (подробнее о них см. далее примеч. 115), имеет дату: «*Базель—Дорнах—Москва. 1912—16—18 год*». Ср. у Белого: «Над зелеными струями Рейна отчетливы холмы; рейнские струи летят <...> и — поднимается яркопламенный, яркокаменный Мюнстер <...>. Это — Базель. <...> Именно здесь Фридрих Ницше был должен впервые почувствовать кризис культуры» (На перевале. III. Кризис культуры. Пб., 1920. С. 5—6). См. также: Белый А. Круговое движение. (Сорок две арабески) // Труды и дни. 1912. № 4/5. С. 51—52.

81. **Эразм** Роттердамский (1469—1536) — филолог, писатель, гуманист эпохи Возрождения.

82. Время самого активного участия Белого в делах издательства «Мусагет» — 1909—1910 гг. См., например, записи за1909 г.: май: «Изумрудный Поселок — Весьма значительный разговор с Метнером, после которого Метнер говорит: „Все сделаю, чтобы у нас было *издательство"»; август: «Начало „Мусагета" ...»;* сентябрь: «Месяц выработки платформы „Мусагет—Орфей—Логос". <...> В организаци-

онных заседаниях Мусагета участвовали: Эллис, Петровский, Сизов, Киселев, Рачинский, Э. К. Метнер, я, Кожебаткин, Ахрамович, Степун, Гессен, Нилендер»; октябрь: «...моя ежедневная служба в „*Мусагете*" (принимаю с 5 до 7-ми)»; март 1910 г.: «...открытие „*Мусагета*" (официальное)» (*РД*). Белый возглавлял ритмический кружок при издательстве и участвовал в философском кружке «Молодой Мусагет». «Мусагет» выпустил три книги Белого: «Символизм» (1910), «Арабески» (1911) и «Трагедия творчества: Достоевский и Толстой» (1911) до его разрыва с ним в октябре 1913 г.: «...мой выход из Мусагета» (*РД*). См.: Толстых Г. А. Издательство «Мусагет» // Книга: Исследования и материалы. М., 1988. Сб. 56. С. 112—133.

83. Ср. запись за январь 1923 г.: «Берлин — <...> К середине месяца — радость: приезд в Берлин К. Н. Васильевой. Засаживаюсь дома. Нигде не бываю. Провожу вечера с К. Н.» (*РД*). К. Н. пробыла в Германии с января по июль 1923 г.

84. **Борис Павлович** Григоров (1883—1945) — экономист по профессии, член кружка «Молодой Мусагет»; в 1911 г. входил в первый московский кружок по изучению работ Р. Штейнера, позднее участвовал в строительстве Гетеанума в Дорнахе, переводил книги Штейнера «Истина и наука» (М., 1913), «Философия свободы» (Париж, 1932/33; перевод готовился к печати в 1918 г. московским издательством «Духовное знание»); один из основателей Русского Антропософского общества и его первый председатель («...возникает Б. П. Григоров, возникает Московская группа, дорнахский антропософский Коллектив, вынашиваются „*зерна*" в душе будущей „*антропософской молодежи*" (2-ая и 3-ья волна *антропософии*)» (*Переписка*. С. 499). Впоследствии преподавал немецкий язык в московских вузах.

85. Около 5 мая 1922 г. Белый переехал в Цоссен под Берлином: «Устраиваюсь в Цоссене, поселке „Гробовщиков" (в Цоссене делают гробы) <...>. Под конец месяца овладевает мрачное лирическое настроение: начинаю писать стихи цикла „После разлуки". <...> *Июнь* — Цоссен — Окончательно замыкаюсь в Цоссене: никого не вижу. Единым махом пишу цикл „После разлуки". В 20-х числах ужасная встреча с Асей, после которой пью...» (*РД*). 10 из 15-ти ст-ний, собранных в сборнике «После разлуки», выпущенном берлинским издательством «Эпоха» в 1922 г., имеют помету: «Цоссен». В начале июля Белый выехал из Цоссена в Свинемюнде. Ср. также: «Мне казалось в Берлине, что меня *истязают* <...>. Я бегал в цоссенских полях, переживая муки, которым не было ни образа, ни названия и которые тщетно силился я угасить в вине <...>. Так я себя переживал в Цоссене 1922 года, когда писал книгу стихов. И на вопрос, отчего

так жестоко я обошелся с профессором (Коробкиным, в романе «Москва». — *Ред.*), я ответил бы: „*Отчего так жестоко со мной обошлась жизнь?*"» (*Почему я стал символистом*. С. 486—487). См. также: Цветаева М. Пленный дух // Цветаева М. Проза. М., 1989. С. 481—494.

86. Ср. в воспоминаниях А. В. Бахраха: «двойное пристрастие (Белого. — *Ред.*) к алкоголю и танцу (можно ли, строго говоря, называть танцами его плясовые упражнения?) стало общеизвестным» (Бахрах А. «По памяти, по записям»: Андрей Белый. С. 301—302); и в очерке В. Ф. Ходасевича о Белом: «Выражалась она (истерика. — *Ред.*) главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen. Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею фокстротов вносил он свои „вариации" — искаженный отсвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мимодраму, порой даже и непристойную» (Ходасевич В. Ф. Андрей Белый // Некрополь. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. М., 1996. С. 66—67). В мемуарном очерке «Белый в Берлине» (Последние новости. 1934. № 4691, 25 января) М. А. Осоргин писал: «За Андреем Белым, провозгласившим культ фокстрота и джимми, бродила по дансингам толпа друзей. „Все танцует?" — „Танцует! И как!" — Рассказывались анекдоты, высказывали предположения, что „Борис Николаевич окончательно рехнулся"» (Осоргин М. Воспоминания. Повесть о сестре. Воронеж, 1922. С. 271).

87. Цитата из четвертой главы поэмы «Первое свидание» (*БП*. С. 437; *Стихотворения II*. С. 50).

88. См. запись за декабрь 1921 г.: «Берлин — Час от часу не легче; ссора с Асей; отход от антропософов (письма М. Я. Штейнер, Бауеру); ощущение бессмыслия; но под ударами судьбы — почва зашаталась под ногами; нет воли что-либо с собой сделать; переоценка ценностей 10 лет (и людей, и идей, и себя); начинаю угрюмо убегать от всех (и русских, и антропософов) и угрюмо отсиживать в пивных: так приучаюсь к вину...» (*РД*). В 1941 г. архив был передан из *ГЛМ*, где он находился с 1932 г., в недавно основанный Центральный государственный архив литературы и искусства (теперешний *РГАЛИ*).

89. Начало ст-ния Владимира Соловьева «Знамение» (1898): «Одно, навек одно! Пускай в уснувшем храме...». Дважды цитируется в «Первом свидании» (гл. 2; *БП*. С. 414, 424; *Стихотворения II*. С. 31, 38) и

цитата из знаменитого романса М. И. Глинки «Как сладко с тобою мне быть» (1840; на слова П. П. Рындина).

90. Пепел: Стихи. М., 1929. 2-е изд., перераб. С. 7. Предисловие имеет дату: «Кучино, <19>28 года. Ноябрь».

91. «Тимпан», в отделе «Трепетень» в «Зовах времен», с датой: «Кучино. 1931» (*БП*. С. 480; *Стихотворения II*. С. 177—178).

92. Цитата из поэмы «Христос Воскрес» (Пб.: Алконост, 1918) (*БП*. С. 402; *Стихотворения II*. С. 22).

93. По-видимому, **В. П. Дитиненко**. См.: Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1979. № 40. С. 167.

94. Неточная цитата: «В диком безумии взгляда — безумия не было; но была — твердость: отчета потребовать, на основанье какого закона возникла такая вертучка миров, где добрейшим, умнейшим глаза выжигают...» (*МПУ*. С. 244).

95. 19 января 1761 г. Михаил Васильевич Ломоносов писал своему «покровителю» графу И. И. Шувалову: «Не только у стола знатных господ или у каких земных владетелей дурак<ом> быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет» (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л, 1957. Т. 10. С. 546). Ср. письмо А. С. Пушкина Н. Н. Пушкиной от 8 июня 1834 г.: «Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога».

96. Цитата из «Масок» (С. 350).

97. Неточная цитата из «Исповеди» бл. Августина (354—430): «Nondum amabam et amare amabam et secretiore indigentia oderam me minus indigentem. Quaerebam quid amarem, amans amare...» (Кн. III, 1).

98. Имеется в виду, по-видимому, романс М. И. Глинки «Элегия» (1825) на текст ст-ния Е. А. Баратынского «Разуверение» (1821). Белый часто его цитирует.

99. Цитата из второй части ст-ния «В горах» (1922), в отделе «Черч теней» (*Стихотворения II*. С. 281).

100. Ср. ст-ние Белого «Марине Цветаевой» (1922): «Как — / — Непобедимые / Малиновые мелодии» (*Стихотворения II*. С. 157).

101. «Зов бирюзовый / Времени...» — начало ст-ния «Зов» (1931), в отделе «Молнии лет» (*Стихотворения II*; С. 329); «бледно-лимонная блеснь» — из ст-ния «Ты» (1901—1929), в отделе «Летние блески» (Там же. С. 159); «Ты, с лютни срывающий / Прозвуки грусти чудесной...» — из ст-ния «Тихая смерть» (1903—1931), в отделе «Трепетень» (Там же. С. 181).

102. Ст-ние «Своему двойнику (Леониду Ледяному)», с датой «1917 г., Москва», впервые опубл.: *БП*. С. 473, по автографу рукописи сборника «Звезда», подготовленного Белым для издательства «Альциона» (*РГАЛИ*. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 1). **Леонид Ледяной** — alter ego автора в «Записках чудака», которое Белый определял как «сатиру на самого <себя>, на пережитое лично» (Белый А. Записки чудака. II. М.; Берлин. 1922. С. 236). В главке «Леонид Ледяной» Белый отмечает: «„*Леонид Ледяной*" (мой писательский псевдоним) превратился из тени в меня самого» (Там же. I. М.; Берлин. 1922. С. 73).

103. Ср. запись за 13 июня 1928 г. (Схвитори) в дневнике К. Н.: «Несение самовара к нам в комнату — событие, волнующее весь дом. Дней десять к этому никак не могли привыкнуть. <...> Только упорной борьбой удалось добиться признания необходимости утверждать самовар именно на нашем столе. <...> Это шумное отношение к самовару вызвано, верно, тем, что здесь чая почти не знают. Его заменяет вино» (*Лица*. С. 290—291; см. также: С. 197, 211, 226).

104. Речь идет о поэте Тициане **Табидзе** (1895—1937, расстрелян), с которым Белый познакомился 24 мая 1927 г. в Боржоме (*РД*; см. также: *Ветер с Кавказа*. С. 112, 166—170). 29 июня 1927 г. Белый вместе с ним и с его «сиамским близнецом» Паоло Яшвили (1896—1937, расстрелян) 10 июня 1927 г. поехал на один день в Коджоры, дачную местность под Тифлисом. «Знай ранее мы, что такое Коджоры, — мы были бы здесь: сухость, ясность, игра колоритов, просторы, приятная свежесть, потоки озона, — все то, что мы любим...» (*Ветер с Кавказа*. С. 178). Белый и К. Н. прожили там с 6 июля по 9 августа 1928 г. (о бытовых условиях жизни в Коджорах Белый писал П. Н. Зайцеву 9 июля, см.: *Минувшее 14*. С. 443) и с 11 июля по 12 августа 1929 г. Ср. запись от 11 июля 1929 г.: «Заехали поэты с машиной; и мы взлетели с самоваром и чемоданами в Каджоры...» (*РД*).

105. Белый и К. Н. прибыли в Цихис-Дзири 12 апреля 1927 г. (см.: *Лица*. С. 197), прожили там безвыездно до 18 мая (см.: *Ветер с Кавказа*. С. 9—56; *Лица*. С. 197—204; письмо Белого к П. Н. Зайцеву от 13 апреля 1927 г. — *Минувшее 13*. С. 158—160); вновь в Цихис-Дзири — с 28 мая по 25 июня (*РД*).

106. В конце декабря 1920 г. с Белым произошел несчастный случай: «...падаю в ванне, ломаю копчик и попадаю в лечебницу (Диагностический институт, бывшая лечебница Слетова на ул. Садовой Триумфальной. — *Дж. М.*) <...>. Праздник — уныл: больница. *Январь* <1921 г.> — Москва (больница) — Грустное время; лежу, покрытый

вшами, в диагностическом институте; <...> под конец месяца переводят меня в лечебницу Майкова (Благовещенский пер. — *Дж. М.*) (ужасная дрянь, грязь, расхлябанность!). Февраль. Москва (лечебница) <...> Пишу стихи («Бессонница» и «Больница» (*ПР*) — *Дж. М.*). *Март* — Москва — (лечебница) — У Майкова вши, грязь; меня заражают экземой от грязного халата; лечат светом; Нилендер, сжалившись, силком перетаскивает к себе. <...> Подготовляю отъезд (в Петроград. — *Дж. М.*) <...>; одно утешение — К. Н....» (*РД*).

107. 26 октября 1920 г. Белый прочел в «Лито» (московском Литературном объединении) свою первую лекцию курса «Стиховедение». 2, 7, 16 и 23 ноября и в декабре им были прочитаны последующие лекции (*РД*). См.: Гречишкин С. С., Лавров А. В. О стиховедческом наследии Андрея Белого // Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам. № 12 (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 515). Тарту, 1981. С. 108—109.

108. **Тетя** — Екатерина Алексеевна Королькова (1867—1941). **Брат** — Владимир Николаевич Алексеев (ум. в 1938).

109. Письмо находится в составе белового автографа воспоминаний К. Н. в отделе рукописных фондов ГЛМ (Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 57.)

110. Цитата из ст-ния Е. А. Баратынского «На что вы, дни! Юдольный мир явленья...» (1840).

111. Неточная цитата-контаминация из «древней книги», т. е. из Библии (Еккл. 1:6, 9, 8, 13, 18).

112. Неточная цитата из Библии: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа!» (Еккл. 1:14).

113. В словах Белого слышится отзвук книги Екклесиаста: «Человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. „Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага?" И это — суета и недоброе дело!» (4:8).

114. «Я должен идти путем, с которого никто не возвращается» (*нем.*) — цитата из двадцатого ст-ния «Der Wegweiser» («Придорожный столб») цикла немецкого поэта Вильгельма Мюллера (1794—1827) «Die Winterreise» («Зимний путь»), положенного на музыку Францем Шубертом (1797—1928).

115. «**Кризисы**» — книги Белого, выпущенные в свет издательством «Алконост» и составляющие цикл «На перевале»: «I. Кризис жизни» (Пб., 1918), «II. Кризис мысли» (Пб., 1918), «III. Кризис культуры» (Пб., 1920). В «Кризисе культуры» Белый пишет: «Слушая цикл „Winterreise",

мы чувствуем, что потеряна почва; и что должны что-то выстроить мы в тех местах, где уж нет ничего; нисхождение, мертвая ночь перед нами; зима, крики ворона; и туда простирается путь: через мертвую улицу мертвого города» (С. 37); «„Путь" в „Winterreise" линеен; и полон дурной бесконечности; каркают вороны о бесконечности странствия; о бесконечном страдании, одиночестве „я"» (С. 39). Белый цитирует приведенное К. Н. двустишие в «Между двух революций» и пишет: «Песня „Зимнего странствия" — лейтмотив „странствия" и моего!..» (С. 105).

116. Белый истолковал это ст-ние в своей работе «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том „Размышлений о Гете"» (М., 1917. С. 219—220). В письме к Табидзе от 3 декабря 1929 г. Белый назвал Баратынского «любимым поэтом» (Табидзе Т. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, 1964. С. 241).

117. С конца августа 1919 по февраль 1920 г. бездомный Белый жил то у Васильевых, то у В. А. Жуковской. По возвращении из Петрограда в июле 1920 г. он поселился во Дворце искусств («Приехав в Москву попадаю в разгром к Жуковским; <...> я — беспризорен. Рукавишников перетаскивает меня жить во „Дворец Искусств". Живу там на юру <...> комната моя — захожий двор» — *РД*, июль 1920 г.) и с августа — у А. И. Анненкова. Тяготы своей бытовой жизни в Москве в пору разрухи Белый подробно описал в письме к А. Тургеневой от 11 ноября 1921 г.; например: «...у меня в комнате, в углу была свалена груда моих рукописей, которыми 5 месяцев подтапливали печку» (Воздушные пути. Нью-Йорк, 1967. № 5. С. 300).

118. Над «Преступлением Николая Летаева» (позднее авторское заглавие — «**Крещеный китаец**») Белый работал с октября 1920 по май 1921 г.; этот роман был опубликован в «Записках мечтателей» (1921. № 4. С. 21—164) под заглавием «Преступление Николая Летаева (Эпопея — том первый). Крещеный китаец. Глава первая». Напечатанная «глава первая» — единственная сохранившаяся часть этого произведения. В октябре—декабре 1920 г. Белый подготовил вчерне первые четыре его главы. См.: Бугаева К., Петровский А., <Пинес Д.>. Литературное наследство Андрея Белого // *ЛН*. Т. 27/28. С. 605. Первая глава, разросшая в самостоятельную повесть, вышла в издательстве «Никитинские субботники» в 1927 г. отдельной книгой под заглавием «Крещеный китаец», с подзаголовком: «Роман».

119. К. Н. перепутала название очерка с названием журнала, в котором он был напечатан: Белый А. Дневник писателя // Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 119—132. Там Белый писал: «...форма общения моего есть „*дневник*"; разговаривая в минуты досуга с собой, — не с собой говорю: говорю с теми близкими душами, в глубине сознаванья кото-

рых естественно протекает все то, что стремлюсь описать» (С. 119). Продолжение: Белый А. Дневник писателя. Почему я не могу культурно работать // Записки мечтателей. 1921. № 2/3. С. 113—131. После возвращения из Германии в Москву Белый опубликовал два очерка с тем же названием: «Дневник писателя. 1. Ритм жизни и современность» (Россия. 1924. № 2. С. 132—146); «Дневник писателя. Литература и недра быта» (Новая Россия. 1926. № 3. С. 79—82).

120. Имеется в виду статья «Так говорит правда», написанная в конце июня—начале июля 1921 г. (Записки мечтателей. 1922. № 5. С. 108—126).

121. Начальные строки «Элегии» (1821 или 1822) А. А. Дельвига, положенной на музыку М. И. Глинкой, А. А. Алябьевым, М. Л. Яковлевым. Белый цитирует их в письме к Иванову-Разумнику от 11 марта 1922 г. (*Переписка*. С. 239) и в письме к М. И. Цветаевой от 24 июня 1922 г. (см.: Саакянц А. Встреча поэтов: Андрей Белый и Марина Цветаева // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 381).

122. Цитата из четвертой главы поэмы «Первое свидание» (*Стихотворения II*. С. 51).

123. См.: Письма А. Белого к Е. Н. Кезельман // Новый журнал. Нью-Йорк, 1976. № 124. С. 168—169 (текст слегка отличается от приведенного К. Н.). Фразы, пропущенные К. Н. и отмеченные отточием, читаются: «Но — страшная грусть: не то раскаяние в том, что так беспроко прожиты годы, не то решение — по-новому построить остаток жизни. И — доверие к силам жизни, все еще бьющим в тебе; и радость, что Клодя пока стоит рядом; и — дарует силы к жизни».

124. Цитата из ст-ния Белого «Иди» (Кучино, 1931), в отделе «Молнии лет» (*Стихотворения II*. С. 329).

ПРИРОДА

Один отрывок из этой главы с необозначенными в тексте купюрами был опубликован без комментариев под названием «Андрей Белый на Кавказе» (Новый журнал. Нью-Йорк, 1971. № 103. С. 125—136), другой отрывок — «Поездка на Кавказ» (Литературная Армения. 1971. № 6. С. 68—73).

Заключительные страницы этой главы, представляющие собой выписки К. Н. из художественной прозы Белого, вынесены мной в Приложение I (с. 299—319 наст. изд.).

1. Цитата из статьи «Символизм» (1908): «В образах, данных природой, слышатся художнику зовы Вечного; природа для него есть действитель-

ное, подлинное воплощение символа: природа, а не фантазия — лес символов; погружение в природу есть вечное углубление видимости; лестница углубления — лестница символов» (*Луг зеленый*. С. 24).

2. Цитата из ст-ния «Весенняя мелодия. Мандолина» (Цоссен, июнь 1922): «Природы праздники, исполненные / Светами / Утраченного / Смысла...» (*ПР*. С. 20).

3. См. примеч. 37 к гл. «Контрапункт».

4. Белый пишет об июле 1903 г.: «С этого месяца начинается усиленное изучение мной Канта: я штудирую „*Пролегомены*", „*Критику чистого разума*", делаю конспекты; и — рассказываю себе главу за главой „*Критику*"; впервые мной до конца разобрана „*Диалектика*" этой „*Критики*"» (*МБ*. Л. 40). Ср. запись за июль 1903 г.: «...в то же время: начинаю скрупулезно, в третий раз штудировать „*Критику Чистого Разума*"» (*РД*). Подробнее об отношении Белого к Канту см. на с. 278—280 наст. кн.

5. См.: *Ветер с Кавказа*. С. 21—22, 40—41, 45.

6. Цитата из ст-ния «Сердце» (Москва, 1901—1921), в отделе «Летние блески» (*БП*. С. 495; *Стихотворения II*. С. 145). Дата «1931», встречающаяся в рукописях и в воспоминаниях К. Н., неверна.

7. Начало ст-ния «Поется под гитару» (Цоссен, 1922) в «После разлуки» (С. 45).

8. См. запись за 9 июля 1927 г. в дневнике К. Н.: «Б. Н. восхищался грудами местного камня, сложенными вдоль шоссе. Как хороши они, точно куски яркой радуги! <...> Разглядывая придорожные камни, которые он называет „пиритами", Б. Н. опять вспомнил о Врубеле: „Врубель был только *натуралист*. А его сочли декадентом"» (*Лица*. С. 227). Ср. у Белого: «Горы, точно шатаются: красные, пестрые, бронзовые, рассыпаясь осколками чернозлатистых пирритов; <...> не Пушкин в природе; господствуют: Лермонтов, Врубель» (*Ветер с Кавказа*. С. 227—228); «За Тереком: смотрим — поселок Казбек опускается: ниже; <...> разводили руками над, точно стекло, черноблещущей кучею плоских и острых осколков <...>; не камни совсем — перламутры чернейшие: с блещущей росписью, с искрою, с красным, пурпуровым, желтым огнем: — Смотрите-ка: фрески! <...> — Нет, — не Врубель уже. — Чище Врубеля!» (Там же. С. 255). Ср. письмо к Иванову-Разумнику от 19 августа 1927 г.: «И оттого не нашлось *никаких слов* о Военно-Груз<инской> дороге, кроме банальных заявлений о „*дичи натуры*", когда — никакой „*дичи*"; наоборот: рафинированность, пере-пере-утонченность, Врубель, возведенный в „*энную*" степень (реальный „*Врубель*" — сладчайшая олеография своего первоистока)» (*Переписка*. С. 531).

9. «Эривань. 1-ое. <1 мая 1909 г.> Праздник первого мая. Прогулка в персиковые сады» (*РД*).

10. Ср. письмо к П. Н. Зайцеву от 11 июля 1927 г.: «...мы 5 раз проехали Дарьялским Ущельем (а меньше *нельзя*, ибо значительней места я в жизни своей не видел, и оно, как и Казбек, обеспечивает зарядом дум, впечатлений, будущих книг — на годы...» (*Минувшее 13*. С. 267).

11. 31 мая 1929 г. Белый и К. Н. приехали в Красную Поляну, курортный поселок в Адлерском районе Краснодарского края. «...и невероятно пышные, прорисованные ущельями изощренные склоны изощренных тычков высот обстают Поляну-плато <...>. Над венцом зеленых горных высот, обстающих Поляну, — второй ряд каменных острых тычков и пиков, оснеженных до июля...» (письмо к П. Н. Зайцеву от 15 июня 1929 г. // *Минувшее 14*. С. 473). Они пробыли там до 28 июня: «Отъезд: Поляна — Адлер — Гагры» (*РД*).

12. Об отношениях Белого с Всеволодом Эмильевичем **Мейерхольдом** (1874—1940) см.: Из переписки А. Белого: Письма к В. Э. Мейерхольду и З. Н. Райх. / Публ., вступит. статья и коммент. Джона Малмстада // Новое литературное обозрение (в печати).

13. Кузьма Сергеевич **Петров-Водкин** (1878—1939) — художник, автор обложки и марки сборников «Скифы»; входил в совет Вольфилы. Белый познакомился с ним в 1917 г. у Иванова-Разумника в Царском Селе, где и впоследствии много с ним общался. В мае—июне 1931 г. Белый позировал ему для портрета (портрет был закончен в 1932 г. и находится ныне в Государственной картинной галерее Армении, Ереван; портрет воспроизведен в кн.: Петров-Водкин К. С. Письма. Статьи. Выступления. Документы. М., 1991. С. 267). В 1933 г. Белый просил Тициана Табидзе содействовать поездке Петрова-Водкина на Кавказ для лечения: «Оказав ему посильную помощь, Вы окажете содействие культуре, той культуре, которая над всеми народами, как купол, составляющий один народ, в котором я, Вы, Сарьян и Водкин, как Рембо, Верлин, Ницше и т. д. — братья» (Цит. по: *БП*. С. 9).

14. Ср. запись от 5 мая 1917 г. в дневнике К. Н.: «Сорвали лист, огромный, лапчатый. Принесли домой, чтобы спросить, что такое. Оказалось: павлония, тропическое растение» (*Лица*. С. 200). См. также письма к П. Н. Зайцеву от 13 апреля и 9 июня 1927 г. (*Минувшее 13*. С. 258, 263) и к Иванову-Разумнику от 7 и 20 июня 1927 г. (*Переписка*. С. 516—517, 520—521).

15. От греч. martyros — мученик, здесь: мученичество.

16. Свой взгляд на метрику Белый развивал в письме к Иванову-Разумнику от 26 июня 1929 г.: «...линия ямбического (приводится рису-

нок. — *Дж. М.*) линия поднятия; анапестического (рисунок. — *Дж. М.*) хореического (рисунок. — *Дж. М.*) = спуск; амфибрахическое рисует зубцы...» (Переписка. С. 638).

17. См. записи за июнь 1929 г.: «10-ое. Прогулка к деревне Монашенки. Мысли о языке. <...> 16-ое <...> Мысли о слове» (*РД*). Ср. письмо к Иванову-Разумнику от 26 июня 1919 г.: «И вот — тайна гор; сами горы — невскрытый говор; у гор — *говор*: с-л-о-в-о! Слово строит сердце мира; сердце строит звук (хор); звук в сердце горит; горящее возносится „горé"; и то, что взорит свыше, — горы!» (*Переписка*. С. 637) и письмо к П. Н. Зайцеву от 15 июня 1929 г.: «...камни блещут всеми цветами радуги, точно фрески; Мзымта шумит гармонично <...> приходится придумывать слова, которые живописали б и *звуками*» (*Минувшее 14*. С. 473).

18. Ср.: «Книги, подобные „Кубку метелей", „Запискам чудака", я считаю скорей лабораторными экспериментами, неудачи с которыми ложились в основу будущих достижений» (Белый А. Как мы пишем // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 13).

19. В имении Серебряный Колодезь (Тульская губерния, Ефремовский уезд, Старогальская волость), купленном Н. В. Бугаевым в 1898 г., Белый проводил летние месяцы с 1899 по 1908 г. См. запись за июнь 1902 г.: «Бурные переживания закатов; <...> медитации в полях...» (*РД*). Ср.: «Так три месяца (летом 1903 г. — *Ред.*) прожил, бродя по полям, вылепетывая свои строчки <...>. Стоя посреди горбатых равнин и ища забвения, я часами изучал колориты полей; и о них слагал строчки; книгу же стихов назвал „Золото в лазури"; <...> все, записанное мной в строках, вышло жалко; лучшие строчки не осадились строками; <...> и лишь позднее <...> отразились подлинные мои восприятия того лета: полей, воздуха, напёка, шума в ушах...» (*НВ*. С. 283).

20. «Лишь в кругу близких для каламбура, а не печатного слова я запрыгивал и в лексикон Хлебникова; посягал на „*за-умь*", не вылезал с ней в большой свет...» (*НВ*. С. 27, 567).

21. Начальные строки ст-ния Е. А. Баратынского «Финляндия» (1820). Белый провел анализ этой элегии на одной из лекций в театральной студии Мейерхольда (Гэктемасе) в декабре 1927 г. (Андрей Белый. Себе на память. Перечень прочитанных рефератов, публичных лекций <...> с 1899 до 1932 года. Автограф // *РГАЛИ*. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 19).

22. См. примеч. 104 к гл. «Контрапункт».

23. Ср. записи за июль 1928 г.: «Каджоры. 10-ое. <...> Мысли о 4-х измерениях. Чувство высот нас охватывает. <...> 14-ое. Фантасмагория гор!

<...> 17-ое. Остранение глубины. <...> 18-ое. Мысли о рельефе. Мысли о горнем» (*РД*). См. также записи за июль 1929 г.: «15-ое. Кадж<оры>. Весь день на вершине. Зарисовка вида на военно-грузинскую дорогу. <...> 26-ое. Каджоры. Раскраска. Видели на прогулке орла. 27-ое. Мысли о колорите. О связи глаза с рукой. Открылся Казбек. <...> 29-ое. Каджоры. Мысли о времени и пространстве» и за 10 августа: «Весь день рисунки. Вечером на вершине. Прощание с Каджорами» (Там же).

24. «Итальянцы силились выявить в объективности перспективу и композицию; критерий такой объективности — *„квантитативное"* пересечение трех осей; *„квантитативизм"* объективен в геометрии и теоретической механике, которые не критерии, когда объект — живая жизнь; живопись далека от бескрасочного критерия, в котором нет ни колорита, ни распределенных впестрь участков пространства; где тут *„три измерения"*? Лишь *„восприятия"*, которых *„четыре"* (не три)...» (Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934. С. 118—119).

25. См. записи за июль 1927. г.: «13-го. Царицын. Ожидание парохода. 14-го. Пароход. Картина Волги. 15-го. Мысли о России. Прошли Саратов. 16-го. Прошли Вольск. 17-го. Подошли к Самаре. 18-го. Мысли о рельефе и России. 19-го. Прошли Богородск. Были в Казани. Прошли Казань. Пожар. Мещане. 2-го. Райские картины берегов. Чебоксары. Васильсурск. 21-го. Нижний. Весь день прогулки. Вечером прогулки над Волгой. Музей. Иконы. 22-го. Уехали к ночи из Нижнего. 23-го. Москва. Остановились у Васильевых» (*РД*). См. также: *Ветер с Кавказа.* С. 273—293; *Лица.* С. 231—241.

26. Цитата из второй главы поэмы «Первое свидание» (*БП.* С. 422; *Стихотворения* II. С. 37). См.: Соловьев В. Враг с Востока (1892) // Соловьев В. Собр. соч. 2-е изд. СПб., 1912. Т. 5. С. 452—465).

27. См. записи за 1901 г.: ноябрь: «Начинаю собирать материалы для кандидатской работы: „Об оврагах"»; декабрь: «Весь месяц изучаю материалы по описанию земств Нижегор<одской> и Полтавской губернии проф. Докучаева; читаю „Овраги" Масальского; и собираю материал по орнаменту (в связи с намерением этот предмет изучить эстетически и этнографически)»; и за 1902 г.: январь: «...работа в Музее над собиранием материала для кандидатского сочинения...»; февраль: «Начинаю писать свое кандидатское сочинение „Об оврагах". — Читаю реферат у проф. Анучина на тему „Представления древних о форме земли"»; март: «Пишу кандидатское сочинение „Об оврагах". Реферат мой у проф. Анучина: *„О картографических проекциях"*» (*РД*). Ср.: «Встреченный благосклонно Анучиным, *я скоро поведал ему о намерении писать сочинение* по орнаменту; он удивился <...> — Бросьте-ка: трудная тема; <...> —

Писали бы мне по географии: а орнамент оставили бы, <...> надо было спешить; тут меня осенила проблема „оврагов", к которым присматривался издавна я в имениях; рост оврагов в России давно принял грозные формы; <...> я влетел неожиданно в специальность, которою не интересовался нисколько, за исключением малого участка: овраги; и то — только русские. Анучин был доволен...» (*НР*. С. 423—424); «Мне до сих пор стыдно, что я писал сочинение „Об оврагах"» (*НР*. С. 451). Дмитрий Николаевич **Анучин** (1843—1923) — географ, этнограф, археолог, антрополог; см. о нем: *НР*. С. 423—430.

28. См. запись за 20 июля 1927 г. в дневнике К. Н. (*Лица*. С. 239—240).

29. «Жаль, что „волжанин" не видел великой реки: разумею я Блока» (*Ветер с Кавказа*. С. 279). См. также письмо Белого к Иванову-Разумнику от 30 сентября 1927 г.: «Боже мой! почему Блок не плавал по Волге! Многое сумел бы он тогда прибавить к сказанному им о России» (*Переписка*. С. 537).

30. «И неспроста слагалася аллитерация: „воля и Волга"; <...> „Воля Волги" — удары плотов в берега косых бытов; <...> „бунт" Разина, „бунт" Пугачева. <...> Воля и Волга!» (*Ветер с Кавказа*. С. 276). См. также: *Лица*. С. 239; *Переписка*. С. 538.

31. Ср.: «До Достоевского явлена тема Раскольникова нашей Волгой; рас-кол и раз-бой здесь — жест стати грядущей: жить „вольно"» (*Ветер с Кавказа*. С. 280).

32. Начальные строки из первой части ст-ния «Закаты» (1902) (*ЗЛ*. С. 12; *БП*. С. 76).

33. **Полудетские поэмы** — см. записи за август 1901 г.: «Серебряный Колодезь <...> Пишу поэму „Фонтан" (утрачена)» и за июнь 1905 г.: «Дедово — Весь июнь работаю над поэмой „*Дитя-Солнце*"; написано более 2000 стихов (поэма потом утрачена)»; «можно сказать, что „*Золото в Лазури*" написано летом 1903 года; максимум стихотворений падает на июль» (*РД*).

34. См. записи за июль 1927 г.: «3-ье. Тифл<ис>—Владикавказ. Переезд с поэтами через хребет (Военно-Груз<инская> дорога). 4-ое. Владикавказ. Прогулки. Прощание с поэтами. Заказали машину к Казбеку. 5-го. Поездка на Казбек. Сняли комнаты. Вернулись во Владик<авказ>: условились с фаэтоном. 6-го. Казбек. Приехали с фаэтоном. Видение „старца". 7-го. Прогулка наверх, мимо аула, к кладбищу. Прогулка к Шату. Ночью гроза. 8-го. Симфония облак. Лекция Преображенской. Прогулка за Терек. 9-го. Прогулка к Сиони. Послед-ний вечер. Луна над Тереком. 10-го. Владикавказ. Спустились на фуре в город. Вечером из бот<анического> сада любовались хребтом.

11-го. Переезд. Минер<альные> Воды. 12-го. Переезд» (*РД*). См. также: *Ветер с Кавказа*. С. 199—272; письмо к Иванову-Разумнику от 6 июля 1927 г. (*Переписка*. С. 252—253); *Лица*. С. 223—229.

35. Ср.: «Неслися в обстанье зеленых покрытых лесами горин, исщербленных рядами слетающих с них перегорбий: все то еще — „reizend", не — „hoch"» (*Ветер с Кавказа*. С. 207). См. также письмо Белого к П. Н. Зайцеву от 13 апреля 1927 г.: «„*прекрасное*" — сфера той красоты, пронизанной горными вершинами добра, которую он (Шопенгауэр. — *Дж. М.*) называл сферой „*высокого*"» (*Минувшее 13*. С. 258—259).

36. Ср. запись за 4 июля 1927 г. в дневнике К. Н.: «Вот и проехали по Военно-Грузинской дороге. <...> Сейчас же за Мцхетом стали одна за другой открываться, как в медленном танце наплывая, ширясь и вновь уплывая, „долины Грузии". „Грузия прекрасна, как пушкинская строчка". „Елисейские поля!" — вырвалось у Б. Н.» (*Лица*. С. 223).

37. 17 июля 1924 г. Белый писал Иванову-Разумнику из Коктебеля: «...несколько недель ползал на животе, ошаривая коктебельский пляж и собирая коллекцию камушков, которые здесь порой изумительны...» (*Переписка*. С. 296), а 8 декабря 1924 г. — из Москвы: «Приезжающие в Коктебель заболевают каменною болезнью: целыми днями они лежат на животе на коктебельском пляже и собирают удивительнейшие камушки: кроме прекраснейших халцедонов, агатов, сердоликов, яшм и пр<очих> камней, просто элементарные камни, омытые морем, являют собою чудесный орнамент <...>; к осени у меня было до 120 коробок с разного рода орнаментом из камней; и я для коктебельцев периодически устраивал выставки, располагая коробки по градациям орнаментальных линий и колоритов, моделируя свои мысли об истории и эволюции культур; от Атлантиды до... культуры будущего. Макс объявил, что я сделал революцию в методе собирания камней...» (*Переписка*. С. 304). «Каменною болезнью болею; коробочки: в них — лежат камни; не стыдно мне: профессора в Коктебеле болели болезнью моей...» (*Ветер с Кавказа*. С. 14). См. также воспоминания Н. А. Северцевой-Габричевской (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 117).

38. Ср. запись за 16 апреля 1927 г. (Цихис-Дзири) в дневнике К. Н.: «Днем спускались к морю: за камешками. Совсем другие, чем в Коктебеле. Не такие „миловидные", дико красивые, пестрые, без блеска» (*Лица*. С. 198) и за 8 мая: «Занялись сортировкою камешков. Коробочки складываются удивительные. Колориты и краски гораздо живее коктебельских» (Там же. С. 200). Ср.: «Все мне сочеталось в камнях, нами собранных: быт и природа; камнями завалены: стол и диван; глаз наметан до слез на оттенках; оттенки же, — вот где учить-

ся художнику; <...> Камни аджарские многое мне приоткрыли; они — ключи быта, ключи к пониманью орнамента...» (*Ветер с Кавказа.* С. 52—53). См. также письмо к Иванову-Разумнику от 7 июня 1927 г.: «У нас, конечно, уже коллекция камушков, не уступающих коктебельским: надеюсь когда-нибудь Вам показать что-нибудь от батумских даров моря; каменная болезнь охватила; и долго мучились, как же везти с собой этот груз камней» (*Переписка.* С. 517); письмо к П. Н. Зайцеву от 9 июня 1927 г. (*Минувшее 13.* С. 264).

39. Ср.: «Впечатление оставалось действительным: я увидел землю как планету. Обрадованный новым космическим открытием, я стал повторять опыт боковыми движениями головы и варьировать приемы. Очертя глазами весь горизонт, воспринимая его целиком, я оказался на отрезке шара, причем шара полого, с обратной вогнутостью, — я очутился как бы в чаше, накрытой трехчетвертьшарием небесного свода. Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня на этом затоновском холме» (Петров-Водкин К. С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. 2-е изд., доп. Л., 1982. С. 271). О теории «сферической перспективы» см.: Русаков Ю. А. Петров-Водкин и его автобиографическая проза (Там же. С. 20—22). Ср.: «При этом он (Петров-Водкин. — *Ред.*) выпучивал горизонт дугой, а людей, деревья и дома наклонял направо и влево. Это называлось у него принципом круговой проекции или как-то в этом роде» (Голлербах Э. Иод и синька (1939) // Голлербах Э. Встречи и впечатления. СПб., 1998. С. 306).

40. Ср.: «— Вот — замок Тамары. Но мы не успели его рассмотреть: пронеслись; он — банальная куча развалин...» (*Ветер с Кавказа* С. 232). Крепость (I в. до н. э.), так называемый «замок царицы Тамары», находилась на высокой конусообразной скалистой горе над левым берегом Терека в Дарьяльском ущелье — в долине реки Терек, в месте пересечения Бокового хребта Большого Кавказа.

41. «Чудо цвета гортензий» (*РД*, Цихис-Дзири, 13 июня 1927 г.). См. запись за 13 июня (Духов день) 1927 г. в дневнике К. Н.: «Внизу под балконом зацветала гортензия — огромный куст. Теперь она казалась покрыта фатой бело-розовой (днем — голубая). Тоже волшебство и призрачность: подарок цихис-дзирских ночей. <...> Цветы, цветы, цветы! Тема этих дней. Б. Н. и здесь нашел себе предмет для постоянного наблюдения» (*Лица.* С. 217—218). См. также: «Голубая гортензия много недель набухала: и почки открылись в три дня: Цихис-Дзири теперь — голубое (оно было — красным, лиловым и белым); попробовали мы считать, сколько этих соцветий на этом кусте вот; сочли лишь десятую часть всей поверхности: сто незабудковых нежных соцветий; и — стало быть: всех их — не менее тысячи; <...>

Гортензия есть незабудка Аджарии — так решил друг (К. Н. — *Дж. М.*)» (*Ветер с Кавказа.* С. 157); письмо к Иванову-Разумнику от 20 июня 1927 г.: «...вспыхнули кусты голубой гортензии букетами соцветий; на одном кусте мы с К. Н. насчитали до 1000 таких шапок; черт знает что, а не природа...» (*Переписка.* С. 520).

42. Рисунки и акварели Белого, выполненные во время путешествий по Кавказу и Закавказью, хранятся в *ГЛМ* и *РНБ*. См.: Кайдалова Н. А. Рисунки Андрея Белого // *Андрей Белый: Проблемы творчества.* С. 601—605; Рисунки русских писателей XVII—начала XX века / Автор-сост. Р. Дуганов. М., 1988. № 259—262.

43. «Перед сном долго ходили по террасе. Б. Н. любовался Юпитером своим любимым. Огромный — прямо перед нами» (*Лица.* С. 198). Согласно Рудольфу Штейнеру, эпоха Юпитера обозначает ту форму грядущего развития Земли, когда человек будет обладать самосознающим образным сознанием и сможет входить в общение с такими существами, которые остаются скрытыми для его современного чувственного восприятия. См.: Штайнер Р. Из летописи мира. Калуга, 1992. С. 111—112. Ср. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 24 и 25 сентября 1926 г.: «...то же, чем звучит засыхающий лист, есть провидение будущей красоты будущих природ будущей формы вселенной; засыхающий лист — заря оперения природы эпохи Юпитера, может быть...» (*Переписка.* С. 367).

44. См. запись за 20 мая 1928 г. в дневнике К. Н.: «К 10-ти часам заехал Сарьян: ехать вместе в Эчмиадзин и Айгер-Лич. <...> С обеих сторон выступили два гиганта: Арарат и Арагац (Алагез — испорченное названье). Первая остановка — Звартноц, развалины храма VI, кажется, века» (*Лица.* С. 264). **Звартноц** — собор, сооруженный между 641 и 661 при Нерсесе III Строителе; разрушен, развалины раскопаны в 1901—1907 гг. См. также: *Армения.* С. 236—237.

45. **Мартирос Сергеевич Сарьян** (1880—1972) — армянский живописец, «воспитанный „Миром искусства“ и после принесший сюда, в Эривань, свою мудрость художника и замешавшимся в ритмы Армении...» (*Армения.* С. 225). Он стал гидом Белого и К. Н. во время их первой поездки туда с 18 по 24 мая 1928 г. Переписка Белого и Сарьяна (1928—1930) вошла в кн.: Белый А. Армения. Очерк, письма, воспоминания / Сост. Н. Гончар. Ереван, 1985. С. 82—106.

46. «Среди развалин словно сознательный художник разбросал красные огни мака, за стенами на холме — душистый чобар, очень крупный. <...> Тишина, молчанье и вместе с тем громко звучащая речь каменных глыб. Сознанье с трудом удерживалось в настоящем» (*Лица.* С. 265).

47. Ср. запись К. Н. за 24 мая 1928 г.: «Б. Н. рвется к природе. Ему бы побыть одному... поглядеть, в „кодак" свой пощелкать» (*Лица*. С. 274). Ср. также: «...верю своим впечатленьям; я всюду с собою таскаю кодак; <...> наблюдательность, ставшая просто инстинктом писательским...» (*Ветер с Кавказа*. С. 49).

48. 26 ноября (ст. ст.) 1910 г. Белый и А. А. Тургенева отправились в заграничное путешествие (Италия, Сицилия, Тунис, Египет, Палестина). Они приехали в Одессу 22 апреля (ст. ст.) 1911 г. «Путевые заметки» Белого, готовившиеся в 1912 г. к изданию в «Мусагете», были переданы в издательство «Сирин», но напечатаны не были. Позднее первый том этой книги (в переработанной редакции) был издан дважды: Офейра. Путевые заметки. Ч. 1. М., 1921; Путевые заметки. Т. 1. Сицилия и Тунис. М.; Берлин, 1922 (более полная редакция текста). Из 2-го тома «Путевых заметок» при жизни Белого были опубликованы лишь отдельные главы; полностью его текст — «Африканский дневник» — напечатан в кн.: Российский архив. I. М., 1991. С. 327—454 (публ. С. Воронина), с предисл. Н. Котрелева «Злосчастная судьба счастливой книги. К истории путевых записок Андрея Белого».

49. См. письмо к Иванову-Разумнику от 30 августа 1929 г.: «Дорогой друг, — знаете, чем мы с К. Н. занимались в Каджорах, — с яростью, с самозабвеньем, с бессонными ночами? Зарисовывали и красили. Смешно сказать: привез ряд „*Каджор*" (колоритов). <...> каджорские колориты нас так замучили, просясь на лист белой бумаги, что мы, перепачканные красками, 2 недели добровольно укладывали себя в лоск, силясь схватить в убогих каракулях хоть намек на 1/100 того, что видели, как колорит. И это вовсе не важно, что получилась всякая юмористика (вместо рисунков); важно то, что осознавалось в процессе мазанья и ощупывания красок; <...> верьте, — тут не искусство, а — познание; эта потребность к краске в нас, — то же, что былые потребности к собиранию камушков, листиков; модификация — все того же; дело в том, что я считаю: нельзя увидеть правильно, не задвигав рукой; руки — вторая пара глаз, как ноги — вторая пара ушей; то, что начинается в глазу, — должно кончиться рукой...» (*Переписка*. С. 649). Ср. запись за август 1929 г.: «...Глаз многому научился; недавно художник, ученик Репина, увидев мои беспомощные зарисовки Каджор, воскликнул: „Да вы владеете пространством!" Значит, то, чему учился глаз, сказалось-таки и на руке; как она ни беспомощна (я не умею провести линии), все же — нечто от мысли и глаза излилось в руку; и это *нечто* не художническое дарование (я, как художник, бездарен), а — *опознание*: перспектива и колорит — вот что было нам с Клавдией Николаевной познавательной данностью...» (*РД*).

50. «Грузинские поэты <...> подарили огромных размеров кисть, перепугав меня, ибо я из почтения к ней и к подаренному альбому не смел прикоснуться ни к хорошей бумаге, ни к кисти; и писал дрянными кисточками ни писчей бумаге, чтобы было не так страшно» (*Переписка*. С. 649).

51. «15-ое <июля 1928 г.>. прогулка в направл<ении> к „замку разбойника". <...> 6-ое <августа>. Горы: прогулка к замку» (*РД*). См. также: *Ветер с Кавказа*. С. 179.

52. Цитата из второй части четырехчастного ст-ния «В горах» (Цоссен, 1922) (*ПР*. С. 96).

53. «Были мы в Бакуриани; оно — курорт горный, <...> к Бакуриани с Боржома — огромный подъем; путь — Бакуриани — Боржом — почему-то считается дико красивым; „красивость" — красива, нет споров; и все же — высокое манит меня всего более; вот почему все красоты хваленой дороги стоят предо мной декорацией — очень красивой; и — *только* красивой. <...> скорей — это Альпы, но сорта второго...» (*Ветер с Кавказа*. С. 126—127). Ср. запись за 26 мая 1927 г. в дневнике К. Н.: «Много мы слышали о красоте Бакурианской дороги. Все твердили: „Поезжайте! Что Швейцария, Норвегия! Вот Бакуриани..." <...> Поехали! В шесть часов встали для этого. И пошло все как-то нелепо. <...> Все зеленое, гуще и чаще. А Б. Н. ждал базальтов, гранитов и „пиков", как в Альпах. Ничего этого не было» (*Лица*. С. 212).

54. «Вы понимаете, что, живя в Армении, вбирая древний этот воздух, осматривая развалины и читая, читая, читая, мы с К. Н. были *переполнены* переживаниями» (*Переписка*. С. 649). См. также: *Лица*. С. 258 и примеч. 20 к гл. «Контрапункт».

55. «Арарат! Все еще трудно повер<ить>, что это гора. Словно планета какая в чистых линиях своего вос- или нисхождения» (*Лица*. С. 261). См. также: Армения. С. 220—221.

56. См. записи за май 1929 г.: «15-ое. Гехарт. Поездка в Гехарт через Норк — Джерваж — Вахчаберт — Гарни (К. Н., я, Сарьян, Люся Лазаревна). Изумительные ландшафты, камни, завтрак под деревом в Вахчаберте; отдых у крестьян в Гарни; осмотр развалин Гарни; поездка, полная приключений, в Гехарт; осмотр Гехарта; разговор с епископом; ночью гроза. 16-ое. Эривань. К вечеру добрались до Эривани: восторг от поездки. Нам завидуют» (*РД*). 1 июня 1929 г. Белый писал Иванову-Разумнику: «Армения, утомив, дала ярчайшие моменты <...> и в смысле познават<ельного> материала (армянские памятники древности); ночь, проведенная в старом монастыре Гехарт, под

отвесными перпендикулярами скал, и дорога туда со всякими приключениями — никогда не забудутся...» (*Переписка*. С. 635; 649). Монастырь **Гегард** (основан в IV в.) в ущелье реки Гарни, в 40 км к юго-востоку от Еревана, известен комплексом памятников средневековой армянской архитектуры (XII—XIII вв.).

57. См. запись за 24 мая 1928 г.: «Эривань — Караклис. Утром отъезд на машине через Севан. Осмотр предприятий Еленовки. Поездка на Севан. Церкви. Переезд через Семеновский перевал. Обед в Дилижане. Впечатление Караклиса» (*РД*). Ср. запись за этот день в дневнике К. Н.: «Слева стали расти горы Гехар-Куник — за ними Севан. Они держат его, как высокую чашу, выше всех окружающих мест» (*Лица*. С. 273). См. также главу: «Севан — Дилижан — Караклис» (*Армения*. С. 251—256.)

58. См. письмо Белого к П. Н. Зайцеву от 9 июля 1928 г.: «...местность (Коджоры. — *Дж. М.*) удивительная <...>; соединение — высоты и шири; почти географическая карта во все стороны стелится от нас; и — под нами; она обрамлена с севера снежною цепью главного хребта; с юга горами Армении (Малый Кавказ), с северо-востока — Кахетинским хребтом; и над ним — Дагестаном; с юго-востока — долиной Куры на несколько десятков верст; а с запада — Сурамским Хребтом; этот вид в расстоянии 15-минутной, тишайшей ходьбы, — восхода на малый *„холмик"*, который — вершина огромной горы...» (*Минувшее 14*. С. 443).

59. См. запись за декабрь 1920 г.: «Мысли о ликвидации жизни в Кучине и о длительной поездке на Кавказ (К. Н.)» (*Летопись*) и за начало 1931 г.: «Январь. Переписка с Т. Табидзе о творческой поездке на Кавказ, с целью написать книгу о Советской Грузии (К. Н.). Февраль. Переговоры с заведующим ГИХЛ В. И. Соловьевым и с Союзом советских писателей о командировке на Кавказ (К. Н.)» (*Летопись*); «„Хочу написать книгу о Советской Грузии (историко-культурного, этнографического, бытового и производственного характера)" (письмо к В. И. Соловьеву)» (Там же). См. письмо Белого к Табидзе от 6 января 1931 г.: Magarotto Luuigi. Andrey Bely in Georgia: Seven Letters from A. Bely to T. Tabidze // The Slavonic and East European Review. 1985. Vol. 63. №. 3. P. 412—413. Мечта не осуществилась: «Марта 15—20 <1931 г.>. Поездка на Кавказ отпадает» (*Летопись*). См. также письмо Белого из Коктебеля к Г. А. Санникову от 28 июня 1933 г.: «Но вдруг выскочило из полусознания если не решение, то — стремление (вроде как осенило): в будущем всячески искать возможности пристроиться при решенной, в принципе разработанной, перевальной дороге через Кавказский хребет. Тут все интересно: и горное дело, и железнодорожное; и места любимые (дорога пройдет от Дарг-Хоха

к Гори). Пока это мечты; но загорелось желание попробовать новой жизни (тут возможность и длительно жить на Кавказе, и материал для очерков, и исканье новых форм для произв<одственного> романа). При приезде в Москву буду долго с Вами советоваться: стоит, или не стоит, возможно мне это, или — сверх сил» (Каждому свой черед / Вступит. статья и публ. Д. Санникова // Наше наследие. 1990. № 5 (17). С. 95).

60. Неточная цитата из Гете. Фраза «Поэзия — зрелая природа» («Poesie: eine reife Natur») зафиксирована в «Максимах и рефлексиях» Гете («Maximen und Reflexionen», 1001). См.: Goethe Jogann Wolfgang. Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche. Bd. 9. Zürich, 1962. S. 627. Приводя эту же фразу в книге «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (М., 1917. С. 53), Белый сопровождает ее примечанием: «Из Гёте-Архива». По всей вероятности, Белый обнаружил ее в ходе изучения литературы о Гете при работе над этой книгой или из трудов Штейнера о Гете. Ср. употребление той же формулировки в письме к Иванову-Разумнику от 24—29 сентября 1926 г. (*Переписка.* С. 369) и в статье Белого «Дом-музей М. А. Волошина» (1933) (Воспоминания о Максимилиане Волошине. М., 1990. С. 506).

61. Цитата из второй части ст-ния «Весенняя мелодия. Мандолина» (Цоссен, июнь 1922) (*ПР.* С. 20).

РАБОТА НАД «МАСКАМИ»

1. Рукописи «Масок» теперь находятся в фонде Белого в *РГАЛИ* (Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 39, 40).

2. Заключительные страницы этой главы вынесены мной в Приложение I (с. 320—328 наст. изд.).

3. «Переговоры с Мейерхольдом о переделке „Москвы» в драму" (*РД*, октябрь 1926). Белый работал над инсценировкой своего романа в ноябре, когда были «частые встречи с Мейерхольдом (у него и на репетициях „Ревизора")» (*РД*). 28 ноября 1926 г. Белый писал Иванову-Разумнику: «Все-таки решил спешно докончить текст драмы „Москвы" и отдать ему в „*ломку*": вот будет ломка, — воображаю; но отчего-то — весело; если вопрос о „*Москве*" выдвинется сериозно у Мейерхольда (пока он потенциально лишь выказывает гостеприимство широкое, но от потенциального гостеприимства до реального убежища, Вы сами знаете, — дистанция огромного размера)» (*Переписка.* С. 431). См. записи за январь 1927 г.: «10-го. Москва. Приезд Р. В. Иванова.

Встреча с ним у Мейерхольда. <...> Читаю у Мейерхольда „Москву"-драму (в присутствии режиссуры). <...> 25-го. Москва. Заход к <П. Н.> Зайцеву. <...> Читаю у Зайцева драму „Москву" (Поляков, Н. Н. Вышеславцев, В. В. Казин, Б. Л. Пастернак, С. Д. Кржижановский, В. Моисеев, Петровский, Мстиславский)» (*РД*). В воскресенье, 20 февраля 1927 г., Белый читал «драму „Москву" артистам Мейерхольда (у него в Театре). Мейерхольд в восторге. Обед у Мейерхольдов» (Там же). См. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 22 февраля 1927 г. (*Переписка*. С. 467). 22 марта 1927 г. договор на постановку «Москвы» в ГосТИМе был заключен. Белый и Мейерхольд особенно сдружились в конце мая 1927 г., когда Белый и К. Н. провели пять дней (20—24 мая) вместе с Мейерхольдами в Тифлисе, где гастролировал ГосТИМ. «22-го <мая 1927 г.>. Сердечная беседа нас (я, К. Н.) с Мейерхольдом. Дружба с ним и с Райх» (*РД*). 19 августа Белый писал Иванову-Разумнику: «...признаюсь: за эти 4—5 тифлисских дней я очень полюбил Всеволода Эмилиевича...» (*Переписка*. С. 527). См. также: *Лица*. С. 203—208. Пока они были вместе в Тифлисе, Мейерхольд показывал Белому проект постановки «Москвы». «Удивительно! Если ему удастся поставить, это будет новое завоевание не только в сфере сцены, но и: в сфере драматургии; драматурги смогут иначе писать. Все 17 картин „*Москвы*" будут на сцене даны единовременно; <...> Мейерхольд дает спираль сцен. Я, воодушевленный макетом, хочу переработать текст по *спирали*...» (письмо к П. Н. Зайцеву от 9 июня 1927 г. — *Минувшее 13*. С. 263). Режиссерский замысел Мейерхольда побудил Белого к созданию сценического варианта текста пьесы с подробно разработанными схемами организации сценического пространства (*РГАЛИ*. Ф. 53. Оп. 3. Ед. хр. 3): «28-го <июля 1927 г.>. Работа над макетом (по „спирали" Мейерхольда). 29-го. Работа над макетом („спираль") <...> 5-ое <августа>. Работа над „*спиралью*" драмы. 6-го. Мысли о Преображении. Работа над „спиралью". 7-го. Весь день работа над „спиралью". <...> 9-го, 10-го, 11-го. Упорная работа с утра до ночи над „спиралью" драмы. <...> 13-го, 14-го, 15-го. Безумная работа над „спиралью" драмы» (*РД*). См. также письмо Белого к Иванову-Разумнику от 19 августа 1927 г.: «Вместе с тем изумляюсь, до чего „*гениален*" Мейерхольд; ведь он из моей „Москвы" вынул всего меня; ведь жест моего мировоззрения вплоть до исторической концепции — *спираль*; он ее и выявил» (*Переписка*. С. 527). Переработанный текст пьесы был закончен и сдан в ГосТИМ в конце августа 1927 г. Она была включена в постановочный план театра на сезон 1927/28 г. и значилась в нем вплоть до 1930 г., но поставлена не была. См.: Воронин С. Из

истории несостоявшейся постановки драмы А. Белого «Москва» // Театр. 1984. № 2. С. 125—127; Фельдман О. «Это его мечта не осуществилась» // Театр. 1990. № 1. С. 160—161; письма № 5, 6, 7 Белого к Мейерхольду и комментарии к ним в моей публ.: Из переписки Белого: Письма к В. Э. Мейерхольду и З. Н. Райх // Новое литературное обозрение (в печати). Сценический вариант пьесы опубликован: Белый А. Москва // Театр. 1990. № 1. С. 163—192; Белый А. Москва. Драма в пяти действиях / Предисл., коммент. и публ. Т. Николеску. М., 1997.

Характеристики главных персонажей романов взяты К. Н. из списка действующих лиц в тексте инсценировки Белого.

4. 10 мая 1928 г. в Тифлисе Белый сказал К. Н.: «Вообще „Москва" могла бы быть совершенно другой. Только задание Лежнева: авантюрный роман — дало ей эту особую динамику и создало своеобразный прием. Иначе могло бы пойти по линии „Сер<ебряного> голубя": тема Грибикова, Старуха, Смоленский, гоголевское, русское. „Авантюра" выдвинула Мандро и Коробкина» (*Лица*. С. 249).

В середине 1970-х гг. Н. Н. Берберова прислала мне следующие свои соображения по поводу имени «фон Мандро»: «ТАЙНА ОДНОГО ИМЕНИ. В начале нашего столетия в Петербурге существовала торговая фирма Мендроховича и Лубенского. Фирма занималась экспортом-импортом главным образом оружия. В 1911 году, как удалось установить, Мендрохович расстался с графом Лубенским и взял себе другого компаниона, Э. П. Шуберского, богатого человека, с большими связями, директора одной из железных дорог России.

Мендрохович в некоторых печатных материалах назван Мандрочовичем, а в других — Мандраковичем. Но близкие друзья и его семейные называли его Мандро, а во времена Лубенского — фон Мандро. Фон Мандро был уже до Первой войны стариком (евреем).

К его концерну одно время имел ближайшее отношение член британской контрразведки Сидней Рейли. Перед 1914 годом Рейли действовал как ответственный служащий фирмы в деле покупки-продажи Германии военного морского снаряжения. А после 1914 года был даже в США, где закупал снаряжение уже для России. Большую комиссионную сумму от американского правительства (или частной компании?) Рейли не успел получить из-за февральской революции, и в 1923 году подал в суд, ища с американских контрагентов свои комиссионные. Дело он проиграл. Имя его было известно в 20-х гг. в Советском Союзе, и Белый, вероятно, сознательно взял для своего героя-развратника, негодяя и шпиона некоторые авантюрные черты Рейли, его „секретную службу" для иностранной державы, в то же

время назвав своего героя именем русско-еврейского международного „капиталиста".

Очень многих читателей Белого всегда сильно смущал вопрос о происхождении такой дикой фамилии, как фон Мандро. Фамилии у Белого почти всегда что-то „значат". Но эта фамилия звучала загадочно, не давала ключа ни к классу (происхождению) героя, ни к его национальности, а приставка „фон" особенно резала ухо своим почти бессмысленным намеком на балтийское происхождение не то румына, не то венгра» (оригинал в собр. Дж. Малмстада; сокращенный вариант см.: Берберова Н. Железная женщина. Нью-Йорк, 1981. С. 68).

5. 10 февраля 1927 г. Белый набрасывал «план 2-го тома „Москвы"», 12-го он писал «кусочки» для романа (*РД*), но настоящая работа над продолжением «Москвы» (роман «Маски») была начата только в сентябре 1928 г., а год спустя Белый вернулся к написанному, заново переработал и продолжил его: «*Сентябрь* <1929 г.>. Кучино. Весь месяц прошел незаметно в раскладке, в обдумывании 3-ьей части „Москвы", в „кучинских прогулках"; и в „*Мыслях о Символизме*". Эти „*Мысли о Символизме*" начал было записывать в Каджорах, продолжал в Тифлисе; и в Кучине настолько увлекся ими, что они грозили оттеснить „Москву". Но взяв себя в руки числа с 10-го углубился в „Москву"; и увидел, что написанное в прошлом году должно быть заново переработано; пришлось как бы писать заново. Читаю, что написана 1-ая глава „Масок Москвы", т. е. „Брат Никанор"; ее дописывал в октябре» (*РД*). «Куч<ино>. 1-ое <июня 1930 г.>. Кончил роман „Маски", над которым работал с сентября» (Там же).

6. Белый начал работу над романом «Москва» в октябре 1924 г. В архиве Иванова-Разумника сохранились предварительные наброски Белого к роману и его предварительный план (под заглавием «Слом»); см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 38—40. 8 декабря он писал Иванову-Разумнику: «...извольте при этом спокойно писать ответственный роман „*Москва*", в котором не должны быть произнесены слова: „*дух*", „*душа*", „*Бог*", „*мистика*", „*красота*" и т. д.; и в котором должна быть изображена революция (всё — цензурно!). Не сладко живется: ни материально, ни морально!» (*Переписка*. С. 304—305). Тем не менее Белый переделал две первых главы романа и сдал их в издательство «Круг» в конце месяца. Под заглавием «Москва. Роман. Ч. 1. Гл. 1—2» эти главы были напечатаны в двух выпусках альманаха «Круг» (М.; Л., 1925. Вып. 4. С. 19—73; Вып. 5. С. 27—91).

В конце марта 1925 г. Белый возобновил работу над романом: «Кучино. Здесь — отдых: и тихое задумье...» (*РД*). 27 сентября он

писал Иванову-Разумнику: «Лишь третьего дня поставил точку над первым томом, который в замысле *вполне* законченный роман» (*Переписка*. С. 331). Запись за сентябрь 1925 г. о «Москве»: «Не будь Кучина, ее не написал бы» (Там же). Первая часть романа «Москва» — «Московский чудак» — вышла в свет в середине июня 1926 г. (М.: Круг), вторая часть — «Москва под ударом» — в конце августа 1926 г.

7. Договор, который ныне находится в фонде Белого в *РГАЛИ* (Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 342), опубликован мною: Белый и Н. Э. Хелминский // *Минувшее 15*. С. 341—343. Белый обещал представить роман к 1 сентября 1924 г. Договор был расторгнут в конце 1924—начале 1925 г.

8. После расторжения договора с журналом «Россия», редактором которого был И. Г. Лежнев, Белый принял на себя договорные обязательства по роману «Москва» с артелью писателей «Круг». См. письма Белого к Д. К. Богомильскому от 5, 8, 15 декабря 1924 г. и письмо Николая Эдмундовича Хелминского к Богомильскому от 5 декабря 1924 г. (*Минувшее 15*. С. 338—339, 344).

9. Белый и К. Н. жили в Коктебеле с 1 июня по 12 сентября 1924 г. (см. примеч. 7 к гл. «Контрапункт»). 7 июля 1924 г. Белый писал П. Н. Зайцеву из Коктебеля: «Здесь — очаровательно; но весь темп жизни — животный, не умственный; целый день наполнен прогулками или лежанием на пляже» (*Минувшее 13*. С. 243). См. также письмо Белого к Иванову-Разумнику от 8 декабря 1924 г. (*Переписка*. С. 304). Ср. записи за лето 1924 г.: «*Июнь*. Коктебель. Чтение драмы («Петербург». — *Ред*.) с прениями (у Волошина). У Волошина почти каждый день вечер чесание языков (беседы); лежание на пляже — то же *sui generis* „диспут". *Июль* — Коктебель — 1) Беседа о стихах (инцидент с Шенгели). 2) Беседа о новой поэзии. 3) „Философия конкретного знания". Моя лекция. 4) Участие в коктебельском вечере 31-го. 5) Слово о Вл<адимире> Соловьеве (в день памяти). *Август* — Коктебель — 1) Чтение из „Перв<ого> Свидания" 2) и 3) Беседы о стихах 4) Мой реферат о Блоке для любителей. *Сентябрь* — Коктебель. Та же праздная жизнь: чесание языком, море, купанье, прогулки, камушки, фокстрот, мяч, джазбанд, кинематограф. Запомнились за эти месяцы встречи: с Волошиным, его женой, Сорокиным, Эфрон, Фельдштейном, Брюсовым, Ариевым, Саразени-Саркизовым, худ<ожником> Бугаевским, проф<ессором> Лебедевым, худ<ожницей> Остроумовой, поэтом Чуков-ским, Ангарским, Шервинскими, Габричевскими, Галей Назаревской, Даней Часовитиной, О. Н. Анненковой, Л. и. Трапезниковой, Евреиновой, М. Л. Пекхман, Успенскими, Шенгели, „*Ирочкой*" (забыл фамилию), М. М. Шкапской, Гроссманами, Бачинскими, С. А. Толстой, „Анчуткой" (заб<ыл> фамилию) и рядом девиц, молодых людей, дам;

Полонской, Адалис, Женей Богословской, Сибором, Андреем Соболем, Готовцевым, Женей Николаевой, Парнахом, В. А. Громовым и т. д. Около 11-го сентября едем с К. Н. в Москву» (*РД*).

10. 17 июля 1924 г. Белый писал из Коктебеля Иванову-Разумнику: «...попав туда (в Коктебель. — *Ред.*), — до такой степени соблазнился морем, скалами, краббами, камушками и прочими прелестями природы, что 5 недель провел, лежа животом, на пляже; загорел, как „*арап*"...» (*Переписка*. С. 295).

11. О «камешках» см. примеч. 37 к гл. «Природа».

12. В письме к Иванову-Разумнику от 24—25 сентября 1926 г. Белый писал: «...3 месяца жизни с камушками отложились в методе подхода к слову в „*Москве*"; то, что я проделывал с камушками, я потом стал проделывать со словом; из 126 „*коробочек*" с камнями (каждую я организовал по оттенку) сложился проф<ессор> „*Коробкин*"...» (*Переписка*. С. 369). См. также: «...„*Москва*", первый том, в стилистическом, найденном мной в Коктебеле приеме, — продукт собирания камушков; сперва раскладывал их; Макс Волошин смеялся: „Ты дрянь собираешь"! Потом Богаевского он приводил; я же — мозаичистом стал; осенью сел за „*Москву*", и — увидел: мозаика стала — приемом; я стал подбирать слово к слову, так точно, как камушки я подбирал в Коктебеле; иные сказали, что — дрянь, а иные... Батумские камушки — станут мне томом вторым» (*Ветер с Кавказа*. С. 22). Ср. запись за 13 мая 1927 г. в дневнике К. Н.: «Б. Н. перебирал камешки, любовался орнаментом, складывал все новые и новые узоры. „Это — вместо стихов. Загрунтовка для прозы. Орнаменты камешков перейдут в орнаменты слов. Из головы не придумаешь так, как подскажет природа"» (*Лица*. С. 202).

13. 23 июня 1933 г. Белый сообщал Н. А. Табидзе: «Через ½ года, а может, гораздо раньше я кончаю 3-й том воспоминаний» (Вопросы литературы. 1988. № 4. С. 280). 22 сентября он «начал работу над 2-й частью 3-го тома „Воспоминаний". Заметна быстрая утомляемость (К. Н.)» (*Летопись*). Прогрессировавшая его болезнь («острый приступ головных болей» 1—2 октября, 3—4 ноября, 10—11 ноября — Там же) мешала Белому писать: 31 октября «вечером диктовал главку „Бердяев-Булгаков" (К. Н.)» (Там же). 16 ноября были «мысли о главах 3-й и 4-й „Воспоминаний"; „соединить форму романа и мемуаров" (К. Н.)» (Там же). Утром 2 декабря Белый продиктовал К. Н. последний отрывок второй главы («Инцидент с „Петербургом"») и вечером рассказывал, с чего нужно будет начать, а ночью со второго на третье начался новый приступ болезни. 3 декабря он «правил

текст (стилистически) „Воспоминаний“ (К. Н.)» (Там же). Восьмого он был помещен в клинику. Этот предварительный текст был опубликован К. Н.: *ЛН*. М., 1937. Т. 27/28. С. 413—456. См. также: *МДР*. С. 442—446.

14. «Йог» был написан в августе 1918 г. (*РД*) и опубликован в воронежском журнале «Сирена» (1918. № 2/3. С. 18—30). Ср. воспоминания П. Н. Зайцева: «Еще в 1918 году мне удалось помочь Белому устроить в журнале „Сирена“, выходившем в Воронеже под редакцией поэта В. И. Нарбута, рассказ „Иог“. Я вспоминаю об этом потому, что „Иог“ был как бы первоначальным наброском будущего романа „Москва“. Зерно рассказа — Коробкин. Впервые эта фамилия появляется в „Иоге“. Но зерно упало в землю, чтобы прорасти в будущем» (*Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 568). В апреле 1919 г. Белый написал статью «Лев Толстой и иога» (*РД*).

15. В 1930 г. Белый писал: «О герое романа „Москва“, Иване Иваныче Коробкине, рассказывал я Вячеславу Иванову в 1909 году (когда писал „Голубя“); последний просил меня написать повесть о фигуре, живо волновавшей мое воображение...» (*Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 12). О Вячеславе Ивановиче Иванове (1866—1949) и жизни Белого на знаменитой «башне» см.: *НВ*. С. 344—361.

16. Имеется в виду книга «Ритм как диалектика и „Медный Всадник“. Исследование» (М.: Федерация, 1929). См. итоговую запись Белого за ноябрь 1927 г.: «Весь месяц писал книгу „*Диал<ектика> ритма*“ и вычислял», а также его запись за 23 декабря: «Работа: кончил книгу „Диал<ектика> ритма“» (*РД*). См. также письмо Белого к Иванову-Разумнику от 25 декабря 1927 г. (*Переписка*. С. 556). Благодаря содействию Зайцева в сентябре 1928 г. рукопись книги «Ритм как диалектика» была взята из издательства «Никитинские субботники» (обещавшего издать ее осенью 1928 г.) и передана в издательство «Федерация», которое выпустило ее в свет во второй половине мая 1929 г. Ср. записи Белого за 1928 г.: октябрь: «18-ое. <...> Принята в Фед<ерацию> „Диал<ектика> ритма“. <...> 27-ое. Москва. Договор с Федерацией»; ноябрь: «15-ое. Работа над введением „Ритм как диалектика“. <...> 18-ое. Кучино <...> Вчерне кончил введение к „*Р<итму> к<ак> д<иалектике>*“. 19-ое. Вернулась К. Н. переписываю введение к „*Р<итму> к<ак> д<иалектике>*“» (*РД*).

17. Ср. запись за 15 октября 1928 г.: «...Р<абота> н<ад> „М<осквой>“. Осиновые листья; сдвиг фабулы 1-ой главы» (*РД*). «Проруб. 1-ая редакция первой главы второго тома романа „Москва“» находится в

фонде Белого в *РГАЛИ* (Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 36). См. также: *Переписка.* С. 616, примеч. 3.

18. См.: *МПУ.* С. 241.

19. См. выше, примеч. 5.

20. Во вступлении к «Маскам» («Вместо предисловия»), датированном 2 июня 1930 г., Белый писал: «...сюрпризом явился для меня второй том романа „Москва“, долженствовавший включить февральскую и октябрьскую революции. Но в процессе организации текста тема разрасталась; <...> и часть второго тома неожиданно выросла в том...» (*Маски.* С. 5—6).

21. См. и записи за 1929 г.: «Октябрь <...> Читаю (перечитываю) Шекспира: мысли о драме. *Ноябрь. Кучино* — Напряженнейшая работа над 3-ей главой („Масок Москвы“) — „Король Лир“, измучившая меня; весь месяц отчаянная головная боль: расстучались ритмы» (*РД*).

22. Ср. замечание о первом томе «Москвы» в письме к Иванову-Разумнику от 27 сентября 1925 г.: «...пишучи „*Москву*“, я более вспоминал „*Микел-Анджело*“...» (*Переписка.* С. 332).

23. «В „*Петербурге*“ описано *громкое событие,* в результате которого „*государственный муж*“ становится „*жалким стариком*“; в „Москве“ негромкая жизнь смешного чудака профессора Коробкина развертывается в мистерию „*Страсти Коробкина*“; профессор оказывается „*мировым бунтарем*“, „*каппа*“-Коробкиным (от „*каппы*“ — звезды, подаренной ему на юбилее, т. е. вновь открытой звезды московским астрономом Штернбергом „*каппа*“-величины) и т. д.» (*Переписка.* С. 332).

24. «...моя <...> комната напоминает воистину мне мое сирое, ужасное житие в 1906, <190>7, <190>8, и <190>9 годах: это комната, где я хотел покончить с собой, где я был не самим собой, а собственным двойником („шутом“ вроде „*красного домино*“)» (*Переписка.* С. 87). Белый вспоминает о своих драматических переживаниях, связанных с любовью к жене А. А. Блока, **Любови Дмитриевне Блок** (1881—1939), актрисе и балетному критику, летом—осенью 1906 г. См.: *МДР,* вторая глава («Петербургская драма»), особенно главки «Домино» и «Сквозняки приневского ветра» (С. 83—93). Там Белый пишет: «...переживания мои воплотились в томленьи всех главных героев романа» (С. 91; Николай Аполлонович **Аблеухов**, сын сенатора Аполлона Аполлоновича, и **Софья Петровна** Лихутина — двое главных персонажей «Петербурга»). Д. Е. Максимов справедливо отмечает, что из всех трех участников этой истории Белый «поплатился больше всех: он был доведен своей „несчастной любовью“ до пол-

ного отчаянья, граничившего с психическим расстройством» (Максимов Д. Е. Александр Блок и Евгений Иванов // Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 360).

25. Неточная цитата; см.: *Почему я стал символистом*. С. 486—487. О работе над этим философско-автобиографическим очерком Белый упоминает в записи за 17—29 марта (*РД*). Текст датирован 7 апреля 1928 г.

26. Юлиус Роберт **Майер** (1814—1878) — немецкий естествоиспытатель и врач, первым сформулировавший основы термодинамики и закон сохранения энергии. Биографический очерк о нем: Замятин Е. Роберт Майер. Берлин, 1922.

27. **Баженов** Николай Николаевич (1857—1925) — профессор-психиатр, главный врач 1-й психиатрической больницы в Москве, общественный деятель; «...пропученный пузом, щеками, глазами, очками Баженов, Н. Н., психиатр, председатель («Литературно-художественного кружка». — *Дж. М.*), с серьезным комизмом и психиатрическим опытом (для него все — пациенты; и — только), как толстый кентавр водяной, кувыркающий на волнах» (*НВ*. С. 233). См. также: *МДР*. С. 215—216.

28. Если такая работа была написана, она не выявлена. Письма Н. В. Зеленина к К. Н. хранятся в ее фонде в РНБ (Ф. 60. Ед. хр. 126).

30. 7 июня 1917 г. Белый писал Иванову-Разумнику из Цихис-Дзири: «...эти места — места древнего „*Золотого Руна*". Почему-то вспоминаю свое древнее стихотворение „*Аргонавты*", где есть строки: „Встали груды утесов средь трепещущей солнечной ткани. Солнце село. Рыданий полон крик альбатросов". Да ведь это — моя цихис-дзирская панорама; <...> я, старый аргонавт, после 25-летних скитаний приплыл-таки с К. Н. к берегу страны Золотого Руна <...>. Я, старый аргонавт, здесь говорю „*да*" своему „*аргонавтизму*"...» (*Переписка*. С. 517). В начале века Белый использовал античный миф об «аргонавтах», отплывающих за золотым руном, для создания собственных мифотворческих построений: «организуется уже ядро будущих „*аргонавтов*"; у меня — штаб-квартира» (*РД*, апрель 1903 г.). В 1903—1904 гг. вокруг Белого группировался кружок «аргонавтов» — молодых людей (большей частью студентов), объединенных эсхатологическими настроениями. См. запись за октябрь 1903 г.: «Читаю свой реферат „*Символизм как миропонимание*" у себя. Он ложится в основу лозунга, провозглашенного Эллисом: „Мы — символисты-арго-навты, ищущие «*Золотого Руна*»" (в пику Брюсову); Эллис провозглашает меня лидером; образуется у меня наши аргонавтические, весьма бурные воскресенья; ядро аргонавтов в сезон 1903—1904 годов следующее: Эллис, провозглашающий меня „*лидером*", я, Петровский,

С. М. Соловьев, В. В. Владимиров, А. П. Печковский, А. С. Челищев, П. Н. Батюшков, М. А. Эртель, причисленный к нам, но отсутствующий Э. К. Метнер, Н. К. Метнер (композитор), Н. И. Петровская. На воскресеньях часто бывают: семейство Владимировых (мать, две сестры), Н. М. Малафеев (народник), Янчин, Леонов, Сергей Львович Кобылинский (философ), прив<ат>-доц<ент> Шабинаго, Мария Алекс<андровна> Эртель (сестра Эртеля), С. Л. Иванов, Часовникова, К. П. Христофорова, С. А. Соколов („*Гриф*"), А. А. Койранский, Б. А. Койранский, В. Гофман, Пантюхов, Рославлев, С. А. Поляков, В. Я. Брюсов, Ю. К. Балтрушайтис, И. А. Кистяковский (с женой), проф. И. А. Каблуков, литератор Поярков, начинающий писатель Абрамович, М. Н. Семенов, проф. Павлов, М. В. Павлова, Сильверсван, Курсинский, Г. А. Рачинский, А. А. Ланг, художники Уткин, Липкин, Борисов-Мусатов, Россинский, В. И. Иванов (позднее, в 1904 году), П. А. Свенцицкий, композитор С. И. Танеев, пианист Буюкли, Э. А. Зубкова, С. Я. Рубанович, и ряд других лиц, случайно появляющихся. Собрания бурные, многочисленные, по 25 человек; ряд дебатов, прений, чтение стихов; все эти собрания — с октября: с места в карьер; я бодрю всех, стараюсь примирить непримиримое, но почти тщетно: вся моя функция — общественная, гармонизаторская: задание — связать противоречивость в целое аргонавтичесских исканий; на этой почве *сближение-пря*, дружба-борьба с Эллисом» (*РД*). А вот записи за январь 1904 г.: «Выясняется, насколько „аргонавтизм" — не то» и март 1904 г.: «Аргонавтические собрания у меня ширятся, но выдыхаются уже; <...> В этот месяц в темах моей поэзии решительный сдвиг; „*аргонавтизм*" „*Золота* <в> *Лазури*" внутренне исжит; Некрасов и Глеб Успенский появляются на моем столе; и я очень вслушиваю<сь> в народничество Малафеева; последнее стихотворение цикла „*Золота в Лазури*", прочитанной на воскресенье, „Безумец", вызывает почти испуг у аргонавтов. Там „аргонавт" оказывается в сумасшедшем доме, а следующее стихотворение уже вполне реалистично; оно кончается строками:

О, да — застенок мой прекрасен.

„*Застенок*" — „*Арго*". Стихотворение иронично...» (Там же). См.: Лавров А. В. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф — фольклор — литература. Л., 1978. С. 137—170.

31. Ср: «Когда вечер был в разгаре, то все заметили неуместное появление отряда черных домино с изображением черепа на капюшонах. Не решались удалить их из общества, куда пускались только избранные <...> Домино весело танцовали вместе с аргонавтами. <...> Вдруг раздался свист, и черные домино спешно выстроились против аргонавтов. <...> Черные домино взмахнули саблями. <...> Одно время

казалось, что нет ничего гибельнее этой свежести, текущей на лезвиях сабель замаскированных незнакомцев. <...> Мгновение — и все изменилось. Маски любезно приглашали дам на танец. <...> Аргонавты любезно улыбались неожиданной шутке замаскированных, и все вошло в свою колею» (*ЗЛ*. М., 1904. С. 203—205).

32. Образный строй масок и домино в «Петербурге» главным образом связан, как свидетельствует Белый в «Воспоминаниях о Блоке», с его мучительным внутренним состоянием летом 1906 г.: «...я был ненормальным в те дни; я нашел среди старых вещей маскарадную черную маску: надел на себя, и неделю сидел с утра до ночи в маске <...> мне хотелось одеться в кровавое домино; и — так бегать по улицам; переживания этих дней отразились впоследствии темою *маски* и *домино* в произведениях моих: (цитируются ст-ния «На площади» (1906), «Вакханалия» (1906) и «Маскарад» (1908) из книги «Пепел». — *Ред.*). Тема *красного домино* в „*Петербурге*" — отсюда: из этих мне маскою занавешенных дней протянулась за мной по годам» (Белый А. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи / Вступит. ст., подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М., 1997. С. 238).

33. См.: *Петербург*. С. 150—172.

34. См.: Там же. С. 665—666.

35. См. выше, примеч. 24 и 32. См. и запись за сентябрь 1906 г.: «Петербург — Отъезд в Петербург; томление там <...>. Частые встречи и долгие беседы с Е. П. Ивановым, пытающимся потушить пожар между мною и Блоками <...>. Мысли о самоубийстве. <...> Пишу предсмертные письма. Бурное объяснение с Блоками. Ночь перед самоубийством; записка от Блоков; новое объяснение с Блоками — с резолюцией: мне уехать из России. Я — соглашаюсь» (*РД*).

36. См. запись за декабрь 1921 г.: «...пишу 1-ую главу „воспоминаний о Блоке" (перерабатывая материал, начатый в Детском)» (*РД*). Имеются в виду две более краткие версии мемуаров Белого — «Воспоминания о Блоке», опубликованные в сб. «Северные дни» (М., 1922. С. 133—155), и «Воспоминания об Александре Александровиче Блоке» в шестом выпуске «Записок мечтателей» (1922. С. 5—122). Они предшествовали более пространной версии «Воспоминаний о Блоке», написанной в Берлине в 1921—1922 гг. и напечатанной в четырех сборниках «Эпопея», выпущенных им там в 1922—1923 гг. под собственной редакцией. См.: Белый А. О Блоке. С. 6—14. К переработке этих воспоминаний в трехтомный труд «Начало века» Белый приступил в декабре 1922 г. В «автобиографическом» письме к Ива-

нову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. Белый писал: «Все завершается попыткой оформить прошлое, до 12<-го> года — в „*Воспоминания о Блоке*", ставшие в 23<-ем> году 3<-мя> томами „*Начало Века*". Лейт-мотив: всю прошлую жизнь воскресить в „*новом свете*"» (*Переписка*. С. 505).

37. См. записи за ноябрь 1925 г.: «Мы с К. Н. <Васильевой> замыкаемся в Кучине; из полного отчаяния начинаю писать свой „Кучинский Дневник". Приходит нам невидимая помощь»; январь 1926 г.: «С января „*Кучинский Дневник*" выливается в спешное писание черновика „Истории становления самосознающей души в пяти последних столетиях". Январь—февраль—март пишу с бешеной быстротой и с тою же быстротой читаю ряд книг по разным вопросам, извлекая из них мне нужное содержание. <...> Помнится, что в январе была написана мною часть книги: от Греции до 15-го века (вводительная часть). Курсовые лекции: 1) „Истории станов<ления> самосознания". 2) „История становл<ения> самосознания"»; февраль: «Кучино — Пишу, читаю: помнится, что в этот месяц была написана часть книги от 15 в<ека> до 18-го; перехожу к характеристике силуэтов: Кант, Гегель, Гёте, Шопенгауэр и т. д. Курсовые лекции: 1) „Истор<ия> стан<овления> само-с<ознания>". 2) „Истор<ия> стан<овления> самос<ознания>"»; март: «Кучино — Пишу 19 век в исторических силуэтах („Истор<ия> стан-<овления> сам<осознающей> душ<и> в 5 посл<едних> стол<етиях>"). Курсовые лекции: 1) „Истор<ия> стан<овления> самос<ознания>". 2) „Истор<ия> стан<овления> самос<ознания>"» (*РД*). 6 марта 1926 г. Белый писал Иванову-Разумнику: «Эти месяцы я в шутку почти начал записывать один ход своих мыслей, ввязался в него, и теперь заканчиваю черновик рукописи (что с ней делать, — не знаю); рукопись уже — 400 писаных страниц, а все не могу кончить. Тема — „*История становления самосознающей души*" (аэропланный пробег над историей культуры пяти последних столетий)» (*Переписка*. С. 341). Работа над этим произведением продолжалась на протяжении 1926 г. Апрель: «Кучино — Приезд в Кучино Р. В. Иванова. Жизнь с ним вдвоем (3 недели). Пишу синтезирующую часть „Истории становления" (около 200 страниц) и их прорабатываю. После отъезда Р. В. с головой влезаю в работу. Можно сказать, что в 4 месяца написан черновик очень большой книги; но чувствую, что для окончательной отработки эскизов мысли нужна еще многомесячная работа. Курсовые лекции: 1) „Истор<ия> стан<овления> сам<осознания>". 2) „Истор<ия> стан<овления> сам<осознания>"»; май: «Кучино — Заканчиваю работы; 10 мая еду в Ленинград. <...> Жизнь у Спасских; очень много читаю, роясь в библиотеке Б. Г. Каплуна, в кото-

рой хорошо представлено искусство; прочитываю: истори<ю> живописи ренессанса; читаю кого-то из современников ренессанса (автор 16 века — не „Вазари") по теории перспективы; читаю историю музыки; историю зодчества и скульптуры (все для нужд книги); извлекаю отовсюду материалы и из библиотеки Каплуна и из библиотеки Р. В. Иванова, в Детском, куда езжу с ночевками. <...> 1) „О душе самосознающей". Доклад. 2) „О душе самосознающей". Мой доклад. 3) Участие в прениях на докладе Е. П. Иванова „Об Еванг<елии> Иоанна". 4) Чтение из рукописи моей книги. 5) Чтение из рукописи моей книги. 6) Беседа у Великанова»; июнь: «Ленинград — Та же жизнь: <...> 15-го. Радостное возвращение К. Н.: встреча. 17-го. Едем в Москву: Кучино. 18-го. Кучино. Я в Кучине, куда переезжает К. Н. <...> Я по собранным материалам перерабатываю части книги рядом вписок в нее (особенно много вписываю в отдел средних веков)»; июль: «Та же работа над вписками в книгу» (РД). Работа над книгой продолжалась в августе и сентябре, а в конце месяца Белый записал: «С грустью вижу, что книга в том виде, как она видится мне, займет много месяцев работы, а денежный кризис заставляет думать о средствах к жизни. Пишу длинное послание Р. В. Иванову (о науках, о „Москве")» (Там же). 24 ноября Белый писал Иванову-Разумнику: «Приходится бросать „Историю *сам<осознающей>* души" и бросить книгу воспоминаний о Докторе, которую вчерне почти написал...» (*Переписка*. С. 416). Позднее в «автобиографическом» письме к нему же он писал: «*„Я"* — ни Котик, ни Борис Бугаев, ни Белый; я — *„История становления самосознающей души"*. Эта книга вчерне написана; выяснилось, что кризис темы *„антропософия"* есть кризис в *„антропософии"* души рассуждающей и рождение самосознающей. Писал *„Ист<орию> стан<овления> сам<осознающей> души"* от *„января до мая"*; переделывал летом...» (Там же. С. 508). В работе «Почему я стал символистом...» Белый писал: «...помимо других работ здесь (в Кучине. — *Ред.*) я набросал черновой эскиз недоработанной книги *„История становления самосознающей души"* (я его доработаю, когда жизнь позволит); эта книга — студенческий семинарий над несколькими мыслями Рудольфа Штейнера, взятыми в разрезе моей мысли, куда мысли о символизме, конечно, вошли» (С. 483). Работа над «Историей...» была возобновлена в 1931 г., но не закончена. См. также: *Переписка*. С. 342, примеч. 9; Коппер Дж. Мистик среди схоластов. Андрей Белый и средневековый мистицизм // Литературное обозрение. 1998. № 2. С. 13—15, с публикацией фрагмента из «Истории...»: «Эпоха схоластики. 12 и 13 век. Роль мистики в двенадцатом веке». С. 15—20.

38. Ср.: «...так был выкинут он (Дудкин. — *Ред.*) на Невский проспект; там икринкой вдавился он в чернотой текущую гущу. Что такое икринка? Она есть и мир, и объект потребления; как объект потребления икринка не представляет собой удовлетворяющий цельности; таковая цельность — икра: совокупность икринок; потребитель не знает икринок; но он знает икру <...>. Так вот тело влетающих на панель индивидуумов превращается на Невском проспекте в орган общего тела, в икринку икры...» (*Петербург*. С. 256).

39. См.: Маски. С. 103—106.

40. 24 марта 1925 г. Белый и К. Н. по приглашению А. А. Великановой впервые приехали в Кучино: «...здесь начинаю прерванную на 3 почти месяца работу над „Москвой" <...>. Апрель <...> Кучино — Работа на<д> 3-ей главой „Москвы"» (*РД*).

41. См.: *Маски*. С. 101—103 («Севрский фарфор леопардовых колеров»).

42. **Молосс** — в античном стихосложении шестидольная стопа, состоящая из трех долгих слогов (- - -); в русском силлаботоническом стихе молоссом называют стоящие подряд три односложных ударяемых слова в трехсложном размере. Ср. у Белого: «Софокл и Эсхил были композиторами собственных творений, потому что они были мелодистами; и ритмы, и метры возникли (уже внутри мелодии); и оттого-то были возможны размеры, подобные „молоссу" (- - -) у греков; у нас — невозможны; „молоссы" — поются; три ударных „молосса" в нашем метрико-тоническом стихосложении возможны только при длительных паузах <...>. Как мне произнести „молосс" (- - -), чтобы он не превратился просто в плохой усеченный трохей: да только с паузами, которые я должен отметить через „тирэ"» (*ПР*. С. 13—14).

43. См.: *Маски*. С. 109—112.

44. Вишняков впервые появляется во второй главе «Москва под ударом», т. е. в пятой главе «Москвы». Ср.: «*Июнь* <1925 г.> — Кучино — Весь месяц живем тихо, вдвоем с К. Н.; это сказывается на работе; пишу всю 4-ую главу „Москвы". <...> *Июль* — Кучино — <...> Пишу эскизы к пятой главе „Москвы". Но гости и П. Н. Васильев — мешают; к концу месяца П. Н. уезжает. Становится сразу нормально: пишу» (*РД*).

45. См.: *МПУ*. С. 77.

46. См.: «**Фролы**: м. мн. [lat. Florus], день Флора и Лавра, 18 авг. <...> *фролы* и родятся, цветы, цветочки, один куколь. Кто сеет на Фрола, у того фролки и будут» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб.; Москва, 1909. Т. 4. С. 1154).

47. См.: *МПУ*. С. 88—89.

48. Ср. записи за 1925 г.: август: «Кучино — Доделываю 5-ую главу „Москвы" и пишу почти всю 6-ую»; сентябрь: «Кучино — Числа 16-го переезжаем к Шиповым. Здесь оканчиваю вполне „Москву"» (*РД*). Первый том «Москвы» был закончен 24 сентября 1925 г.

49. Далее цитируются комментарии к статье «Лирика и эксперимент» (*Символизм*. С. 570—571).

50. В «Списке пропавших или уничтоженных автором рукописей» Белый указывает: «Две песни поэмы „Дитя-Солнце", обнимавшие более 2000 стихов (ямбы, белый стих, написанный неравностопными строками); поэма должна была заключать 3 песни; третья песнь была не написана; в свое время поэма читалась С. М. Соловьеву и А. А. Блоку; пропала весной 1907 года» (РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 31). Подробнее см.: *МДР*. С. 21—24, 450—452; письмо А. А. Блока к Белому от 19 июля 1905 г. в кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 136.

51. **Борис Сергеевич Земенков** (1902—1963) — в 1919—1921 гг. участник московской группы «экспрессионистов»; автор книг: «Корыто умозаключений. (Экспрессионизм в живописи)» (М., 1920); «Стеарин с проседью. Военные стихи экспрессиониста» (М., 1920) (см.: Markov Vladimir. Expressionism in Russia // California Slavic Studies. 1971. Vol. VI. P. 150); и «Графика в быту» (М., 1930). Затем член поэтической группы «ничевоков» (распавшейся в 1923 г.). Художник, дизайнер, оформитель выставок, исследователь истории городской культуры Москвы XIX — начала XX в. Одна из его акварелей («Fenêtre ROSTA dans une vitrine de magasin, Moscou» («Окно РОСТА в московском магазине»)) выставлялась в 1979 г. на знаменитой парижской выставке «Paris—Moscou: 1900—1930» в Национальном центре искусства и культуры Ж. Помпиду (Париж).

52. Первая глава романа «Москва» была написана в октябре—ноябре 1924 г. (закончена 10 ноября). Белый писал вторую главу, в которой впервые появляется карлик Яша Кавалькас, в ноябре.

53. Ср. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 26 ноября 1926 .: «...этот карлик впорхнул в роман, уже когда он писался: с эскиза художника Земенкова, изображающего безносого карлика» (*Переписка*. С. 427).

54. Белый записал о конце апреля 1925 г.: «Снимаем с К. Н. дачу в Кучине у Левандовского» (*РД*); на этой «даче № 4» он поселился в мае и прожил там все лето.

55. См.: *МПУ*. С. 129—130, 135—136, 193.

56. Белый приехал в Берлин из Гарцбурга 29 июня 1923 г.: «Я живу в неуютной трущобе у Anhalter Bahnhof, а К. Н. у М. Е. Грустно; она уезжает; я остаюсь опять один. Около 20-х чисел еду ее провожать в Штеттин...» (*РД*, июль 1923 г.).

57. См.: Лавров А. В. Достоевский в творческом сознании Андрея Белого (1900-е годы) // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 131—150.

58. Ср. запись за сентябрь 1923 г.: «Берлин. Поселяюсь в русском пансионе, где живут Осоргины. Частые встречи с Трапезниковым» (*РД*). **Трифон Георгиевич Трапезников** (1882—1926) — историк искусства (получил образование в Лейпциге, Гейдельберге, Париже, Мюнхене), автор книги «Портреты семьи Медичи 15 века» (Trapeznikov T. G. Prof. Dr. Die Porträtdarstellung der Mediceer des 15. Jahrhunderts. Strassburg, 1909), переводчик «Очерка тайноведения» Р. Штейнера на русский язык (М: Духовное знание, 1916; переизд.: Л., 1991), один из ближайших антропософских друзей Белого. Они познакомились в Москве в 1903 г. (*НВ*. С. 291), но сблизились в августе—сентябре 1912 г. в Мюнхене, где оба слушали курс лекций Штейнера. В 1913—1916 гг. Трапезников, как и Белый, работал в Дорнахе на строительстве Гетеанума. Вернулся в Россию в 1917 г. (по призыву в армию), где «с начала 1918 становится едва ли не главным организатором <...> *„Отдела Охраны Памятников"*, в котором работает до смертельной болезни сердца (в 1924 году)» (Заявление Андрея Белого в ОГПУ, 1 июля 1931 г. — Из «секретных» фондов в СССР / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 12. М.; СПб., 1993. С. 359). «Об активности Трапезникова, — пишет А. А. Тургенева, — свидетельствует его работа в революционной России, где с помощью организации сохранения памятников искусства ему удалось спасти ряд культурных ценностей. Ему, между прочим, мы обязаны тем, что Ясная Поляна не была разрушена» (Тургенева А. По поводу «Института истории искусств» // Мосты. 1966. № 12. С. 359). См. также письмо Белого к Иванову-Разумнику от 29 августа 1926 г. (*Переписка*. С. 356). Одно время Трапезников являлся председателем московского отделения Русского Антропософского общества. Белый вспоминает об июле 1917 г.: «...помнится приезд из Дорнаха Волошиной и Трапезникова, настроенного левее всех и являющегося сильной *опорой нашему* (антропософскому. — *Ред.*) *левому флангу*; у него откровеннее всех крик: *„Долой войну, правительство и да здравствует социальный переворот"*» (*РД*). М. В. Сабашникова, которая на протяжении многих лет была в близком контакте с Трапезниковым, описала свое возвращение в Россию вместе с ним в воспоминаниях (см.:

Волошина М. (Сабашникова М. В.) Зеленая Змея. История одной жизни. М., 1993. С. 254—258). См. также письмо Белого к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г.: «...вырастет и делается близким душе и *как друг*, и как *эсотерик*, с которым мы связаны, *Т. Г. Трапезников*; в Москве мы оказались в кармическом контакте, вызвав к жизни (антропософскую. — *Ред.*) группу *Ломоносова*» (*Переписка.* С. 499). См. также: *Почему я стал символистом.* С. 477). Трапезников скончался в Брейтбрунне (Бавария) 11 июля 1926 г. (см.: Романов Н. Памяти Трифона Георгиевича Трапезникова // Жизнь музея. Бюллетень Государственного Музея Изящных Искусств. 1927. № 3 (апрель). С. 1—4).

59. Черновики первого тома «Москвы» находятся в фонде Белого в *РГАЛИ* (Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 32, 33).

61. **Грюневальд** (Матис Нитхардт) (между 1470 и 1475—1528) — немецкий живописец; ср.: «...в оттенке листа земляничного есть Рафаэль, есть Иванов; в оттенках боярышника засыхающего — есть Грюневальд; вишня сохнущая —Тинторетто...» (*Ветер с Кавказа.* С. 53); **Кранах** Лукас Старший (1472—1553) — немецкий живописец и график; **Рембрандт** Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец, рисовальщик, офортист.

62. Ср. запись за сентябрь 1926 г.: «Начинаются „листики"» (*РД*). 24 и 25 сентября 1926 г. Белый писал Иванову-Разумнику: «В прошлом году мы с К. Н. восхищались листочками; осень прошла в радостях о сухих листьях: „*сухие листья*" зимой мне открылися в теме „*История становления самосознающей души*" человечества; вернее: „история становления *моей* самосознающей души"; и это — невнятицы кучинских листьев.

Теперь — снова осень; и снова глубоко взволнован глаголом „*невнятицы*", заревом листьев: радугой листьев; и — жду с благоговением перед мистерией откровения природы человеческому „*Я*", чем выговорятся в зиме дары и блага природы.

Только тема листов в этом году для меня иная; в прошлом году мы с К. Н. сосредоточили все внимание на „*историю засыхающего осинового листа*", а в этом году судьбе было угодно подкинуть нам „*вишню*"; как в прошлом году мог бы написать трактат: „*Осиновый лист*". Так теперь есть что сказать о „*вишневом листе*"; может быть, скажу вторым томом „*Москвы*"; ведь первый том „*Москвы*" в его окончании есть история рассказа о том, чем прокричал мне один осиновый листик, подобранный в полях; я его положил на письменный стол; и пристально вглядывался в него: сочетание красного (кровь) с черным крапом; черное оказалось *ночью*, а *красное* — кровью Коробкина; „*Страсти Коробкина*" есть песня, пропетая над оси-

новым листиком (К. Н. его спрятала, как память о „Москве"); не знаю, чем пропоет во мне „*вишня*"; и — волнуюсь ожиданием» (*Переписка*. С. 336). О своем увлечении собиранием и изучением осенних листьев, служивших ему первоосновой для медитативных, «тайнозрительных» и творческих опытов, Белый писал в книге «Ветер с Кавказа»: «...два уже года я — спец сухих листиков; мне изученье оттенков сказалось в огромнейшем сдвиге; оно принесло столь же пользы, сколь некогда пристальное изучение полотен музейных, <...> в отборе листов, при сложенье отборов, — раздвинута палитра; я убежден — вся история живописи, изучаемая в колорите, — часть палитры этой: ничтожная часть; и везде осенями градация листьев, ярчайших, чудеснейших, глаз развивающих так, как его развивают Рембрандты и Врубели» (С. 52—53).

63. **Разумник Васильевич Иванов** (Иванов-Разумник, 1878—1946) — критик, публицист, историк литературы и общественной мысли. Осиновый листик в архиве его не сохранился, но уцелел лист бумаги, к которому он был прикреплен, с пояснениями Иванова-Разумника: «Осиновый листик. „Москва". Желтое (пыль). Зеленое. Красное (кровь). Тема „Москвы", родившаяся из разгляда этого листочка. И.-Р.» (*ИРЛИ*. Ф. 79. Оп. 3. Ед. хр. 59). В заметках Иванова-Разумника к статье о романе «Москва» имеется также запись: «*Тема „Москвы"*. Осиновый листик, — желто-черно-красный, — давший А. Белому основную тему романа „Москва": желтый фон, черного Мандро и кровавую сцену пыток. Подарен мне К. Н. Васильевой в январе 1927 года» (Там же. Оп. 1. Ед. хр. 78). Об Иванове-Разумнике Белый писал: «...не одни литературные вкусы и личная дружба соединила меня с Ивановым-Разумником; темы народа, войны и революции были темами нашего сближения» (*Почему я стал символистом*. С. 474); «...не забуду и братского отношения ко мне ставшего мне родным Иванова-Разумника» (С. 477). Подробно об их отношениях см.: Лавров А. В., Малмстад Дж. Андрей Белый и Иванов-Разумник: Предуведомление к переписке // *Переписка*. С. 5—26.

64. Изучение листиков продолжалось много лет. 3 октября 1927 г. Белый писал Иванову-Разумнику: «Единственное деяние этой осени — „*немой венок сонетов*", который К. Н. назвала сборником „*Золотой Кошки*"; но это — сонеты, сплетенные из... земляничных листиков; да, но и над ними же я... потерял глаза: „*проглядел*" в буквальном смысле» (*Переписка*. С. 539). Ср. записи Белого: 21 сентября 1927 г.: «Листики. <...> Получил от К. Н. орден „*Золотой Кошки*"»; 26 сентября: «Болят глаза (выглядел их на сборе листьев)»; 5—6 октября: «Я слагаю сонеты из листиков»; 9 октября: «Хоралы листиков» (*РД*).

65. К. Н. могла бы написать: «метод Гете и Рудольфа Штейнера»; см. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 24 и 25 сентября 1926 г. (*Переписка*. С. 366—377).

66. 12 марта 1931 г. Белый писал Иванову-Разумнику: «За эти 4—5 месяцев у меня впечатление, что Кучино, 5 лет дававшее столько раздумья и осмысленных трудов, — катастрофически рухнуло. <...> с января до марта сумма всех нестерпимостей выгнала нас; <...> в Кучине *больше жить нельзя*» (*Переписка*. С. 674). «Апреля 1—8 <1931 г.> Деловые поездки в Москву. Приготовления к предполагаемому отъезду в Детское Село. С Кучиным покончено (КНБ)» (*Летопись*). Белый и К. Н. выехали из Москвы 9 апреля, прибыли в Детское Село на квартиру Иванову-Разумника 10 апреля.

67. В январе 1931 г., после окончания работы над книгой «Начало века» Белый сделал паузу: «Чтение Гоголя, особенно „Вечеров" и „Тараса Бульбы"» (*Летопись*). 30 июля он написал Иванову-Разумнику из Москвы, что он «законтрактовался срочной работой» (*Переписка*. С. 685). Подразумевается намеченная работа над книгой о Гоголе; 8 августа 1931 г. Белый заключил договор с ГИХЛ на «книгу о творчестве Гоголя» объемом 12 печатных листов с обязательством представить рукопись к 1 марта 1932 г. В Детском Селе, у Иванова-Разумника, с сентября по декабрь 1931 г. прошла «напряженная работа над книгой о творчестве Гоголя. Чтение черновых набросков и отдельных отрывков Р. В. Иванову. <...> Октябрь. Написана глава о „Страшной мести". <...> Ноября 30. Работа над составлением „макетов" для книги о творчестве Гоголя: наряд, помещик, деревня, народ и т. д.: вытяжки цитат из всего Гоголя (КНБ). Декабря 10. Заканчивается 1-ая глава книги о творчестве Гоголя „Пушкин и Гоголь" (КНБ). Декабря 24. Приезд в Детское Село В. Э. Мейерхольда и З. Н. Райх. Чтение им отрывка о „Страшной мести" (КНБ). Декабря 30. Отъезд в Москву (Передв<ижения>). Январь—апрель <1932 г.> Та же напряженная работа над книгой о творчестве Гоголя. <...> Марта 20. Отъезд в Детское Село (Передв<ижения>). Марта 21—31. Работа над книгой о творчестве Гоголя (КНБ). Апреля 3. Возвращение в Москву (Передв<ижения>). Апреля 12. Окончена 4-ая глава книги о творчестве Гоголя, т. е. вся книга: „5-ая глава — пустое, по сравнению с остальным" (КНБ). Апреля 23 <...> Окончена 5-ая глава книги о творчестве Гоголя (КНБ)» (*Летопись*). 27 мая 1932 г. Белый смотрел «Ревизора» в постановке Мейерхольда в ГосТИМе; К. Н. записала: «Впечатление огромное. „После года работы над Гоголем только еще подчеркнулась верность деталей и целого"» (*Летопись*). В статье «Непонятный Гоголь» Белый писал: «Глядя на мхатов-

ские „Мертвые души", я их видел только сквозь воспоминания о „Ревизоре" Мейерхольда, гениально сумевшего извлечь из Гоголя *гоголин*, т. е. живой фермент, который поднимает на недосягаемую художественную высоту Гоголя на театральных подмостках этого мастера» (Советское искусство. 1933. 20 января. № 4). 19 июня 1932 г. «ГИХЛ решает немедленно печатать „Мастерство Гоголя" (КНБ)» (*Летопись*) и между 27 июня — 4 июля Белый «позирует художнику В. А. Милашевскому для „Масок". Беседа о рисунках к Гоголю (КНБ)» (Там же). 13 июля 1932 г. Белый перезаключил договор с ГИХЛ на сданную рукопись книги объемом 22 печатных листа (*РНБ*. Ф. 60. Ед. хр. 3). Книга «Мастерство Гоголя», однако, вышла в свет посмертно, в апреле 1934 г. См.: Молдавский Дм. «Мастерство Гоголя». Заметки о книге Андрея Белого // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 269—280.

68. Свои восторженные впечатления от мейерхольдовской постановки «Ревизора» в *ГосТИМе*, вынесенные с генеральной репетиции спектакля, Белый подробно изложил в письме к режиссеру от 25 декабря 1926 г. (Мейерхольд В. Э. Переписка. 1896—1939. М., 1976. С. 256—259; текст письма без купюр см.: Из переписки Андрея Белого. Письма В. Э. Мейерхольду и З. Н. Райх // Новое литературное обозрение (в печати)). 3 января 1927 г. Белый выступил с речью на публичном диспуте о постановке в помещении ГосТИМа, и в конце месяца, «готовясь к докладу о Мейерхольде», он перечитывал Гоголя (*РД*). 1 и 3 февраля он писал доклад о постановке, который 5 февраля и читал у Е. Ф. Никитиной на собрании «Никитинские субботники», а также 8 февраля в Клубе работников просвещения (*РД*). Текст выступления Белого лег в основу статьи «Гоголь и Мейерхольд», открывающей сборник «литературно-исследовательской ассоциации Ц.Д.Р.П. под ред. Е. Ф. Никитиной» (М.: Никитинские субботники, 1927. С. 9—38) с таким же названием. Белый позднее дал анализ постановки в исследовании «Мастерство Гоголя» (С. 314—320), где он, в частности, писал: «По-моему, постановка „Рев<изора>" — едва ль не последнее достижение не русской, а мировой сцены. Весьма знаменательно, что достижение это — и в Гоголе, и посредством его; она — *точная фантазия мысли*, в себя вобравшей особенности мастерства и им давшей вещественное оформление, как знак, до чего Гоголь-мастер в нас жив» (С. 319). В мае 1927 г., во время гастролей театра в Тифлисе, Белый смотрел и «Ревизора» и «Лес». «Б. Н. был просто в безумном восторге» (*Лица*. С. 207—208). Белый был крайне недоволен постановкой своей пьесы «Петербург» во МХАТе 2 (см., например, воспомина-

ния П. Н. Зайцева: *Андрей Белый: Проблемы творчества.* С. 568), но он живо интересовался постановками театра и игрой его директора, М. А. Чехова.

69. Цитата из второй главы поэмы «Первое свидание» (*БП.* С. 420; *Стихотворения II.* С. 36).

70. 20 июня 1927 г. Белый писал Иванову-Разумнику из Цихис-Дзири: «...последние дни потрясаюсь „*Медным Всадником*"; и — „*ритмическим жестом*"; я вычислил ритмический жест „*Всадника*" и при помощи его разглядел такие штуки у Пушкина, что *ахнул.* Между прочим, — один из моих подглядов при помощи жеста: „*Медный Всадник*" не Петр, а Николай I-ый; наводнение, вероятно, — декабрьское восстание, а „*Евгений*" распропагандирован Евгением Онегиным, декабристом <...>. Все это не ново в историко-литературном разрезе; но все это ново и полно значенья для меня, поскольку я это вынул из разгляда „*жеста*"...» (*Переписка.* С. 521). К изучению ритмического жеста поэзии Пушкина Белый приступил в Цихис-Дзири 11 июня; 13 июня исследовал «кривой жеста» поэмы «Полтава», с 14 по 19 июня — разбор «кривой» «Медного всадника» (*РД*). Ср.: *Ветер с Кавказа.* С. 147; *Лица.* С. 218—219 (записи от 18 и 23 июня). В результате этих вычислений Белый написал исследование «Ритм как диалектика и „Медный всадник"» (см. выше примеч. 16).

71. Под двумя большими работами имеются в виду «История становления самосознающей души» (см. выше примеч. 37) и «Воспоминания о Штейнере», активная работа над которыми приходится на осень 1926 г.: сентябрь: «...перечитываю Штейнера: „Духовное водительство"; и *впервые* понимаю его»; октябрь: «Возвращаюсь к „Дневнику", ибо все мысли для выхода в свет — заперты; для книги («Истории становления...» — *Ред.*) — нет времени; „Дневник" становится мне складочным местом: сюда валю и эмбрионы мыслей, и личные отметки. Так: в октябре из „Дневника" вытягиваются мои воспоминания о духовной работе у Штейнера; потом обрываю воспоминания на том месте, где они еще не анализированы сознанием (довожу анализ моих „медитаций" до Христиании); и перехожу к теме просто „Воспоминаний о Штейнере"»; декабрь: «Весь месяц — листики, „Дневник", в котором вытягиваются „Воспоминания о Штейнере"» (*РД*). В это время Белый читал отрывки из написанного друзьям-антропософам, в том числе М. А. Чехову. 7 января 1927 г. Белый дописывает воспоминания и 16-го того же месяца читает их Р. В. Иванову, гостившему у него в Кучине (*РД*). В очерке «Почему я стал символистом...» Белый пишет: «...здесь, в Кучине, я записывал сырье моих

воспоминаний о личности покойного Рудольфа Штейнера (жизнь не позволяет их доработать)» (С. 483). См.: Белый А. Воспоминания о Штейнере / Подгот. текста, предисл. и примеч. Ф. Козлика. Paris, 1982.

72. «Библиография по истории философии <...> проработанная согласно плану автора (со схемами соотношений философских течений)» (*РГАЛИ*. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 80. 143 лл). Составление библиографии было тесно связано с работой над «Историей становления самосознающей души»: «...составляю себе регистр литературы, могущей мне понадобиться» (*РД*, август 1926 г.). Трамвай наехал на Белого 13 августа (инцидент описан К. Н. в главе «Контрапункт»), а работа продолжалась: «...не могу ни лежать, ни сгибаться; тем не менее пишу регистр (кое-как)» (Там же). См. также описание литературного наследства Белого: «В ГЛМ <...> 4) Библиография по истории античной, новой и новейшей философии и по буддизму, „составленная А. Белым <...> для нужной ему работы; подбор источников в красках, схемах, выражающих индивидуальный подход к философским течениям"» (*ЛН*. Т. 27/28. С. 633).

73. 10 января 1918 г. Петров-Водкин читал доклад «Наука видеть» в Академии художеств в Петрограде. Статья «О науке „видеть"» была опубликована в газете «Дело народа» (1917, 28 июня). Белый часто цитировал это выражение художника: «...вспомнились тезисы Петрова-Водкина: живопись, вся, — есть наука: увидеть...» (*Ветер с Кавказа*. С. 265); «Встали лозунги Петрова-Водкина: Живопись: это — *наука увидеть!*» (*Армения*. С. 230); «После уже я Петрова-Водкина слушал, как он проповедовал свою „науку видеть" и учеников заставлял пережить восход солнца взлетанием грудью навстречу лучам, а закат — упаданьем спиною: назад» (*НВ*. С. 282).

74. «Но самое главное событие моей внутренней жизни, это — даже не философское откровение, а открытие, так сказать, пути жизни, которым мне стала философия Шопенгауэра. На том Шопенгауэра я еще наткнулся в Москве, в кабинете отца; это был первый том „*Мир как воля и представление*". Увидев, что эпиграф к этому тому восхваляет Веданту, столь мной любимую, решаю, что это именно то, что мне нужно; и начинаю параграф за параграфом изучать сочинение — так, как будто оно — учебник; сначала мне трудно; но преодолевая трудности я отчетливо представляю себе и основную позицию Шопенгауэра, противоположение между волей и представлением, закон основания, господствующий в мире представлений, его 4 формы, насквозь понимаю, что причинность есть соединение пространства с временем. Пессимизм и аскетизм шопенгауэровской позиции вполне соответствуют моему мироощущению; кроме того: частые ссылки

Шопенгауэра на Платона и Канта впервые рисуют мне ландшафт философий этих последних, и я решаю, что изучение Канта — ближайшая задача моего философского будущего. Уезжая в Даниловку, я не могу расстаться с томом Шопенгауэра, и в Даниловке, на природе, постигаю 3<-ю> часть „*Мира как воли и представления*", эстетику Шопенгауэра, которая мне кажется центральной для всей его философии и которая мне объясняет мой уклон к символизму и к новым, мистическим веяниям искусства; мое недавнее тяготение к востоку, к Веданте и к теософии, мое увлечение литературой о спиритизме опять-таки объяснено мне; в Шопенгауэре вижу я соединение востока и запада; зачем теософия, буддизм, Индия, когда все ценности востока влиты в запад Шопенгауэром» (*МБ*. Л. 7). Ср. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г., в котором он определяет вторую половину 1890-х гг. своей биографии как «период выработки мировоззрения; первый этап творчества; эстетизм, символизм, буддизм, Шопенгауэр» (*Переписка*. С. 482). См. также: *Почему я стал символистом* С. 428.

75. В оригинале этот отрывок начинается словами: «Я учился в природе видеть „Платоновы идеи"...».

76. См.: Goethe J. W. von. Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Bd. 10. Autobiographische Schriften II (Dichtung und Wahrheit, 4 Teil, 16 Buch). Hamburg, 1960. S. 80—81.

77. Ср.: «...я могу говорить о писании <...> в узком смысле, которое начиналось опять-таки до писания за письменным столом скорее в брожении, <...> в искании ландшафтов, вызывающих чисто музыкальный звук темы, проводящий мою мысль и даже мускулы в движение» (Белый А. Как мы пишем // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 13).

78. «Пятый класс (гимназии. — *Ред*.): и перед нами срывалась завеса с древних памятников русской словесности; <...> над „Словом о полку Игореве" мы сидели не менее полутора месяцев; мы ощупывали метафору за метафорой; тонкие пальцы Льва Ивановича (Поливанова. — *Ред*.) бегали при этом по столу, вылепливая метафору; и в результате я должен признаться:

Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон.

„Шум и звон" — звуковые краски и ритмы „Слова"» (*НГ*. С. 281—282).

79. **Златовратский** Николай Николаевич (1845—1911) — прозаик, автор романов, повестей и рассказов из народной жизни. «В его

стиле элементы сказа, фольклора, ритмическая проза сочетаются с живым обыденным простонародным языком» (Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 346; статья С. А. Розановой).

80. **Михаил Александрович Чехов** (1891—1955) — актер, режиссер; один из руководителей МХАТа 2; племянник А. П. Чехова. Он познакомился с Белым 15 октября 1921 г. на заседании Вольной философской ассоциации в Петрограде. См.: Козлова М. Г. «Меня удивляет этот человек...» (Письма Андрея Белого к Михаилу Чехову) // Встречи с прошлым. М., 1982. Вып. 4. С. 224—243. О контактах с Белым, стимулированных приверженностью обоих к антропософии, см.: Бюклинг Лийса. Михаил Чехов и антропософия: Из истории МХАТ Второго // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia. IV; «Свое» и «чужое» в литературе и культуре. Тарту, 1995. С. 244—272. См. также воспоминания Чехова о Белом: Чехов М. А. Жизнь и встречи // Новый журнал. Нью-Йорк, 1944. № 9. С. 5—14; перепечатаны в кн.: Чехов М. Литературное наследие: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 195—202.

81. Ошибка памяти К. Н.: Белый начал жить в Кучине поздней весною 1925 г., а премьера «Гамлета» Шекспира с М. А. Чеховым в главной роли состоялась в МХАТе 2 20 ноября 1924 г. (режиссеры В. С. Смышляев, В. Н. Татаринов, А. И. Чебан). Белый присутствовал на публичной генеральной репетиции «Гамлета» 17 ноября; свое восторженное впечатление от постановки Белый изложил в письме к Чехову (с датировкой: «В ночь после генеральной репетиции „Гамлета"»). См.: Встречи с прошлым. Вып. 4. С. 226—228. См. также письмо Белого к Иванову-Разумнику от 8 декабря 1924 г.: «Единственная для меня радость этого сезона — постановка „*Гамлета*" 1-ой студией; <...> дан в пьесе какой-то непередаваемый звук: звук „*мистерии*"...» (*Переписка*. С. 305). Летом 1925 г. готовилась постановка «Петербурга» в МХАТе 2, в которой Чехов играл роль Аполлона Аполлоновича Аблеухова.

82. Около 16 сентября 1925 г. Белый и К. Н. переезжали с дачи Левандовского в Кучине на дачу Шиповых (см. примеч. 14 к гл. «Контрапункт»), где они оставались до начала апреля 1931 г.

84. Отчасти имеется в виду жизнь Белого на квартире А. И. Анненкова на Бережковской наб. (завод Анлитреста), где он жил полтора года после возвращения в Москву из Берлина в октябре 1923 г.: «Грустное время: тень Берлина еще надо мной. У Анненковых, как и в 20-м году, становится невыносимо; единственное убежище у Васильевых» (*РД*, декабрь 1924 г.); «Длится та же безотрадная жизнь у Анненко-

вых в комнате с разбитым окном, в атмосфере скандалов <...>; я совершенно расшатан этой жизнью, ни читать, ни правильно работать в такой обстановке нельзя» (*РД*, январь 1925 г.); «Все более и более с К. Н. задумываемся о том, где найти пункт на земле, где бы можно было просто укрыться от злобы „мира сего"» (*РД*, февраль 1925 г.). П. Н. Зайцев в воспоминаниях о Белом пишет: «Выяснилось, что хозяйка квартиры на Бережковской человек крайне нервный. Отношения между хозяйкой и жильцом стали натянутыми. Впоследствии в романе „Москва" Белый вывел эту хозяйку по именем М-м Эвигкайтен» (*Андрей Белый: Проблемы творчества.* С. 564). О В. Г. Анненковой см. также письмо Белого к Иванову-Разумнику от начала марта 1925 г. (*Переписка.* С. 317).

84. 12 марта 1931 г. Белый писал Иванову-Разумнику: «...умер старичок, Н. Е., на котором держался весь наш режим, как оказалось; без него Ел<изавета> Троф<имовна> — сошла с ума: стала *„злой ведьмой"*; <...> несносный режим...» (*Переписка.* С. 674). См.: *Минувшее 15.* С. 285–286; Зайцев П. Н. Воспоминания об Андрее Белом // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 99. Зайцев, описывая свои посещения Кучина в феврале 1931 г., свидетельствует: «...я застал форменный разрыв дипломатических отношений между хозяйкой дома и Белым. Елизавета Трофимовна наговорила Борису Николаевичу грубостей, тот замолчал, перестал раскланиваться, словом, совсем прекратил общение с ней» (*Андрей Белый: Проблемы творчества.* С. 584).

85. Какой именно курс лекций имеется в виду — сказать трудно. Возможно, «Культура мысли» — шесть лекций, прочитанных во Дворце искусств (январь—февраль 1920 г.), или курс из двенадцати лекций по истории культуры («История становления самосознающей души»), прочитанных у М. А. Чехова с октября 1925 г. по апрель 1926 г. (Белый А. Себе на память // *РГАЛИ.* Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 18 об.).

86. Заметка «Поющие звезды» была опубликована в газете «Известия» (1935. 1 марта, № 53; во всех рукописях у К. Н. неправильный год: «1934»). Цитата неточная (несколько не обозначенных в тексте купюр).

87. 27 сентября 1925 г. Белый писал Иванову-Разумнику: «*„Кучино"* — очаровательная местность <...>. Пишу об этом *„огромном"* событии в моей жизни, потому что ведь я отвык жить *„в своем углу"* и со времени возвращения в Россию жил буквально — *„в чужом углу"*, куда трудно было забраться (труднее, чем в *„Кучино"*) и, главное, куда я не мог приглашать *основательно* своих друзей» (*Переписка.* С. 331).

СТИХИ

Приблизительно семь страниц из этой главы, взятые из начала и из конца ее, с несколькими не обозначенными купюрами, опубликованы без комментариев: Новый журнал (Нью-Йорк). 1971. № 102. С. 103—109.

1. Начальные строки ст-ния Е. А. Баратынского «Последняя смерть» (1827).
2. Ср.: «Вы — / Внимали / Старательнно. / И — / — Стародавний Зодиак» из ст-ния. «Шутка» (Дорнах, 1915) (Белый А. Звезда: Новые стихи. Пб., 1922. С. 24). Образ зодиака фигурирует в нескольких стихотворениях сб. «Зовы времен»: «Золотым / Колесом / Зодиака» («Поэт»; *БП*. С. 510; *Стихотворения II*. С. 152); «Старый / Друг, — / — Зодиак...» («В эфире», 4; *Стихотворения II*. С. 225).
3. **Молосс** — см. примеч. 42 к гл. «Работа над „Масками"».
4. 23 мая 1927 г.: «Поездка в „Загес"» (*РД*). **ЗАГЭС** — Земо-Авчальская гидроэлектростанция на реке Куре близ Мцхета; построена в 1923—1938 гг. по плану ГОЭЛРО. Ср.: «И сквозь рычаги он выводит в пустынную комнату, напоминающую узкий, чистый, почти что стеклянный сарай, отделенный от прочих машин; ни души: как в пустыне; громадные, точно свитые удавы, тишайше лежат кабеля; на наружных дверях, приводящих сюда, в помещение это, отчетлива надпись: „Смертельно!"» (*Ветер с Кавказа*. С. 103); а также запись за 23 мая 1927 г. в дневнике К. Н.: «Утром с М<ейерхольдами> и инженером были на Загэсе. <...> Нас подвели по ступенькам к маленькой запертой двери. Открыли и показали, советуя не переступать за порог. В углубленьях до стен лежали огромные змеи, как-то зловеще затихшие на мягких подстилках. Это „кабели". Ток высокого напряжения. „Не подходите! Смертельно" — висели над ними дощечки, безмолвно предупреждавшие. <...> Б. Н. вынес большое впечатление» (*Лица*. С. 208—209).
5. Для примера см.: *ЛН*. Т. 27/28. С. 625, где воспроизводится фотография с надписью: «Две страницы печатного текста книги Андрея Белого „Урна" с правкой автора, 1929 г. (Собрание К. Н. Бугаевой. Москва)».
6. См.: Goethe J. W. von. Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Bd. 10. Autobiographische Schriften II (Dichtung und Wahrheit, 4 Teil, 16 Buch). Hamburg, 1960. S. 80—81. Перевод К. Н. Бугаевой.
7. *МДР*. С. 264. Михаил Осипович **Гершензон** (1869—1925) — историк русской литературы и общественной мысли, философ и публи-

цист. См. запись Белого в феврале 1925 г.: «Катастрофическая смерть Гершензона — удар. Умер в Москве последний *„старший друг"*. Больше мне в Москве не на кого опираться» (*РД*).

8. «Солнечный напев — шум в ушах от напева; никогда позднее лирическая волна так не переполняла меня; все, записанное мной в строках, вышло жалко; <...> но можно сказать: ненаписанные строки „Золота в лазури" как бы вошли в меня; и лишь поздней, в правке „фиктивного", мной написанного „Золота в лазури", отразились подлинные мои восприятия того лета (1903 г. — *Ред.*)» (*Н. В.* С. 283). Начиная с 1914 г. Белый, неудовлетворенный поэтической формой стихотворений первой книги, неоднократно перерабатывал тексты из «Золота в лазури», зачастую изменяя их до неузнаваемости. «Только в 1929 году я серьезно взялся за искоренение „ужасов" первого издания „Золота в Лазури"», — писал Белый в первом предисловии к тому стихов «Зовы времен» (*Стихотворения III*. С. 434).
9. *Стихотворения III*. С. 434.
10. В 1920 г. Белый подписал договор с издательством З. И. Гржебина на собрание сочинений в двадцати томах. Стихи в этом издании должны были занимать три тома: т. 3 — «Золото в лазури», т. 4 — «Пепел», т. 5 — «Звезда над урной». В предисловии к третьему тому он писал: «Выпуская вторым изданием книгу *„Золото в лазури"*, автор с ужасом обозревает все дефекты этой книги; <...> лишь по настоянию друзей, указывающих ему, что в книге есть юношеская свежесть и наивность, — лишь по настоянию друзей выпускает автор эту книгу <...>. Такую несовершенную книгу или не стоит печатать, или стоит печатать без единой правки (как исторический документ), или переработать вновь, не оставив ни одной строчки в прежнем виде; для этого надо войти сызнова в цикл переживаний книги, пропустить его вновь сквозь себя, пережить свою *„вторую молодость"*; и — в духе прошлого в сущности написать новую книгу; это — возможно, но предполагает трудную моральную работу; такая работа была произведена автором дважды: в 1914-м году и в 1916 году <...>. Вторично перерабатывать книгу — нет ни времени, ни моральных сил» (*РГАЛИ*. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 103). Об истории этого несостоявшегося предприятия см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981. С. 65–69.
11. *Стихотворения III*. С. 435.
12. Там же. С. 434.
13. В первом предисловии («Вместо предисловия») к «Зовам времен» Белый писал: «В 1921 году в Ленинграде <sic!> я сызнова принима-

юсь за правку («Золота в лазури». — *Ред.*); и вместе с правкой прикосновение к образам и ритмам прошлого извлекает из него „новые" почти стихи; и поэму „Первое свиданье"...» (*Стихотворения III*. С. 434). Поэма «Первое свидание» была написана в Петрограде в конце мая — начале июня 1921 г.

14. Цитата неточная. В оригинале читается: «...раздвой между ритмами в становлении и ставшими строками был мне мучителен» (*Стихотворения III*. С. 433).

15. Ср.: «И автор ценит потенции „Золота в Лазури", что он и доказал, тщательно редактируя текст; он отвертывается лишь от „кокона", из которого вылетела бабочка; бабочка — не самый текст переработки, а — протянутость к будущему...» (*Стихотворения III*. С. 435).

16. Там же. С. 439.

17. Не «дальше», а ранее: «приводит в бешенство» и т. д. (*Стихотворения III*. С. 433—434).

18. Ко второму тому Белый успел дать полное оглавление и программу. Этот «Проект содержания второго тома стихов „Звезда над урной"» опубликован в кн.: *Стихотворения II*. С. 355—360.

19. См. примеч. 2 к гл. «Контрапункт».

20. «Ее лица необщим выраженьем» — строка из ст-ния Е. А. Баратынского «Муза» (1829). Ср.: «Я могу допустить, что каждое, порознь взятое, стихотворение Баратынского совершенно; и тем не менее Баратынский останется чуждым мне, пока я не узрею *„необщее выражение"* Лика Музы его. У каждого подлинного поэта есть то — „необщее выражение" Лика Музы его; оно — в целом, в зерне, во внутренней архитектонике всех песен, в сплетении песен и в их последовательности (отнюдь не хронологической)» (Белый А. Вместо предисловия // Стихотворения. Берлин; Пб.; М., 1923. С. 7).

21. «Овес», с отделе «Трепетень», с датой: «Серебряный Колодезь. 1902—1931» (*БП*. С. 503—505. *Стихотворения II*. С. 167—168); «Грозовое облако», в отделе «Возврат», с датой: «Москва. 1925» (*Стихотворения II*. С. 203—204); «Старое вино», с отделе «Трепетень», с датой: «Москва. 1909—1931» (*БП*. С. 538—540. *Стихотворения II*. С. 175—176); «Ананас», в отделе «Возврат», с датой: «Москва. 1903—1931» (*БП*. С. 521—524. *Стихотворения II*. С. 218—221).

22. «Над рекою», в отделе «Трепетень», с датой: «Москва. 1901—1921» (*Стихотворения II*. С. 172—173); «Брюсов», в отделе «Черч теней», с датой: «Кучино, 1929» (*БП*. С. 513—518. *Стихотворения II*. С. 276—277).

23. «Сердце», в отделе «Летние блески», с датой: «Москва. 1901—1921» (*БП*. С. 495; *Стихотворения II*. С. 145). Список, в котором К. Н. соотносит ст-ния из «Зовов времен» с ранними текстами Белого, хранится в РГАЛИ (Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 9). Рядом с названием «Сердце» стоит вопросительный знак.

24. *Стихотворения III*. С. 439. В оригинале фраза выделена курсивом.

25. В *ЛН* (Т. 27/28. С. 87) воспроизводится фотография титульного листа «Золота в лазури» с дарственной надписью: «Сожжено! Передаю пепел этой дряни Е. В. Невейновой. А. Белый». **Елена Васильевна Невейнова** (1902—1988) — антропософка; с 1920 г. жила в Москве, работала машинисткой в Совнаркоме, была секретарем-машинисткой у Н. К. Крупской, в 1931—1934 гг. репрессирована («антропософское дело»), была в ссылке в Средней Азии (эти сведения сообщены Т. В. Нориной, племянницей Невейновой); со второй половины 1930-х гг. жила вместе с К. Н. и Е. Н. Кезельман, в последние годы жизни и тяжелой болезни К. Н. ухаживала за ней.

26. Подразумеваются строки из ст-ния В. В. Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926): «Изводишь / единого слова ради / тысячи тонн / словесной руды».

27. Ср. о берлинском издании «Стихотворений»: «Рукопись своего „Золота в лазури", о которой его издатель (З. И. Гржебин. — *Ред.*) мне с ужасом: — Милая Марина Ивановна, повлияйте на Бориса Николаевича. Убедите его, что раньше — тоже было хорошо. Ведь против первоначального текста — камня на камне не оставил. Был разговор о переиздании, а это — новая книга, неузнаваемая! Да я против нового ничего не имею, но зачем тогда было набирать старую? Ведь каждая его корректура — целая новая книга!» (Цветаева М. Пленный дух // Цветаева М. Проза. М., 1989. С. 500—501).

28. Семичастная сюита «Брюсов» в отделе «Черч теней» в «Зовах времен».

29. «Пророк» (1922), восьмая строфа, строки 3—4 по изд.: *ПР*. С. 55; «Месяц» в отделе «Молнии лет», с датой: «Цоссен. 1922» (*Стихотворения II*. С. 326).

30. Цитируются «Кроткий отдых» (Москва, 1905; см.: *Пепел*. 1909. С. 209) и «Солнечный дождь», в отделе «Летние блески», с датой: «Москва. 1905—1931» (*БП*. С. 531—532; *Стихотворения II*. С. 163—164).

31. Приводятся строки из ст-ния «Поединок» (б. д.; *ЗЛ*. С. 116), в отделе «Возврат», с датой: «Москва. 1903» (*Стихотворения II*. С. 218).

32. «Швырну расплавленные гири я / с туманных башен... / Вот мчится в пламени валькирия. / Ей бой не страшен» (*ЗЛ.* С. 116). В первом предисловии к сб. «Зовы времен» Белый писал: «...ужасы рифм вроде „Валькирия" и „бросаю гири я" приводили меня в бешенство» (*Стихотворения III.* С. 433).

33. Приводятся строки из ст-ния «Кентавр» (б. д.; *ЗЛ.* С. 124) и пятая часть цикла «Лесные встречи» в «Зовах времен», в отделе «Возврат», с датой: «Москва. 1902—1931» (*Стихотворения II.* С. 206).

34. Приводятся начало первой части ст-ния «Старинный друг» (1903; *ЗЛ.* С. 138) и начальные строфы первой части ст-ния «Старинный друг» в «Зовах времен», в отделе «Возврат», с датой: «Серебряный-Колодезь. 1903—1931» (*Стихотворения II.* С. 215).

35. Приводятся первые строфы первой части ст-ния «Возврат» (1903; *ЗЛ.* С. 145) и одноименного ст-ния в «Зовах времен», в отделе «Возврат», с датой: «Москва. 1902—1931» (*Стихотворения II.* С. 221).

36. «Будем искать мелодии» (*ПР.* С. 13). См. также первое предисловие к «Зовам времен» (*Стихотворения III.* С. 435—438).

37. Ср.: «...я сказал бы, что эта новая манера уже через несколько недель стала старой, ибо то, что окрыляет стих, не есть казенный порядок в строении строк, строф, стоп, ни ставший быстро столь же казенный беспорядок их <...>. Только в мелодии <...> поставлены на место: образ, звукоряд, метр, ритм. <...> ритм нам дан в пересечении со смыслом <...>. В интонационном жесте смысла; а он и есть мелодия» (*ПР.* С. 10—11). В примечании к статье «Жезл Аарона» (Скифы. Пб., 1917. Сб. 1. С. 203) Белый уведомлял о публикации во втором сборнике «Скифы» своей статьи «О ритмическом жесте», но публикация не состоялась. Позднее книга Белого «О ритмическом жесте» анонсировалась с пометой «в печати» в альманахе «Северные дни» (Сб. 2. М., 1922. С. 159), но и эта попытка ее опубликовать не реализовалась. См. также: *Переписка.* С. 100—101.

38. См. «Вместо предисловия» к сб. «Зовы времен»: «...и в этой редакции он (А. Белый. — *Ред.*) — Тредьяковский будущего Пушкина, но и Тредьяковский — шаг вперед от Кантемира. <...> проза и метр, два позднейших расщепа некоторой давней речитативной напевности (периода тезы), которые в третьем периоде (в синтезе) должны по-новому сочетаться, чтобы явить новую форму, в отношении к которой мы, современники, бьющиеся в расщепе между поэзией и художественной прозой (периода антитезы), еще жалкие предтечи...» (*Стихотворения III.* С. 435—436).

39. См.: *ПР.* С. 11—13.

40. «Прослеживая жизнь знаков, мы видим индивидуализм у писателей: „точка" есть знак прозы Пушкина; „точка с запятой" — Толстого; „двоеточие" мой знак; „тирэ" — знак, излюбленный модернистами» (ПР. С. 11).

41. См.: Маяковский В. В. Как делать стихи? // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1959. Т. 12. С. 113—114.

42. «Шут», в отделе «Возврат», с датой: «Боголюбы, 1911» (*Стихотворения II*. С. 231—235. Ср.: *БП*. С. 339—346). При первой публикации в 1912 г. в «Литературном альманахе» книгоиздательства «Аполлон» баллада также была в форме «ровных четверостиший».

43. «Старый бард», в отделе «Трепетень», с датой: «Кучино. 1931» (*Стихотворения II*. С. 176—177). К. Н. ошибается: «Пародия», в отделе «Трепетень», с датой: «Кучино. 1931» была написана (и напечатана) четырехстишиями (*БП*. С. 481—482; *Стихотворения II*. С. 178—179). «Лес», в отделе «Возврат», с датой: «Кучино. 1931» (*БП*. С. 483—484; *Стихотворения II*. С. 213). К. Н. еще раз ошибается: «Рождество», в отделе «Черч теней», имеет дату: «Кучино. 1930», и в окончательной редакции пятистишия были разделены на двустишия и трехстишия (Стихотворения II. С. 293). «День», в отделе «Возврат», с датой: «Кучино. 1931» (Там же. С. 210—211). «Андрон», в отделе «Черч теней», с датой: «Кучино. 1931» (Там же. С. 263).

44. *Стихотворения III*. С. 438.

45. «Жизнь» (Дорнах, 1916; Звезда. С. 49) и «Мотылек», в отделе «Летние блески», с датой: «Дорнах, 1916» (*Стихотворения II*. С. 148).

Б. Н. В ЖИЗНИ

Глава впервые была опубликована (не полностью и крайне небрежно, с необозначенными в тексте купюрами и без комментариев) в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1972. № 108. С. 169—188). Она была перепечатана из подготовленного мной издания 1981 г. в кн.: Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995. С. 435—452.

1. Маски. С. 171.

2. Там же. С. 146.

3. **Гали Алексеевна Назаревская** (1901—1957) — художница. Ее воспоминания, написанные летом 1947 г., хранятся в РНБ (Ф. 25. К. 40. Ед. хр. 25).

4. Георгий Аркадьевич **Шенгели** (1894—1956) — поэт, переводчик, стиховед. Инцидент произошел в июле 1924 г.; см.: *Переписка*. С. 304 и примеч. 9 к гл. 3. О Белом в Коктебеле летом 1924 г. см. также воспоминания Шенгели о Брюсове (этот инцидент там не упомянут) в кн.: Шенгели Г. Иноходец. М., 1997. С. 459. 23 июня 1924 г. Шенгели писал «наудачу в Коктебель» М. М. Шкапской: «...Белый, Розанов, Вяч. Иванов, Мережковский, — все это глупые умники, которые никак не могут понять какой-то (не знаю какой) очень простой вещи. Глухари на току: орут самозабвенно и сильно, а стрельбы не слышат» (Рудин из Брюсовского института (Письма Г. А. Шенгели М. М. Шкапской. 1923—1932) / Публ. С. Шумихина // *Минувшее 15*. С. 263). В ноябре 1924 г. Шенгели вместе с Г. О. Винокуром, Б. Л. Пастернаком, Б. И. Ярхо и другими присутствовал на докладе Белого «О ритмическом жесте» у П. Н. Зайцева (*Летопись*). См. также: Крюкова А. М. Горький и Андрей Белый: Из истории творческий отношений // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 282—308.

5. **Мария Степановна** Волошина (урожд. Заболоцкая, 1887—1976) — вторая жена М. А. Волошина (официально с 1927 г.). Мария Михайловна **Шкапская** (урожд. Андреевская, 1891—1952) — поэтесса, очеркист.

6. 17 мая 1933 г. Белый и К. Н. Выехали из Москвы в Коктебель (приехали 19-го), где оставались до 29 июля. В своих воспоминаниях о Белом П. Н. Зайцев пишет: «Жили Бугаевы в Доме творчества ленинградских писателей. В письмах ко мне Борис Николаевич жаловался на плохую погоду, но хвалил хорошие условия <...>. В первое время Белого не покидала нервозность. Клавдия Николаевна впоследствии рассказывала мне: — Сидит Борис Николаевич на камушке в Коктебеле, у моря, и думает тяжкую думу: как быть, что делать, как жить? О чем теперь писать? О своем, о прежнем?» (*Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 587). См. также письмо Белого к Зайцеву от 7 июня: «...мы живем не в Д<оме> Отдыха, а в домике над ним, принадлежащем сторожу, где нам с Клодей отведена прекрасная, отдельная комната; живем вдали от людей, как у себя» (*Минувшее 15*. С. 324).

7. См. примеч. 73 к гл. «Контрапункт».

8. **Николай Вениаминович Богословский** (1904—1961) — литератор, литературный критик.

9. 13 октября 1921 г. Белый прочел лекцию «Россия Блока» в Политехническом музее в Москве. 26 сентября того же года он также выступил там: «Публичное заседание „Памяти Блока" от В<ольной> Ф<и-

лософской> А<ссоциации> и „Скифов" в Политехнич<еском> Музее. Председательствую. Говорю речь» (Белый А. Себе на память // *РГАЛИ*. Ф. 53. Оп. 1. Ед. Хр. 96. Л. 15). 20 февраля 1924 г. он выступил на вечере памяти Блока с докладом и воспоминаниями о нем: «„Поэзия Блока". Публичная лекция. Политехн<ический> Музей. Москва» (Там же. Л. 17).

10. Нина Сергеевна **Рукавишникова**, жена поэта и прозаика Ивана Сергеевича Рукавишникова (1877—1930). Она заведовала цирковой секцией Театрального отдела Наркомпроса. О ней см.: *Переписка*. С. 179; очерк В. Ф. Ходасевича «Белый коридор» (Ходасевич В. Колеблемый треножник: Избранное. М., 1991. С. 398) и воспоминания В. Г. Шершеневича «Великолепный очевидец»: «Долгие годы Рукавишников был женат на какой-то брюнетке, купеческой дочери из Одессы. Жил с ней недружно и оборванно. Позже она стала комиссаром цирков» (Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990. С. 453).

11. **Дмитрий Михайлович Пинес** (1891—1937) — библиограф, историк литературы, издательский работник; библиотекарь и секретарь (1922—1924) «Вольфилы». Один из первых исследователей творчества Белого, автор (вместе с К. Н. и А. С. Петровским) обзора «Литературное наследство Андрея Белого» (*ЛН*. Т. 27/28. С. 575—638; авторство в публикации не указано, поскольку Пинес был репрессирован; расстрелян в Архангельске 27 октября 1937 г.). Белый познакомился с ним в марте 1920 г.; Пинес был членом кружка Белого «Проблемы символизма» в «Вольфиле». Когда 10 сентября 1928 г. Белый написал первое литературное завещание, Пинес был среди душеприказчиков (остальные были самые близкие Белому люди: К. Н., П. Н. Зайцев, Иванов-Разумник и А. С. Петровский). См.: Письма Андрея Белого Д. М. Пинесу / Публ. Дж. Малмстада // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 85—100; Спивак М. Л. Письма Д. М. Пинеса Андрею Белому // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. СПб., 1996. С. 28—34; Белоус В. Г. «Ближайший и многолетний сотрудник мой по историко-литературным работам». О Дмитрии Михайловиче Пинесе (1891—1937) // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. СПб., 1998. Вып. 2. С. 217—227.

12. **Разумник Васильевич Иванов** (Иванов-Разумник). О нем см. примеч. 63 к гл. «Работа над „Масками"». «После смерти Александра Блока десять лет собирал я материалы, связанные с его поэтическим творчеством, так что когда осенью 1930 года „Издательство Писателей" в Ленинграде предложило мне составить план полного собра-

ния сочинений Блока и редактировать его — я охотно принял это предложение. В течение двух лет вышли первые семь томов, <...> в течение 1933 года должны были выйти остальные пять томов. <...> Большую работу эту я мог выполнить в такой сравнительно короткий срок только потому, что все эти два года деятельно помогал мне в ней приятель мой, Дмитрий Михайлович Пинес, прекрасный и тонкий знаток Блока, а кроме того, и исключительно сведующий библиограф. Все эти два года (1931—1932) он почти каждый день самоотверженно приезжал ко мне в Детское — бывшее Царское — Село, где мы работали над хранившимися у меня на дому рукописями Блока» (Иванов-Разумник Р. В. Тюрьмы и ссылки. Нью-Йорк, 1953. С. 81—82).

13. **Жена Д. М. Пинеса** — Роза (Рахиль) Яковлевна Пинес (урожд. Мительман, 1893—1937, расстреляна 27 октября), врач Института охраны материнства и младенчества. «В январе (1937 г. — *Ред.*) кончался срок архангельской ссылки Д. М. Пинеса, просидевшего до того два года в Верхне-Уральском изоляторе. В самый день окончания срока он был арестован и заключен в архангельскую тюрьму, после чего следы навсегда пропали. В апреле месяце арестована была его жена, Р. Я. Пинес» (Иванов-Разумник Р. В. Тюрьмы и ссылки. С. 235).

14. **Спасские** — Сергей Дмитриевич (1898—1956), поэт и прозаик, и Софья Гитмановна (урожд. Каплун, 1901—1962), член-соревнователь и заведующая кружками «Вольфилы». Белый дружески сблизился с нею и с ее семьей во время своей жизни в Петрограде в 1920—1921 гг.; он жил у них в Ленинграде в мае—июне 1926 г. См.: Письма Андрея Белого к С. Д. и С. Г. Спасским / Вступит. статья, примеч. Н. Алексеева. Подгот. текста писем В. С. Спасской // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 642—662; Богомолов Н. А. К истории эзотеризма советской эпохи // Литературное обозрение. 1998. № 2. С. 21—23, 25—31 (публ. письма С. Г. Спасской к Андрею Белому от 20 октября — 7 ноября 1928 г.).

15. Подразумевается работа над книгой о Гоголе. См. примеч. 68 к гл. «Работа над „Масками"». 25 ноября 1931 г. Белый писал Г. А. Санникову: «...живем тихо: очень много работаем; К. Н. помогает мне в работе над Гоголем. <...> В Ленинграде почти не бываем» (Наше наследие. 1990. № 5 (17). С. 92—93).

16. Белый и К. Н. окончательно переехали из Детского Села в Москву в конце марта 1932 г.: в письме к П. Н. Зайцеву от 27 марта Белый просил встретить их утром 31 марта на вокзале (*Минувшее 15*. С. 311). Однако в «Летописи жизни и творчества Андрея Белого...» К. Н. датирует «возвращение в Москву» 3 апреля 1932 г.

17. Речь идет о переиздании «Петербурга» (сокращенного берлинского издания 1922 г. с небольшими текстуальными изменениями и цензурными купюрами») в 1928 г. «Никитинскими субботниками» тиражом 5000 экз.

18. **Стирфорс** — один из героев романа Чарлза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» (1850), близкий друг и конфидент главного героя. Роман был особенно ценим Белым с детства: «...такое же сильное впечатление на меня произвел „Давид Копперфильд" Диккенса, первый роман, прослушанный при чтении его вслух мамой, прекрасной чтицей; <...> с той поры Диккенс — мое перманентное чтение, и теперь я читаю Диккенса; в последний раз я читал „Давида Копперфильда" в 1927 году; первый раз прослушал в 1887-м: сорок лет читаю этот бессмертный роман; и в каждом повторном чтении открываются новые и не усвоенные оттенки; на этом чтении еще раз видишь, что в художественных произведениях „что", или смысловая тенденция, не более одной десятой полного смысла; девять десятых лежат в „как" выполнения» (*НР*. С. 215). 9 октября 1932 г. Белый записал в книге «Между двух революций», над которой он работал: «...хочу оформить в стиле „Давида Копперфильда" там, где воспоминания склоняются к биографии; больше места для характеристик общественно-политической картины и... для автобиографических переживаний. Меньше места характеристике писателей и деятелей искусства... Трудная задача... гармонизировать композицию» (*Летопись*).

19. Белый с К. Н. приехали в Лебедянь, где Е. Н. Кезельман отбывала ссылку, 9 августа 1932 г. и прожили там до 29 сентября. См. ее воспоминания на с. 300—320 наст. кн. См. также: Письма Андрея Белого к Е. Н. Кезельман 1931—1933 гг. / Публ. Р. Кийза // Новый журнал. Нью-Йорк, 1976. № 124. С. 163—172; письма Белого из Лебедяни к П. Н. Зайцеву (*Минувшее 15*. С. 315), Иванову-Разумнику (*Переписка*. С. 705—706) и Г. А. Санникову (Наше наследие. 1990. № 5 (17). С. 93).

20. По свидетельству К. Н., «весной и летом 1933 г. Андрей Белый неоднократно говорил о новой для себя форме творчества: производственном романе» о строительстве железной дороги на Кавказе (*ЛН*. Т. 27/28. С. 609—610).

21. «В 1905—1906 годах я застаю себя за рядом действий, не ставших ясными поздней; как-то: особые разговоры с крестьянами Московской и Тульской губерний <...> посещение ночных чайных, харчевен Петербурга, разговоры с почтальонами, солдатами, кучерами, мелкими чиновниками и т. д. <...>. У меня скапливается коллекция сырья

<...> Смысл собирания „доссье" стал мне понятен лишь в 1909 году и еще более понятен в 1913<-м> (эпоха написания „Голубя" и „Петербурга")» (Белый А. Как мы пишем // *Андрей Белый: Проблемы творчества.* С. 11). Роман «Серебряный голубь» был написан Белым не в 1910 г., а в 1909-м: он начал его в феврале и закончил последнюю (седьмую) главу в декабре. В течение года роман печатался в «Весах». Предисловие к роману, который был издан «Скорпионом» (тираж 1000 экз.) во второй половине мая 1910 г., имеет дату: «1910 го-да. 12 апреля. Бобровка».

22. Белый с К. Н. жили в Карачеве Орловской губ., у В. Г. Анненковой (Малая Дворянская ул., дом Светославской) с мая по июль 1919 г. «*Июль* <1919 г.> — Карачев — Те же занятия и чтения; с юга приближаются деникинцы; едем в Москву» (*РД*).

23. Белый подготовил новую редакцию «Путевых заметок» в апреле—июле 1919 г. для печатания в «Книгоиздательстве писателей в Москве». См.: Белый А. Офейра. Путевые заметки. Ч. 1. М., 1921. В записях Белого о пребывании в Карачеве в мае 1919 г. сообщается: «Усиленно пишу „Пут<евые> Заметки". И кажется, кончаю с Тунисией»; июнь: «Весь месяц перерабатываю второй том „Путевых Заметок"»; июль (Москва): «...кончаю 2-ой том „Пут<евых> Заметок"» (*РД*). 29 мая 1919 г. Белый писал из Карачева А. Е. Грузинскому (тогда — одному из руководителей «Книгоиздательства писателей в Москве»): «Я очень недурно устроился здесь: перерабатываю пока что II-ую часть „Заметок". Карачев — тихий город, легкий какой-то, без собственной атмосферы; и в нем работается просто и хорошо <...> поэтому думаю отсрочить отъезд в Москву до июля: <...> я основательно подчищу эти „Заметки"; они некогда писались быстро, частью во время пути, частью потом; я старался быть „кодаком" и нащелкать ряд моментальных снимков, чтобы потом проявить памятью; и теперь вижу, что ретушь необходима; но я к июлю проработаю все» (*РГАЛИ*. Ф. 126. Оп. 2. Ед. хр. 2). См. также примеч. 48 к гл. «Природа».

24. См. записи за 1929 г.: «30-ое. <Июнь>. Батум. Ужасные сутки Батум — Кутаис; гроза, простуда. Бессмыслие Риона; мой скандал; тупость „мещан". Ободранные, едва живые вваливаемся в Кутаис <...> 1-ое. <Июль>. *Кутаис.* Вместо Шови — сидим в Кутаисе: размыло дороги; простуда, ярость, град гадостей; вечером уезжаем в... Тифлис: как и в прошлом году (число в число!)» (*РД*). **Кутаис** (ныне Кутаиси) — город на реке **Рион** (Риони). См. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 19 июля 1929 г. из Коджор: «...с Батума до Кутаиса — грозища, бурища; рой исключительных дорожных пакостей обрушивается: с Адлера до Кутаиса; я, кроме того, получаю грипп; и в гриппе мы тащимся с

сундучищами под тропическим ливнем к клопиной гостинице в Кутаисе (извозчиков нет: поезд пришел в 2 ночи)» (*Переписка*. С. 643).

25. См. примеч. 120 к гл. «Контрапункт». Цитаты взяты из седьмой части статьи («Совесть»), «афоризмы» 3—7.

26. **Александра Дмитриевна** Бугаева (урожд. Егорова, 1858—1922) — мать Белого. После отъезда Белого в Берлин в 1921 г. она переехала из Москвы в Петроград и поселилась в квартире Б. Г. Каплуна. Скончалась в Москве около 20 октября 1922 г. (*Летопись*). 8 декабря 1922 г. Н. И. Петровская писала О. И. Ресневич-Синьорелли: «У А. Белого умерла в Москве мать, я к нему зашла, и он не был способен разговаривать» (Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э. Гарэтто // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 8. М., 1992. С. 100). См. также: Воронин С. Д. Из писем Андрея Белого к матери // Памятники культуры: Новые открытия. 1986. Л., 1987. С. 64—76; Письма Андрея Белого А. Д. Бугаевой (см. в составе моей публикации: Andrej Belyj at Home and Abroad // Europa Orientalis. 1989. № 8. P. 450—465).

27. См. записи за 1921 г.: октябрь: «Мой отъезд за границу 20 октября. <...> уезжаю на 2-х проездных визах без немецкой; из Латвии просят удалиться; едва зацепляюсь в Ковно; начинается мартириум с тупою, никчемною жизнью в Ковно, где встречаю ряд знакомых: М. И. Балтрушайтис, Гидони, тетку А. З. Штейнберга, курсантку из Ленингр<адского> „Дома Искусств" и т. д. Начинаются знакомства с литовскими писателями и поэтами: Жиро, Киршей, Бинкисом и т. д.»; ноябрь: «Ковно — Списываюсь с Зин<аидой> Венгеровой и с Лундбергом, из Берлина помогающих мне достать визу; вижусь с А. И. Магировской, со мной застрявшей в Ковно.

1) Публичная лекция моя от „Союза литовск<их> худ<ожников>" „Стиховедение".
2) Публ<ичная> лекция моя „Стиховедение" (С. Л. Х.).
3) Публичная лекция-дуэт (с Гидони), мой доклад: „Лев Толстой" (у Гидони — „Достоевский").

Виза получена, 17-го ноября уезжаю из Ковно; 19-го ноября в Берлине. Берлин — Останавливаюсь у Лундберга в „Скифах". Полный сумбур; удар за ударом: горестное недоумение; ощущение — нечего делать» (*РД*).

28. К. Н. ошибается: kalos k'agathos — два самостоятельных слова, образующие двусоставный термин, в переводе означающий «такой, какой следует».

29. Неточно цитируется второй абзац статьи «Принцип формы в эстетике» (1906): «Когда мы говорим о *форме искусства*, мы не разумеем

здесь чего-нибудь отличного от содержания. Неделимое единство формы и содержания есть канон эстетики, если эстетика стремится выйти из опеки школьного догматизма» (*Символизм*. С. 175).

30. **Лев Иванович Поливанов** (1839—1899) — педагог, основатель и директор частной гимназии в Москве, в которой Белый учился в 1891—1899 гг. Белый дает его литературный портрет в «На рубеже двух столетий» (С. 259—286). О Л. И. Поливанове В. С. Соловьев писал, что он «вложил в свою школу живую душу, поднял и удержал эту школу выше обычной казенности и умел зажигать в своих воспитанниках искры того огня, который горел в нем самом» (Соловьев В. Л. И. Поливанов // Памяти Л. И. Поливанова (К 10-летию его кончины). М., 1909. С. 7).

31. Жан **Жорес** (1859—1914) — руководитель Французской социалистической партии, публицист, историк; основатель газеты «Юманите». Белый познакомился с ним в Париже в декабре 1906 г. Он четыре раза давал его литературный портрет: Силуэты. 1. Жорес // Накануне. 1907. 6 июля, № 20; Из встреч с Жоресом // Час. 1907. 14 августа, № 2; Жан Жорес // *МДР*. С. 135—153; Воспоминания о Жоресе / Предисл. и публ. А. В. Лаврова // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 645—652.

32. **Михаил Сергеевич Соловьев** (1862—1903) — педагог, переводчик, издатель сочинений своего брата В. С. Соловьева. Близость с семейством Соловьевых во многом сказалась на идейно-эстетическом самоопределении Андрея Белого: «Общение с покойными М. С. и О. М. Соловьевыми — великолепнейший, не прекращавшийся года семинарий на тему „*искусство*". <...> С 1897 года Соловьевы стали мне моей „второй" родиной» (Белый А. К биографии // *РГБ*. Ф. 198. Карт. 6. Ед. хр. 5). В октябре 1901 г. «М. С. придумывает мне псевдоним „Андрей Белый" и делается моим крестным отцом в литературном крещении» (*МБ*). См. также: *НР*. С. 339—368.

33. **Валентин Александрович Серов** (1865—1911) — живописец и график; сын композитора А. Н. Серова. Белый общался с ним на собраниях Общества свободной эстетики (см.: *МДР*. С. 203—206).

МЫСЛЬ

1. Эпиграф из ст-ния Е. А. Баратынского «Последний поэт» (1835).
2. Неточно цитируется ст-ние Е. А. Баратынского «Последняя смерть» (1827): «Как будто бы своей отчизны *давней*».

3. Начало ст-ния Андрея Белого «Друзьям» (1907; *Пепел*. С. 183). Окончание строфы: «А жизнь прожить не сумел».

4. См. также: Белый А. Фридрих Ницше // *Арабески*. С. 60—90.

5. Ср. воспоминания Н. И. Гаген-Торн: «На кафедру вышел докладчик. И — все стерлось кругом. Как передать наружность Андрея Белого? <...> Постарайтесь увидеть, как видели мы. Из земли перед нами вдруг вырывался гейзер. Взметает горячим туманом и пеной. Следите, как высок будет взлет? Какой ветер в лицо... Брызги, то выше, то ниже... Запутается в них солнечный луч и станет радугой. Они то прозрачны, то белы от силы кипенья. <...> радостно: блеск и сила вздымает. Веришь: сама уж лечу!» (Вольфила: Вольно-Философская Ассоциация в Ленинграде в 1920—1922 гг. / Предисл. и публ. Г. Ю. Гаген-Торн // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 93).

6. «...курс философии, читанный нам Сергеем Трубецким; этот длинный, рыжавый, сутулый верблюд <...> из некрасивого делался обворожительным; <...> купаясь в источниках, заново переживал Гераклита, Фалеса или Ксенофана» (*НВ*. С. 383). В августе 1926 г., когда Белый работал над «Историей становления самосознающей души», он перечитывал «Метафизику древней Греции» Трубецкого и «Историю древней философии» Виндельбанда (*РД*).

7. Белый зафиксировал (*РД*), что в июле—августе 1926 г. он читал книгу: Carton Raoul. L'expérience mystique de l'illumunation intérieure chez Roger Bacon. Paris, 1924.

8. Цитируется ст-ние Е. А. Баратынского «Последний поэт».

9. Неточно цитируется «На перевале. II. Кризис мысли» (Пб., 1918. С. 25): «...где мир размышлял и где „мирилась" мысль». См. запись за июнь 1918 г.: «Начинаю 2-ой кризис „*Кризис Мысли*" (т. е. перерабатываю имеющий материал для отдельной книжки)» (*РД*). О цикле «Кризисов» см. примеч. 115 к гл. «Контрапункт».

10. Работу над статьей «Жезл Аарона (О слове в поэзии)» Белый закончил в феврале 1917 г.; в заметках «Работа и чтение» за этот месяц он отметил: «„Жезл Аарона" (глава „Кризиса сознания")» (*РГБ*. Ф. 25. К. 31. Ед. хр. 6). Статья была опубликована в первом сборнике «Скифы» (Пб., 1917).

11. Образ спирали возникает в творчестве Белого начиная с «3-ей Симфонии» («Возврат»): «Быть может, прогресс идет по прямой. Или по кругу. Или и по прямой, и по кругу — по спирали» (Белый А. Симфонии. Л., 1991. С. 232). См. также его статьи «Линия, круг, спи-

раль — символизма» и «Круговое движение» в журнале «Труды и дни» (1912. № 4/5. С. 13—22, 51—73) и работу «Кризис культуры» (Пб., 1920): «В спиральном движении правда» (С. 39); «Символ сущего — круг; воплощение сущего во время теперь — невозможно: цивилизация — линия; в ней сужается кругозор: наша жизнь — одномерна; в культуре, которую ждем, мы увидим соединение *линий с кругами: в спираль символизма*» (С. 74). В своих воспоминаниях о Белом Евгений Замятин писал: «Мне запомнился один петербургский вечер, когда Белый зашел ко мне „ненадолго": он торопился, ему в этот вечер нужно было читать лекцию. Но вот разговор коснулся одной особенно близкой ему темы — о кризисе культуры, его глаза засветились, он приседал на пол и поднимался, иллюстрирую свою теорию „параллельных эпох", „спирального движения" человеческой истории, он говорил не останавливаясь, это была блестящая лекция, прочитанная перед одним слушателем: другие напрасно ждали его в аудитории в тот вечер, — только когда пробила полночь, увлекшийся Белый вдруг вспомнил, схватился за голову...» (Лица. Андрей Белый // Замятин Е. Сочинения. М., 1988. С. 346).

12. Имеется в виду тезис основного философско-культурологического труда немецкого философа и историософа Освальда **Шпенглера** (1880—1936) «Закат Европы» («Der Untergang des Abendlandes». Bd. 1—2, 1921—1923; русский перевод — 1923). Критический анализ взглядов Шпенглера Белый дал в философском очерке «Основы моего мировоззрения» (1922), оставшемся в рукописи и впервые опубликованном Л. А. Сугай вместе с ее предисловием «Андрей Белый против Освальда Шпенглера» (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 10—37). Там Белый писал, что у Шпенглера «есть культуры, т. е. замкнутые в себе группы» (С. 26).

13. **София**, Премудрость Божья, — центральное учение и образ в религиозной философии и поэзии Владимира Сергеевича **Соловьева** (1853—1900). В заключении к статье «Основы моего мировоззрения» Белый писал: «...стихия мысли — София. <...> Я ищу правды дружбы, ибо только в дружеском общении осуществляется София в жизни. Я хотел бы главным образом быть антропофилом; и уже потом антропософом; любовь — прежде мудрости; и — любовь — после мудрости» (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 35).

14. «Студент-естественник» — так была подписана первая рецензия молодого Б. Н. Бугаева «По поводу книги Д. С. Мережковского „Лев Толстой и Достоевский" (Отрывок из письма)» (Новый путь. 1903. № 1. С. 155—159). См. запись за февраль 1902 г.: «Посылаю по-

лемиче-ское письмо Мережковскому за подписью „Студент естественник", произведшее сенсацию в кружке Мережковских (особенно им восхищался В. В. Розанов)...» (*РД*). Об истории публикации этого письма в отделе «Из частной переписки» в «Новом пути» см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981. С. 38—39. В своих воспоминаниях Белый писал: «...должен заметить: я не помню эпохи, когда я бы не знал, что человек произошел от обезьяны, ибо все то было по-своему впитано мною из шуток отца и разговоров его с друзьями <...>. „Ядом" естествознания я был охвачен до поступления на естественный факультет» (*НР*. С. 99).

15. Цитата из первой главы поэмы «Первое свидание» (*Стихотворения II*. С. 27).

16. «О смысле познания» (Пб.: Эпоха, 1922). См. запись за март 1917 г.: «Сергиев-Посад — Живу до Пасхи у Соловьевых; оканчиваю свой *„Ритм и Смысл"*; пишу *„О смысле познания"*...» (*РД*).

17. См. примеч. 59 к гл. «Природа».

18. Цитируется ст-ние А. С. Пушкина «Жуковскому» (1818).

19. «На перевале. I. Кризис жизни» (Пб., 1918). См. записи за январь 1917 г.: «Царапаю наброски к *„Кризису Жизни"*» и июнь 1918 г.: «...работаю над составлением текста „Кризиса Жизни"» (*РД*).

20. Подразумевается, конечно, центральный миф ранних стихов А. Блока.

21. См.: «Мое отношение к Канту» в статье Белого «Основы моего мировоззрения» (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 14—16).

22. «В <1>908<-м> сознав до конца боль моей „светозарности", я выразил ее в лирических строчках: поэт склонен к Канту; настенная тень его, образом демона выпав с обой, просиявши, как пыль в луче солнца, указывает желтым ногтем на... Канта» (*НВ*. С. 284—285). Имеется в виду ст-ние Белого «Искуситель» (1908) в отделе «Философическая грусть» (Белый А. Урна. М., 1909. С. 61—81).

23. Исаак **Ньютон** (1643—1727) — английский математик, механик, астроном и физик, основатель классической физики. Иоганн **Кеплер** (1571—1630) — немецкий астроном. О нем см. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 24—25 сентября 1926 г. (*Переписка*. С. 371—374, 376, 377).

24. Цитируется статья «Песнь жизни» (1907): «...иезуитски определяет искусство гениальный мертвец — Кант, утверждая в формах искусства противоестественное выявление ритма жизни...» (*Арабески*. С. 47).

25. Цитируется статья «Искусство» (1908): «Факиры те молчали; они были откровенно немы; Кант — говорил: он — немота в маске из слов: злая маска» (*Арабески*. С. 216); «Мы можем соглашаться с „Критикой" Канта, но мы не можем отрицать, что Кант в своем кабинете был восьмым книжным шкафом среди семи шкафов своей библиотеки. И вот мы ставим вопросы. Может ли книжный шкаф обладать личным творчеством? <...> Жизнь есть личное творчество» (Там же. С. 215).

26. «Он (Хома Брут. — *Ред.*) подошел ко гробу, с робостию посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз: такая страшная, сверкающая красота! Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее» (Гоголь Н. В. Вий // Гоголь Н. В. Собр. худ. произв.: В 5 т. М., 1960. Т. 2. С. 248).

27. См. примеч. 37 к гл. «Работа над „Масками"».

28. В конце записей за 1920 г. Белый писал: «20-ый год — год максимального лекционного и общественного напряжения; никогда я так бешено не работал; если счесть лекции, рефераты, диспуты и заседания, в которых я принимал активнейшее участие, то сумма их составит: 163 активных общественно лекционных занятых дней, т. е. через день и редко через два дня выступал там, здесь. Одних лекций мной прочтено за этот год: 71; председательствовал: 20 раз; участвовал в заседаниях 43 раза; выступал на диспутах, в прениях 38 раз. Обыкновенно летом отдыхаешь; а в 20-м году не было никакого отдыха; наоборот: летом-то и была наиболее напряженная деятельность; работал в следующих организациях: 1) Музейный Отдел (<в> 20-м году кончал работу), 2) в Антроп<ософском> Обществе, 3) в „Доме Искусств" (Ленинград), 4) во „Дворце Искусств" (Москва), 5) в „Вольно-Филос<офской> Ассоциации" (Ленингр<ад>), 6) в „Академии Дух<овной> Культуры" (Москвы), 7) в „Институте Театр<альных> Знаний" (Ленинград), 8) в „Лито" Наркомпроса (Москва); и условно эпизодически: 9) в Петербургск<ом> „Пролет-Культе". Кроме того: был приглашен профессором в *„Институт Живого Слова"*» (*РД*). Цикл лекций «Мысль и мышление», однако, не зафиксирован ни в «Ракурсе к дневнику», ни в перечне «Себе на память». По всей вероятности, К. Н. имеет в виду курс «Культура мысли», шесть лекций которого Белый читал в московском Дворце искусств в январе—феврале 1920 г.

29. «Поэма о звуке» «Глоссолалия» *была выпущена в свет в Берлине в* 1922 г. издательством «Эпоха». В записи за июль 1917 г. Белый сообщает: «Июлю к 15-му переселяюсь в Поворовку; <...> впервые штудирую курс Штейнера *„Тайны библейского миротворения"*, который подымает во мне тему глоссолалии. Перечитываю глоссолалийные страницы у Беме; читаю Макса Мюллера (кажется, *„Мысль и язык"* — не помню точно заглавия этого сочинения); экспериментирую на Блоке над эвфоническими жестами. Читаю книгу Мейе (по сравнительному языкознанию)» (*РД*). В записях об августе 1917 г. Белый отмечает: «Работаю над звуком. Первая часть статьи «Глоссолалия»» (Работа и чтение // *РГБ*. Ф. 25. К. 31. Ед. Хр. 6); «Весь месяц в огромной работе собирания лингвистического материала; набираю у Соловьева и Нилендера ряд соответствующей литературы: читаю Поржезинского, Потебню, Шрадера, и Бругманна (*„Vergleichende Grammatik"*); перечитываю выпуски по психологии творчества, ряд сборников и статей посвященных слову (Горнфельд, Овсянико-Куликовский и т. д.); весь материал сплавляется с темой курса Штейнера; именно в этот месяц устанавливается мой взгляд на *„глоссолалию"*; у меня скапливается огромный материал примеров, выписок и ряд исписанных страниц, часть которых лишь вылилась в *„Глоссолалию"*; помнится, что восприимчивость моя к слову такова в тот период, что я уже не слышал абстрактного слова; я слышал в любом слове лишь его пантомимический жест. Сентябрь <...> весь сентябрь езжу в Дедово, где зарываюсь в словари (греческие) и добираю из словарей глоссолалийный материал» (*РД*). Работа над книгой была завершена только в октябре 1917 г. в Царском Селе: «...внешне: пишу текст *„Глоссолалии"*, использывая <sic!> имеющийся у меня материал...» (Там же).
30. Невозможно установить с точностью, какое именно из многочисленных изречений Гете на эту тему К. Н. имеет в виду.
31. Последняя строка ст-ния Белого «Жуковскому» (1918).
32. Цитируется «Словарь древней и новой поэзии», составленный Н. Остолоповым (СПб., 1821. Ч. 1. С. 384).
33. Упоминаются персонажи и эпизоды из оперной тетралогии Рихарда Вагнера (1813—1883) «Кольцо Нибелунгов» (1869—1876), состоящей из музыкальных драм «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов».
34. К. Н. имеет в виду оперу М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (1842).
35. *Цитата из первой главы поэмы* «Первое свидание» (*Стихотворения II.* С. 28).

36. См. примеч. 80 к гл. «Контрапункт».

37. 16 ноября 1932 г. Белый выступил в прениях краеведческой секции Оргкомитета Всероссийского Союза советских писателей после чтения рассказов Викторина Попова. 19 ноября он диктовал первоначальный текст доклада «Культура краеведческого очерка» К. Н. и 23-го читал его в секции писателей-краеведов в Оргкомитете ВССП (*Летопись*). Доклад был опубликован в третьем номере «Нового мира» за 1933 г. (С. 257—273).

38. Ср.: «Говорить о себе как писателе мне неловко и трудно. Я не профессионал; я просто ищущий человек; я мог бы стать и ученым, и плотником» (Белый А. О себе как писателе // *Андрей Белый: Проблемы творчества*. С. 19; впервые опубл. полностью по-русски в сб. «День поэзии» (М., 1972. С. 269—272); Белый написал статью в марте 1933 г. по заказу польской газеты «Wiadomości literackie», где она появилась 29 октября 1933 г. (№ 47/518) в польском переводе).

39. Цитируется статья «Принцип формы в эстетике» (*Символизм*. С. 188—190).

40. См. записи Белого: май 1900 г.: «Страшно повлиявшая на меня внутренняя встреча и интимный разговор с Вл<адимиром> Соловьевым»; сентябрь: «Бешеное чтение сочинения Вл<адимира> Соловьева („*Кризис*", „Основные начала цельного знания")»; январь 1901 г.: «Сильнейший взрыв религ<иозно>-фил<ософских> чаяний; главное чтение — Евангелие, Апокалипсис; продолжаю изучать Вл<адимира> Соловьева („Национальный вопрос", „История теократии"). Это момент, решающий мою судьбу...» (*РД*). Имеется в виду незаконченная работа Вл. Соловьева «Философские начала цельного знания», которая впервые была опубликована в «Журнале Министерства Народного Просвещения» в 1877 г. (№ 3, 4, 6, 10, 11). Соловьев сам считал ее одной из значительных своих работ, первым наброском своей философской системы.

41. Цитируется предисловие Гете к его «Учению о цвете»: «Die Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden» («Краски — это деяния света, деяния и страдания»). Goethe J. W. von. Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Bd. 13: Naturwissenschaftliche Schriften. Hamburg, 1960. S. 315.

42. См. записи за 1927 г.: февраль: «23-го. <...> Читаю сборник, посвященный строению вещества все эти дни; статьи: Боргмана, Резерфорда, Перрена, Томсона»; март: «4-го. <...> Читаю Чугаева о механике атома. <...> 6-го. <...> Записи о материи. Все дни акад<емика> Иоффе: „Молек<улярная> физика". 7-го. Усталость. <...> 9-го. Был у нас А. С. Петровский: разговор о механике. <...> 17-го. Мысли о „qualitas" и „quantitas". Все эти дни читал Пуанкаре „Эволюция современной

физики". 18-го. Читаю Френкеля: „Строение материи". 19-го. Читаю Френкеля. Конспектирую: ряд мыслей о материи. 20-го. Читаю Крамерс и Гольст: „Строение атома и теория Бора". Читаю Френкеля. 21-го. Москва. Переутомление. Читаю о теории Бора. <...> Решаем с К. Н. ехать в Батум. 22-го. Кучино. Переутомление. 23-го. Мысли о ритме пути. Читаю Френкеля и Иоффе. 24-го. Мысли о материи. Сравниваю таблицу Бора и Менделеева: черчу спирали таблиц. <...> 26-го. <...> Читаю Иоффе. 27-го. Читаю механику Михельсона. <...> 29-го. <...>. Читаю Иоффе. 30-го Москва. Грусть. 31-го. Кучино. <...> Читаю Иоффе» (*РД*). См. также: «...еще недавно, в двадцать седьмом году, возвратясь к некоторым проблемам атомной механики, читая Иоффе, Френкеля, Михельсона, Томсона и Резерфорда, я благодарил Умова за ту подготовку, которую он нам некогда (осенью 1899 г. — *Дж. М.*) дал» (*НР*. С. 81). В письме к Иванову-Разумнику от 6 апреля 1927 г. Белый делится подробными рассуждениями о Иоффе, Боре, Лоренце, Максвелле, Ньютоне, Эйнштейне и поднятых ими физических проблемах (*Переписка*. С. 514—515). См. также письмо Белого к Д. М. Пинесу того же дня (Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 90) и письмо к Иванову-Разумнику от 22 февраля 1927 г. (*Переписка*. С. 470). Абрам Федорович **Иоффе** (1880—1907) — химик, открыл периодический закон химических элементов; Хендрик Антон **Лоренц** (1853—1928) — нидерландский физик, один из создателей классической электронной теории; Джеймс Клерк **Максвелл** (1831—1879) — английский физик, создатель теории электромагнитного поля.

43. **Агасфер** — одно из имен, под которым известен в средневековых сказаниях легендарный «вечный жид», еврей-скиталец, осужденный Богом на вечную жизнь и скитания за то, что он не дал Христу отдохнуть по пути на Голгофу. Всемирную известность образ Агасфера обрел после выхода авантюрного романа Эжена Сю «Вечный жид» (1844—1845; в русских переводах — «Агасфер»).

44. См. примеч. 73 к гл. «Работа над „Масками"». «...для художника этого рода восприятия — „сырье", с работы над которым начинает „*наука видеть*" (термин Петрова-Водкина)» (Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934. С. 116). Термин встречается не в «На рубеже двух столетий», а в «Начале века».

45. Рудольф **Штейнер** (1861—1925) — австрийский религиозный философ, доктор наук, с 1902 г. — генеральный секретарь немецкого отделения Теософского общества, основатель и руководитель Антропософского общества. Белый считал себя учеником «доктора» и много лет пропагандировал его идеи (см.: Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее: Исторический альманах. М.,

1992. Вып. 6. С. 337—448; Вып. 8. С. 409—471; Вып. 9. С. 409—488). В конце 1914 г. Белый ознакомился с книгой Э. К. Метнера «Размышления о Гете. Кн. 1. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма» (М.: Мусагет, 1914) и поставил своей задачей подготовить полемический ответ. Белый свидетельствует: «С начала месяца (ноябрь 1914 г. — *Ред.*) встреча с Метнером, появившимся в Цюрихе; ряд острых бесед с ним (у нас, у Поццо, у Волошиной); поездка к нему в Цюрих. <...> Прочитываю внимательнейше книгу Метнера против Штейнера; перечитываю „Goethes Weltanschauung" Штейнера и его же книгу „*Grundlinien* <einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung>"; прочитываю оба тома Штейнера „*Rätsel der Philosophie*", перечитываю курс о „*Макрокосмическом мышлении*", берусь за Канта; и прочитываю брошюру Штейнера „Goethe als Vater der neuen Aesthetik", его же 2 брошюры о Геккеле, его брошюру об искусстве и внимательнейше штудирую „*Истину и науку*". Гносеологические и теоретико-познавательные вопросы опять заполняют мое сознание в связи с необходимостью писать книгу. Внимательно изучаю „*Farbenlehre*" Гёте. *Декабрь — Арлесгейм*. Все более углубляющийся штуди<у>м Гёте в связи с книгой Метнера; читаю Гетево „*Geschichte der Farbenlehre*" и его же „Метаморфозу растений". Внимательнейшее, весь месяц, прочтение вводительных статей Штейнера к 4<-м> томам „*Naturwissenschaftlichen Schriften*" Гёте. Постоянные встречи с Метнером и длинные, теоретические споры с ним. Внимательнейше читаю статью Штейнера „*Теософия и Философия*", схватываю за „*Критику способностей суждения*" Канта и перечитываю ряд неизданных стенограмм лекций Штейнера на филос<офские> темы (между прочим старые его статьи о Брентано, антропософии и речь, произнесенную на болонском конгрессе)» (*РД*). Работу над книгой «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том „Размышлений о Гете"» (М., 1917) Белый писал с января по июнь 1915 г.: «Весь месяц (январь. — *Дж. М.*) усиленная работа над книгой; главное внимание помимо изучения текста Гёте и материала по Гёте Штейнера в изучении *петита* (комментарий) Штейнера и в составлении регистра по вопросам. Этот *регистр* отнимает все свободное время»; февраль: «С начала месяца переехали в Дорнах, рядом с Штейнером (под „*Bau*"); упорная работа над книгой, которую пишу уже; упорные споры с Метнером, приезжающим часто...»; март: «Дорнах — Изучение „*петитов*" Штейнера; работа с регистром; написание глав: „*Световая Теория*" и „*Рудольф Штейнер и критицизм*". Отдаюсь проблемам механики; изучаю отношение Штей-

нера к Геккелю; <...> д<октор> Штейнер меня бодрит»; апрель: «*окончательный разрыв с Метнером.* <...> Даже не могу работать: собственно, — нервно болен...»; май: «Бешеная работа над книгой; готова последняя глава; переработан весь текст книги; и — переписан. <...> Беседа с Штейнером о книге, очень длительная (до ужина, за ужином и после)»; июнь: «Пишу главы „*Световая теория в моно-дуо-плюральных эмблемах*" и введение; книга „Рудольф Штейнер и Гёте" — готова» (*РД*). См. также «Материал к биографии» в моей публикации «Андрей Белый и антропософия» (Минувшее. Вып. 8. С. 412—453).

46. «**Мне может быть...**» — цитируется «Autobiographische Einzelgeiten»: «Das kann mir sehr lieb sein, dass ich Ideen habe ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe» (Goethe J. W. von. Werke. Ybid. Bd. 10: Autobiographische Schriften. S. 541; «**Я хотел бы иметь...**» — перефразируется следующее место из письма Гете к Фридриху фон Штейну и детям И. Г. Гердера от 30 июня 1787 г.: «...man wunschte sich mehr Augen zu haben, um es recht sehen zu konnen» (Goethes Werke, herausgegeben im Auftrage der Grosserherzogin Sophie von Sachsen, IV. Abteilung, Bd. 8. Weimar, 1890. S. 234); «**Мое мышление есть созерцание**» — цитируется «Zun Naturwissenschaft im Allgemeinen» («Bedeutende Fordernis durch ein einziges geistreiches Wort»): «...dass mein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken ein Anschauen sie» (Goethe. Bd. 13. Naturwissenschaftliche Schriften. Hamburg, 1960. S. 37).

47. «По утрам из кроватки, бывало, смотрю: на узоры стоящего шкапчика; я умею скашивать глазки (смотреть себе в носик)» (Белый А. Котик Летаев. Пб., 1922. С. 79).

48. Имеются в виду трагедии и другие античные подражания в творчестве поэта, критика, филолога-классика и теоретика символизма Вячеслава Ивановича Иванова (1866—1949) и его проповедь возвращения к «всенародному» коллективному искусству античности. См.: Rudich Vasily. Vyacheslav Ivanov and Classical Antiquity // Vyacheslav Ivanov: Poet, Critic and Philosopher. New Haven, 1986. P. 275—289. Знакомство Белого и Иванова, «сплошного „феоретика"», по выражению Белого, состоялось в начале апреля 1904 г. В многолетних сложных взаимоотношениях Белого и Иванова были периоды идейно-эстетического противостояния (1907—1908 гг. — полемика о «мистическом анархизме») и сближения (в частности, в 1910—1912 гг. на «мусагетской» платформе). Позднее Белый писал: «...почтенный „профессор" Иванов совсем обалдел, перепутавши жизнь с эпиграфикой, так что история культов от древних Микен до руин Элевзиса,

попав из музея в салон, расцвела в чепуху» (*НВ*. С. 348). О Вяч. Иванове см.: *НВ. С. 340—361; статья «Вячеслав Иванов»*, над которой Белый работал в ноябре—декабре 1917 г., опубл. в кн.: Русская литература XX века. 1890—1910. Т. 3, кн. 8. М., 1916. С. 114—149 (8-я книга, вопреки обозначению на титульном листе, вышла в 1918 г.).

49. Ст-ние Е. А. Баратынского «О мысль!..» (1834).

50. Цитируется ст-ние Е. А. Баратынского «Последний поэт».

51. Цитируется ст-ние «Последний поэт».

52. Подразумевается ст-ние Андрея Белого «Вещий сон» (1909): «И вот — извечно блещущая высь! / И вот — извечно блещущие песни!» (*БП*. С. 353).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Е. Н. Кезельман

ЖИЗНЬ В ЛЕБЕДЯНИ ЛЕТОМ 32-го ГОДА

Воспоминания Елены Николаевны Кезельман (см. примеч. 50 к гл. «Контрапункт») были написаны в 1941—1943 гг. и впервые опубликованы мною в составе кн.: Бугаева К. Н. Воспоминания о Белом. Berkeley, 1981. Черновой автограф находится в РНБ (Ф. 60. Ед. хр. 140), беловой — в РГБ (Ф. 25. К. 40. Ед. хр. 22). Д. Е. Максимов цитировал эти воспоминания (отношение Белого к А. А. Блоку) в своей статье «Критическая проза Александра Блока» (Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 70).

1. «**Klares Denken**» — ясные мысли (нем.). Цитата из первой строфы ст-ния «Ruhiges Verweilen» («Не спеша») Р. Штейнера (Steiner Rudolf. Wahrspruchworte. Dornach, 1969. S. 204).

2. Преподобный **Серафим** Саровский (1759/60—1833) — иеромонах Саровского монастыря (пустыни); прославился как величайший подвижник (был долгие годы отшельником, молчальником, затем затворником); в 1903 г. канонизирован православной церковью. В марте 1901 г. Белый читал биографию Серафима: «...все более и более проникаю в дух апокалиптический Дивеева» (МБ), а в октябре прочел «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» Л. М. Чичагова (М., 1896), содержавшую жизнеописание Серафима: «...с той поры эта книга становится моей настольною книгою; образ Серафима, весь чин молитв его, оживает в душе моей; с той поры я начинаю молиться Серафиму; и мне кажется, что Он — тайно ведет меня; образ Серафима как

невидимого помощника вытесняет во мне образ покойного Вл. Соловьева; я весь живу Дивеевым» (*МБ*). Ср. запись за октябрь 1901 г.: «...читаю и потрясаюсь „*Летописью Серафимо-Дивеевского Монастыря*". Встает нота Св. Серафима» (*РД*). В «автобиографическом письме» к Иванову-Разумнику Белый писал: «Во втором полугодии 1902 года усиленно читаю все о св. Серафиме; и чрез опыт „*молитв*", установленных Серафимом, впервые внутри молитв имею узнание о том, что позднее откроется как „*Импульс Христа*"» (*Переписка*. С. 492). Белый с матерью посетил Саров в конце августа 1904 г. Подробно о воздействии на Белого личности и религиозного служения св. Серафима см.: Malmstad John E. Andrey Bely and Serafim of Sarov // Scottish Slavonic Review. 1990. Vol. 14. P. 21—59; Vol. 15. P. 59—102.

3. Цитируется ст-ние Андрея Белого «Ночью на кладбище» (1908; *БП*. С. 306).

4. См. примеч. 19 к гл. «Б. Н. в жизни».

5. См. записи за июнь 1926 (не 1925) г.: «18-го. Кучино. Я в Кучине, куда переезжает К. Н. В Кучине живет А. С. Петровский; наезжает Е. Н. Кезельман; много народа»; июль 1927 г.: «25-го. Кучино. Вернулись в Кучино с Е. Н. Встретила Леля Невейнова: живет у нас. 26-го. Уютно провели день (я, К. Н., Е. Н., Леля). <...> 30-го. Приехали Аннушка и П. Н. Васильев; нас 6 человек: тесновато» (*РД*).

6. Некролог, подписанный Б. Л. Пастернаком, Б. А. Пильняком и Г. А. Санниковым, был опубликован в газете «Известия» (1934. 9 января, № 8/5256); в нем сообщалось, что Андреем Белым написано 47 томов. Приведем его начало: «8 января, в 12 ч<асов> 30 мин<ут> дня, умер от артериосклероза Андрей Белый, замечательнейший писатель нашего века, имя которого в истории станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых. Имя каждого гения всегда отмечено созданием своей школы. Творчество Андрея Белого — не только гениальный вклад как в русскую, так и в мировую литературу, оно — создатель громадной литературной школы. Перекликаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее. Джемс Джойс для современной европейской лит<ерату>ры является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джемс Джойс — ученик Андрея Белого. Придя в русскую лит<ерату>ру младшим представителем школы символистов, Белый создал больше, чем все старшее поколение этой школы. <...> Он перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские лит<ерату>рные течения». См.:

Памяти Андрея Белого / Публ. Даниила Санникова // Наше наследие. 1998. № 45. С. 60—63. Гораздо более скромный некролог появился в газете «Правда» (1934. 11 января, № 11).

7. 12 августа 1932 г. Белый писал Иванову-Разумнику: «В Лебедяни мне ужасно нравится; ведь — родные места: в 80<-ти> верстах Ефремов, а наша Красивая Мечь тут где-то близко впадает в Дон. Вспоминаю эпоху „Симфоний": те ж поля, то ж небо, тот же родной мне воздух. С 1908 года не бывал в этих местах» (*Переписка.* С. 705). В Ефремовском уезде Тульской области находилось имение отца Белого (оно перешло матери Белого по наследству после смерти мужа в 1903 г.) Серебряный Колодезь. См. также примеч. 19 к гл. «Природа».

8. 4 сентября 1932 г. Белый сообщал Иванову-Разумнику: «...(есть и „мед", но больше „творогу", который уничтожаю в огромном количестве и мог бы назвать наш месяц — „творожным") <...> Клодя такой повар, какого свет не видал; все ее блюда — художественная импровизация, с вдохновением, с „перцем", с огнем <...>. Но рекорд поварского искусства решительно побит Еленой Николаевной, которая из лебедянских продуктов (творогу, помидор, луку, картофелю, яблок) творит не обеды, а гастрические мистерии; обе сестрицы <...> побивают рекорд в изыскании прекрасных конкретностей жизни, в результате чего — пополнел, повеселел и решительно не желаю покидать ставшую мне милой Лебедянь. <...> обед, или *оргия* (от меня отнимают творог, ибо я стал творожных дел мастером)» (*Переписка.* С. 706).

9. «Сестра Клавдии Николаевны Елена Николаевна, высокая, красивая, и ее муж Сергей Матвеевич Кезельман. Внешне очень ладная пара, но мне уже известно, что между ними внутренней гармонии нет» (Жемчужникова М. Н. Воспоминания о Московским Антропософском обществе (1917—23 гг.) Минувшее: Исторический альманах. Вып. 6. М., 1992. С. 22—23). См. также записи за август 1927 г.: «1-го. Кучино. Холодно. Надлом. Приезд Серг<ея> Матв<еевича> Кезельмана. <...> 8-го. Был Сергей Матв<еевич> Кезельман. У нас гостит Е<лена> Н<иколаевна>, Леля, Аннушка. Разговоры об „А<нтропософском> О<бществе>". <...> 16-го. Весь день народ: П<авел> Н<иколаевич>, Е<лена> Н<иколаевна>, Леля, Аннушка, С. М. Кезельман, Е. А. Фельдштейн, Моисеев» (*РД*).

10. **Эркман-Шатриан** — литературное имя двух эльзасских писателей, работавших совместно; Эмиль Эркман (1822—1899) и Шарль Луи Гратьен Шатриан (1826—1890) — авторы, главным образом, исторических романов.

11. 4 сентября 1932 г. Белый писал Иванову-Разумнику: «...начал третий том воспоминаний (для „*Федерации*"); работаю легко, не спеша» (*Переписка*. С. 706). Договор на книгу «Между двух революций» был заключен с издательством «Федерация» 23 июля 1932 г. (*РНБ*. С. Ф. 60. Ед. хр. 3). Позднее Белый передал рукопись книги «Издательству писателей в Ленинграде» (см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981. С. 79). 23 марта 1933 г. Белый закончил работу над первой частью книги. Она вышла посмертно, в апреле 1935 г. (на обложке — 1934).

12. 5 сентября 1932 г. К. Н. писала Иванову-Разумнику: «У нас пока передышка. Отложили все заботы и злобы дня. Хочется, чтобы Б. Н. хорошенько отдохнул» (*Переписка*. С. 707, примеч. 7).

13. **Григорий Александрович Санников** (1899—1969) — поэт; дружески общался с Белым в конце 1920 — начале 1930-х гг. Его поэма «В гостях у египтян» (с подзаголовком: «Из документов пятилетки») была опубликована в пятом номере журнала «Новый мир» за 1932 г. Белый работал над своей статьей о ней с 20 по 27 августа 1932 г.: «...пока писал статью о поэме Санникова <...>. Я за „поэму" очень стою: оригинальность ее в том, что она не „оригинальничает" в мелочах, будучи оригинальной в основном» (*Минувшее 15*. С. 316). См. также письмо Белого к Г. А. Санникову от 18 августа 1932 г. (Наше наследие. 1990. № 5 (17). С. 93). Статья о поэме появилась в одиннадцатом номере «Нового мира» в 1932 г., в отделе «Писатели о писателях», под названием «Поэма о хлопке» (С. 229—248). См. также воспоминания П. Н. Зайцева о Белом (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 100—101).

14. «В период от января до мая (1933 г. — *Ред.*) делал попытки к началу составления словаря рифм» (*Летопись*). Ср. в обзоре литературного наследства Андрея Белого: «В первой половине 1933 г. Белый начал подготовительные работы для своего словаря рифм, задумав его очень широко и предполагая охватить при указании рифм все отрасли и виды искусства и науки, все новейшие достижения техники и т. д. <...> В мае 1933 г., перед отъездом в Коктебель, составил вчерне же пробный отрывок (24 стр. в лист) рифмы на „ар" — своего излюбленного звукосочетания» (*ЛН*. Т. 27/28. С. 624—625). См.: Андрей Белый. Черновой материал к «Словарю рифм» (*РГАЛИ*. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 16).

15. Речь идет о рисунках Николая Васильевича Кузьмина (1890—1987), художника и писателя, члена группы «Тринадцать», иллюстрировавшего роман «Маски». См. записи за 1932 г.: февраль—март: «Беседы с художником Н. В. Кузьминым о рисунках к „Маскам", характери-

стики персонажей»; май: «1<-е>. Беседа с художником Н. В. Кузьминым о художественном оформлении „Масок". <...> 24<-е>. Обсуждение и отбор с художником Н. В. Кузьминым рисунков к „Маскам"» (*Летопись*). 4—6 июня Белый позировал «художнику Н. В. Кузьмину для портрета к „Маскам". Набросок в trios-quarts одобряет: „Узнаю автора «Масок»"» (Там же). Однако в книге была напечатан портрет Белого работы В. А. Милашевского, другого члена «Группы тринадцати». Воспоминания Кузьмина о Белом впервые опубликованы в журнале «Звезда» (1972. №. 5. С. 181—183), под заглавием: «Иллюстрируя Андрея Белого»; перепечатаны в его книге: Кузьмин Н. В. Давно и недавно. М., 1982. С. 281—288.

16. См.: *Маски*. С. 104, 105, 106.

17. Анна Алексеевна (**Ася**) Тургенева (1890—1966) — художница, антропософка; дальняя родственница И. С. Тургенева, по матери — Бакунина; первая жена Андрея Белого. Он познакомился с ней в ноябре 1905 г. и сблизился в 1909 г. С 1910 г., когда они отправились вместе в заграничное путешествие, Белый считал ее своей женой. В письме, написанном в Базеле 4 февраля 1914 г., Белый сообщал матери: «...мы женимся (гражданским браком), чтобы нас не теснили швейцарские власти, и теперь хлопочем с бумагами, ездием <sic!> в Берн к поверенному и т. д.»; 25 февраля он писал ей же: «Пока идет дело о нашем венчании, мы не можем снять в Дорнахе общее помещение и живем в отеле (в Базеле). Повенчаемся мы марта 15-го нов<ого> стиля» (*РГАЛИ*. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 359. Л. 167, 169). Гражданский брак был заключен в Берне 23 марта 1914 г. (Kanton Bern. Eheregister des Zivilstandskreises Bern, Bd. 1914. S. 78, № 157). Ср. письмо А. А. Тургеневой к Н. В. Вольскому: «Мы действительно — чисто формально были граждански венчаны в Берне 1914<-го> чтобы не смущать враждебное крестьянское население в Швейцарии. Ни брака вообще — ни тем более церковного я не хотела. (Хоть „клятвы" и не давала)» (Струве Глеб. К биографии Андрея Белого. А. Белый и А. А. Тургенева // Annali dell'Istituto Universitario Orientale. Sezione Slava. Napoli, 1970. P. 65). В июле 1922 г. Белый признавался в письме к матери: «...я с Асей все покончил; мы совершенно разошлись; и это было очень, очень больно» (Europa Orientalis. 1989. № 8. P. 463). См. также письмо Белого к Иванову-Разумнику от 18 ноября 1923 г. (*Переписка*. С. 254).

18. **Эллис** (наст. имя Лев Львович Кобылинский; 1879—1947) — юрист по образованию; поэт, критик (см. его: Русские символисты. М.; Мусагет, 1910; с отдельной главой о Белом), переводчик Бодлера,

Юнга и др.; член «Аргонавтов», один из организаторов издательства «Мусагет». В главке о нем в «Начале века» он назван «высокоодаренным мимом» (С. 46; см. также: С. 55—64). В своих воспоминаниях Маргарита Сабашникова-Волошина писала: «Эллис обладал малоприятной способностью передразнивать людей, причем всегда в гротескном, карикатурном виде» (Сабашникова (Волошина) М. Зеленая Змея. История одной жизни / Пер. с нем. М. Н. Жемчужниковой. М., 1993. С. 201). Об основных этапах идейной эволюции Эллиса см.: Гречишкин С. С., Лавров А. В. Эллис — поэт-символист, теоретик и критик (1900—1910-е гг.) // XXV Герценовские чтения. Литературоведение. Л., 1972. С. 59—62; Willich Heide. Lev L. Kobylinskij-Ellis: Vom Symbolismus zur *ars sacra*. Eine Studie über Leben und Werk // Slavistische Beiträge. Bd. 341. München, Verlag Otto Sagner, 1996; Поляков Ф. Чародей, рыцарь, монах. Биографические маски Эллиса (Льва Кобылинского) // Lebenskunst — Kunstleben. Жизнетворчество в русской культуре XVII—XX вв. Herausgegeben vin Schamma Schahadat. Die Welt der Slaven. Sammelbände. Сборники. Bd. 3. München, 1998. P. 125—139; Воспоминания «фанатика и скептика». Эллис об Андрее Белом / Публ. Дж. Малмстада (в печати).

19. К. Н. разговаривала об этом таланте Белого и в беседе с проф. Г. И. Поляковым: «Обладал необыкновенно развитой способностью изображать животных. <...> Удавались, главным образом, выразительные движения зверей» (*Минувшее 23*. С. 487—488).

20. «Точно сладкую манную кашу уписывал он» (*Маски*. С. 313). Так описывает Коробкина в доме медсестры Серафимы рассказчик романа.

21. См. примеч. 73 к гл. «Работа над „Масками"».

22. Имеется в виду рассказ И. С. Тургенева «Лебедянь» (1847), входящий в его «Записки охотника». Ср. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 4 сентября 1932 г.: «Но мой удел полемизировать, — на этот раз с Тургеневым: и тут он сфальшивил, объявив Лебедянь неинтересным городом; <...> Лебедянь очаровательна» (*Переписка*. С. 706).

23. Начало четвертой строфы ст-ния «Изгнанник» (1904): «Бегу во ржи, межой, по кочкам — / Необозримыми равнинами» (*Пепел*. С. 223).

24. Ср. описание Белого в письме к Иванову-Разумнику от 4 сентября 1932 г.: «Лебедянь живописнейший изо всех мной виданных городков; он расположен высоко, над обрывом; обрыв — над Доном; Дон тихий; Лебедянь утопает в садах; город переходит в утопающую в

зелени деревню, выходящую в поле; а — там-то, а — там-то!.. На десятки верст — ширь, ветер; и — заря, заря» (*Переписка*. С. 706).

25. См. примеч. 37 к гл. «Контрапункт».

26. Имеется в виду знаменитая картина Ивана Константиновича Айвазовского (1817—1900) «Прощание Пушкина с морем» (1887).

27. Цитируется ст-ние Белого «Самосознание» (Базель, 1914), в отделе «Возврат». Строки имеют другую расстановку в «Зовах времен» (см.: *Стихотворения II*. С. 241).

28. Точно такой фразы нет в «Глоссолалии», но ср.: «В древней-древней Аэрии, в Аэре, жили когда-то и мы — звуко-люди» (Белый А. Глоссолалия. Поэма о звуке. Берлин, 1922. С. 68); «...есть память о памяти, об Аэрии, милой стране: стране детства, лилеи, крылеющем ангеле слез» (Там же. С. 130).

29. Ошибка автора: цитируется начало второй строфы ст-ния «А. М. Поццо» (1916) в сб. «Звезда» (С. 17).

30. Ср. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 4 сентября 1932 г.: «...около шести идем в поля — в невыразимо душе говорящие просторы <...> к восьми дома: сумерничаем в тихих беседах под окнами; в 9 часов — спать» (*Переписка*. С. 706).

31. Имеется в виду монолог Бертрана в первой сцене первого действия пьесы «Роза и Крест» А. Блока: «Что же пророчит странная песня? / „Сердцу закон непреложный — / Радость-Страданье одно!“».

32. Цитата из поэмы «Христос воскрес» (24, 5—9) не отвечает расстановке строк ни в первой книжной публикации, ни в «Зовах времен».

33. Цитата (с неточной расстановкой строк) из ст-ния «Пустыня» (Серебряный Колодезь, 1907), в отделе «Исход» (*БП*. С. 187—188; *Стихотворения II*. С. 309—310).

34. Неточная цитата из ст-ния «Туда» (Кучино, 1931), в отделе «Исход» (*Стихотворения II*. С. 307).

35. Ошибка автора: фраза встречается в ст-нии «Полевое безумие» (Серебряный Колодезь, 1908—1925) в «Зовах времен», в отделе «Молнии лет» (*Стихотворения II*. С. 315). Оно представляет собой переработку одноименного ст-ния в сб. «Пепел» (2-е изд. М., 1929. С. 100—101), которое само было переработано из трех ст-ний в первом издании сборника («На буграх», «Полевое священнодействие», «Последний язычник»).

36. «Он (Белый. — *Ред.*) слушал как завороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лица» (Пастернак Б.

Охранная грамота // Воздушные пути: Проза разных лет. М., 1982. С. 275). Пастернак описывает чтение Маяковским поэмы «Человек».

37. Неточно цитируется ст-ние «Архангел» (Арлесгейм, 1914), в отделе «Молнии лет» (*Стихотворения II*. С. 331).

38. Такой фразы мне не удалось обнаружить в «Масках».

39. См. письмо Белого к Е. Н. Кезельман от 15 августа 1933 г.: «Но — страшная грусть: не то раскаяние в том, что так беспроко прожиты годы, не то решение — по-новому построить остаток жизни» (Новый журнал. Нью-Йорк, 1976. № 124. С. 168). В нем Белый также вспоминает «тихие посиды у окошка» в Лебедяни.

40. Неточно цитируется последняя строфа ст-ния К. Д. Бальмонта «Безглагольность» (1900).

41. Цитируется конец ст-ния «Пещерный житель» (Кучино, 1931), в отделе «Молнии лет» (*Стихотворения II*. С. 325).

42. Цитата из ст-ния «Иди» (Кучино, 1931), в отделе «Молнии лет» (*Стихотворения II*. С 329).

43. Неточно цитируется десятая строфа ст-ния «Грозовое облако» (Москва, 1925), в отделе «Возврат» в «Зовах времен»: «Зреет со светлого / Темени — / Звездочкой летней / Алмаз» (*Стихотворения II*. С. 204).

44. См. примеч. 67 к гл. «Работа над „Масками"».

45. См. примеч. 28 к главе «Б. Н. в жизни».

46. Имеется в виду арест автора в мае 1931 г. и ее ссылка в Лебедянь на три года.

47. Подразумевается «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина.

48. Неточно цитируется ст-ние «Освободи...» (Москва, 1910—1931), в отделе «Возврат»: «Тоска моя, — / Восторгом разорвись! <...> / Освободи...» (*Стихотворения II*. С. 202).

49. Цитата из ст-ния Р. Штейнера «Michael-Imagination»: «Ihr, die hellen Ätherwelten-Wesen, / Trägt das Christuswort zum Menshchen» («Вы, светлые существа мирового эфира / Приносите Христово слово человечеству» (нем.)) (Steiner Rudolf. Wahrspruchworte. Dornach, 1969. S. 180). Антропософия под именем Архангела Михаила объединяет группу духовных существ, играющих важную роль в развитии мира и человека. По Штейнеру, в последней трети XIX в. начался новый период исторического развития, который может быть назван эпохой Архангела Михаила; хронологические границы этой эпохи — с 1879 г. по 2300 г.

50. 16 апреля 1933 г. Белый писал Е. Н. Кезельман: «...милая Елена Николаевна, — Вы радовали меня. Среди немногих роздыхов, которыми дарят дни, — появления Ваших пейзажиков; как-то вхожу в комнату после „Гихла“, и — пять Ваших картинок большого формата; ну — до чего чудесно! Как это Вы можете с такими простыми красками добиваться этих тончайших нюансов; ведь Ваши бумажные клочочки — настолько переносят в Лебедянь, что от них веет в буквальном смысле слова, как из открытого окна, — деревенскою ширью. У меня странное впечатление: будто мы в каком-то отношении и не уезжали из Лебедяни, потому что у нас серия Ваших видиков, — с осени до весны; целый дневник закатов <...>. В Москве закатов не видишь; для меня с юности закат — лейтмотив дня. Вы не можете себе представить, как много дает и познавательно серия Ваших картинок. Это — настой из звуков: нежных, тихих; таких звуков в Москве нет» (Новый журнал. Нью-Йорк, 1976. № 124. С. 166).

51. Верстка этого невышедшего «Собрания стихотворений» (М.; Л., 1935) хранится в РНБ (Ф. 60. Ед. хр. 40).

52. Бугаева К. Н. Развернутый регистр слов по стихотворным сборникам А. Белого с указанием количества употребления их в каждом сборнике <1940—1950-е гг.> (*РНБ*. Ф. 60. Ед. хр. 113).

53. Бугаева К. Н. Материалы к словарю художественных произведений А. Белого (*РНБ*. Ф. 60. Ед. хр. 109 (Пословицы, фольклорные выражения); 110 (Фольклорные, разговорные, пословичные выражения); 111 (Необычные слова и выражения); 112 (Цвета и краски в повестях и романах А. Белого)).

54. См.: *Маски*. С. 116, 336.

Содержание

К. Н. Бугаева

Воспоминания об Андрее Белом

Редактор *О. Э. Карпеева*
Дизайн *Л. Е. Миллер*
Корректор *Е. Д. Дмитриева*
Компьютерная верстка *Н. Ю. Травкин*
Компьютерная обработка шрифтов
Ю. Г. Огурцов

Лицензия: код 221, Серия ИД № 02262 от 07.07.2000.
Подписано в печать 16.02.2001. Формат $84\times108^1/_{32}$.
Гарнитура Futura Book. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 23,5. Тираж 2000 экз. Заказ № 86.
Издательство Ивана Лимбаха.
E-mail: limbakh@mail.wplus.net
WWW.LIMBAKH.RU

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП «Печатный двор» Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

ISBN 5-89059-029-4

